

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

**МЕТОД:
МОСКОВСКИЙ
ЕЖЕГОДНИК ТРУДОВ
ИЗ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН**

СБОРНИК
НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ВЫПУСК 7

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ
В ОБЩЕСТВОЗНАНИИ

МОСКВА
2017

ББК 60; 66
М 54

**Центр перспективных методологий
социально-гуманитарных исследований**

Главный редактор – М. В. Ильин

Ответственные за выпуск – В.С. Авдонин, И.В. Фомин

М 54 **МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общество-
ведческих дисциплин: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр
перспект. методологий социал. и гуманит. исслед.; Ред. кол.:
М.В. Ильин (гл. ред.) и др. – М., 2017. – Вып. 7: Трансдис-
циплинарные методы в обществознании / Ред.-сост. вып.
Ильин М.В. – 431 с.
ISBN 978-5-248-00838-4**

В сборнике рассматривается мировой и отечественный опыт исследований в области методологической трансдисциплинарности. Обсуждаются и анализируются проблемы «когнитивных оснований» трансдисциплинарных методов в науке как они представлены в современной когнитивистике, философии и методологии науки. В качестве наиболее перспективных трансдисциплинарных методов или органов-интеграторов, способствующих интеграции поля исследований в обществознании, рассматриваются методологические комплексы морфологии, семиотики, математики, а также лежащие в их основе «когнитивные универсалии».

Сборник предназначен для исследователей, научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов, интересующихся проблемами методологии социально-гуманитарных исследований.

ББК 60; 66

ISBN 978-5-248-00838-4

© ИНИОН РАН, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

М.В. Ильин, В.С. Авдонин, И.В. Фомин. Методологический вызов. Где границы применимости методов? Каковы критерии их эффективности?	5
---	---

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

И.В. Фомин. Семиотический фронтир: Сквозь глубины веков и границы дисциплин	25
В.С. Авдонин. От метаматематики к математическому органону	38
В.Г. Буданов. Трансдисциплинарные дискурсы постнеклассики. (Выступление на методологическом семинаре в ИНИОН РАН 1 ноября 2016 г.)	55
В.И. Моисеев. Образы постнеклассической интегральной философии (Лекция в ИНИОН РАН 27 сентября 2016 г.)	67

РОККАНОВСКАЯ ЛЕКЦИЯ

А.В. Кортаев. «Проблема Гэлтона»	100
--	-----

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Лингвистика и семиотика культурных трансферов. (Рецензия)	113
В.З. Демьянков. Языковые техники «трансфера знаний»	115
В.И. Постовалова. Пути и принципы трансферизации знания в гуманитарных науках	137
С.Т. Золян. Неопределенность и множественность перевода как проекция динамической семантики текста.	159

ВЛАСТЬ СМЫСЛА

Ли Ю. Общая семиотика как стратегия по междисциплинарной организации общественных наук: Общая семиотика против философского фундаментализма. (Реферат)	171
Международный справочник по семиотике / Под ред. П.П. Трифонаса. (Реферат)	175

Биосемиотика как наука: Коды, знаки, логические конфликты и порождение смысла. (Сводный реферат).....	190
П. Чилтон. Смысл безопасности. Пер. с англ. Е.И. Кочедыков, И.В. Фомин	204
Использование подхода социальной семиотики в мультимодальном анализе: Исследование обучения в школах, музеях и больницах / Дж. Беземер, С. Диамантопулу, К. Джюитт, Г. Кресс, Д. Маверс; Пер. с англ. под ред. Т.Ш. Адильбаева	227

ВЛАСТЬ УМА И ВЛАСТЬ ТЕЛА

М. Кеестра. «Нейронаучный» и «нарративный» повороты в объяснении биополитических порядков: Как нарративы и мозг обоюдно влияют друг на друга? Пер. с англ. И. Фомин, Р. Голуб	248
В.Ф. Петренко. Психосемантические методы анализа политического менталитета общества.....	259
М.Ю. Походай, А.В. Мячиков. Роль системы внимания в порождении предложений.....	271
К натуралистической теории коммуникации и происхождения языка. (Сводный реферат)	296
Д.А. Федосеева. Когнитивная теория метафоры и обзор имбодимент-подхода к познанию. (Обзор).....	306
Возможности и пределы познания: Вызовы когнитивной науки. Беседа с В.Ф. Петренко и В.З. Демьянковым	315

ВЛАСТЬ ФОРМЫ: БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛОЦИЯ

Б.В. Межуев. Opus Magnus Вадима Цымбурского. Об издании материалов докторской диссертации В.М. Цымбурского	347
Аннотированная библиография М.С. Арчер по теории социального морфогенеза и рефлексивности	359
Теория социального морфогенеза и рефлексивности Маргарет Арчер. (Сводный реферат).....	365

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АРХИВ НА ЗАВТРА

К. Шуберт. Инновации и порядок. Основы прагматической теории политики. Методические соображения.....	393
Аннотации.....	414
Сведения об авторах	428

М.В. Ильин, В.С. Авдонин, И.В. Фомин*

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ.
ГДЕ ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДОВ?
КАКОВЫ КРИТЕРИИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ?**

Объявленная тема данного выпуска МЕТОДа – трансдисциплинарные методы в обществоведении. Этой проблематике наш ежегодник и готовящий его Центр перспективных методологий социально-гуманитарных исследований уделяют самое пристальное внимание. Мы и наш авторский актив последовательно и систематически изучаем трансдисциплинарные исследовательские программы и методы, их когнитивные и эпистемологические основания с целью выделения и рационализации крупных методологических комплексов или, как мы их называем, органонов-интеграторов социально-гуманитарного знания. Эта работа отчасти нашла отражение в выпусках ежегодника № 4 «Поверх методологических границ», № 5 «Методы изучения взаимозависимостей в обществоведении», № 6 «Способы представления знаний».

Эта важная подготовительная работа позволила не только выйти на фундаментальную проблематику трансдисциплинарности в науке, но и заострить внимание на ряде методологических проблем и вызовов. И первой в этом ряду является проблема дисциплинарных и методологических границ, которая находится в центре данного выпуска МЕТОДа.

Предметные и методологические границы

Предметные дисциплины уютно расположились в «ящичках», соответствующих предметам и объектам изучения. С методами ситуация не столь очевидна, однако и тут некое подобие «ящичков» налицо. Мы при-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) в рамках научного проекта № 16-23-20009 «Семиотика политического дискурса: Трансдисциплинарный подход».

вычно разделяем методы на качественные и количественные. Последнее время в моду все больше входят смешанные методы, причем они зачастую определяются не столько смешением первых двух, сколько своей спецификой.

Путешествие из одного предметного «ящичка» в другой – дело если и не привычное, то достаточно распространенное и, казалось бы, понятное. Куда менее очевидны разграничения между большими группировками методов и отдельными частными методами вплоть до методик и техник исследования. Возникает целый ряд вопросов. Чем и насколько четко разграничиваются методы? Насколько данные разграничения сковывают исследователя, а насколько дают точку опоры для его работы? Что позволяет пересекать границы? Какие границы пересекаются легко, а какие с трудом? Почему? Как облегчить этот процесс?

Первое, что бросается в глаза, – это относительная проницаемость дисциплинарных границ для методов и методологических границ для предметных дисциплин. «Склейка» методологических и дисциплинарных границ, их взаимное «наложение» и подкрепление делают их жесткими и резистентными для внешних воздействий. Вероятно, существуют задачи, для решения которых в этом будет только благо. Однако немало и таких задач, которые требуют пересечения границ, как методологических, так и дисциплинарных.

Методологии между монизмом и плюрализмом

Многие исследователи добиваются ценных, а порой и выдающихся результатов за счет предельной фокусировки своих усилий, а также специализации и профессионализации своей деятельности. Их определяющей установкой вполне естественно становится монометодологичность или монометодологизм. В своем наиболее жестком и бескомпромиссном выражении данная установка превращается в методологический ригоризм, который предполагает, будто можно использовать лишь одну «подлинно научную» методологию и отвергать все остальные как порочные. Подобную позицию по аналогии с политическими порядками и стилями правления можно охарактеризовать как «методологическую диктатуру» или «методологический авторитаризм».

Вероятно, кому-то использование политических аналогий по отношению к науке может показаться натяжкой. Однако подобный ход коренным образом связан со всей соревновательной логикой современной науки. Она отчетливо проявляется в использовании Максом Вебером метафоры и когнитивной схемы парламентских прений для прояснения характера научной объективности, как это убедительно показал Кари Палонен в первом же выпуске нашего ежегодника (см.: [Вебер, 2010; Палонен, 2010; Ильин, 2010]).

Продолжим по примеру Вебера искать политические аналогии и развернемся от диктатуры к свободе. Действительно, многие ученые предпочитают свободу. Они в самом процессе исследования меняют направления своего поиска и обращаются к различным способам познания. Для них характерна полиметодологичность, или полиметодологизм. В своих крайних выражениях всякого рода ограничения воли и методологического выбора исследователя отменяются. Возникает некое подобие «методологического анархизма», своего рода методологическая вольница.

Срединное положение занимают исследователи, которые считают, что каждый предмет изучения, уровень анализа, исследовательские проблемы настолько специфичны или подчинены своей логике и смыслу, что и используемые методы должны соответствовать особенностям осуществляемых изысканий. Иными словами, методы и даже методологии пластичны. Они могут и должны модифицироваться при изменении масштабов, уровней или предмета изучения. Методологическая свобода творчества получает явный приоритет.

Такую позицию можно в терминах политики охарактеризовать как «методологический либерализм». Однако тут имеется в виду классический либерализм, который использовал когнитивную схему свободных и щедрых, «либеральных» (*liberales*) людей, которые готовы и способны благодетельствовать тех, кто несвободен по природе или в силу обстоятельств.

Нынешний либерализм не утратил, но добавил к базовой асимметрии другие схемы в результате своей экспансии и невольной идеологической гегемонии. К концу позапрошлого века едва ли не все в западном мире оказалось в большей или меньшей степени либерализовано. В конечном счете либерализм усвоил демократичные установки равенства и смикшировал их со своими исходными и прочими схемами. Такой обновленный и демократизировавшийся либерализм признает множественность исходных «свобод» и возможность их использования для эмансипации пока еще несвободных. В радикальных, либерально-демократических версиях допускается, что альтернативные возможности освобождения в принципе равны, хотя и не равны по своей фактической эффективности и результатам. Отягощенные формальным равенством либеральные принципы лежат в основе политического плюрализма.

По аналогии можно говорить о методологическом плюрализме. Он предполагает принципиально равнозначное соотношение исследовательских проектов и лежащих в их основе методологий при одновременной и обязательной соревновательности, которая позволяет оценивать валидность результатов и сама лежит в основе внешней валидности.

Соревновательность позволяет выявить несовершенство методов, их неполную или ограниченную валидность. Это в свою очередь ведет к поиску компромиссов и к соединению методов. Еще более смелое и радикальное решение – создание новых методов поверх или внутри компромиссных ме-

тодологических комплексов путем комбинирования методологических и предметных очищений и насыщений.

Методологический плюрализм – весьма привлекательный для нас в Центре перспективных методологий подход. Сопряженная с формированием новых или с оттачиванием уже вполне сложившихся методов междисциплинарность (интрадисциплинарность, метадисциплинарность и т.п.) в своих наиболее масштабных и претендующих на универсализм расширениях позволяет выйти на трансдисциплинарность.

Для нас неприемлемы методологический скептицизм и – еще больше – радикальный агностицизм, которые предполагают, будто методологическая рефлексия избыточна или даже бесполезна, а то и вредна. Это, увы, достаточно распространенная позиция среди коллег-прикладников, идеографов и даже части эмпириков, которые лишь в предметном материале ищут и находят источники своего творчества. Для данной позиции легко находится политическая аналогия. Вспомним, как в разгар перестройки в реформаторском (и не очень) Верховном Совете в ответ на призывы продумать и отработать правила и регламенты поведения раздавались гневные заявления – «делом заниматься нужно». Это очень хорошая аналогия: чего тут думать и обсуждать, надо действовать (пусть даже бессмысленно и разрушительно).

Лучшая аналогия

Продолжим использовать и углублять политические аналогии. В этом случае мы сможем выделить методологический демократизм как наиболее системную и последовательную версию методологического плюрализма. Именно ее мы бы назвали своей главной точкой опоры в поисках методологических органонов-интеграторов. Именно современная демократия способна дать наиболее близкую политическую аналогию нашим теоретико-методологическим установкам, поскольку исходит из признания принципиального и неискоренимого несовершенства всех своих «испытываемых» версий [Churchill, 1974, p. 7566], но при этом рассматривает метапроцедуры (процедурные принципы и алгоритмы) как «единственную забаву в околотке» (the only game in town) [Przeworski, 1991, p. 26; Пршеворский, 1999, с. 47].

Демократическая аналогия страдает еще одним недостатком. Наши претензии на методологическую демократичность выглядят анахронизмом. Похоже на то, что сделал Чарльз Тилли: во всеоружии нынешней демократической теории спустился во времена раннего Модерна, огляделся кругом и не нашел в 1650 г. никаких признаков современной демократии [Tilly, 2004, p. 42 ff]. Также и мы с усовершенствованными идеями методологического плюрализма погружаемся в среду, где господствует мето-

дологический скептицизм, подпертый с одного края методологическим авторитаризмом, а с другого – методологическим анархизмом.

Для Тилли волны демократизации все еще впереди. Они даже не на повестке дня. Пока не приходится мечтать о чем-то большем, чем подобие конституционного порядка. Первая современная конституция – британская – появится поколение спустя, после Славной революции 1688 г. Пока же остается вести лишь интеллектуальные поиски базовых конституционных принципов, прежде всего разделения властей, т.е. прерогатив и полномочий суверенной государственной власти. Вот яркий пример. Составленный летом 1642 г. сэром Джоном Коулпепером и Льюшесом Кэри, виконтом Фолклендом, и навязанный ими королю «Ответ Его Величества на 19 предложений обеих палат парламента» [His Majesties Answer..., 1642] в самом общем виде, но отчетливо фиксировал принцип разделения властей между сувереном, лордами и общинами. Он стал важнейшей вехой в истории британского конституционализма [Weston, 1956; Weston, 1960; Weston, 2010]. Однако идеи разделения властей обе противоборствующие стороны не захотели воспринять и буквально загнали страну в гражданскую войну.

Пройдет еще поколение до фактического принятия схемы Коулпепера–Фолкленда после и в результате Славной революции 1688 г. А затем, еще два поколения до того, как в 1748 г. в своем трактате «Дух законов» Шарль-Луи Монтескье предложит знаменитую политическую триаду (*trias politica*), основанную на функциональной трактовке разделения прерогатив и полномочий суверенной власти.

В нашем случае речь в первую очередь может идти об основополагающем разделении фундаментальных, претендующих на универсализм и всеобщность методов. Наши органы-интеграторы – это скорее предвосхищение того, что может быть достигнуто в универсальном упорядочивании и, главное, достраивании больших методологических комплексов.

По нашему глубокому убеждению, придать нынешнему полю научной методологии черты развитой современности нельзя одним лишь героическим усилием. Великий скачок невозможен. Долгий и извилистый путь идет через развитие «методологического демократизма» в малых масштабах междисциплинарных интеграционных процессов, например в таких областях, как биосемиотика, биосоциальная эволюция, сравнительные морфологические исследования и т.п. Об этом речь пойдет особо. Пока же предпримем попытку наметить общие рамки для этой работы, хотя бы предварительно очертить контуры возможных очищенных версий органов-интеграторов.

Три трансдисциплинарных методологических комплекса: Математика, морфология и семиотика

Уже в предыдущих выпусках МЕТОДа, а также в анонсе нынешнего седьмого выпуска нашего ежегодника мы упорно сосредоточиваем внимание на математике, семиотике и морфологии. Они рассматриваются как крупные методологические комплексы, которые в наибольшей степени способны выступить в роли органонов-интеграторов. Наши рассуждения при этом невольно создают иллюзию, будто эти комплексы уже существуют как предмет наших изысканий. На деле мы рассуждаем скорее о некоем методологическом потенциале, чем о действительных и уже полномасштабно реализуемых познавательных способностях. Даже охват, состав и внутренняя структура того, что мы поспешно назвали органонами, остаются неясными и порой просто загадочными. И наше уточнение – интеграторы – тоже является поспешным. Фактически интеграция скорее лишь намечается, да и то крайне неравномерно и противоречиво в каждом из рассматриваемых пространств – в одних, как в математике, гораздо больше, а в других – существенно слабее и однобоко.

В настоящее время математика получила наиболее полное и последовательное развитие. Ее основные отрасли начали формироваться уже в глубокой древности. Около двух тысячелетий назад зародились представления об особом математическом знании. А в последние пять-шесть веков началось его весьма интенсивное и довольно систематическое развитие с претензией на превращение в своего рода науку наук. Результатом этого развития стал целый комплекс математических наук и их приложений в отдельных предметных областях науки и практики.

Развитие математики продолжается. Все активнее и дальше идет процесс математизации отдельных дисциплин и целых наук. Математика вновь, как на заре первой научной революции, начинает проявлять свой потенциал трансдисциплинарного органонона. В начале XX в. это было осознано в самой математике в виде формирования в ней рефлексивной области метаматематики. Это была попытка понять математику как органон логико-математическими средствами. Но здесь возникли проблемы, например были обнаружены ограничительные теоремы метаматематики. Возможно, что для понимания математики как органонона нужен другой, расширенный арсенал методов и методологий.

Морфологические изыскания можно обнаружить в почти столь же глубокой древности. Их развитие было поступательным, но неравномерным и выборочным. Оно затрагивало преимущественно области, где наглядность и пластичность форм были наиболее зримы и ощутимы, – от биологии и медицины до эстетики и от риторики до юриспруденции. При этом морфологическое знание было столь тесно переплетено со своей предметностью, что зачастую оказывалось скрытым, тайным. Эта особенность столь укоренена, что мощно сказывается по сей день. Как бы то ни

было, но уже свыше двух столетий начинается собственное развитие морфологии как особого типа познания, благодаря титаническому прорыву, осуществленному И.В. Гёте и плеяде его выдающихся морфологов времен зрелого Просвещения.

Ныне морфологический комплекс наук существует как довольно сильно фрагментированное созвездие вполне самостоятельных дисциплин. Это, например, биологическая морфология, несколько медицинских морфологий, геоморфология, лингвистическая морфология, в свою очередь высоко фрагментированная по предметам – отдельным языкам. Характерно, что первая часть их названий указывает на предмет, а вторая – на метод. Однако при этом метод высоко специализирован и приспособлен к предмету, насыщен предметностью.

Рядом с этими звездами – дисциплинами первой величины роятся чуть менее консолидированные и самостоятельные дисциплины, включая морфологию искусства и целый ряд субдисциплин, от морфологии сказки до морфологии наноструктур. Характерно, что теперь в самом термине уже на первое место выходит морфология, а очень четкий и даже узкий предмет занимает второе место.

Наконец, в созвездии есть и морфологические звезды разной величины, которые пытаются мигать чужим, неморфологическим светом. Это как раз те дисциплины, которые рано и успешно мимикрировали под некое сугубо специальное знание. Это де-факто юридическая морфология, именующая себя конституционализмом. Это политическая морфология, встроенная в становящийся почти безбрежным институционализм, исторически вырастающий из учений о формах правления.

Таким образом, при всей своей успешной экспансии морфология остается далекой не только от выработки общих методологических принципов и практик, но и от взаимного понимания между отдельными морфологиями – явными или скрытыми, некоторые из которых де-факто остаются герметическими.

Семиотика еще «моложе» морфологии, хотя некоторые ее идеи восходят к античным временам. В строгом смысле она возникла всего полтора столетия назад, если вести отсчет от систематики Чарльза Пирса, и всего семь десятилетий – если за отправную точку взять зрелые труды Чарльза Морриса. Именно им была сформулирована, но не решена задача создания «чистой» семиотики. И сегодня эта мечта Чарльза Морриса все еще далека от реализации, хотя некоторое подобие «моррисовского» аппарата принимается с большей или меньшей полнотой практически во всех семиотических субдисциплинах. В настоящее время семиотика встроена в инструментарию лингвистики, культурологии и искусствоведения, а также существует в виде политической семиотики, психосемиотики в виде, например, психосемантики, социальной и антропологической семиотики и др. Она оказалась способной консолидировать всего лишь ряд вполне развитых субдисциплин.

Каким же образом можно подойти к задаче очерчивания общих методологических контуров трех органонов-интеграторов? Возможны разные пути и их сочетание.

Можно идти мелкими шагами, соединяя близкие или вообще смежные дисциплины и субдисциплины. Дело это кропотливое, трудоемкое и очень долговременное. Оно не под силу отдельным коллективам, тем более одной команде исследователей. Тут требуется целая сеть взаимосвязанных проектов, постепенно, методично и точно заполняющих методологические лакуны и зазоры между дисциплинами.

Другой подход предполагает поиски и выявление фундаментальных оснований органонов благодаря очищению связанных с ними методологических практик от предметности, а также за счет концентрации на их общем инструментальном потенциале. При этом возникает развилка, за которой открываются две возможности. Одна состоит в том, чтобы выстраивать претендующие на универсализм рамки на основе чисто теоретических посылок, как это делается, например, в метаматематике. Другая заключается в том, чтобы попытаться пробиться к элементарным, а потому всеобщим, универсальным человеческим способностям, как это делает когнитивистика, а сегодня, на свой манер, также и нейронаука. Эти способности могут показаться примитивными, однако все они так или иначе используются в научных исследованиях в многократно усложненном и преобразованном виде.

Наконец, возможны промежуточные поиски, занимающие среднее положение между локальными и универсалистскими. В их основе лежат масштабные методологические синтезы дисциплин и субдисциплин, которые могут быть далеки друг от друга, но которые вовлечены в решение общих исследовательских проектов. Тут становятся возможны неочевидные методологические решения, которые при всей своей конкретности связаны с очень широкими и общезначимыми исследовательскими способностями.

Следует, конечно, использовать все эти четыре типа подходов во всех их возможных разновидностях. Вопрос в том, что по силам нашему Центру перспективных методологий и ежегоднику МЕТОД.

Фундаментальные познавательные способности

В нынешние времена задача выявить базовые, а значит, всеобщие человеческие способности начинает превращаться из теоретико-философской во вполне эмпирическую и даже экспериментальную. Организмы людей и других живых существ ограничены в своих возможностях. Однако эти ограничения и являются отправным моментом и для жизнедеятельности в целом, и для развития способности и готовности к действию – в перспективе сознательному.

У людей есть по меньшей мере пять чувств. С их помощью можно или видеть, или слышать, или еще каким-то образом ощущать свое существование. Поступающие возбуждения преобразуются в восприятия. Наши сенсорииумы, седалища ощущений, отсеивают «шумы» и сохраняют ценное и важное для нас. С этого все начинается. Именно в сенсорииумах формируются зачатки способностей, которые со временем становятся когнитивными. Как это происходит, пока большая загадка. Над ее решением работают нейронаука и некоторые другие отрасли когнитивистики. Во всяком случае, сейчас все большее число коллег не устраивает простая констатация в духе Хомского, что наши когнитивные, а тем более языковые способности являются просто врожденными.

В ходе наших дискуссий в Центре, а также в ходе бесед с более компетентными коллегами-когнитивистами у нас появились смутные, но вдохновляющие нас предположения о возможностях выращивания мыслительных способностей – и научных методологий в конечном счете – из нашей биологической чувственности. У нас есть по крайней мере пять, а может быть, и больше сенсорииумов – с учетом безотчетного для большинства людей чувства гравитации, атмосферного давления, электромагнитных полей, включая геомагнитное поле нашей планеты. Вероятно, для дальнейшего отсеивания «шумов» и концентрации полезной информации о нашей внешней и внутренней среде могут формироваться новые сенсорииумы второго порядка. Скажем, передача отсортированной уже информации с сетчатки глаза в нервную систему осуществляется также избирательно. До нервной системы и мозга доходят буквально доли процента информации. И даже та, что была считана, используется избирательно, неполно и, можно сказать, предвзято. Однако сами это ограничения превращаются в способность отбраковывать огромную массу несущественной информации (см. подробнее: [Ильин, 2016]). Так, вероятно, и возникают сенсорииумы второго порядка, которые уже не только сенсорииумы, но также и процессоры-сортировщики в придачу.

К проблематике подобного рода и к ее значению для методологии социально-гуманитарных исследований мы уже обращались в предыдущем выпуске МЕТОДа, посвященном способам представления знаний. Не беремся судить, что происходит дальше, в головном мозге. Это сфера нейронауки. Можем только предположить, что там по аналогии возникают еще более тонкие процессоры, может быть, даже выстраиваются их цепочки, передающие информацию, как эстафету, друг другу. Весьма вероятно, что тут важную роль играют зеркальные нейроны. Информация может копироваться и неоднократно проверяться, «просеиваться». Исходный «биологический» мозг дополняется «социальным», а также «экологическим» мозгом, становится биосоциально-экологическим (см. реферат «К натуралистической теории коммуникации и происхождения языка» в наст. изд.).

Вне зависимости от деталей и фактических результатов эволюции высшей нервной деятельности людей просматриваются общие принципы

развития, которые как раз и важны нам в процессе поиска истоков базовых когнитивных способностей, а значит, и оснований, рамочных контуров для органонов-интеграторов научного познания. Можно полагать, что возникающие в ходе эволюции когнитивные способности образуют ядро или даже ядра своего инструментального использования.

В ходе обсуждений мы предположили, что ядра образуются на базе специфических сенсориумов и обеспечивают консолидацию соответствующих комплексов человеческих способностей. Отсюда проистекают индивидуальные таланты людей, обладающих непревзойденным голосом, слухом, обонянием и т.п. Можно высказать еще более смелое предположение, что на более продвинутых этапах развития человеческого поведения, связанных с формированием мышления и речи, появляются новые собственно когнитивные ядра. Побудительными моментами их образования служат уже не столько телесные ограничения-возможности, сколько ориентация на результаты когнитивной деятельности.

Ядра слоисты. В самой их глубине лежат самые первые и простые способности, затем – слой за слоем полученные в ходе эволюции. Они закрепляются уже как инструментальные (методологические в пределе) интеллектуальные или когнитивные способности.

Откуда эти способности берутся? Из крайне подвижной и эфемерной внешней обволакивающей поверхности самих процессов когниции, речемышления, отдельных развитых практик мышления и речи. Эта оболочка включает случайные усилия, работающие по принципу проб и ошибок.

Ядро и оболочка возникают, вероятно, в общей нерасчлененной рече-мыслительной деятельности в виде «зеркаленья», «отражения» (вспомним марксизм), петель обратной связи, припоминания-узнавания, рекурсии как зародыша рефлексивности, а тем самым – позднейшей синтетической медитации и аналитической рефлексии.

Затем, на каком-то очень раннем этапе, начинается специализация в зависимости от типа практик, их сенсорного наполнения, а главное – ориентации на полезный результат. Специфическая сенсорика, сенсорная субстанция становится материей и источником рече-мыслительных практик, нацеленных на эффективную коммуникацию. Соответствующие усилия «зеркалят» субстанцию, умножают и рекурсивно соединяют в новые комбинации.

Субстанция, на которой фиксируется внимание, может восприниматься с точки зрения полезного результата, например, градуированная относительно размера, силы, веса, вкуса, громкости, яркости и т.п. Тогда появляются конкретные различия относительных количеств (больше – меньше) или качеств, потом их разного рода заменители, репрезентации, аналитические «различители» и, наконец, более изощренные образования – числа, множества или иные меры, а в конце концов зарождаются способности сосчитать или измерить.

Аналогичным образом отдельные моменты сенсорных субстанций (зрительных, звуковых, тактильных, вкусовых и т.п.) могут отождествляться с самими собой или с равными себе. В результате конкретные ситуативные (индивидуальные) отождествления порождают образы, затем их разного рода заменители, репрезентации, синтезирующие «отождествляторы», потом иконы, индексы, символы и т.п., затем знаки и их смыслы для семиотики.

Точно так же отдельные моменты сенсорных субстанций (зрительных, звуковых, тактильных, вкусовых и т.п.) могут различаться, но соотноситься, сравниваться, образуя ряды сходств и различий. Тогда конкретные сенсорные явления, затем их разного рода заменители и аналоги – пусть даже существенно отличные друг от друга, – репрезентации, «припоминания», превращаются в ряды конфигураций (будущие парадигмы), «облики» и, наконец, формы.

Накладывание на ядра все новых оболочек, превращение их в периферии, наложение новых оболочек и бесконечное продолжение наращивания «снежного кома» ведет к «отжиманию» ядра, его все более четкой структуризации. Можно догадываться, что обратные импульсы из ядра структурируют весь наш интеллект, который становится все более сложным. Эти обратные воздействия, очевидно, не могут быть преобладающими. Основная масса сосредоточена в обволакивающих оболочках «свежей» субстанции. Ядро же «десубстантивизировано», оно подвергается виртуализации, или очищению, в нашей терминологии.

Особый интерес для нас представляют собственно когнитивные ядра, сформировавшиеся и развивающиеся, как мы думаем, благодаря ориентации на результаты когнитивной деятельности. Что это за вторичные, собственно когнитивные ядра, обеспечивающие целенаправленную собственно человеческую деятельность? Точного или, во всяком случае, научно обоснованного ответа когнитивистика пока не дает. Мы, однако, рискуем поторопиться и высказать крайне смелое предположение, что они связаны с освоением людьми мерных порядков, форм и смыслов.

Три трансдисциплинарных органа изучения мерных порядков, форм и смыслов

Итак, теперь обратимся к нашему предмету – большим трансдисциплинарным комплексам научных методов – с еще одной стороны. Мы взглянули на него с точки зрения исследовательской практики и сложившегося дисциплинарного членения. Затем рассмотрели под углом зрения базовых когнитивных способностей. Теперь настал черед обратиться к их связям с исследовательскими установками и ожидаемыми результатами. И здесь нашим подспорьем становится замечательная традиция систематического анализа когнитивных способностей в философии и логике.

Ключевой фигурой здесь является Иммануил Кант, а содержательной точкой опоры – различение мыслительных способностей, связанных с чистым и практическим разумом, а также со способностью суждения.

В третьей из своих критик Кант приводит сводную таблицу обобщенных способностей души (*Gesamte Vermögen des Gemüts*) [Kant, 1913, S. 198; Кант, 1966, с. 199]. Мы бы теперь сказали – когнитивных способностей в широком смысле. Кант выделяет три разновидности способностей: собственно познавательные, чувство удовольствия и неудовольствия и способность желания. Каждую из этих способностей он соотносит с присущим ей априорным принципом и с предметом применения соответствующей способности. Вот эта таблица.

Таблица 1

Способности души в совокупности	Познавательные способности	Априорные принципы	Применение к
Познавательные способности	Рассудок	Закономерность	природе
Чувство удовольствия и неудовольствия	Способность суждения	Целесообразность	искусству
Способность желания	Разум	Конечная цель	свободе

Попробуем дать свою трактовку кантовского членения, развернув ее к нашей проблематике трансдисциплинарных (универсальных, по Канту) методов научного исследования.

Первой познавательной способностью является рассудок (*Verstand*). Он обращен к природе (*Natur*), реальности, миру вещей. Рассудок использует априорный принцип закономерности (*Gesetzmäßigkeit*). В развитие кантовской логики отметим, что он основан на мере и нацелен на изучение мерных порядков. Естественно, его предельным научным выражением становится математика.

Нашим вторым когнитивным могуществом является способность суждения (*Urteilkraft*). По Канту, она обращена к искусству (*Kunst*) в самом широком смысле, т.е. к созданию человеческих артефактов, к действительности. Ее принцип – целесообразность (*Zweckmäßigkeit*), что явственно перекликается с политической стороной жизни, с целедостижением. Соответственно, основанием выступает форма и научным выражением – морфология.

Третья способность – разум (*Vernunft*). Он обращен к свободе (*Freiheit*). Его априорным принципом является конечная цель (*Endzweck*). В таком случае – снова дополним Канта – его основание составляет смысл, а научное выражение – семиотика.

Дополним теперь кантовскую таблицу своими расширениями.

Таблица 2

У Канта				У нас	
Способности души в совокупности	Познавательные способности	Априорные принципы	Применение к	Основание	Органоны
Познавательные способности	Рассудок	Закономерность	природе	Мера	Математика
Чувство удовольствия и неудовольствия	Способность суждения	Целесообразность	искусству	Форма	Морфология
Способность желания	Разум	Конечная цель	свободе	Смысл	Семиотика

Настроенные скептически коллеги, а особенно коллеги, склонные к методологическому скептицизму или даже агностицизму, объявят и данную таблицу, и стоящие за ней аналитические построения пустым умствованием. Не будем вступать в спор. Он потребовал бы отдельного и весьма трудоемкого теоретического обоснования. Ограничимся лишь указанием на то, что и само кантовское членение, и его критики, и наше дополнение находят подкрепление в весьма сходных попытках дать чисто теоретическое представление о совокупных способностях человеческого мышления.

Вот лишь два примера. Оба вполне самостоятельны. Один принадлежит Джону Локку, а другой – Чарльзу Сэндерсу Пирсу.

Свой «Опыт о человеческом разумении» (1690) Локк завершает главой о разделении наук. Он выделяет три ветви познания как такового. Это физика – «знание о вещах» (the knowledge of things). Это практика – «умением правильно прилагать наши силы и действия для достижения благих и полезных вещей» (the skill of right applying our own powers and actions, for the attainment of things good and useful). Это, наконец, семиотика (Semeiotike) как «учение о знаках» (the doctrine of signs) [Locke, 1995, IV:XXI; Локк, 1985, с. 200–201].

В своей ранней работе 1865 г. «Телеологическая логика» Пирс разделил всю науку на три большие разновидности: позитивную науку (изучение вещей), семиотику (изучение представлений) и формальную науку (изучение форм) [Peirce, 1982, p. 303–304]. В более поздних работах он идет еще дальше и в развитие кантовских идей выделяет нечто более абстрактное и удобное для аналитической работы, чем обобщенные способности души. Это фундаментальные категории: первичность (firstness), или непосредственное качество ощущения; вторичность (secondness), или дуальность факта; взаимодействие субъекта и объекта, третичность (thirdness), или медиация, посредование [Пирс, 2000, с. 163].

В своем письме к замечательной английской мыслительнице, создательнице сигнифики, особой версии семиотики, леди Виктори Уэлби он

поясняет связь своих фундаментальных «ксенопифагорейских категорий» с философской традицией. Они, пишет Пирс, «несомненно, являются попыткой охарактеризовать то, что пытался охарактеризовать Гегель как три стадии мысли. Они также соответствуют трем категориям каждой из четырех триад Кантовой таблицы». Это как раз те категории и триады, о которых только что шла речь выше. И далее Пирс продолжает: «Но тот факт, что эти три различные попытки были сделаны независимо друг от друга (сходство указанных категорий с гегелевскими стадиями оставалось незамеченным еще в течение многих лет после того, как их список был продуман, в силу моей антипатии к Гегелю), лишь еще раз подтверждает, что эти три элемента существуют в действительности» [Пирс, 2000, с. 164]. Итак, пирсовские категории при всей их абстрактности, кантовские обобщенные способности души и локковские универсальные науки существуют в действительности. Причем существуют они куда надежнее, чем преходящие факты и явления, при всей конкретности и даже осязаемости последних. Чем же оборачиваются для нас, современных людей науки, эти три универсалии? Тремя методологическими органами – интеграторами познания. Это математика, познание мер и искусство различных измерений вещей. Это морфология, познание форм и искусство выявления отношений и их конфигураций. Это семиотика, познание смыслов и искусство передачи смыслов, посредования, коммуникации. В конечном счете это искусство превращения вещей и форм в наше человеческое осмысленное достояние, их присвоение и тем самым освобождение, делание своим.

Обращение к еще более широкому кругу теоретической и науковедческой литературы, а также наши собственные разработки подтверждают, что интеллектуальная деятельность и научные методологии так или иначе развивают фундаментальные познавательные способности, связанные с освоением размерностей, смыслов и форм жизненных явлений.

Соблазнительно провести аналогию между трихотомической структурой органов, которую наметили И. Кант, Ч.С. Пирс и другие выдающиеся умы, и нынешним грубым различием количественных, качественных и «смешанных» методов. Критически проверить эту аналогию, выявить действительные сходства, различия и прочие соотношения между морфологией и конфигуративными методами, семиотикой и качественными методами – дело последующих исследований. Это тем более так, поскольку было бы преждевременно ожидать быстрой интеграции целостных областей морфологии или семиотики. Более прагматично сосредоточиться на консолидации отдельных ключевых ядер. В их числе – преобразование неонституционалистских парадигм в морфологические, соединение биологических и лингвистических морфологий, а также развитие биосемиотики и биополитики.

Точки методологического роста

Теперь настала пора обратиться к состоявшимся или только намечающимся, но вполне реальным проектам методологической интеграции в относительно скромных масштабах нескольких дисциплин, порой даже 2–3, но связанных с проявлением потенциала органонов-интеграторов. Впрочем, не менее важным было бы критически переосмыслить сложившиеся дисциплинарные и субдисциплинарные методологии под углом знания морфологии и семиотики¹.

Одна из наиболее важных задач подобного рода – это «возвращение» в сферу морфологии разного рода институционализмов и структурализмов. Собственно, они там были лишь в принципиальном методологическом смысле, который только начинает проясняться. Не более того. Фактически же связь с морфологией как особым способом мышления и методологической парадигмой никем из представителей соответствующих субдисциплин и школ, насколько нам известно, не только не артикулировалась, но и не сознавалась.

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что попытки приступить к решению данной задачи будут равносильны настоящей революции в социальных науках, скорее даже целой серии революций, если учитывать многообразие институционализмов и структурализмов, многочисленность и своеобразие их дисциплинарных вариантов, а также версий различных школ и даже отдельных авторов. Трудно ожидать, разумеется, больше 2–3 попыток методологического переворота или в лучшем случае подобия путчей. Однако мы вполне сознательно нацелены на то, чтобы предпринять нечто подобное в политической науке. Фактически подготовка подобного переворота, а точнее, превращения исторического институционализма в эволюционный институционализм и затем в эволюционную морфологию политики уже начата нашим немецким коллегой и автором МЕТОДа Вернером Патцельтом [Патцельт, 2015]. Не чужд подобных революционных устремлений один из авторов данной статьи, еще с середины 1990-х годов разрабатывающий методологию хронополитического анализа [Ильин, 1995] и в последние годы открыто признающий свое морфологическое первородство. В прошлом году на Всемирном конгрессе политической науки в Познани М.В. Ильин и его молодая коллега А.В. Самородова сделали доклад о новых подходах к морфологическому анализу политического развития.

Не менее амбициозной могла бы стать задача выработки интерфейса между наиболее развитыми традициями дисциплинарного освоения морфо-

¹ В значительной степени именно этими идеями вдохновлен проект «Трансфер знаний и конвергенция методологических традиций: Опыт междисциплинарной интеграции политических, биологических и лингвистических исследований», который начинает осуществляться в этом году в нашем Центре при поддержке Российского научного фонда (№17-18-01536).

логии, например лингвистической и биологической. Определенные возможности открываются, по нашему мнению, при соотнесении и взаимном переосмыслении методологических подходов сравнительно-исторического языкознания и эволюционной биологии развития. Весьма многообещающей была бы выработка для начала перевода ключевых понятий и принципов с одного методологического языка на другой. Можно было бы предпринять также более широкую по дисциплинарному охвату попытку морфологического переосмысления социальных и биологических трансформаций в терминах внутренней и внешней формы, дивергенции и конвергенции.

Попутной, но крайне серьезной и трудоемкой задачей было бы изучение «зеркальных» когнитивных схем, используемых в биологии и социальных науках, которые отражаются, например, в биологической метафоре «государства клеток» и социальной «общественного организма».

Семиотика также способна немало предложить для методологической рационализации отдельных направлений социальных исследований и придания их эклектичным методам и методикам, сильно отягощенным довольно случайными и даже произвольными предметными искажениями, целостности и последовательности. Один из очевидных примеров связан с консолидацией методологических оснований для такого бурно развивающегося направления, как политика памяти. Другая возможность предполагает рационализацию анализа изменений и трансформаций политических режимов и порядков с использованием аппарата семиотики и отдельных приемов критического анализа дискурсов, связанного, например, с изучением политических нарративов и перформативов, а также мультимодального анализа социальной коммуникации. Впрочем, хорошей площадкой для соответствующего методологического интерфейса могла бы быть социальная семиотика.

Важнейшим, во многих отношениях прорывным направлением методологических новаций уже в течение ряда лет является биосемиотика. В настоящее время это уже вполне сложившаяся область междисциплинарного интерфейса биологии и семиотики, внутри которой вполне отчетливо формируются направления научного поиска, своего рода субдисциплины.

Одно такое направление связано с лингвистическим прочтением генетического кода, восходящее еще к идеям Романа Jakobson [Jakobson, 1970]. Важным вкладом в эту традицию стали работы нашего постоянного автора С.Т. Золяна, а также Калеви Кулля, реферат статьи которого публикуется в нынешнем выпуске МЕТОДа.

Другим важным направлением биосемиотики является изучение информационного обмена, «коммуникации» живых организмов разного рода и их экосистем. Здесь также существует огромное поле для взаимодействия и выработки собственно семиотического инструментария анализа.

Отчасти пересекается с проблематикой биосемиотики – или, скорее, дополняет ее – биополитика. Она включает по меньшей мере пять основных направлений или «рубрик», как показывает М. Кеестра (см. реферат в

нынешнем выпуске): вариант «более биологически ориентированной политической науки»; касающиеся биологии вопросы публичной политики; физиологические параметры политических взглядов и поведения; влияние физиологических факторов на политическое поведение; унаследованные людьми эволюционные качества, которые имеют значение для политики.

Отметим, что С.Т. Золян в настоящее время выступил с новой научной идеей, которая связана с трактовкой текста в широком семиотическом понимании как организма и организма как текста. Это позволяет, по его мнению, рассматривать семиотику именно как модель (язык) организации саморазвивающихся систем, а метасемиотику – как конвертирующую систему, способную преобразовывать описания различных саморазвивающихся систем в инвариантных форме, обладающих изоморфизмом. Здесь намечается интерфейс не только биологии с социальными науками, но также семиотики и морфологии. Ядром же интерфейса становится изучение способов «перевода». К данной проблематике подводит нас и статья самого С.Т. Золяна в данном выпуске, и целая рубрика, посвященная трансферу знаний в современных социальных и гуманитарных науках. Однако об этом подробнее в следующем разделе о структуре нынешнего выпуска.

Состав ежегодника

В открывающей номер рубрике «Методологические альтернативы» представлены четыре материала. Первые два продолжают и развивают это введение. Иван Фомин в своей статье обсуждает историю расширения предметных границ семиотики и динамику ее становления в качестве трансдисциплинарной методологии. Владимир Авдонин предлагает применить парадигму когнитивистики в исследовании математики (математического органа), предварительно протестировав в этом плане также и метаматематический подход. В получившемся сопоставлении он видит определенные преимущества, которые может дать «скрещивающее наложение» обоих подходов.

В записи выступления в Центре известного российского исследователя в области философии науки и техники Владимира Буданова проблема трансдисциплинарности предстает скорее в традиционном ключе. Этот философ достаточно скептичен – трансдисциплинарность, междисциплинарность в науке – весьма проблемны, тон пока продолжает задавать дисциплинарная наука, которая не собирается уступать свои позиции.

Рубрику завершает состоявшаяся в сентябре 2016 г. в ИНИОН РАН лекция В.И. Моисеева, посвященная возможностям выработки логики трансдисциплинарной интеграции на основе философии всеединства.

Следующая рубрика посвящена трансферу знания. Ее открывает статья известного нидерландского ученого, президента Ассоциации междисциплинарных исследований М. Кеестры «Как нарративы и мозг обо-

одно влияют друг на друга. Использование “нейронаучного поворота” и “нарративного поворота” в объяснении биополитических порядков». Мы знакомим читателей МЕТОДа также с текстами из масштабной коллективной монографии, посвященной проблемам семиотики трансферов. В двух публикуемых фрагментах В.И. Постовалова и В.З. Демьянков детально систематизируют принципы и техники «перевода» знаний между языками различных дисциплин.

Эта тема получает дальнейшее развитие и конкретизацию в статье С.Т. Золяна «Неопределенность и множественность перевода как проекция динамической семантики текста». Он рассматривает различные подходы к переводимости, а значит, и трансферу, на, казалось бы, хорошо исследованном и традиционном материале – это межъязыковой перевод. Золян развивает высказанную еще 1813 г. Ф. Шлейермахером идею о том, что пределы переводимости, равно как и критерии, по которым оценивается перевод, будут различаться в зависимости от метода и не сводимы к единой обобщающей теории. Эти идеи получили известность как принцип неопределенности перевода (Виллард Куайн), причем принято считать, что они относятся скорее к вопросам конгруэнтности научных теорий. В статье предлагается «метатеория переводоведческой относительности» как средство соотнесения методологически принципиально различающихся и взаимодополняющих концепций – лингвистических, семиотических и герменевтических, – сближающихся на основе семейного сходства теорий. При этом «непереводимость» из ограничения становится ресурсом для порождения новых смыслов.

В нашей когнитивистской рубрике в центре внимания – соотношения мышления и речи. Мы публикуем статью давнего члена интеллектуального круга нашего центра В.Ф. Петренко «Психосемантические методы анализа политического менталитета общества». За ней следует статья новых авторов МЕТОДа М.Ю. Походая и А.В. Мячикова «Роль системы внимания в порождении речи». Рубрику завершает серия рефератов, посвященных современным исследованиям биологических и социальных оснований коммуникации.

Нашу семиотическую рубрику открывает своего рода манифест вице-президента Международной ассоциации семиотических исследований Ли Ючжэна, посвященный проблемам и перспективам становления общей семиотики в роли интегрирующей научной методологии. За ней следует реферат опубликованного в 2015 г. фундаментального «Международного справочника по семиотике». Этот масштабный многостраничный труд охватывает широкий комплекс вопросов – от обсуждения проблем развития общей семиотики до насыщенных семиотик различных предметных областей.

Продолжают тему три материала, иллюстрирующие возможности использования семиотического аппарата в самых разных предметных областях: от педагогики и политической науки – и до биологии. Это принципиальная методологическая статья большого коллектива авторов, состав-

ляющих своего рода ядро мощно развивающегося научного направления мультимодального анализа. Далее следует сводный реферат о биосемиотике. Наконец, завершает рубрику статья нашего давнего коллеги Поля Чилтона, с творчеством которого читатели МЕТОДа продолжают знакомиться.

Традиционную для МЕТОДа роккановскую лекцию представляет активный участник нашего Центра, блестящий и многосторонний ученый А.В. Коротяев. Он рассказывает о том, как превратить известную «проблему Гэлтона» в важный методологический актив за счет использования сетевой автокорреляции.

В нашем традиционном «Интеллектуальном архиве на завтра» публикуется методологически очень полезный, на наш взгляд, фрагмент из работы немецкого политолога и методолога Клауса Шуберта «Инновации и порядок», вызвавшей в свое время дискуссии среди немецких политологов и социологов. Шуберт предложил не очень распространенное в Европе прагматическое обоснование теории политики с опорой именно на классиков американского философского прагматизма – Ч. Пирса, У. Джеймса, Дж. Дьюи и др. В заключительной главе своей работы, которая и представлена в нашем номере впервые в переводе на русский язык, выполненном С. Климовичем, Шуберт показывает, какие следствия прагматический подход может иметь непосредственно в сфере методов политических и социальных исследований.

В нашей «Библиографической лоции» дано реферативное изложение теории социального морфогенеза и рефлексивности Маргарет Арчер, а также аннотированная библиография ее основных работ.

Там же мы представляем только что вышедшую книгу Вадима Цымбурского, его *magnum opus*, восстановленную по оставшимся рукописным заметкам большую часть его докторской диссертации о морфологии российской геополитики и развитию международных систем.

Желаем нашим читателям найти в ежегоднике немало полезного для своей работы и ожидаем отклика в виде обратной связи. Включайтесь в работу нашего Центра перспективных методологий и ежегодника МЕТОД.

Список литературы

- Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2010. – Вып. 1. – С. 360–412.
- Ильин М.В. Очерки хронополитической типологии. Ч. 1. – М.: МГИМО, 1995. – 112 с.
- Ильин М.В. «Объективность» реальности и «субъективность» действительности: Краткий комментарий к статьям М. Вебера и К. Палонена // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2010. – Вып. 1. – С. 434–437.
- М.В. Ильин. Методологический вызов. Как вообразить еще не познанное? Как понять самому и представить другим познаваемое? // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2016. – Вып. 6. – С. 6–12.

- Золян С.Т.* Семиотика как органон гуманитарного знания: Возможности и ограничения // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2015. – Вып. 6: Способы представления знаний. – С. 74–89.
- Кант И.* Сочинения: в 6 т. – М.: АН СССР: Мысль, 1966. – Т. 5. – 564 с.
- Палонен К.* «Объективность» как «честная игра». Веберовское переопределение нормативного понятия // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2010. – Вып. 1. – С. 413–433.
- Локк Дж.* Сочинения: в 3 т. – М.: Мысль, 1985. – Т. 2. – 560 с.
- Патцельт В.Дж.* Проблематичный интерфейс: Биология и сравнительная политология // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2016. – Вып. 6. – С. 13–32.
- Пирс Ч.С.* Избранные философские произведения. – М.: Логос, 2000. – 448 с.
- Пришеворский А.* Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. – М.: РОССПЭН, 1999. – 319 с.
- Трансдисциплинарные органы гуманитарного знания: Дискуссия на пленарном заседании «Интеграция гуманитарных и естественно-научных знаний: Информационные подходы» Седьмых гуманитарных чтений РГГУ // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2015. – Вып. 6. – С. 109–117.
- Churchill W.* Speech, House of Commons, November 11, 1947 // Winston S. Churchill: His Complete Speeches, 1897–1963 / Ed. Robert Rhodes James. – N.Y.: Chelsea House Publishers, 1974. – Vol. 7. – P. 7566.
- His Majesties Answer to the XIX Propositions of Both Houses of Parliament. – London: Rob. Barker a. by the Assignes of J. Bill, 1642. – 30 p.
- Jakobson R.* Linguistics. Relationship between the science of language and other sciences. Main trends of research in the social and human sciences. – The Hague: Mouton, 1970. – P. 419–453.
- Kant I.* Kritik der praktischen Vernunft // Kant I. Gesammelte Schriften. – Berlin: Reimer, 1913. – S. 1–163.
- Locke J.* An essay concerning human understanding. – Amherst, N.Y.: Prometheus books, 1995. – 624 p.
- Peirce C.S.* Writings of Charles S. Peirce: A chronological edition. – Bloomington: Indiana univ. press, 1982. – Vol. 1: 1857–1866. – 736 p.
- Przeworski A.* Democracy and the market: Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1991. – 210 p.
- Rothschild F.S.* Laws of symbolic mediation in the dynamics of self and personality // Annals of New York Academy of sciences. – N.Y., 1962. – 96. – P. 774–784.
- Tilly Ch.* Contention and democracy in Europe, 1650–2000. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – 305 p.
- Weston C.C.* Beginnings of the classical theory of the english Constitution // Proceedings of the American Philosophical Society. – Philadelphia, 1956. – Vol. 100, N 2. – P. 133–144.
- Weston C.C.* English constitutional doctrines from the fifteenth century to the seventeenth: II. The theory of mixed monarchy under Charles I and after // The English Historical Review. – L., 1960. – Vol. 75, N 296. – P. 426–443.
- Weston C.C.* English constitutional theory and the House of Lords 1556–1832. – L.: Routledge, 2010. – 304 p.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

И.В. Фомин¹

СЕМИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТИР: СКВОЗЬ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ И ГРАНИЦЫ ДИСЦИПЛИН

Тема этого выпуска ежегодника МЕТОД – трансдисциплинарные методы в обществоведении. Он, однако, не открывает, а скорее продолжает дискуссию по этой теме, которая уже велась на страницах издания в предыдущие годы. Все большее дробление и все более выраженная консолидация отдельных предметно специализированных «мини-дисциплин», присущие современному состоянию науки, побуждали авторов МЕТОДа ставить вопросы о возможностях интеграции научного знания поверх такого рода размежеваний и сквозь них [Ильин, 2014; Авдонин, 2014 а; 2014 b; 2015; Коротчаев, 2014; Кокарев, 2014; Розов, 2014; Трансдисциплинарные... 2016 и др.]. При этом зачастую поиск инструментов трансдисциплинарной интеграции шел именно в области методологии. В числе интегрирующих инструментариев, которые могли бы выступить языками, объединяющими разрозненные предметные области, наряду с математикой [Ильин, 2014; Круглый стол... 2014; Авдонин, 2016], трансдисциплинарный потенциал которой сегодня проявлен наиболее отчетливо, обсуждались также и возможности других претендентов. В этом качестве рассматривались морфология, компаративистика, тектология, логика, когнитивная наука и другие области знания. Одно из центральных мест в их ряду стабильно занимала семиотика [Ильин, 2014; Круглый стол... 2014; Фомин, 2014; 2015 b; Золян, 2016 и др.].

Представления о семиотике как об одном из оснований всякого человеческого познания можно обнаружить уже у классиков современной науки и философии. Так, Джон Локк, ставший первым, кто использовал слово *семиотика* в смысле, близком к современному², в своем «Опыте о

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (РФФИ) в рамках научного проекта № 16-23-20009 «Семиотика политического дискурса: трансдисциплинарный подход».

² Существует также более ранняя традиция использования слова *семиотика* для обозначения учения о симптомах в рамках медицины. Эта медицинская ветвь исторически

человеческом разумении» писал, что семиотика (*Semeiotike*) – как «учение о знаках» (the doctrine of signs) – составляет одну из трех ветвей познания как такового наряду с *физикой* – «знанием о вещах» (the knowledge of things) и *практикой* – «умением правильно прилагать наши силы и действия для достижения благих и полезных вещей» (the skill of right applying our own powers and actions, for the attainment of things good and useful). Согласно Локку, задача семиотики – «рассмотреть природу знаков, которыми ум пользуется для уразумения вещей или для передачи своего знания другим». При этом Локк использует слова *логика* и *семиотика* как синонимы: «Так как наиболее обычные знаки – это слова, то семиотику довольно удачно называют также *λογική* – “логика”» [Локк, 1985, с. 200–201; Locke, 1995, р. IV:XXI].

О метанаучном потенциале семиотики также писал в начале XX в. американский философ Чарльз Уильям Моррис, отмечая, что семиотика должна занять двойственное положение в системе наук: с одной стороны – стать «наукой в ряду других наук», с другой – взять на себя роль унифицирующего метанаучного «органона», который «закладывает основы любой другой частной науки о знаках» [Morris, 1938, р. 2; Моррис, 1983, с. 38]. Обзору процессов становления семиотики по этим двум векторам и посвящен настоящий текст.

Семиотика до семиотики

Задача изложения истории развития семиотики как «науки в ряду других наук» осложняется отсутствием у нее – отчасти именно ввиду трансдисциплинарного ее характера – выраженных границ. И если историю термина *семиотика* проследить можно достаточно точно – пионером, как уже было указано выше, здесь является Джон Локк, – то история семиотических идей уходит намного дальше в глубину веков, пронизывая корнями античные и средневековые сочинения по философии, логике и грамматике.

Историки семиотики относят к числу ее античных предтеч греко-римского периода Гераклита и Парменида, Горгия, Платона и Аристотеля, стоиков и эпикурейцев, а также Порфирия, Блаженного Августина и Боэция, Варрона, Цицерона, Квинтилиана, Геллия и Лукреция [см.: Nöth, 1990, р. 14–17; Oehler, 1982; Скрипник, 2011 и др.]. Так, например, уже Аристотель в своем сочинении «Об истолковании» – вполне в духе семиотики – заключает: «[Г]о, что в звукосочетаниях, – это знаки представлений в душе, а письмена – знаки того, что в звукосочетаниях. Подобно тому как письмена не одни и те же у всех [людей], так и звукосочетания не одни

восходит к римскому медику Галену, предложившему называть *семиозисом* процесс медицинской диагностики [Nöth, 1990, р. 13].

и те же. Однако представления в душе, непосредственные знаки которых суть то, что в звукосочетаниях, у всех [людей] одни и те же, точно так же одни и те же и предметы, подобия которых суть представления. [...] Имя есть такое звукосочетание с условленным значением безотносительно ко времени, ни одна часть которого отдельно от другого ничего не означает. [...] [Имена] имеют значение в силу соглашения, ведь от природы нет никакого имени. А [возникает имя], когда становится знаком, ибо членораздельные звуки хотя и выражают что-то, как, например, у животных, но ни один из этих звуков не есть имя» [Аристотель, с. 93–94].

Что касается Средневековья, то как элемент семиотики этого периода можно рассмотреть, например, схоластический спор об универсалиях. В рамках него были проблематизированы онтологический статус и соотношение знаков, сигнифицирующих общие (универсальные) концепты, и их референтов. По мнению исследователя схоластики Джона П. Дойла, выдающимся семиотическим трудом средневекового периода является трактат коимбрских иезуитов, которые, комментируя «Об истолковании» Аристотеля, ставили вопросы о природе и классификации знаков [Дойл, 2002].

Особое внимание историки средневековой семиотики обращают также на схоластическую теорию суппозиций. Схоласты полагали, что посредством суппозиции предикат устанавливает связь с действительностью и суждение получает истинностное значение. *Суппозиция* в рамках этой теории понималась как контекстуальное значение, противопоставляясь *сигнификации* (*significatio*) – значению, не зависимому от контекста [Nöth, 1990, p. 17–18; Арутюнова, 1998, с. 274].

Схоластами выделялись многочисленные виды суппозиции в рамках различных ее классификаций. Так, например, Оккам (1285–1347) говорил о трех основных ее видах: персональной, простой и материальной суппозициях. *Персональная суппозиция* (*suppositio personalis*) – отнесение термина к обозначаемому объекту («термин подразумевает обозначаемое им и выступает как обозначающий») (напр.: «Человек бежит»). *Простая суппозиция* (*suppositio simplex*) – отнесение термина к понятию (к «интенции души») (напр.: «Человек есть вид»). *Материальная суппозиция* (*suppositio materialis*) – «когда термин не подразумевает как обозначающий, но подразумевает слово произнесенное либо написанное»; в этом случае термин «под подразумевает самого себя, и тем не менее он не обозначает самого себя» (напр.: «Человек есть имя») [Оккам, 2002, с. 31–35; Апполонов, 2002, с. xix–xxiii].

Также в качестве элемента средневековой семиотики может быть рассмотрена грамматическая теория *модусов обозначения* (*modi significandi*). Основанием ее служило различение трех лингвистических аспектов: *понятия* (*intellectus*), *звучания* (*vox*) и подразумеваемой *вещи* (*res*), которым соответствовали три категории модусов – *modus intelligendi* (*модусы понятия*), *modus significandi* (*модусы обозначения*) и *modus essendi* (*модусы существования*) [цит. по: Nöth, 1990, p. 19; Арутюнова, 1998, с. 274; также см.: Перельмутер, 1991].

Что касается эпохи Возрождения, то в качестве центральной, хотя и не единственной фигуры в историографии семиотики этого периода стоит назвать Жуана Пуансо (Иоанна Св. Фомы)¹ (1589–1644). Как отмечает Джон Дили, именно Пуансо в своем «Трактате о знаках» (*Tractatus de Signis*, 1632) [Poinsot, 1985] впервые заложил единую систематическую основу для семиотических исследований [Deely, 1994, p. 545]. Знак был определен Пуансо как такое отношение, которое существует, когда нечто представляет что-то другое, находясь в отношениях с тем, что оно представляет, и с тем, для кого оно представляет [Murphy, 1991, p. 37]. И хотя все знаки существуют только в опыте живых существ, связь между знаками и тем, что они обозначают, иногда укоренена за пределами конкретного опыта (таковы укороченные в физических, химических и биологических отношениях *естественные знаки*), в других же случаях эта связь может не иметь никакой реальности, кроме той, что она обретает в силу социальной интеракции (таковы специально придуманные *условные знаки* и действующие в силу социальной привычки *обычные знаки*). Исходя из этого Пуансо избирает в качестве отправной точки для своей общей семиотической концепции позицию за пределами разделения на существующее независимо от ума и на существующее в уме. Для Пуансо знак оказывается одновременно и естественным, и социальным. Философ делает заключение о том, что знаки возможны в силу относительного своего характера, не связанного с тем, в уме или в природе находится то, между чем выстраиваются знаковые отношения. Это, как указывает Джон Дили, само по себе уже является революционным шагом в контексте тогдашней натурфилософии [Deely, 1983].

Таким образом, к моменту, когда Джон Локк (1632–1704) впервые употребил термин *семиотика* [Локк, 1985, с. 200–201; Locke, 1995, IV:XXI, в рамках учения о знаках уже было проделано немало работы.

¹ При переводе на русский фамилия *Poinsot*, которую носил этот испанский теолог, родом из Лиссабона, иногда транслитерируется как *Поинсот*, но чаще передается как *Пуансо*, т.е. как французская, что может быть оправдано, ввиду того что, по некоторым сведениям, отец Жуана был выходцем из Бельгии. Встречаются также различные варианты имени философа: *Хуан* (Juan), *Жуан* (João), *Иоанн* (Johannes), *Джон* (John) и т.п., как и варианты монашеского имени, принятого в 1609 г. при вступлении в орден доминиканцев: *Иоанн Св. Фомы*, *Хуан де Санто Томас* (Juan de Santo Tomás), *Joannes de S. Thoma*, *John of St. Thomas*, *Giovanni di San Tommaso* и т.п. [Скрипник, 2012, с. 235]. В этой ситуации можно предложить использовать в русскоязычных текстах португальско-французский вариант *Жуан Пуансо* для передачи имени, полученного при рождении, и вариант *Иоанн Св. Фомы* в случае монашеского имени, поскольку в других языках можно наблюдать именно тенденцию к его доместикации.

Семиотика после Локка

Автором первого обширного трактата, посвященного теории знаков и озаглавленного «Семиотика» (Semiotik), стал развивавший идеи Локка немецкий мыслитель Иоганн Генрих Ламберт (1728–1777). В своей работе Ламберт обращается к «исследованию необходимости символического познания в целом и языка в частности» [Lambert, 1764 b, § 6], указывая, что процесс символического познания (symbolische Erkenntniß) «является неотъемлемым звеном мышления» [Lambert, 1764 b, § 12]. Трактат о семиотике Ламберт сделал одной из основных частей своего масштабного труда под названием «Новый органон»¹, остальные три части которого были посвящены соответственно трем другим ветвям теории познания: дианоэологии (учению о законах мышления), алетологии (учению об истине) и феноменологии (учению о видимости (Schein)) [Lambert, 1764 a; 1764 b].

Обращаясь к вопросу о типологии знаков, Ламберт выделяет три их вида: *естественные знаки* (natürlichen Zeichen), *произвольные знаки* (willkürlichen Zeichen), *подобия* (Nachahmungen) и *иконические репрезентации* (Bilde der Sache oder Abbildungen) [Lambert, 1764 b, §§ 47–51; Nöth, 1990, p. 24]. При этом Ламберт исследовал не менее 19-ти знаковых систем, таких как музыкальные ноты, жесты, иероглифы, химические, астрологические и геральдические символы, социальные церемонии и естественные знаки, оценивая степень произвольности, систематичности, надежности каждой из систем, а также ее удаленности от реальности вещей [Lambert, 1764 b, §§ 25–48; Nöth, 1990, p. 24]. Наиболее близкими к реальности Ламберт полагал знаки научные, которые не только репрезентуют понятия, но и отражают отношения таким образом, что «теория вещей и теория знаков становятся взаимозаменяемыми» [Lambert, 1764 b, §§ 23–24; Nöth, 1990, p. 24]. Проблема алгебры и других искусственных научных языков по отношению к языкам естественным (wirkliche Sprachen) рассматривается Ламбертом в качестве двойного перевода (gedoppelte Übersetzung) – знание о мире переводится на естественный язык, а затем – на искусственные языки науки [Lambert, 1764 b, §§ 55 ff; Якобсон, 1996, с. 141].

Наряду с Ламбертом в числе заметных фигур, развивавших семиотические идеи в XVIII–XIX вв., можно назвать также немецкого мыслителя Вильгельма фон Гумбольдта (1767–1835) и чешского философа Бернарда Больцано (1781–1848). Последний не только развивал семиотические концепции, но и пользовался при этом самим термином *семиотика*. Развивая

¹ Полное название: «Новый органон, или Мысли об исследовании и обозначении истинного и его отличии от заблуждения и видимости» (Neues Organon oder Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom Irrthum und Schein).

общее учение о знаках (Zeichenlehre), Больцано выделял семиотику (Semiotik) в качестве прикладной его части [Nöth, 1990, p. 33].

Семиотика Пирса

На рубеже XIX–XX вв., следуя за Локком и Ламбертом, американский философ Чарльз Сэндерс Пирс (1839–1914) также поставил вопрос о систематизации человеческого познания, сделав семиотику одним из центральных элементов своей концепции. В различных работах Пирс приводит разные версии классификации разновидностей наук, и, как и у предшественников, эти типологии у Пирса имеют триадическую структуру. Так, например, в своей ранней работе «Телеологическая логика» (1865) Пирс выделяет 1) *позитивную науку (изучение вещей)*, 2) *семиотику (изучение представлений)* 3) и *формальную науку (изучение форм)* [Peirce, 1982, p. 303–304]. Как и Локк, Пирс ставит знак равенства между логикой и семиотикой, говоря о них как о разных названиях для «формального учения о знаках» [Peirce, 2012, p. 98]. Именно с именем Пирса связано формирование семиотики как современной науки.

Сами знаки Пирс также рассматривает трихотомично. Во-первых, он разделяет их по самой сути (репрезантамену) на: 1) *первичные знаки-качества* (напр.: ощущение от черного цвета), 2) *воплощения качеств*, т.е. единичные действительно существующие предметы или события – *знаки-вещи* (напр.: написанное черными чернилами слово «стол»), 3) *знаки-законы*, проявляющиеся в вещах (напр.: правила использования слова *стол*). Во-вторых, с точки зрения отношений между знаком и объектом, на который знак указывает, Пирсом выделяются: 1) *иконы* (знаки в силу подобия), 2) *индексы* (знаки в силу смежности) и 3) *символы* (знаки в силу конвенции). В-третьих, знаки различаются с точки зрения их отношения к своему смыслу (интерпретанту) как 1) *знаки-возможности (ремы)*, 2) *знаки-факты (суждения)* и 3) *знаки-умозаключения* – что соответствует классической логической триаде *термина, предложения и умозаключения* [Peirce, 2012, p. 101–104].

Пирсовские идеи о фундаментальном характере семиотики развивал выдающийся американский ученый Чарльз Уильям Моррис. Им, в частности, была предложена триада уровней семиозиса – процесса, в котором нечто функционирует как знак («нечто учитывает нечто другое через посредство чего-то третьего»). Моррис предложил выделить в семиозисе три аспекта: *семантику* (отношения между знаками и объектами, на которые они указывают), *синтактику* (отношения между знаками) и *прагматику* (отношения между знаками и интерпретаторами) [Morris, 1938, p. 9].

Предметный фронтир семиотики

Своего рода альтернативной генеалогией семиотики стала линия, восходящая к работам Фердинанда де Соссюра (1857–1913). Этот швейцарский лингвист, ставший одной из центральных фигур, определивших вектор развития науки в XX в., существенно повлиял и на становление учения о знаках. Отвечая на вопрос о месте лингвистики в ряду наук, Соссюр указал на возможность формирования науки, «изучающей жизнь знаков в рамках жизни общества». «Такая наука, – отмечается в “Курсе общей лингвистики”, – явилась бы частью социальной психологии, а следовательно, и общей психологии; мы назвали бы ее *семиологией* (от греч. *semeion* «знак»). Она должна открыть нам, что такое знаки и какими законами они управляются. Поскольку она еще не существует, нельзя сказать, чем она будет; но она имеет право на существование, а ее место определено заранее. Лингвистика – только часть этой общей науки: законы, которые откроет семиология, будут применимы и к лингвистике, и эта последняя, таким образом, окажется отнесенной к вполне определенной области в совокупности явлений человеческой жизни» [Соссюр, 1999, с. 23–24].

Наметив таким образом перспективы для развития семиологии, де Соссюр сыграл двоякую роль. С одной стороны, именно благодаря его работам стали возможны получившие в XX в. мощный импульс структуралистские подходы в рамках семиотики [Барт, 1989; Бюиссанс, 2016; Лотман, 2000; Греймас, 2000; Тодоров, 1975 и др.] С другой стороны, ввиду того что де Соссюр ограничил предметное поле изучающей знаки метадисциплины пространством социальной психологии, осложненным оказался выход семиотики за пределы проблематики исследований культуры и общества. Одной из главных точек приложения усилий в семиотике XX–XXI в. стала именно задача расширения этой границы, исправления этой восходящей к де Соссюру ошибки *pars pro toto*. Центральную роль в этом процессе сыграл американский ученый венгерского происхождения Томас Себеок (Thomas Sebeok)¹.

Как указывает Джон Дили, именно Себеок был тем человеком, который «переоткрыл» семиотику или даже вновь ее основал во второй половине XX в. [Deely, 2015, p. 43]. Одним из первых важных шагов Себеока было предложение термина *зоосемиотика* [Sebeok, 1968], который подразумевал, что хотя человек и имеет ряд специфических черт в том, что касается действия знаков (*action of signs*), сама такого рода активность, однако, присуща не только человеку, но и всем другим животным без исключения [Deely, 2015, p. 44]. Развивая идеи Юрия Лотмана о понятии *семиосферы*² и используя категорию *умвельта*¹, введенную Якобом Ик-

¹ Правильное венгерское произношение фамилии – Шебёк.

² *Семиосфера* – все присущее определенной культуре семиотическое пространство [Лотман, 2000].

скульем (Jakob von Uexküll), Себеок предложил рассматривать в качестве первичной моделирующей системы внутренний мир любого животного (а не естественный язык, как это предлагал Лотман). Таким образом, *антропосемиотика* получила статус частной предметной области, изучающей естественные языки и возникающую благодаря им культуру как экзантированные² формы этой более общей, присущей всем животным способности к семиотическому освоению мира [Deely, 2015, p. 45].

Следующим же шагом, еще в большей мере расширяющим предметные границы семиотики, стал переход к проблематике *биосемиотики*. Биосемиотическая перспектива позволила выйти теперь уже и за пределы животного мира, сделав частью семиотической повестки дня исследование функционирования знаков в мире живой природы вообще, в частности в мире растений (*фитосемиотика*) [Deely, 2015, p. 45].

Что же касается современного положения предметного фронта семиотики, то оно, пожалуй, наиболее точно отражено в вопросе, который выдающийся семиотик Джон Дили вынес в подзаголовок одной из глав вышедшего в 2015 г. издания «International Handbook of Semiotics». Этот вопрос звучит так: «Выходит ли действие знаков за пределы биологического мира?» [Deely, 2015, p. 52].

Жизнь по-прежнему остается в фокусе внимания семиотики, но предметные границы ее вновь расширяются, давая место для возникновения *физиосемиотики* – для исследования семиозиса, предшествующего возникновению жизни и с нею не связанного, однако неизбежно создающего условия для появления жизни и ее поддержания. В этой точке семиотика смыкается с космологией, формулируя семиотическое прочтение антропного принципа: сама вселенная еще до возникновения субъекта должна была иметь свойства, делающие возможным семиозис, – для того чтобы сделать возможным существование жизни. Ключевым становится, таким образом, вопрос о пределах способности знаков определять интерпретанты. Может ли эта способность сохраняться в ситуации отсутствия субъекта? Если следовать семиотическим построениям Пирса, то такая возможность допустима. Ведь согласно его утверждению, интерпретант «не обязательно ментален» («need not be mental») [цит. по: Deely, 2015, p. 49]

¹ *Уmwельт* (Umwelt) – субъективный мир организма, образуемый факторами среды, имеющими значение для жизни организма. Состоит из перцептивного мира – *мерквельта* (Merkwelt) – и операционального (практического) мира – *вирквельта* (*Wirkwelt*) [Nöth, 1990, p. 158].

² *Экзантиция* – разновидность трансформации, при которой происходит изменение функций отдельных структур.

Трансдисциплинарный фронтир семиотики

Расширение предметного поля – это не единственный фронтир семиотики. В начале этой статьи мы уже упоминали проекте Ч.У. Морриса, наметившего для теории знаков роль метанаучного органона. Один из векторов развития семиотики связан с ее становлением именно в этом качестве. Отчасти это направление сопряжено с расширением предметных границ, о котором шла речь выше, однако не тождественно ему.

В терминах Пирса эту стоящую перед семиотикой задачу можно обозначить как необходимость состояться не только в качестве *идиоскопической* (idioscopic) науки, но и в качестве науки *коэноскопической* (senoscopic). Согласно Пирсу (который, в свою очередь, использует понятия, предложенные И. Бентамом (1748–1832)), *идиоскопическими науками* называются «специальные науки, в основании каждой из которых положен особого рода тип наблюдения, добываемого силами изучающих данную науку ученых посредством путешествий или другого рода разведки, приспособлений, позволяющих получать более совершенные чувственные данные, будь то инструменты или нечто как-то тренирующее чувственность и дополняющее прилежание самого наблюдателя» [Пирс, 2001, с. 187–188]. В отличие от них *коэноскопические науки* имеют дело с позитивной истиной, но при этом довольствуются «наблюдениями, которые большей частью не выходят за пределы человеческого опыта, по большей части – во всякое время его бодрствования». «Эти наблюдения не даются нетренированному глазу в точности потому, что их предмет пропитывает собой всю человеческую жизнь без остатка» [Пирс, 2001, с. 187].

Необходимым шагом к тому, чтобы семиотика смогла стать коэноскопической наукой, является развитие того, что Ч.У. Моррис называл *чистой* (pure) семиотикой, отличая ее тем самым от связанных с конкретными предметными областями *дескриптивных* (descriptive) семиотик [Morris, 1938, p. 9]. Похожие мысли высказывает в одной из своих статей и современный германский исследователь Ганс-Генрих Либ, который, проанализировав подходы Р. Карнапа, К. Ельмслева и некоторых других коллег, весьма удачно предложил переименовать *чистую* семиотику в *общую*, а *описательную* – в *специальную* [Lieb, 1975].

На сегодня для семиотики критически важно преодоление разрыва между пока все еще крайне приблизительными и, можно сказать, контурными разработками общей семиотики и целым облаком более или менее развитых частных семиотик разного рода, укорененных в изучении конкретных предметных областей (пусть и весьма широких, хотя чаще – весьма узких) или связанных со специфическими теоретико-методологическими направлениями, например с различными версиями дискурс-анализа. Пока же ситуация остается крайне плачевной. Чем сильнее углубляются специализированные семиотики, тем активнее они стремятся выработать свой уникальный инструментарий и даже особый язык, которые становятся все

более закрытыми и герметичными. При этом импортируемые исследовательские техники, как правило, некритически заимствуются из репертуара весьма укорененных в предметность субдисциплин. А это делает соответствующие наборы плохо интегрированных исследовательских методик крайне ненадежными и зависимыми не столько от исследовательских процедур, сколько от индивидуального искусства того или иного исследователя.

В этой ситуации, однако, вселяют оптимизм работы некоторых современных семиотиков, которые продолжают настаивать на необходимости развития общей семиотики и на реализации ее трансдисциплинарного потенциала. В их числе, например, вице-президент Международной ассоциации семиотических исследований Ли Ючжэн, указывающий, что общая семиотика должна стать функциональной стратегией, ориентированной на организацию всеобъемлющей междисциплинарной теоретической рамки, которая позволит интегрировать не только отдельные направления семиотики, но и вообще социально-гуманитарные науки [Li, 2015, p. 38]¹.

Последовательная работа по исследованию трансдисциплинарного потенциала семиотики в ряду других интегрирующих методологий (математики и морфологии) ведется с 2013 г. на базе Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН [Ильин, 2014; Кокарев, 2014; Круглый стол... 2014; Авдонин, 2015; Фомин, 2014; 2015 а; 2015 b; Золян, 2016; Ильин, Фомин, 2016; Фомин, Ильин, 2016]. В рамках этой работы предложена модель, позволяющая упорядочить все множество модусов существования семиотики и других трансдисциплинарных методологий (органонов-интеграторов) в пространстве между двумя полюсами, которые соответствуют *насыщенному* и *очищенному* их вариантам. В насыщенных своих вариациях методологии существуют, будучи тесно связаны с предметной фактурой той или иной дисциплины. В этом своем модусе они могут быть эффективны для решения узких предметных задач, но менее пригодны для осуществления трансдисциплинарной интеграции. Для того чтобы такая интеграция в полной мере состоялась, необходимо отразить и проработать связь между насыщенными версиями органонов и их очищенными вариантами.

По выражению Джона Дили, семиотика способна предложить для интенсивных процессов специализации, присущих современной науке, «коэноскопический антидот» [Deely, 2015, p. 31]. Можно надеяться, что осмысление и изучение семиотики не в качестве всеобъемлющей предметной метадисциплины, а именно в качестве одного из оснований для выработки интегрирующего трансдисциплинарного инструментария позволит не только сформировать такого рода «антидот», но и обеспечить эффективное его «усвоение».

¹ См. также реферат этой статьи Ю. Ли в наст. изд.

Список литературы

- Авдонин В.С. Математика как органон: Формализации, алгоритмы, модели // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2016. – Вып. 6. – С. 90–108.
- Авдонин В.С. Методологическая интеграция науки // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014 а. – Вып. 4. – С. 12–32.
- Авдонин В.С. Методы науки в вертикальном измерении (метатеория и метаязыки-органоны) // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2015. – Вып. 5. – С. 265–278.
- Авдонин В.С. Центры изучения интеграции науки в Германии, Швейцарии и Австрии. Обзор // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014 б. – Вып. 4. – С. 413–423.
- Апполонов А.В. Жизнь и творчество Уильяма Оккама // Уильям Оккам: Избранное. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – С. vii–xlvii.
- Аристотель. Об истолковании // Аристотель. Сочинения: в 4 т. – М.: Мысль, 1978. – Т. 2. – С. 91–116.
- Арутюнова Н.Д. Логическое направление // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая российская энциклопедия, 1998. – С. 273–275.
- Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – С. 72–130.
- Бюссанс Э. Абстрактное и конкретное в лингвистических фактах: Речь – дискурс – язык // Политическая наука. – М., 2016. – № 3: Политическая семиотика. – в печати.
- Гордова Т.В. Логицизм И.Г. Ламберта: Автореф. дисс. ... канд. филос. наук: 09.00.07. — СПб., 1995. – 18 с.
- Греймак А.-Ж. Размышления об актантных моделях // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с франц., сост., вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 2000. – С. 153–170.
- Дойл Дж.П. Коимбрские схоластики о семиотическом характере зеркальных отражений // Verbum. – СПб., 2001. – Вып. 5: Образы культуры и стили мышления: иберийский опыт. – С. 93–109.
- Золян С. Семиотика как органон гуманитарного знания: Возможности и ограничения // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2016. – Вып. 6. – С. 74–89.
- Ильин М.В. Методологический вызов. Что делает науку единой? Как соединить разведенные сферы познания? // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 6–11.
- Ильин М.В., Фомин И.В. И смысл, и мера. Семиотика в пространстве современной науки // Политическая наука. – М., 2016. – № 3. – С. 30–46.
- Кокарев К.П. Институционализмы: Сад расходящихся исследовательских тропок // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 192–202.
- Кортаев А.В. Беседа с редколлегией ежегодника об отношении предмета и способа его изучения // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 33–43.
- Круглый стол «Математика и семиотика: Две отдельные познавательные способности или два полюса единого органаона научного знания?» // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 122–142.
- Локк Дж. Сочинения: в 3 т. – М.: Мысль, 1985. – Т. 2. – 560 с.

- Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПб., 2000. – 704 с.
- Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика / Под ред. Ю.С. Степанова. – М.: Радуга, 1983. – С. 37–89.
- Оккам У. Избранное / Пер. с лат. А.В. Апполонова и М.А. Гарнцева; под общ. ред. А.В. Апполонова. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 272 с.
- Перельмутер И.А. Грамматическое учение модистов // История лингвистических учений. Позднее Средневековье. – М., 1991. – С. 7–66.
- Пирс Ч. Принципы философии. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. – Т. 1. – 224 с.
- Скрипник К.Д. К истории семиотических идей: три «знаковых» трактата Августина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2011. – Т. 16, № 8 (103). – С. 5–12.
- Скрипник К.Д. Логика Д. Пуансо в контексте дихотомии «искусство – наука» // Вестник науки Сибири. – Томск, 2012. – № 3 (4). – С. 235–245.
- Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Редакция Ш. Балли и А. Сеше. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. – 432 с.
- Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». – М.: Прогресс, 1975. – С. 37–113.
- Трансдисциплинарные органы гуманитарного знания. Дискуссия на пленарном заседании «Интеграция гуманитарных и естественно-научных знаний: информационные подходы» Седьмых гуманитарных чтений РГГУ // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2016. – Вып. 6. – С. 109–117.
- Фомин И.В. Политические исследования в трансдисциплинарной перспективе: Возможности семиотического инструментария // Политическая наука. – М., 2015 а. – № 2. – С. 8–25.
- Фомин И.В. Элементы семиотического органа для обществоведения: Анализ повествований // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 143–160.
- Фомин И.В. Семиотика или меметика? К вопросу о способах интеграции социально-гуманитарного знания // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2015 б. – Вып. 5. – С. 208–219.
- Фомин И.В., Ильин М.В. Зачем семиотика политологам? // Политическая наука. – М., 2016. – № 3. – С. 12–29.
- Якобсон Р. Взгляд на развитие семиотики // Язык и бессознательное. – М.: Гнозис, 1996. – С. 139–161.
- Deely J.N. Neglected figures in the history of semiotic inquiry: John Poinsett // History of semiotics / ed. by Achim Eschbach, Jürgen Trabant. – Amsterdam: John Benjamins publishing, 1983. – P. 115–126.
- Deely J. What happened to philosophy between Aquinas and Descartes? // The Thomist. – 1994. – N 58 (4). – P. 543–568.
- Deely J. Semiotics «today»: The twentieth-century founding and twenty-first-century prospects // International handbook of semiotics. – Dordrecht: Springer, 2015. – P. 29–114.
- Lambert J.H. Neues Organon oder Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom Irrthum und Schein. – Leipzig: Johann Wendler, 1764 a. – Bd. 1. – 592 S.
- Lambert J.H. Neues Organon oder Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom Irrthum und Schein. – Leipzig: Johann Wendler, 1764 b. – Bd. 2. – 435 S.
- Li Y. General Semiotics (GS) as the all-round interdisciplinary organizer: GS versus philosophical fundamentalism // Semiotica. – La Haye, 2015. – Vol. 2016, Issue 208. – P. 35–47.
- Lieb H.H. On subdividing semiotic // Pragmatics of natural languages. – Dordrecht: Springer Netherlands, 1975. – P. 94–119.

- Locke J.* An essay concerning human understanding. – Amherst, N.Y.: Prometheus books, 1995. – 624 p.
- Morris C.W.* Foundations of the theory of signs. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1938. – 59 p. – (International encyclopedia of unified science; Vol. 1, N 2).
- Murphy J.B.* Nature, custom, and stipulation in the semiotic of John Poinsoot // *Semiotica*. – La Haye, 1991. – N 83 (1–2). – P. 33–68.
- Nöth W.* Handbook of semiotics. – Bloomington; Indianapolis: Indiana univ. press, 1990. – 576 p.
- Oehler K.* Die Aktualität der antiken Semiotik // *Zeitschrift für Semiotik*. – Wiesbaden, 1982. – Bd 4, H. 3. – S. 215–219.
- Peirce C.* Philosophical writings of Peirce. – N.Y.: Dover publications, 2012. – 416 p.
- Peirce C.S.* Writings of Charles S. Peirce: A chronological edition. – Bloomington: Indiana univ. press, 1982. – Vol. 1: 1857–1866. – 736 p.
- Poinsoot J.* Tractatus de Signis. The semiotic of John Poinsoot / Trans. John Deely. – Berkeley: California univ. press, 1985. – 607 p.
- Sebeok T.A.* Zoosemiotics // *American speech*. – Durham, 1968. – Vol. 43, N 2. – P. 142–144.

В.С. Авдонин
ОТ МЕТАМАТЕМАТИКИ
К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОРГАНОНУ

1. О двух возможностях видеть органы

Наши предшествующие обсуждения органов-интеграторов в основном опирались на подход, сформированный в рамках философии и методологии науки [Круглый стол... 2014; Авдонин, 2014; 2015]. В значительной мере это оправдывалось традициями методологических дискуссий по проблематике научных методов, а также достаточным разнообразием и релевантностью этого дискурса применительно к науке. Но постепенно те же обсуждения и ряд критических замечаний, высказанных коллегами, заставили изменить, по крайней мере частично, рамку рассмотрения проблематики органов. Все чаще этот анализ выходил в поле проблем когнитивистики – широкого междисциплинарного направления, активно развивающегося в последние десятилетия, в том числе и применительно к методологии науки.

Сам по себе когнитивистский подход, как известно, чрезвычайно многопланов, охватывая широчайший спектр исследований от философии и лингвистики до психологии, нейробиологии, компьютерных наук и т.д.¹ Но в нем есть некоторые общие теоретические и методологические установки, имеющие, по мнению ряда авторов, признаки когнитивистской парадигмы [Miller, 2003; Pinker, 1997]. Среди них прежде всего отметим методологическую установку на интеграцию в исследованиях когнитивности усилий не просто многих наук, но различных кластеров или «семейств» наук – от философских и формальных до эмпирико-экспериментальных и гумани-

¹ Для наглядной характеристики областей современной когнитивистики часто используется так называемая гексагональная модель [Миллер, 2003], представляющая собой шестиугольник (гексагон), в шести вершинах которого располагаются основные области современной когнитивной науки: философия / эпистемология; лингвистика; психология; нейробиология / нейронаука; антропология / этология / поведенческие науки; компьютерные науки / искусственный интеллект. Соединения между вершинами символизируют связи между областями (рис. 1).

тарных, барьеры между которыми считаются весьма существенными и труднопреодолимыми.

Важно также отметить, что в основу этого сближения была положена идея информационной природы когнитивных явлений, которая позволяла понять их как информационные состояния и процессы, доступные преобразованиям и исчислениям. Здесь примечательна история становления когнитивистики в середине прошлого века, начавшаяся со сближения вычислительных теорий расшифровки сигналов, имеющих логико-математические основания, и психологических и лингвистических теорий, ориентированных на изучение ментальных процессов [Anderson, 1983].

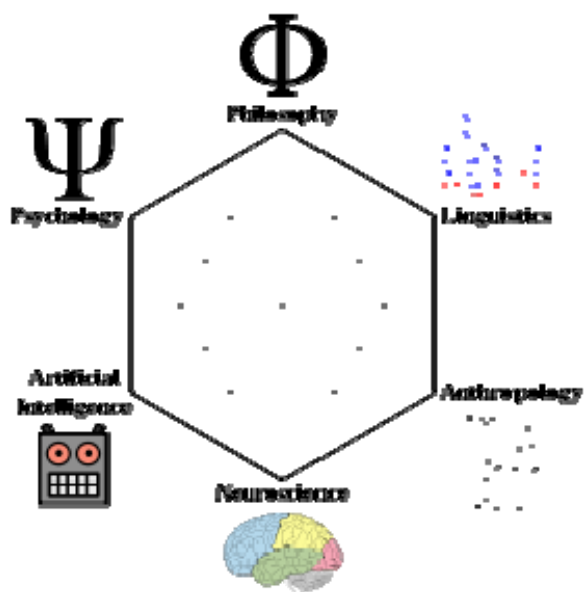


Рис. 1.
«Оксагон» когнитивной науки [Miller, 2003]

В рамках философии информационный и вычислительный подход к изучению когнитивных процессов иногда рассматривается как редукционистская тенденция к «заземлению» и «натурализации» эпистемологических исследований, как их сближение с конкретно-научными подходами, ограничивающими автономию философской рефлексии. В то же время в философии эта позиция не является общепринятой. Ей противопоставляется как раз идея сближения эпистемологии и конкретных наук в сфере исследований когнитивности. Такое встречное движение присутствует в современной философии и в более широком плане, находя, например, от-

ражение в исторической эпистемологии, эволюционной эпистемологии и др. [Лекторский, 2009].

На почве сближения разнородных подходов и знаний сформировался ряд базовых идей и тематик современной когнитивистики. К ним, прежде всего, можно отнести идею неких априорных свойств или оснований когнитивности, которые рассматриваются в широком эволюционном контексте. В этом ряду также можно назвать: идею комбинаторных программирующих способностей, порождающих бесконечное множество когнитивных проявлений; идею внутреннего и поверхностного слоя в когнитивности; идею системности когнитивности, ее элементов и частей; идею искусственной и естественной когнитивности, воплощаемой на разных субстратах, в том числе порождающей проблему телесной когнитивности (когнитивность vs телесность) и др. [Pincer, 2003; Gardner, 1985].

Из сказанного видно, что рамки проблематики когнитивистики оказываются существенно шире, чем проблематики традиционной философии и методологии науки. Они простираются далеко за пределы собственно науки и стараются охватить мир когнитивности в самом широком и многоплановом отношении. И с этой точки зрения наш подход к органонам как инструментариам и методологиям научного познания, предложенный ранее, существенно расширяется. Теперь в него включается их видение не только в науке, но и за ее пределами, и даже за пределами общества и культуры, в биологических и небιологических системах и феноменах – в том сложном и многообразном мире когнитивности, который задается современной когнитивистикой. И в то же время наша точка отсчета – методологические органоны в науке – остается. Мы возвращаемся к ней же, но уже обогащенные в этом видении новым, дополнительным знанием, почерпнутым из того «оксагона» наук, который был представлен выше на рисунке.

Нам представляется, что в чем-то эти два видения органонов (до и после когнитивистской рефлексии) могут быть сходны, возможно – в каких-то базовых основаниях, а возможно, и в каких-то менее существенных деталях. Но, во всяком случае, это второе видение может быть развитием и обогащением первого, его более полным, а может быть, и более глубоким описанием и пониманием.

Из трех рассмотренных в предыдущих дискуссиях методологических органонов (математики, семиотики и морфологии) мы вновь обращаемся к математике. Отчасти это связано с попытками уточнить то, что было сказано ранее [Авдонин, 2016], но главное – модифицировать видение (и описание) этого органа в контексте упомянутой выше многослойной когнитивистской оптики.

Здесь важно сделать предварительное замечание. Оно относится к видению математики в рамках философии и методологии науки, где она понимается как формальная наука и входит в кластер так называемых формальных или дедуктивных наук. По отношению к другим наукам она

может выступать в качестве метанауки, предоставляя им математический аппарат / язык, в данном случае как метаязык, для применения в изучении их предметных областей. Этот процесс рассматривается как математизация поля наук и является одним из важных средств их междисциплинарной интеграции. Данное обстоятельство следует учитывать при обращении к анализу самой математики, к рефлексивному анализу ее собственных проблем. В этом случае может возникать эффект метаметаязыка, или метаязыка второго уровня, поскольку объектом анализа становится то, что само может являться метаязыком.

Обсуждение возникающих здесь проблем, эффектов и парадоксов происходит в метаматематике и тесно связанной с ней металогике, образующих область анализа методологических проблем математики, которая, с одной стороны, является аспектом самой математики, с другой – фрагментом более широкой сферы методологии и философии науки. Полученные в этой области результаты, в том числе относительно метанаучных и метаязыковых свойств математики, имеют важное значение для рефлексии математики как науки. И было бы неверно не учитывать их при построении нашего видения математического органона сквозь призму когнитивистики. Поэтому, прежде чем перейти к нему, мы предполагаем сначала обратиться к метаматематике, чтобы затем сравнить предложенную там рефлексии с когнитивистским подходом.

2. Метаматематическая парадигма изучения математики

Исторически метаматематика возникла в начале XX в. как составная часть проекта по более глубокому и всестороннему обоснованию математической науки, столкнувшейся в этот период с рядом методологических трудностей и парадоксов. В основном этот проект связывают с именем выдающегося немецкого математика Давида Гильберта и его последователей в ряде европейских стран. С точки зрения методологии науки метаматематика была призвана создать пространство методологической рефлексии используемого в математике метода получения знаний, возможностей его обоснования и развития. В философском плане гильбертовскую версию метаматематики связывают с тенденциями получившего в тот период распространение среди философов науки логического позитивизма [Витгенштейн, 1994], а в области философии математики – с течением формализма.

Непосредственными причинами формирования метаматематического подхода были обнаруженные в основаниях важнейшей для математической науки теории множеств логических парадоксов, проект их преодоления, предложенный А. Уайтхэдом и Б. Рассэлом в знаменитой работе «Принципы математики» [Уайтхед, Рассел, 2005–2006], а также критика ряда положений теории множеств со стороны так называемого интуиционистского направления во главе с Яном Брауэром. Во многом как ответ на

эти обстоятельства развития математической науки и был предложен метаматематический подход [Бурбаки, 1963; Вейль, 1989].

Отметим его наиболее существенные для нашей темы черты. Во-первых, базовым компонентом этого подхода стала так называемая формализация математических теорий или их формальная аксиоматизация. Она означала представление теорий из различных разделов математики в некоем формальном или безотносительном к содержанию виде как наборов символов, организованных по некоторым упорядочивающим правилам. При этом шагами или процедурами формализации были: принятие некоего набора различающихся символов в качестве алфавита формализации; определение правил составления из этих символов формул или «слов», позволяющих различать правильность либо неправильность составленных формул; правила вывода или импликации, устанавливающие порядок следования из одних формул других. Представленная таким образом, т.е. в виде формальной системы исчисления, математическая теория, как предполагалось, позволит легче проверять ее точность и строгость, легче обнаруживать в ней ошибки и противоречия. Важным аспектом метаматематики явилась также «теория доказательств», представленная как установление непротиворечивости в последовательности формул теории посредством демонстрации невозможности получения в ней в одном и том же отношении двух разных формул (A и не-A) [Гильберт, Бернайс, 1998].

Во-вторых, в метаматематике построение и исследование формализованных теорий, их свойств, структурных компонентов и правил вывода / импликации предполагает также и исследование проблематики их содержательных интерпретаций. Имеется в виду, что формализованные теории рассматриваются как содержательно неопределенные (несемантизированные), которые должны получить некоторое содержательное значение или приобрести семантическую интерпретацию. Клини выделяет фактически три возникающих в связи с этим уровня: уровень формализованных теорий, уровень содержательных теорий и уровень метаматематики, где первые и вторые, с одной стороны, различаются, а с другой – сопоставляются посредством семантической интерпретации первых в области вторых [Клини, 1957, с. 59]. На метаматематическом уровне, таким образом, образуется рефлексивное пространство для выделения и обсуждения проблематики, связанной как с разделением, так и с взаимодействием формально-синтаксического и содержательно-семантического уровней / языков математических теорий.

В-третьих, основными средствами анализа проблем в метаматематике, по Гилберту, должны были быть так называемые сильные или финитные методы, т.е. методы построения и оперирования конечными объектами посредством конечных процедур. Эта опора на сильные методы, как считается, позволяла укрепить метаматематический подход перед лицом той критики, которая подвергала сомнению основания методов сложившейся математики. Это выглядело так, что, с одной стороны, метаматематика

принимала ряд этих критических аргументов и учитывала их в своем подходе, с другой – ограничивала их своей собственной метаматематической областью, но не распространяла на математику в целом. В методологическом плане это выразилось, в частности, в том, что в метаматематике были тесно переплетены методы формальной логики и элементарной математики, образовавшие своего рода логико-математический методологический симбиоз, который и применялся в анализе и решении ее проблем. В отношении же математики в целом подход Гильберта был другим. Здесь математика рассматривалась как значительно более автономный и свободный от формальной логики и элементарной математики метод, ориентированный на решение, прежде всего, собственно математических задач [Гильберт, 1998].

Этим, например, объяснялось отношение Гильберта к применению в математике так называемых «идеальных» математических объектов, которые в отличие от «реальных» объектов не имели обоснования в финитных методах метаматематики. Их он считал вполне разумными и допустимыми, коль скоро они позволяют облегчить математические доказательства и вычисления и выступают «мостиками», построенными между «реальными», т.е. имеющими обоснование в метаматематике, объектами.

Итак, способ анализа математики и ее методологических оснований, предложенный в метаматематике, даже при самом беглом обзоре выглядит вполне насыщенным и продуктивным. Он возник в тесной связи с проблемами в самой математике, был принят математическим научным сообществом, повлиял на становление ряда математических и логических направлений исследований, в то же время он был достаточно влиятелен и в сфере философии и методологии науки, способствуя развитию и этих тематик. Значение и программы Гильберта, и метаматематики как ее составной части признается до сих пор [Расева, Сикорский, 1972].

Во многом это, вероятно, связано также с тем, что этот подход был сформирован в духе «научных программ» Локатоса, допускающих в ходе реализации замену в них различных компонентов при сохранении некоторого теоретико-методологического ядра [Локатос, 1995]. В метаматематике тоже произошло нечто подобное. Ряд ее важных положений были пересмотрены в силу обнаружившихся ограничений, отношение к ней стало более критичным. Иногда это даже трактовалось как ее провал. Но в целом вопрос о том, было ли разрушено в ходе несомненной критики ряда постулатов ее основное ядро, пока все же остается открытым. Он даже, может быть, будет в определенном отношении скорее отрицательным.

Исторически критическим периодом для исходной версии метаматематики были 30-е годы прошлого века. В это время в ней стали обнаруживаться существенные ограничения, касавшиеся ряда ее базовых постулатов. Первым здесь обычно называют теорему Гёделя о неполноте, но важную роль сыграли и другие метатеоремы, в том числе теорема Чёрча – Тьюринга, теорема Тарского и др. [Перминов, 2001].

Гёдель доказал свою теорему о неполноте формализации теорий, использующих арифметику, отправляясь именно от постулатов метаматематики о роли в формализации финитных методов, связывающих формальную логику и элементарную математику. В соответствии с ней оказалось, что любая формализация достаточно развитой теории, содержащей арифметику, – неполна, т.е. обязательно содержит правильную формулу / формулы, которые не могут быть доказаны ее же средствами или не являются ее теоремами. Для их доказательства надо обращаться к другой теории и, соответственно, к другой формализации [Goedel, 1931].

Затем была доказана еще одна теорема, имеющая метаматематическое значение. Это – теорема Чёрча – Тьюринга о разрешимости / неразрешимости, которая доказывает наличие неразрешимых задач для конечного алгоритма. Она означает, что в математике существует класс задач, которые невозможно решить с помощью финитных, т.е. используемых в метаматематике методов. И, наконец, была доказана теорема Тарского, относящаяся к метаматематической теории доказательств. Она утверждает, что множество доказанных утверждений формальной теории и множество истинных утверждений ее семантической модели не совпадают. Последнее – всегда больше первого [Tarsky, 1944; Тарский, 1948; Тарский, 1972]. Это в новом аспекте, по существу, подтверждало то, что было доказано в теореме о неполноте Гедделем.

Все эти теоремы показывали, что дальше использовать метаматематику в исходно предложенном виде для прочного обоснования всей математики и ее методологии не представляется возможным. Необходимо было или что-то менять в уже существовавшей метаматематике, или искать какой-то другой путь. На развитие математики эта ситуация в основном повлияла в том смысле, что проблема оснований математики, а с ней и проблематика метаматематики, утратили приоритетное положение в сфере математических исследований и стали занимать в них более скромное место. Задачи формальной аксиоматизации теорий стали рассматриваться как менее значимые, а усилия, предпринимаемые в этой области, – как не вполне оправдывающие себя. В качестве более актуальных получили развитие разделы математики, с одной стороны, связанные с вычислением и программированием (вычислительная математика), с другой – с созданием все более сложных математических абстракций, способных выступать моделями более сложных областей предметных наук.

3. Изменения в метаматематической парадигме

Что касается самой метаматематики, то в ней изменения выразились в основном в виде ревизии применяемых методов. Ограничительные теоремы метаматематики показали, что методы обоснования математики и методы ее развития оказались в известном противоречии, что здесь нужен

новый методологический синтез, сближающий анализ оснований с задачами и результатами практики исследований. Одним из таких направлений стало методологическое сближение традиционной математики с так называемым конструктивизмом.

Конструктивистская методология обычно характеризуется как подход, акцентирующий в математике основополагающую роль конструктивных процессов и конструктивных объектов [Марков, Нагорный, 1984]. Это означает обязательное требование включения в определения математических объектов способов их построения (конструирования). Именно так, как считается, можно избежать появления в математике разного рода иллюзорных объектов, ведущих в расчетах и доказательствах к искажениям и ошибкам. Отчасти это совпадает и с постулатами формализации в метаматематике, где также требуется указывать способ / алгоритм построения объекта. Но в конструктивизме этот принцип применяется значительно шире, распространяясь на всю математику, а в некоторых связанных с ним течениях и еще шире – на всю область наук и даже на сферу практической деятельности¹.

Клини применительно к метаматематике отмечает, что в ней имеются два способа рассмотрения объектов: аксиоматический (формальный) и генетический (порождающий). Первый задает объект чисто формально, т.е. безотносительно к существованию его содержания, тогда как второй задает объект генетически, т.е. способ задания / порождения подразумевает его осуществление и, следовательно, существование (по крайней мере потенциальное) [Клини, 1957, с. 31]. На этой почве, как, впрочем, и по ряду других вопросов, между подходами возникают расхождения уже в самой метаматематике и в других областях математических исследований. В конструктивистском подходе ключевую роль играет анализ порождающих алгоритмов, а в формальной аксиоматике – исследование формальных систем.

Вместе с тем история конструктивного направления показывает, что в нем имелись разные варианты отношений к формальной аксиоматике – от резко критических до весьма лояльных и ориентированных на сближение. На фоне кризиса 30-х годов в формальной метаматематике конструктивное направление испытывало определенный подъем, но в то же время в нем усилились тенденции к сближению с реформируемым формализмом. Одним из направлений здесь стала разработка так называемой теории типов.

¹Здесь можно упомянуть пример так называемой Эрлангенской школы методологии науки, возникновение которой было тесно связано с конструктивистским направлением в метаматематике. Ее основатель и лидер Лоренцен долгое время занимался метаматематикой и внес в нее значительный вклад. В дальнейшем он перешел к специализации в области логики и методологии науки, научной дидактики, образования и этики. Эрлангенская школа также оказала существенное влияние на формирование современных подходов к трансдисциплинарности в методологии науки и науковедении.

Особый вклад в нее внес шведский математик Пер Мартин-Лёф, получивший образование в школе Андрея Коломогорова и хорошо знакомый с подходами конструктивного направления, развивавшегося в советской математике. Основная задача теории типов Мартина-Лёфа состояла в сближении подходов формальной аксиоматики и порождающих алгоритмов конструктивизма. Базовой идеей здесь было выделение иерархических типов формализаций / формальных систем, отношения между которыми строились на основе порождающих алгоритмов [Мартин-Лёф, 1975].

Как выяснилось, в дальнейшем эта разработка теории типов дала весьма продуктивный результат. Используя методологию этого подхода и ряд его содержательных постулатов, в начале 2000-х годов американско-российский математик Владимир Воеводский предложил так называемую гомотопическую теорию типов (ГТТ), став в результате лауреатом премии Филдса. Он показал, что связь между типами формализованных систем может быть установлена через точки топологического пространства, имеющего гомотопические свойства [Voevodsky, 2014]. В аспекте обсуждаемой нами темы это означает, что ограничения, налагаемые на формальные аксиоматические системы вышеупомянутыми метатеоремами, могут быть преодолены посредством перехода к формальной системе другого типа. А областью такого перехода является область топологического пространства с гомотопическими свойствами [Homotopy Type Theory, 2013]. На базе теории ГТТ с 2012 г. международной группой математиков во главе с Воеводским осуществляется международный проект создания так называемой унивалентной математики¹. Имеется в виду формирование в математике базы аксиоматических теорий, которые будут сводимы через точки в гомотопическом пространстве. Эта сводимость позволяет создавать программы автоматического доказательства математических теорем и их проверки. В этом случае, по мнению ряда авторов, математику может ожидать принципиально новый этап развития [Ковалев, Родин, 2016].

Таким образом, кризис методологического анализа математики в метаматематике был постепенно преодолен. Хотя это стало возможным при изменении целого ряда постулатов, традиций, границ, присущих этой парадигме рассмотрения математики. Были, например, частично демонтированы барьеры между чисто формалистским и конструктивистским подходом, были пересмотрены границы внутри самой математической логики, а также и между достаточно внешними по отношению к ней областями, в том числе между топологией и вычислительной математикой и программированием. Все это может свидетельствовать об определенной тенден-

¹Связь ГТТ с метаматематикой символически отразилась в обстоятельствах европейской презентации программы унивалентной математики. Она состоялась в 2014 г. в Цюрихе в виде Бернайсовских чтений, в мемориальном зале швейцарского математика Пауля Бернайса – ближайшего соавтора Гильберта и одного из основателей метаматематики [Mathematik auf neuer Grundlage, 2014].

ции. Но вместе с тем это представляет собой лишь один из путей методологического анализа математики в современных исследованиях. Другой путь, к обсуждению которого мы переходим, может быть связан, как уже было сказано выше, с осмыслением математического органона в поле исследований когнитивной науки.

4. Когнитивистская парадигма: Сходства и различия с метаматематикой

Теперь, уже имея перед собой некий общий обзор опыта рефлексии математики в рамках метаматематической парадигмы, обратимся к особенностям видения математического органона в парадигме когнитивистики. Вполне естественно здесь возникает вопрос о параллелях, сходствах, особенностях. Попробуем разобраться и в тех и в других.

Главное сходство, на наш взгляд, можно усмотреть в информационном подходе к основаниям когнитивности, о котором уже говорилось в начале статьи. Математику, по сути, тоже можно представить как информационный объект и информационный процесс и на этой почве соотнести с когнитивностью. Дополнительное сходство здесь возникает также в силу того, что теоретическое представление об информации, принятое в когнитивистике, возникло именно в математике как одна из ее теорий. Но в этом сходстве заключено и различие. Дело в том, что мы не можем применить к математике теорию информации напрямую, так как теория информации сама построена на основе математики. В этом случае мы бы имели автореференцию, чреватую логическим парадоксом. Поэтому информационный подход к математике применяется в когнитивистике как метатеория к объектной теории. И в этом смысле когнитивистика аналогична метаматематике, которая тоже рассматривает математику как объект.

Различие же здесь состоит, прежде всего, в теоретико-методологическом арсенале этих метаподходов. Если в метаматематике он ограничен средствами логики и самой математики – с учетом, разумеется, опасностей самореференции, о которых говорилось выше, – то в когнитивистике он является намного более широким. В него включаются отнюдь не только информационный подход, о котором уже упоминалось, но и множество других подходов, привлекаемых, по сути, из всего комплекса («оксагона») когнитивистики. В данном случае к рассмотрению математики могут подключаться подходы психологии, нейробиологии, лингвистики, искусственного интеллекта, поведенческих наук и т.д. И тогда математика собственно и превращается из научной области или даже метанауки в то, что мы назвали органонем, т.е. в некую фундаментальную когнитивную способность, получающую проявление как в сфере когнитивности науки, так и за ее пределами.

Исследование такой математики, взятой как органон, становится чрезвычайно комплексным и многообразным. Это, разумеется, позволяет существенно расширить и обогатить наши знания об этом феномене, но в то же время требует их систематизации, упорядочивания и интеграции в некоторую целостность. И одним из вариантов здесь могут быть параллели и соотнесения, взятые из метаматематики как некоего образца.

Мы видели, что в метаматематике главными аспектами рассмотрения математики были: а) формализация ее содержания, включавшая также описание процедуры этой формализации (введение алфавита символов, правил / алгоритмов образования формул и их преобразований); б) семантическая интерпретация полученных формул в различных содержательных областях.

Теперь посмотрим на когнитивистику. Здесь математическая способность обычно относится к категории высших когнитивных способностей деятельности мозга, обозначаемых как мышление. С точки зрения психологии она представляет собой переработку психических репрезентаций низших уровней (ощущений, восприятий) в новую форму логико-символических репрезентаций и оперирование ими. С информационной точки зрения здесь происходит переработка / перекодирование информации в новые коды со значительно большей информационной емкостью, что позволяет мозгу сохранять значительно больший объем информации и более эффективно его использовать. С точки зрения нейронауки все это сопровождается передачей и переработкой электрохимических сигналов в нейронах и нейронных сетях новой коры (неокортекса) мозга, к которым также подключаются клеточные образования других его отделов. Экспериментальная нейронаука также показала, что в основном эти процессы локализуются в зоне левого полушария, хотя имеется и параллельная им активация некоторых зон правого полушария мозга. Сюда можно добавлять также точку зрения психолингвистики, эволюционной биологии и т.д. [Меркулов, 2006].

Как на этом фоне и с учетом опыта метаматематики мог бы рассматриваться математический органон? Здесь пока можно предложить лишь гипотезу, опирающуюся, впрочем, на некоторые прошлые обсуждения, в том числе касавшиеся «очищения» и «насыщения» органовов [Ильин, 2014; Круглый стол..., 2014].

Во-первых, идею «очищения» органаона можно соотнести с формализацией в метаматематике. При этом она же может подсказать, как могла бы выглядеть такая процедура применительно к органону. В этом случае «очищенный» органон мог бы быть представлен в виде абстрактной системы символического кодирования с некоторым алгоритмом. Тогда было бы важно определить для него способ кодирования и программирующий алгоритм, а возможно – и правила преобразований или допустимых операций с его кодом. Тем самым «очищенный» органон приобретал бы сходство с формализованной теорией в метаматематике.

Во-вторых, идею «насыщения» тоже можно было бы уподобить процедуре семантической интерпретации в метаматематике. Там, как известно, эта процедура состоит в сопоставлении выражений формальной теории с объектами в области истинных и ложных значений. Можно предположить, что и «насыщение» органона происходит неким сходным образом. Абстрактные формулы / алгоритмы кода «чистого» органона получают методологическую значимость (методологическую интерпретацию) в различных предметных областях. Хотя здесь, вероятно, сходство с логико-семантической интерпретацией метаматематики было бы меньше, так как там речь идет об интерпретациях в областях содержательных математических теорий, обладающих достаточной специфичностью в предметном плане.

Что касается непосредственно математического органона, то в свете предложенной гипотезы сходство его с метаматематикой было бы еще больше. Можно даже полагать, что области рефлексии «чистого» математического органона и метаматематики фактически совпадают. В значительной мере с метаматематикой, особенно с областью исследования логико-семантических моделей формальных теорий, пересекается и проблематика «насыщения» математического органона. Хотя специфика «насыщения» этого органона в различных предметных областях предполагает здесь также существенные отличия.

Если попытаться представить в исследовании математического органона соотношение метаматематики и когнитивной парадигмы в целом, то можно было бы отметить следующее. Первая имеет явный приоритет на «верхних этажах». В рефлексивном анализе абстрактной формы «чистого» органона она практически полностью с ним совпадает. Метаматематическая парадигма также может играть важную роль при анализе проблематики «насыщения» органона, появления и функционирования его предметных версий. Хотя здесь, как уже сказано, совпадение является далеко не полным. Если же обращаться к «нижним этажам» анализа математического органона, особенно связанным с его исследованием как когнитивной способности, взятой в эволюционном, генетическом, нейробиологическом, психосоматическом и многих других аспектах, то приоритет когнитивистского подхода становится очевидным. Схематически это может быть представлено на рисунке (рис. 2).

Хотя здесь, как и на всякой очень упрощенной схеме, не могут быть переданы все нюансы, исключения и обратные связи, возникающие во взаимоотношениях метаматематической и когнитивистской парадигм. О некоторых из них, вероятно, следует упомянуть.

Можно, например, отметить, что метаматематика, локализованная преимущественно на «верхних этажах» исследования математического органона, в некоем фоновом режиме присутствует и в когнитивистском подходе. Он, как известно, во многом базируется на информационной парадигме, в основе которой лежит теория информации, созданная матема-

тическим методом. Следовательно, в этом своем качестве информационная теория может быть объектом метаматематики. Таким образом, последняя может присутствовать в анализе и на «нижних этажах», хотя и в фоновой, многократно опосредованной форме.

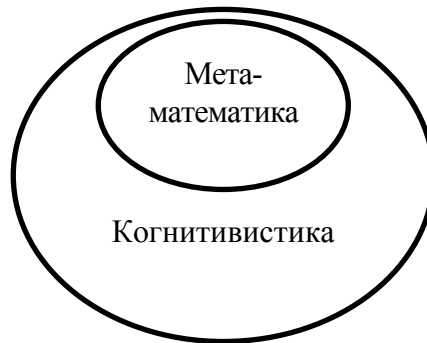


Рис. 2.

**Схема соотношения метаматематики и когнитивистики
в исследовании математического органа**

С другой стороны, когнитивистский подход может проникать и на «верхние этажи» исследования. Хотя пока в основном в форме гипотез, но частично уже подтвержденных экспериментально во многих отраслях когнитивной науки. Здесь, например, можно упомянуть целую серию экспериментальных открытий в нейронауке и исследованиях искусственного интеллекта, которые, возможно, могут пролить свет на процессы «верхних этажей» интеллекта, где, как считается, в основном и локализована математика.

Одним из таких открытий были вполне изученные нейронаукой характерные особенности функционирования полушарий головного мозга человека. Было установлено, что зоны левого полушария активируются при выполнении логико-аналитических операций, а правого – при образном, синтетическом мышлении. В когнитивистике были выработаны концепции двух различных стратегий мышления (аналитической и синтетической), связанных соответственно с активацией левого и правого полушарий. Вместе с тем исследования показали, что левополушарная аналитическая стратегия не может осуществляться без подключения к зонам синтетического правого полушария, в какой-то момент оно обязательно происходит. Человеческая мысль не может без этого обойтись.

Эти вполне известные в когнитивной науке обстоятельства могут быть при определенных условиях связаны и с темами математического органа и метаматематики. Важную роль в понимании этой связи сыграли идеи американского физика и математика Дугласа Хофштадтера, изложенные в знаковой для современной когнитивистики работе «Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда» [Хофштадтер, 2001]. В ней знаме-

нитые ограничительные теоремы метаматематики рассматриваются в расширенном когнитивистском ключе в сопоставлении с примерами живописи, музыки, работой мозга и искусственным интеллектом. Ограничения, налагаемые метатеоремами на формальную математику, автор связывает с наличием в нейронных сетях мозга каналов / точек «скрещивания» (посредством рекурсии) логико-аналитического (математического) мышления с пространственно-образным [Хофштедтер, 2001, с. 689]. То есть, по сути, с каналами / точками входов / подключений правого полушария к левому. (Вспомним точки переходов в гомотопической теории типов Воеводского.)

Другим важным открытием в сфере когнитивных наук, позволяющим признать их «право голоса» в исследовании «верхних этажей» математического органона, можно считать, на наш взгляд, изобретение нейрокомпьютеров. Как известно, при их создании используются не оптимизированные логические схемы обычных компьютеров, а нейроморфные (подобные нейронным сетям мозга) логические схемы. Сравнительные исследования обычных и нейронных компьютеров показали отличия тех и других. Первые явно мощнее в выполнении логико-вычислительных задач, но очень слабы в простых задачах, легко доступных интеллекту человека. Вторые – слабее в вычислениях, но намного ближе и соразмернее мышлению человека, включая и способности к обучению. В когнитивистике различия между этими видами компьютеров обычно сопоставляют с различиями в работе левого и правого полушарий мозга [Меркулов, 2005].

Дискуссии вокруг нейрокомпьютеров сопровождались и полемикой вокруг так называемой «компьютерной метафоры» в когнитивистике. Суть ее, коротко говоря, в том, что чему может быть уподоблено: мозгу компьютеру или компьютеру мозгу. Сторонники этой метафоры полагают, что мозг функционирует подобно компьютеру на основе некоторого управляющего программного обеспечения (software). Это, впрочем, не означает, что они готовы уподоблять содержание программ мозга и компьютера. Скорее, наоборот, ими подчеркивается принципиальное различие этих программ. Вторая позиция – коннекционизм – исходит из того, что логическая сеть компьютера должна быть уподоблена нейронной сети мозга, и именно с этим связаны большие перспективы [Gray, 2001].

Вот с этой второй позицией может быть определенным образом сопоставлена наша тема соотношения когнитивистики и метаматематики. Дело в том, что исключительная сложность связей нейронных сетей в мозгу не может быть напрямую воспроизведена в нейрокомпьютере. От прямого воспроизведения приходится отказаться и заменять его по возможности сходной схемой. Для построения таких схем требуется математический аппарат, близкий к метаматематике. Известный в мире разработчик нейрокомпьютеров Рэй Курцвэйл пишет, что решить проблему создания таких схем ему помогла теория скрытых моделей Маркова, связанная с областью метаматематики [Курцвэйл, 2015, с. 164]. Суть этой теории – в том, чтобы при последовательном переходе от одних состояний системы к другим исклю-

чать из процесса наименее вероятные состояния. Исключение таких состояний может составить алгоритм функционирования системы. Курцвэйл пишет, что использовал этот алгоритм при создании нейрокомпьютерного устройства по распознаванию человеческого голоса, которое затем стало применяться в смартфонах.

Но для нас более существенно то, что с помощью этой теории предлагается объяснить известные экспериментальные данные Ван Видена, который обнаружил в кортексе мозга некую микроскопическую и строго организованную трехмерную сеть волокон [Geometric Structure of the Brain... 2012]. Эта сеть, вероятно, формируется генетически в ходе рождения и роста организма и сохраняется во взрослом мозгу. Предполагается, что нейроны могут подключаться к этой сети, образуя устойчивые либо неустойчивые сетевые комбинации. При этом они, возможно, могут функционировать в соответствии с алгоритмом теории скрытых моделей, т.е. путем исключения (отказа от использования) в сети тех связей, которые наименее вероятны.

Таким образом, еще одно пересечение когнитивистики с метаматематикой может иметь весьма впечатляющие результаты. В случае экспериментального подтверждения гипотезы нейроалгоритма возможен новый виток в развитии нейрокомпьютеров и их более тесного взаимодействия с человеческим мозгом. В перспективе они также могут стать эффективным связующим звеном между традиционным компьютерным интеллектом и человеком.

* * *

Итак, предложенное видение математического органаона сквозь призму парадигмы когнитивистики, предваренное рассмотрением метаматематической парадигмы, позволяет, на наш взгляд, лучше представить определенные сходства, но также и различия этих оптик. С одной стороны, мы пытались показать широту одного подхода и узость другого (что было проиллюстрировано схемой). Но, с другой стороны, было также понятно, что узость видения в метаматематике ведет к большей четкости и контрастности картины. И в этом смысле узкий подход, как нам кажется, может поддержать и внести вклад в другой – более широкий. Но и широкий подход когнитивистики может быть очень полезен. Математический органон, взятый в этой оптике, получает более объемное и многоплановое видение. В приведенных примерах мы в основном коснулись пересечения парадигм на «верхних этажах» исследования, что на первых порах показалось наиболее интересным. Но пока, по существу, не был затронут «нижний» пласт исследования математики как органаона, который открывается когнитивистской оптикой анализа и куда метаматематическое видение проникает весьма опосредованно. Но этот путь, несомненно, впереди, и, возможно, именно там нас ожидает много интересного.

Список литературы

- Авдонин В.С. Методологическая интеграция в науке // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 12–32.
- Авдонин В.С. Методы в «вертикальном» измерении (метатеория и метаязыки-органоны) // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2015. – Вып. 5. – С. 265–278.
- Авдонин В.С. Математика как органон: Формализации, алгоритмы, модели // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2016. – Вып. 6. – С. 90–108.
- Бурбаки Н. Очерки по истории математики. – М.: Иностранная литература, 1963. – 292 с.
- Вейль Г. Математическое мышление. – М.: Наука, 1989. – 400 с.
- Витгенштейн Л. Философские работы. – М.: Гнозис, 1994. – Ч. 2: Замечания по основаниям математики. – 612 с.
- Гильберт Д. Аксиоматическое мышление // Гильберт Д. Избранные труды / Пер. с нем. Ю.А. Данилова. – М.: Изд-во «Факториал», 1998. – Т. 1. – 575 с.
- Гильберт Д., Бернайс П. Основания математики / Пер. с нем. Н.М. Нагорного под ред. С.И. Адяна. – М.: Наука, 1982. – Т. 2: Теория доказательств. – 652 с.
- Гильберт Д. Основания геометрии / Пер. с нем. И.С. Градштейна. – М.: Гос. изд-во технико-теорет. лит-ры, 1948. – 491 с.
- Ильин М.В. Методологический вызов // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 6–11.
- Ковалев С.П., Родин А.В. Аксиоматический метод в современной науке и технике: прагматические аспекты // Философия и эпистемология науки. – М., 2016. – № 1. – С. 153–170.
- Клини С.К. Введение в метаматематику. – М.: Издательство иностранной литературы, 1957. – 527 с.
- Круглый стол «Математика и семиотика: Две отдельные познавательные способности или два полюса единого органаона научного знания?» // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 122–141.
- Курицвэйл Р. Эволюция разума / [Пер. с англ. Т.П. Мосоловой]. – М.: Издательство «Э», 2015. – 352 с.
- Лекторский В.А. Реализм, антиреализм, конструктивизм и конструктивный реализм в современной эпистемологии и науке // Конструктивный подход в эпистемологии и науках о человеке / Отв. ред. В.А. Лекторский. – М., 2009. – С. 4–40.
- Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. – М.: Медиум, 1995. – 236 с.
- Марков А.А., Нагорный Н.М. Теория алгорифмов. – М.: Наука, 1984. – 432 с.
- Мартин-Лёф П. Очерки по конструктивной математике. – М.: Изд-во «Мир», 1975. – 136 с.
- Меркулов И.П. Когнитивные способности. – М.: ИФ РАН, 2005. – 182 с.
- Перминов В.Я. Философия и основания математики. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 320 с.
- Расева Е., Сикорский Р. Математика метаматематики – М.: Наука, 1972. – 592 с.
- Тарский А. Истина и доказательство // Вопросы философии. – М., 1972. – № 8. – С. 136–145.
- Тарский А. Семантическая концепция истины и основания семантики // Аналитическая философия: Становление и развитие. – М.: Дом интеллектуальной книги: Прогресс-традиция, 1998. – С. 95–114.
- Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. – М.: Иностранная литература, 1948. – 326 с.
- Хофштадтер Д. Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2001. – 752 с.

- Anderson J.R.* The architecture of cognition. – Cambridge, Mass.: Harvard univ. press, 1983. – 345 p.
- Gardner H.* The mind's new science: a history of the cognitive revolution. – N.Y.: Basic Books, 1985. – 423 p.
- Gödel K.* Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I // Monatshefte für mathematik und physik. – Wien, 1931. – Т. 38, N 1. – S. 173–198.
- Gary M.F.* The Algebraic Mind: Integrating Connectionism and Cognitive Science (Learning, Development, and Conceptual Change). – Cambridge, MA: MIT Press, 2001. – 224 p.
- Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics. – Princeton: Institute for Advanced Study, 2013. – 603 p.
- Mathematik auf neuer Grundlage // ETH – News. – Mode of access: <https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2014/09/bernays-lecture-2104.html> (Дата обращения: 24.08.2016.)
- Miller G.A.* The cognitive revolution: a historical perspective // Trends in cognitive sciences. – Oxford, 2003. – Vol. 7, N 3 – P. 141–144.
- Pinker S.* How the mind works. – N.Y.: Norton, 1997. – 660 p.
- Tarski A.* The Semantic conception of truth and the foundations of semantics // Philosophy and phenomenological research. – Buffalo, 1944. – Vol. 4, N 3. – P. 341–375.
- Geometric Structure of the Brain Fiber Pathways* / Van J. Wedeen, Douglas L. Rosene, Ruopeng Wang, Guangping Dai, Farzad Mortazavi, Patric Hagmann, Jon H. Kaas, Wen-Yih I. Tseng // Science. – N.Y., 2012. – Vol. 335. – P. 1628–1634.
- Voevodsky V.* The Origins and Motivations of Univalent Foundations. – Mode of access: <https://www.ias.edu/ideas/2014/voevodsky-origins> (Дата обращения: 24.08.2016.)

В.Г. Буданов

**ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ДИСКУРСЫ ПОСТНЕКЛАССИКИ
(Выступление на методологическом семинаре
в ИНИОН РАН 1 ноября 2016 г.)**

– Добрый день, очень рад выступать перед коллективом дружелюбного института. Коллеги, я правильно понимаю, что здесь философы науки, методологи, эпистемологи? Потому что если присутствуют чистые гуманитарии, то вынужден буду делать для них дополнительные комментарии. Речь пойдет о теме, которая изложена в трех книгах, но, если позволите, я буду отвечать только за свое видение и могу немного рассказать про общие проекты. Первая по дате выпуска – это книга, которую готовила Л.П. Киященко, и посвящена книга категории трансдисциплинарности [Буданова, 2015]. Остальные книги можно скачать целиком на моей страничке в eLibrary. Вторая книжка связана с проектом, в котором участвуют также Елена Георгиевна Гребенщикова и другие, она о проекциях конвергентных технологий в антропосфере и является итогом первого года коллективного проекта гранта РФФИ [Социоантропологические... 2015]. И наконец, в конце 2015 г. мы с Владимиром Ивановичем Аршиновым издали небольшую монографию «Квантово-сложностная парадигма. Междисциплинарный контекст» [Архипов, Буданов, 2015].

Немного о себе. Я физик по образованию и первой диссертации, по жизни где-то до 40 лет преподавал физику, а до этого был физиком-теоретиком, специализируясь по квантовой теории. Перебрался в 1995 г. в Институт философии РАН, уже занимаясь синергетикой, с надеждой, что это кому-то окажется интересно. На самом-то деле квантовая теория поля широко использует такие понятия, как конденсированные состояния, вакуумы, нарушение симметрий, солитоны и прочее, что онтологически очень близко нелинейным методам синергетики. Основным мотивом моего перехода в зрелом возрасте из физики в философию стала идея реализации концепции естественно-научного образования гуманитариев на базе синергетики, истории и философии науки. По ходу работы мои интересы все больше и больше сдвигались в сторону квантово-синергетической антро-

пологии. Поэтому все, о чем я буду говорить, имеет в качестве оснований синергетические принципы, с которыми наверняка вы тем или иным образом знакомы, и их легко найти, например, в главе 2 моей старой книги [Буданов, 2009].

Можно предложить несколько тем для разговора. Один сюжет – это междисциплинарность, трансдисциплинарность; как она сегодня понимается, какие здесь проблемы. Второй сюжет, который обозначен в заголовке семинара, – это некие ландшафты, формируемые в техноантропосфере в связи с переходом к шестому технологическому укладу. То есть как NBICS-технологии могут преобразить, а может, исковеркать нашу жизнь. Ключевым здесь является такое симбиотическое образование, как техноантропосфера. Но мы можем попытаться объединить эти сюжеты.

– И то и другое очень интересно. Первая тема как бы ближе к нашей тематике, но вторая вообще всем должна быть интересна.

– А тематика ваша как-то, наверное, оформлена вербально?

– У нас есть Центр, он называется Центр перспективных методологий социально-гуманитарных исследований. И, естественно, там мы занимаемся и междисциплинарностью, и трансдисциплинарностью, и наддисциплинарностью, и мультидисциплинарностью, и метадисциплинарностью.

– Спасибо. Относительно недавно я понял, что есть в культуре образец подлинной междисциплинарности. Он существует с давних пор, но он существует в такой несколько маргинальной для строгой науки сфере, которая называется медициной. И сейчас В.С. Степин это тоже обнаружил, он совместно с недавно ушедшим академиком от медицины выяснил [5], что, скажем, идеи гомеостаза, обратных связей и так далее в медицине с середины XIX в. обсуждались очень бурно, это было уже хорошо известно. Я думаю, не случайно основатели первых междисциплинарных подходов Л. Берталанфи и А. Богданов имели медико-биологическое образование. Я, правда, не знаю, ссылались ли они на дискуссии в медицине, но в ней темы кибернетические появились существенно раньше, чем в физике и уж тем более в системном подходе. То есть идея «черного ящика» просто имманентна медицине и появилась до возникновения теории управления Н. Винера и даже до квантовой теории измерений В. Гейзенберга. Но ведь «черный ящик» – это фактически деятельностьная протомодель исследования человека; именно таким способом, по системе опрашивания и отклика, веками ставился диагноз, а что там внутри, изначально плохо понятно. Следующим шагом медицина, специализируясь, превращает «черный ящик» в набор «серых». Сейчас я поясню свою идею. Дело в том, что когда у вас есть столь сложный объект, как человеческий организм, или вообще сложная система, то важен вопрос о конфигураторе, когда вы начинаете пытаться системным способом его описывать. Напомню, что конфигураторы должны предъявить элементы системы и, соответственно, связи. Так вот, этот вопрос совершенно не тривиален, и Берталанфи тоже это обсуждает. Вернемся теперь к медицине. Когда мы проходим кабинеты

поликлиники, то видим соответствующие названия специалистов на дверных табличках. Так вот, у хирурга будет свой конфигуратор, соответственно, связки, кости, при первичном осмотре; у невропатолога свой конфигуратор с точечками проверки рефлексов; у иглотерапевта – акупунктурные точки на атласе меридианов человека; у эндокринолога, кардиолога – свои конфигураторы и т.д. То есть фактически вы берете некий значимый аспект жизнедеятельности организма, экстрагируете его и по нему проводите специализацию. И то же самое – когда вы обращаетесь к социогуманитарной области, то ее описание так же разбивается представителями разных дисциплин, политологами, правоведами, экономистами, социологами, психологами, культурологами, антропологами по своим конфигураторам. Всем понятно, что они изучают. Среди них есть и рядоположенные, и более интегративные направления, как антропология, например. Естествознание – это вообще классика дисциплинарного жанра: физика, химия, биология, описывающие иерархические уровни сложности нашего мира (вертикальная междисциплинарность), причем каждая из них разбивается на череду рядоположенных поддисциплин (горизонтальная междисциплинарность). Казалось бы, сколько столетий химия и физика сосуществуют, но химия все же не редуцируется к атомной физике как наука на том основании, что все состоит из атомов, каждая язык свой сохраняет. Действительно, у них есть физико-химическая зона перекрытия и общего языка уравнения Хартри – Фока, но, когда вы добираетесь до сложных молекулярных соединений, никто даже не мыслит использовать точные физические представления о взаимодействиях электронов, а переходит на язык комплиментарностей, валентностей и т.д. То есть конфигураторы все равно свои, потому что при переходе на следующий уровень сложности удобно работать в сокращенных интегративных понятиях, которые являются параметрами порядка, коллективными переменными для микроуровня более фундаментального физического описания. А когда в биологию уходим, там все еще сложнее. Там все чаще работают не в одной дисциплине, есть междисциплинарность смежных дисциплин, биофизика, биохимия, молекулярная биология, радиационная генетика и т.д. В радиационной генетике, например, мы работаем на всех уровнях реальности «одновременно», начиная с физики элементарных частиц и кончая поведенческими особенностями психики, используем мягкую редукцию между уровнями бытия. Отмечу, проблема редукционизма еще раз проявляется в нанотехнологии или в трансгуманистических проектах, что требует отдельного рассмотрения. Итак, традиция интегрально работать со сложным объектом в естествознании методологии пока не сложилась, но постепенно она возникает, в прикладной науке в первую очередь.

– Так вот, в чем разница между медициной и теми же общественными науками или даже естествознанием? Дело в том, что только в медицине вы наблюдаете такую фигуру междисциплинарного интегратора, как терапевт. Терапевт соберет анамнез всех специалистов, и вот он должен дать некое

заключение по окончательному диагнозу и рекомендации по лечению (управлению) организма. Напомню, что вообще-то в медицине сначала был только терапевт, иногда коллективный терапевт или консилиум. Вся эта дисциплинарная медицина возникает в XIX в. и позже, хотя повитухи, костоправы и зубных дел мастера были всегда. Что это означает, вот вопрос?

– Да. Обычно, когда рассматривают естествознание и медицину, первое рассматривают как гнозис, знание, а медицину и инженерию – как область «техно».

– Как искусство, да. Так вот, сейчас я не думаю, что медицину именно вот так можно охарактеризовать – как искусство. Она все ближе к науке и технотехнике: пытаются многое автоматизировать, роботы хирургические появились, есть автоматические системы распознавания образов при диагностировании, большие базы знаний и Big Data, дистанционные методы анализа и т.д. Конечно, сегодня это наука. Но элементы искусства, несомненно, остаются, потому что терапевта никто заменить не может. И когда мы берем медицинскую диагностику, скажем, опираясь на некую статистику распределений, то это одна медицина – это медицина, в которой вот это заболевание лечится в 80% случаев вот таким-то лекарством. Но я не думаю, что вы захотите с такой вероятностью сталкиваться, лучше какого-нибудь приличного терапевта найти. Статистика плохо учитывает историю ваших заболеваний, ваши особенности организма и психики, она дает «среднюю температуру по больнице». Другая система называлась раньше «домашний доктор», земский врач, участковый терапевт, который вас с детства знает, и до недавнего времени это еще в Британии было, а сейчас сходит на нет повсеместно, кроме богатых семей. Теперь люди доверяются статистике, что в общем-то не очень гуманно, зато научно и юридически обоснованно. Вот домашний доктор – он обладал этим элементом интуитивного прозрения, которое приобреталось через эмпатию от профессора-учителя, через практику общения с пациентами со студенческих лет (сегодня это юридически запрещено), так возникало неявное (по Полани) знание постановки неочевидных диагнозов, а сегодня все чаще мы наблюдаем диагностирование с помощью Интернета. И все же компонент искусства остается, он создает успех нестандартных операций, формирует доверие пациентов, дает превышение результатов лечения над средними показателями и т.д. Но вы скажете, что терапевт в медицине был изначально, с него все и началось, и терапевт там по-прежнему уважаем. Можно ли его обнаружить или создать в других областях науки? Видимо, примерно такой замах был, когда Богданов создавал тектологию. У него была эта идея – описывать сложные организмичные системы, – в первую очередь это социальная и общеорганизационная наука. Берталанфи тоже призывает – искать общие свойства систем произвольной природы, они и были первыми терапевтами от большой науки. Напомню, что слово *θεραπευταί* (терапевты) – греческий перевод арамейского слова *asayya* (врачи), от которого, как полагают, произошло и название *ессеи* – секты в

дохристианском иудаизме. Врачевание или гармонизация сложной системы и предполагает диагностику и управление пересборкой системы по оптимальным поликритериальным законам междисциплинарного взаимодействия.

– Каково же отношение к таким междисциплинарным подходам в самой научной среде, что говорит социология науки? Тектологию оставим, у нее драматичная судьба, опаленная безвременьем революции и гибелью ее творца. Говоря о системном подходе, кибернетике, синергетике в первую очередь подчеркивают, что они предлагают не только новые языки, но и новые парадигмальные образы реальности. Во времена Коперника мир был «устроен» как часы, после Ньютона – мир как взаимодействующие точечные частицы (Максвелл добавил поля, а Планк – кванты), для общей теории систем Берталанфи – мир устроен как суперсистема, для кибернетики Винера – мир как самоорганизующийся автомат, для синергетиков – мир как саморазвивающийся универсум (концепция универсального эволюционизма Моисеева). Так вот, возможно ли рождение этой институции «терапевтической», т.е. синтезирующего начала на поприще естествознания, социальных и гуманитарных наук? Эту прививку междисциплинарности осуществляли в течение всего XX в.: А. Богданов, Л. Берталанфи, Н. Винер, И. Пригожин, Г. Хакен, Н. Моисеев, С. Курдюмов, Э. Морен, Д. Чернавский, М. Геллман; и, собственно, эта междисциплинарная деятельность была, но в целом дисциплинарная наука совершенно не расположена к тому, чтобы вслушиваться в какие-то новые языки и тем более чуждые образы мира помимо их собственных частнодисциплинарных картин реальности. Сегодня дисциплинарии не видят пользы от синергетики в рамках своих задач. Когда я только начинал на рубеже 90-х, у меня был задор неопита проповедовать синергетику везде, так вот, гуманитариям оказалось проще доказать ее пользу. И концепция дисциплины естествознания для гуманитариев, которую я разрабатывал, имела обязательный синергетический компонент в государственной программе, а на заседании в минобре ее поддержали известные психологи (В.Ф. Петренко), которых я уже ранее обратил в синергетическую веру, что и решило судьбу дисциплины. Физики – хотя вроде бы это не их дело, ведь мы образуем гуманитариев, – очень возмущались: «Куда это вы потащили наши методы?!» Я говорю: это не ваши методы, это математика, это А. Пуанкарэ придумал, а до тех пор пока к вам не обратятся экономисты, чтобы что-то смоделировать, или историки, вы так и не поймете, зачем нужна междисциплинарная методология. Я сам физик, и, к сожалению, этот физический шовинизм преодолеть не удастся, и не нужно его преодолевать. Другой источник сопротивления – со стороны самих философов; в начале 2000-х были довольно серьезные нападки на синергетику и на меня лично, так как я выходил на защиту докторской по синергетической методологии. На самом деле В.С. Степин был, конечно, в прицеле, потому что в 2002 г. в Ростове, на философском конгрессе в своем пленарном докладе он заявил, что синергетика является ядром новой научной картины мира

XXI в. Мест не было, в огромном зале я стоял у стены и заметил, как все сразу затихли, а потом стали перешептываться: что же нам с этой синергетикой делать. Через год началась кампания шельмования синергетики и ее адептов в «философских науках» (при старой редколлегии) и в бюллетене комиссии по борьбе с лженаукой. Никакого терапевтического начала, в общем-то, ожидать не приходилось, энтузиазм по поводу синергетики у общественности заметно поубавился. Тем не менее и системный подход, и кибернетика прижились и активно используются сегодня. Как это произошло – ведь травили не только генетику в 30-е годы, но и «кибернетику, продажную девку империализма», в 50-е? Основная причина проста – это исторические вызовы гонки вооружений и развития нового технологического уклада. А это проблема автоматических комплексов и систем противоздушной обороны (с чего и начиналась кибернетика), автоматизация космических аппаратов и систем слежения и жизнеобеспечения для большого космоса, создание автоматических систем управления на производстве и в экономике и т.д. Травля довольно быстро превратилась в моду, и в 60-е годы открываются многие институты АН СССР системной направленности, создается Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, популяризируется робототехника. Вторая причина – привычка и постепенное усвоение новой картины мира в обыденном сознании и в общедисциплинарной картине мира. Это происходит поверх психологического барьера. То есть сначала говорят: «Ну это нам не нужно. Зачем нам чужие языки?» Я ходил в 90-х к академику В.А. Ядову, социологу нашему замечательному, все ему рассказал, он все понял, очень умный человек. Потом он мне говорит: «Ну а зачем нам чужой язык?» Он вроде не нужен, но если вы пытаетесь быть в диалоге с другими, то общий язык не помешал бы. Но это его не вдохновило. Так вот, сначала язык чужой не нужен. Это может быть опасно: чужаки заходят на вашу территорию; какие-то сомнительные проекты и т.д. Но проходит время, и потом вдруг выясняется, что этим языком начинают пользоваться. Тогда – ладно, пусть будет. А потом, уже на третьем этапе: «Ну а как же без него?»; «Это так естественно». То есть привить новое мировоззрение можно, но никакой институции терапевтической создать не удастся, пока нет основной причины – мощного исторического, цивилизационного вызова. Мы дружили с директором ИПМ РАН С.П. Курдюмовым, он любил бывать у нас в институте философии, мы – у него в гостях дома. Будучи трибуном синергетики, Сергей Павлович так и не решился при Академии наук делать междисциплинарную структуру. Время было сложное. Но на самом деле он побаивался вот этой дисциплинарной реакции многих уважаемых академиков, а в 2004 г. Сергея Павловича не стало. Сегодня лед тронулся, терапевтическое сообщество потихоньку оформляется вновь. Это происходит в реальных практиках, междисциплинарных проектах, они сейчас повсеместны, особенно мегапроекты, это стимулируется государственными грантами. И мы должны относиться к этому спокойно и не раздражать сильных мира

сего, т.е. дисциплинариев. Я понимаю, что с ними происходит в условиях кризиса РАН, а им и не обязательно на нас время тратить. Бороться с ветряными мельницами я себе позволить больше не могу. И хотя первая попытка институализации синергетики в 1990–2010 гг. не удалась, все же я оптимистично отношусь к будущему синергетики и теории сложности, как ее теперь называют. На то есть веская причина – наконец появился цивилизационный вызов, соизмеримый с освоением космоса, который без междисциплинарных методов синергетики не разрешить. Это переход к шестому технологическому укладу по Н.Д. Кондратьеву, в основании которого лежат конвергирующие NBICS-технологии, цифровая экономика и сетевое общество, а центральной фигурой является человек как мера всех вещей, где процессы самоорганизации и междисциплинарной коммуникации играют решающую роль. Считается, что эмбриональная фаза нового уклада приходится на 2010–2020 гг. а его доминирование произойдет к середине XXI в., и сейчас действительно самое время озаботиться созданием обобщенного терапевтического сообщества методологов-междисциплинариев.

– Следующий сюжет для нашего рассмотрения – об онтологиях междисциплинарности в самом обобщенном смысле. Тема необъятная; я знаю, что и вы ею активно занимаетесь. Здесь можно предлагать самые разные основания для классификации. В моей книге [Буданов, 2015, с. 26–28], например, обсуждаются пять типов междисциплинарной коммуникации: 1) согласование языков смежных дисциплин; 2) транссогласование языков многих дисциплин; 3) эвристический перенос или гипотеза-аналогия, 4) конструктивный междисциплинарный проект; 5) самоорганизующаяся сетевая коммуникация. Но нам сейчас важно другое, а именно – наука существует сразу на языках частных научных дисциплин (есть еще научный «суржик» общения профессионалов) и языке обыденного сознания. Именно на этом основании можно рассмотреть два типа трансдисциплинарной коммуникации, которые, на самом деле, в той или иной степени имманентны любым типам междисциплинарности. В первом случае – это междисциплинарность внутри самой науки, там есть и своя трансдисциплинарность. Действительно, по этимологии, «транс» – это «через». Ну а насколько далеко «через»? Если вы остаетесь в рамках самой науки, то «через» – это обычные языки общего пользования, принятые в разных дисциплинах. Самый первый из них – математика; по Галилею, «книга природы» языком математики пишется. Потом, уже в XX в. появились междисциплинарные системные подходы, кибернетика, синергетика. А если мы берем другой тип, более широкий, чем собственно наука, включающий жизненные миры человека, что совершенно необходимо для экспертизы социальной, – вот там возникает трансдисциплинарность другого типа. Елена Георгиевна защищалась на эти темы, даже когда-то мы дискутировали с ней, но в итоге я для себя понял, что просто это две ипостаси трансдисциплинарности. И вот эта вторая трансдисциплинарность – это тоже «через», но уже через границы научного сообщества, т.е. в поле обы-

денного сознания. Это очень важно, потому что именно там возникают социальная рефлексия, обратная связь и возможность как-то влиять через социальную экспертизу на развитие технологий, техники и науки, ее этоса. Еще ее уместно, в терминах В.И. Моисеева и Л.П. Киященко, называть «транснаукой» – наукой, которая выходит за свои собственные границы.

Отметим, что популяризация и преподавание универсальных системных языков науки крайне важны для формирования современной картины мира у людей, далеких от науки.

Хотелось бы обсудить еще тренды этоса и проблемы методологии современной науки как результат ее социализации. Вы все прекрасно знаете, что сейчас происходит размывание оснований науки, самих критериев научности. Я полагаю, что только в рамках междисциплинарной методологии можно вообще обсуждать эти темы. Первая и основная причина, на мой взгляд, – это коммерциализация науки. Если вы находитесь в отношениях конкуренции с коллегами, при этом принимают решения о грантах зачастую чиновники и не привлекается высокая научная экспертиза, то иногда люди впадают в искушение саморекламы, превознесения своих результатов, реальных или мнимых, без ссылок и цитирования предшественников или конкурентов, что еще не является прямым плагиатом, но противоречит самому духу науки. Отметим, что речь не идет об IT-разработках и продукции, они давно живут по жестким законам PR-рекламы и рынка. Такой стиль становится все более распространенным в фундаментальной науке, и тон в этом плане уже давно задали американцы. Они вообще ни на кого не ссылаются, как правило, кроме американцев. То есть честность цитирования и авторское право сейчас сильно девальвируются. Это связано с коммерческим моментом, а не с идеалами поиска истины. Не разрекламируешь свой товар – не продашь, в итоге страдает этика науки.

Второй момент, еще более неожиданный и драматичный, на мой взгляд. Именно в силу того что исследования коммерциализированны, сами фонды, которые дают деньги и, соответственно, экспертируют результаты, имеют сверхзадачу получения максимально резонансных научных открытий, признания заслуг фонда и т.д. Но, как мы понимаем, для того чтобы убедиться, что получены действительно надежные результаты, необходимы повторные эксперименты. То есть фонд должен, вообще-то говоря, давать еще гранты на подтверждение этих результатов. Это практически не делается нигде, тем самым нарушается основной методологический принцип воспроизводимости результатов. Когда вы берете огромные эксперименты на коллайдере в ЦЕРНе, то там осмысленно делают две установки, параллельно работающие онлайн, на этих же самых пучках, которые раскручиваются в кольце. Там физики понимают, что без этого вообще говорить об открытии невозможно. Повторить супердорогой эксперимент не удастся, но там уже заложено, что две или три группы параллельно его проводят. Если же вы берете биологию, психологию особенно,

то там с воспроизводимостью просто кошмар: проводится какой-нибудь длительный эксперимент и получаются сногшибательные результаты, а на проверку денег никто не даст. То есть сегодня наука в каком-то смысле замусоривается вот такими псевдорезультатами, и не методология здесь виновата, ее нарушения обусловлены привязкой к экономике успеха и к неким социальным реноме, научные сообщества оглядываются на то, дадут деньги или не дадут в следующий раз.

– *Но, видимо, всегда так было.*

– Это так кажется. Приведу пример. В мою бытность физиком-теоретиком в ИФВЭ в Протвино наш директор Логунов Анатолий Алексеевич (он был академиком и членом ЦК) опубликовал в газете «Правда» статью с перспективой ускорительно-накопительного комплекса УНК Протвинского, где писал, что бомба-то атомная была создана физиками, а вот сейчас на очереди кварковая бомба. Я помню, как мы смеялись в теоретделе, так тихонько смеялись, чтобы не слышно было, А.А. Логунов был всесилен. Мы все прекрасно понимали, конечно же, и он понимал, что чушь пишет, но вот для членов ЦК это звучало и могло, как говорится, склонить чашу весов в пользу физиков и выбить деньги на УНК. Деньги дали, но, к сожалению, УНК не состоялся, в силу того что во времена перестройки деньги кончились. А вообще говоря, Протвино – это была Мекка физиков-теоретиков, квантовиков всего мира второй половины 70-х – начала 80-х годов. То есть ЦЕРН мог бы быть в Протвино, потому что ускоритель у нас был самый мощный и его должны были в перспективе расширить. Это по поводу рекламы. Реклама, конечно, была, но все понимали ее карикатурный в отношении самой науки смысл, а сегодня это выдается за научный результат. Вот тут уже не просто этос науки размывается, а, если угодно, происходит фальсификация методологических оснований. Я, кажется, уже ушел от темы. Надо про современные дела.

– *Да, надо возвращаться.*

– Или вам это интересно?

– *Все интересно.*

– Ну это в книжке есть.

– *Так, вы вторую часть расскажите.*

– Я все же закончу еще об одной методологической ловушке современности. Речь идет о Big Data («Большие данные»). Замечательная, на первый взгляд идея, но где она хорошо работает? Американцы в свое время на рубеже 2000-х оцифровали и разместили на нескольких терабайтных дисках все, что было напечатано на территории Америки за все время ее существования. Вот любой листочек, любая газетка провинциальная, все это есть. Кто в этой системе может работать? Историк может работать как с архивом, но и вы можете строить гипотезы, что-то там проверять, хотя историки знают цену «обоснования» всяким гипотезам при таком объеме архивных данных, можно сгенерировать самые разные причинные версии событий при таком объеме знаний растут и лакуны незнания. Но сегодня

ведь мы Big Data собираем уже для других целей, мы пытаемся и биологические, и антропологические, социальные какие-то модели строить, в медицине используем. Основная беда здесь в методологически поверхностном, некритичном использовании Big Data для проверки гипотез; данные еще не есть знания. Возникает ощущение, что при таких массивах информации вы можете всегда подобрать данные для оправдания проверяемой модели; но эти данные были сняты частично в непонятных условиях и к вашей модели могут не иметь никакого отношения. Как физик я понимаю следующее: когда собираются эти (большие) данные, это не данные научных экспериментов. Потому что эксперименты – не только данные, должны быть описаны условия эксперимента, они должны соблюдаться в других экспериментах, плюс методология эксперимента, способы обработки первичных показаний приборов. Только в Big Data, как правило, не содержатся ни условия, ни метод проведения эксперимента, получения этих данных, точнее, они существенно неполные. В них не содержится проверяемая гипотеза. Ну даже допустим, что ее нет. И когда мы берем деятельную триаду: субъект – средство – объект, то мы полагаем, что это свойство объекта по Big Data. Но каким способом получено, не обсуждается. И что вы имели в виду, и какие обстоятельства отброшены или не отброшены в вашем рассмотрении, тоже не обсуждается. То есть это одно уравнение с несколькими неизвестными, вот и все. Что здесь делать – не очень понятно, потому что для этого должен быть какой-то методологический прорыв, связанный с восстановлением дополнительной информации. Это сродни тому, что сегодня происходит в нарождающейся цифровой экономике. Создается так называемая система «блокчейн» перевода денег, которые будут в обход банков обращаться напрямую между участниками рынка. Но к этим деньгам, к каждой транзакции будут привязаны история вопроса и юридические гарантии, автоматически туда пересылаемые. Историю цепочки транзакций, чей это долг, договор или еще что-то, вы можете восстановить, система абсолютно прозрачна, банковские издержки обнуляются. Это тоже Big Data, но, поскольку дело деньгами пахнет, люди понимают необходимость строго соблюдать методологию, так как юридически все должно быть доказательно, и там это изначально закладывается. Таким образом, базы «Больших данных» превращаются в базы «Больших знаний». Если же мы берем научные данные, то здесь почему-то считается, что можно этого не делать. Данная проблема носит междисциплинарный характер, так как, работая с мегапроектами, мы должны заниматься и вот такой методологией. А когда вы Big Data собираете и используете, вы понимаете, что они обычно взяты не из научных экспериментов, а из относительно случайных наблюдений за этой реальностью без указания контекстов. Я лет 10 назад в своей книге [Буданов, 2015, с. 74–76] уже обсуждал методологию моделирования сложной реальности, в частности социогуманитарной, хотя понятия Big Data еще не было, и предлагал некую методологическую перспективу, о которой хочу здесь напомнить.

Для сложных гуманитарных феноменов законы проявляются в первую очередь в информационной сфере, хотя за этим стоят тонкие естественно-научные и синергетические механизмы в многокомпонентных системах. Обратимся к хорошо известной метафоре о «**лаборатории природы**», в которой творится и меняется мир, а наука расшифровывает природные законы развития. Напомним, что только с эпохи Возрождения человек стал в этой лаборатории активным сотрудником, осознанно ставя эксперимент. В гуманитарной сфере эта метафора может быть представлена как «**лаборатория культуры**», в которой совместно с живой, неживой природой человек творит антропную сферу. Он творит свой мир самореферентно и самокреативно в режиме коммуникации и самоорганизации, поэтому синергетика здесь совершенно необходима. Особенность лаборатории культуры заключается в том, что она абсолютно постнеклассична: сознательно или бессознательно, человек является и творцом, и средством, и объектом деятельности. Техническая и духовная сфера культуры могут быть представлены как поле для эксперимента, как правило, бессознательного (социальная инженерия и эксперименты в искусстве и литературе возникли совсем недавно). Точнее, идея экспериментов возникает, когда мы начинаем рефлексировать над феноменами культуры, искать и реконструировать их цели и смыслы, пути их изменения; а ее практики, технологии, хроники, материальные ценности и произведения искусства, созданные за многовековую историю, могут рассматриваться как результаты экспериментов. Тем самым меняется стратегия получения эмпирического знания: не надо, а часто – запрещено ставить активный социальный или психологический эксперимент, достаточно создать полные информационные базы данных антропной сферы, сегодня это становится возможным. В частности, такими информационными базами культуры являются Интернет и иные базы данных и знаний. На первый взгляд, мы возвращаемся к идеалам невмешательства в естественный ход вещей, свойственным античной науке (да и вообще науке до Ф. Бэкона), однако это происходит на совершенно новом уровне культуры описания, моделирования и понимания реальности. Например, в естествознании это подход наблюдательной астрономии, но там ясно, что наблюдать. В культуре наблюдать надо все, описательный массив грандиозен, ведь мы пока не знаем, что окажется существенным для построения будущей теории (сегодня это называют парадигмой Big Data). Еще одна сложность в том, что объекты культуры полионтичны, зачастую уникальны и заданы уникальными языковыми, выразительными средствами, т.е. привычный критерий воспроизводимости эксперимента следует обобщать на исторические системы и согласовывать языки разных традиций. Тем не менее методы современной статистики и информатики позволяют строить в этом море информации распределения и корреляции исследуемых гуманитариями характеристик, искать законы развития. Дальнейшая теоретизация будет связана с решением некорректных обратных задач моделирования и компьютерной проверкой гипотез на мощных

ЭВМ. Это долгая перспектива, так как гуманитарные системы несравненно сложнее естественно-научных, а обратные задачи восстановления вида уравнений обычно существенно сложнее прямых задач решения этих уравнений. Мы лишь в начале пути, однако в случае успеха возникнет более целостное понимание мира.

Список литературы

- Буданов В.Г.* Трансдисциплинарные дискурсы постнеклассики: познание, коммуникация, самоорганизация в антропосфере // Трансдисциплинарность в философии и науке: подходы, проблемы, перспективы / Под ред. В. Бажанова, Р.В. Шольца. – М., 2015. – С. 145–159.
- Социоантропологические измерения конвергентных технологий. Методологические аспекты: Коллективная монография / Аршинов В.И., Асеева И.А., Буданов В.Г., Гребенщикова Е.Г., Гримов О.А., Каменский Е.Г., Москалев И.Е., Пирожкова С.В., Сушин М.А., Чеклецов В.В.; Отв. ред. И.А. Асеева, В.Г. Буданов. – Курск: Университетская наука, 2015. – 238 с.
- Аршинов В.И., Буданов В.Г.* Квантово-Сложностная Парадигма. Междисциплинарный Контекст. – Курск: Университетская книга, 2015. – 136 с.
- Буданов В.Г.* Методология синергетики в потнеклассической науке и в образовании. – 3-е изд., доп. – М.: УРСС, 2009. – 240 с.
- Сточик А.М., Затравкин С.Н., Стёпин В.С.* К истории становления неклассического естествознания: революция в медицине конца XIX столетия // Вопросы философии. – М., 2015. – № 5. – С. 16–29.
- Проблема междисциплинарности в Контексте реформ российской науки. Материалы «Круглого Стола» / *Аршинов В.И., Буданов В.Г., Горохов В.Г., Киселёва М.С., Киященко Л.П., Кузнецов В.Ю., Лапин Н.И., Лекторский В.А., Мамчур Е.А., Никольский С.А., Пирожкова С.В., Розин В.М., Стёпин В.С., Юдин Б.Г., Ярославцева Е.И., Бургете Аяла М.Р.* // Философия науки и техники. – М., 2016. – Т. 21, № 1. – С. 5–35.

В.И Моисеев

**ОБРАЗЫ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ**
(Лекция в ИНИОН РАН 27 сентября 2016 г.)

В первую очередь необходимо немного разобраться с терминами. Нужно пояснить, что имеется в виду под термином «интегральная философия». В истории философии существуют самые разные школы и направления. Интегральную философию можно выделить как линию мировой философской традиции, которая тяготеет к разного рода синтезам, к наиболее равносному представлению различных полярных начал, например таких как материализм – идеализм, рационализм – эмпиризм и т.д.

Тем самым предполагается существование двух типов мышления в философии, один тип – это стиль неравновесного мышления, который тяготеет к разного рода крайностям, например выбору материализма против идеализма, идеализма против материализма и так далее, и второй – более равновесный тип мышления, который как раз и присущ философам-синтетикам. Их не удовлетворяют крайности, они пытаются найти какую-то интеграцию, какой-то синтез между разными полярными началами. Такая линия равносно мыслящих философов условно и может составить линию *интегральной философии*.

С этой точки зрения, это феномен мировой философской традиции, к которой можно отнести и индийский ведизм, и (нео)платонизм, и немецкую классическую философию, русскую философию всеединства и т.д.

В первом приближении можно говорить о трех основных этапах развития интегральной философии: классика, неклассика и постнеклассика. Это деление получило широкое распространение в отечественной философии науки благодаря Вячеславу Семеновичу Степину – экс-директору Института философии Российской академии наук, который выделяет три указанных периода развития научной рациональности. В какой-то степени подобное деление можно было бы попытаться применить и к периодизации истории интегральной философии. Но, конечно, применение такого деления в этом случае требует специального пояснения.

Классический период развития интегральной философии можно соотнести с платонизмом, философией Гегеля, русской философией всеединства. Это стратегия нестрогого синтеза всех возможных полярностей. Многие из представителей этой философии не очень любят математику, структурный подход, например Гегель, Соловьёв считали, что математика – это низшая стадия развития разума, и потому они принципиально выстраивали свои философские синтезы в неструктурной, нестройной манере.

Второй, неклассический период развития интегральной философии связан, возможно, больше с развитием постмодернизма. Здесь начинает преобладать эклектика и в то же время тяготение к структурализму, например в виде (пост)структуралистских подходов, но во многом теряется энергия подлинной универсальности.

И третий этап, условно его можно назвать постнеклассическим. С моей точки зрения, как раз он выражается в феномене *философии неовсеединства*, о котором я буду позднее говорить. Здесь происходит уже попытка соединения более строгого структурного подхода и разного рода интегративных методологий. Так что условно этот период можно называть *интегративно-структуралистским*.

Один из наиболее ярких примеров и своего рода синоним интегральной философии – это *философия всеединства*. Ее можно понимать в широком смысле, как мировую философскую традицию, опять-таки выражающую наиболее интегральную линию философии, и в более узком смысле, как это обычно принято, – как школу русской философии всеединства, основанную Владимиром Сергеевичем Соловьёвым.

Но во многом это не просто историческая школа, которая когда-то проявила себя и пришла к завершению, это и своеобразный проект, всегда открытый в будущее, который может воспроизводиться на каждом новом историческом этапе развития философского рационализма.

В качестве примера современной версии интегральной философии можно привести так называемый «интегральный подход» (integral approach) американского философа Кеннета Уилбера.

Если говорить в более узком смысле о русской философии всеединства как ярком представителе интегральной философии, то здесь можно выделять по крайней мере две основные линии. Обычно ее отождествляют как раз с первой линией, и в связи с этим возникает синоним этой философской школы – «русская религиозная философия», т.е. предполагается, что разного рода синтезы и интеграции в этой философии строятся сугубо на религиозной основе, на образах религиозного логоса и т.д.

Но все-таки мне представляется, что в русской философии всеединства существует и достаточно мощная вторая составляющая, которую условно можно называть *светской линией* этой философской традиции, и показателем ее является очень интересное отношение к философии Соловьёва со стороны всех христианских конфессий, в первую очередь католичества и православия.

Ни та ни другая не приняли философию Соловьёва, в отличие, например, от философии Фомы Аквинского, которая лежит в основании католицизма, не приняли философию Соловьёва как выражение собственного религиозного логоса, резонирующего с догматикой той или иной религиозной школы.

И более того, если исследовать более глубоко религиозную линию философии Соловьёва, то мы обнаружим, что в своей основе она все-таки рациональна. Соловьёв начинает с наиболее равновесного рационального образа Абсолютного, с его выражений в различных категориях, каких-то концептуальных формах, как это способен наиболее равновесно выразить разум, и только затем, после подготовительного, преимущественно рационального этапа, он переходит уже к выражению этой рациональной конструкции в тех или иных исторических, и в том числе религиозных, формах. И, например, с его точки зрения, он находит, что эта рациональная конструкция в наибольшей степени выражается в историческом христианстве, не более того.

С этой точки зрения даже религиозная линия русской философии всеединства также своеобразна. Она отталкивается не от первичности веры, а, скорее, все-таки от первичности разума. И отсюда понятно неприятие этой философии в тех или иных религиозных направлениях.

Я говорю здесь о рациональной конструкции, которую использует Соловьёв, и нужно, конечно, допускать такую важную оговорку – это не классический рационализм, и те структуры, которые он использует в своих текстах, скорее могут быть отнесены к категории глубоко неклассического, даже постнеклассического рационализма (если их начать эксплицировать новыми структурными средствами). Вот об этом мы также немного поговорим.

Мне представляется, что в русской философии всеединства был своеобразный метод синтеза, методология синтеза, в основе которой лежит использование некоторых *базовых концептов* и их приложение в тех или иных конкретных областях. Можно выделить эти концепты в относительно чистом виде и далее дать им более строгое структурное выражение.

Такой проект можно условно назвать «*Логика всеединства*». Правда, в этом случае оказалось, что нельзя найти прямых аналогов тех концептов, которые присутствуют в данной философской системе, в существующих логико-математических структурах, например числовых структурах, конструкциях булевой алгебры, векторного пространства и т.д. И пришлось во многом создавать заново эти структуры, для того чтобы более адекватно выразить соответствующие концепты.

Проект «Логика всеединства» был представлен в двух основных монографиях: «Логика всеединства» и «Логика добра». В первой книге я проанализировал множество текстов представителей русской философии всеединства и показал, что они регулярно используют сходную концептуальную конструкцию. Такой концептуальный слой у них достаточно одно-

родный, одинаковый. И только когда происходит переход к конкретным эмпирическим областям, они уже интерпретируют эту единую конструкцию в частных предметных формах. В книге «Логика всеединства» была сделана попытка эксплицировать эти концепты в форме новых структур, идя очень плотно вслед за текстами и проводя кропотливую интерпретацию.

В книге «Логика добра» была, по сути, проделана та же самая работа, но только по отношению к одному, главному произведению Владимира Соловьёва «Оправдание добра». Так постепенно возникла идея о том, что русская философия всеединства совсем не иррациональна, как это обычно принято считать, она, наоборот, глубоко рациональна.

В 90-е годы, когда возник всплеск интереса к русской философии и стали издавать множество произведений Соловьёва и его последователей, господствовало представление о том, что это сугубо религиозно-мистическая философская школа.

Когда же я стал лично знакомиться с текстами Соловьёва, меня поразила разлитый в них рационализм. Но такое глубокое чувство рационализма наталкивалось на то, что его сложно продемонстрировать в тех непосредственных формах, которые на сегодня существуют. Поэтому отсюда, естественно, возникла задача: демонстрируя этот неклассический рационализм, параллельно под него создавать структурные средства, которые могли бы его более адекватно выразить.

Таким образом, если предполагать, что в составе любой теории, любого знания есть разные компоненты, например интуиция, интерпретация, логика, то можно попытаться логическую часть выделить в относительно чистом виде из той или иной теории. Это специальная процедура, как бы *логизация* теории, и нечто подобное можно совершить по отношению к русской философии всеединства как явному представителю интегральной философской традиции.

Методы выделения логической части философской системы можно называть *логико-философской реконструкцией*. То, что получается в результате применения этой процедуры к философии всеединства, можно называть «логикой всеединства» (см. рис. 1).

В результате этой работы были выделены четыре основных концепта. Оказалось, что они покрывают в общем-то все смысловое поле. Это также был странный результат. Почему достаточно именно этих четырех концептов? Ситуация напоминает случай с тремя базовыми цветами, смешивая которые, мы можем образовать, в принципе, все остальное бесконечное разнообразие цветов.

Так и здесь оказалось, что существуют четыре базовых смысла, четыре концепта, композициями которых можно так или иначе представить все основные конструкции этой философской школы. Это: 1) концепт «*всеединство*»; 2) концепт «*существо*»; 3) концепт «*антиномия*» и 4) концепт «*теофания*».

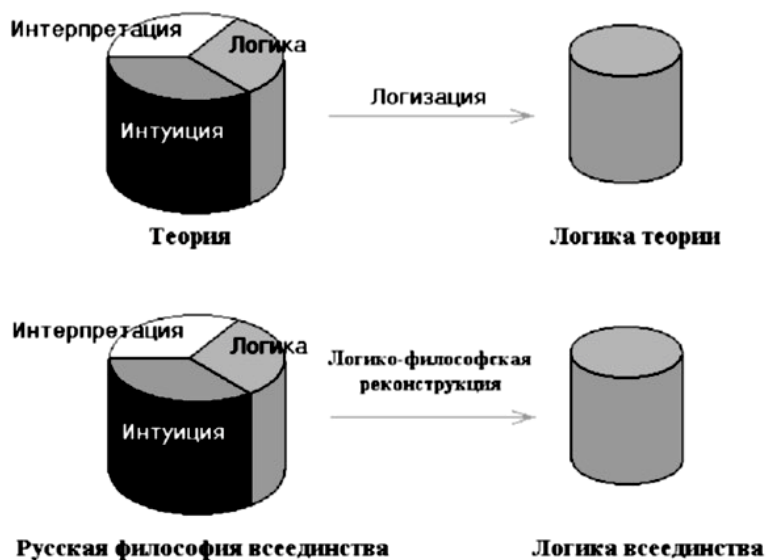


Рис. 1.

Вкратце коснемся характеристик этих концептов. Концепт «всеединство» выражает синтез, представление того, что это интегральная философская традиция, в которой пытаются синтезировать различные частные знания и восходить к какому-то наиболее интегральному их прообразу.

Концепт «существо» предполагает, что это во многом направление витализма, виталистическая философия. В такого рода виталистических традициях философии феномен жизни осмысливается достаточно универсально, даже космично, когда предполагается, что все является живым, и феномен жизни в этом случае оказывается глубоко онтологическим, космическим феноменом. Он не может быть элиминирован из структуры бытия, как это делается, например, в современной физической картине мира, допустим, в современной материалистической физике, где, в принципе, можно уничтожить всех субъектов, останется только неорганическая реальность, и от этого ничего принципиально не изменится.

В какой-то степени немного эту установку поколебал антропный принцип, который предполагает, что феномен разума был изначально определяющим фактором при выборе именно нашей Вселенной из всех основных возможных вариантов. Но по большому счету бессубъектность продолжает господствовать в современной физической картине мира.

В виталистических направлениях принимается принципиально другая картина реальности. Предполагается, что жизнь пронизывает, наполняет собой космос и невозможно существование объектов без того, чтобы

не существовало сопряженного с ними субъекта, который мог бы воспринимать и одновременно вызывать к бытию тот или иной соответствующий объект, как в том числе объект восприятия.

Третий концепт – «антиномия» – выражает принадлежность этой философской школы к диалектической традиции. Как известно, в истории философии существуют две основные линии философской логики: больше тяготеющая к формальной логике (например, линия Парменида и Аристотеля); и больше тяготеющая к диалектической или антиномической логике (линия Гераклита и Платона), которая предполагает, что закон тождества, закон противоречия являются ограниченными, выражающими только жесткое статическое мышление. Сама жизнь динамична, пронизана противоречиями, противоположностями. Диалектика может быть присуща и идеализму, и материализму, и интегральной философии. В данном случае мы как раз видим вариант, когда диалектика присуща направлению синтетической философской традиции.

Тем самым предполагается, что есть особая логика, логика развития, логика движения, которую нужно попытаться вскрыть. Она выходит за рамки формально-логических конструкций. Формальная логика – лишь низший уровень представления этой органической, как говорил еще Соловьев, логики. Большие усилия представителей русской философии всеединства, например Павла Флоренского, были направлены на то, чтобы в определенной степени эксплицировать эту динамическую логику и построить теорию антиномии. Антиномия – это особое противоречие, которое не является просто ошибкой, но выражает какое-то особенно глубокое образование разума.

И четвертый концепт – «теофания» – предполагает, что есть как бы два всеединства. Есть *идеальное всеединство*, где находится, условно говоря, мир платоновских идей, и есть наш эмпирический мир, воспринимаемый внешними органами чувств, где идеальное всеединство во многом умалется и искажается. Такова внешняя реальность, *эмпирическое всеединство*. Существуют сложные отношения между двумя этими уровнями реальности, и эта философская школа отличалась еще определенной трезвостью, что выражалось в установке не просто увидеть в эмпирическом всеединстве только искажения и умаления идеальных первообразов, но и учитывать эти искажения и умаления, для того чтобы строить более реалистическую картину мира.

С каждым из этих концептов мною была сопоставлена своя новая неклассическая математическая структура.

Концепту «всеединство» была сопоставлена новая формальная аксиоматическая система, которая носит название «*проективно-модальная онтология*». Она была попыткой создать строгую структурно оформленную логику анализа и синтеза.

Концепту «существо» была также сопоставлена новая математическая структура, которая носит название «*субъектная онтология*».

Концепт «антиномия» развивался в рамках теории антиномий, наиболее ярким выражением которой является теория предельных антиномий, или *L-противоречий*, где буква L берется от латинского слова «limit», «предел».

Концепту «теофания» была сопоставлена новая математическая теория, которая называется *R-анализ*, и здесь делаются попытки эксплицировать отношения идеального и эмпирического всеединства, как отношения бесконечного и конечного, в более строгих математических формах.

Эта тема очень большая. Я не ставил сегодня задачу раскрывать эти концепты и выражать соответствующие математические структуры. В эти дни я как раз читаю цикл видеолекций по философии неовсеединства в доме Лосева на Старом Арбате. Прочитано уже девять лекций, и в них как раз более подробно говорится о концептах и структурах философии неовсеединства. Цикл лекций организован благодаря Виктору Петровичу Троицкому, который активно занимается исследованиями философии Алексея Федоровича Лосева, в том числе экспликацией разного рода структур, выраженных в философии всеединства. Видеозаписи этих лекций можно найти на сайте библиотеки «Дом Лосева».

Если будут вопросы, я постараюсь, насколько это возможно в формате нашей лекции и дискуссии, на них ответить. А пока, к сожалению, все очень пунктирно.

Итак, первая структура, которая выражает идею синтеза, связана с тем, что Соловьев часто использует аналогию отношения аспектов синтеза с самим источником синтеза, как отношение *тени* объекта и самого объекта.

Это, в принципе, платоновская интуиция, которая выражена в известном образе пещеры, где на стене мы видим бледные тени, а подлинная реальность находится где-то в настоящем мире. И здесь как раз центральную роль играет концепт отношений многомерной сущности и маломерной ее проекции.

Здесь можно начинать эксплицировать эту конструкцию именно с геометрического примера, когда есть, допустим, трехмерное тело и его двумерные проекции на те или иные плоскости.

Такого рода довольно строгие отношения можно формализовать, выразить в аксиоматической системе. Здесь только следует добавить еще один момент: когда мы не только рассматриваем движение от источника синтеза к его аспектам, т.е. нисходящее движение от более полного бытия к умаленному условному бытию, но и предполагаем обратное движение, восхождение от более плоскостного бытия к более интегральному источнику синтеза. И в итоге схема приобретает симметрию. Возникают семь основных объектов, которые обеспечивают единую конструкцию. Это в первую очередь источник синтеза и ограничивающие его условия. Аналогом ограничивающих условий в геометрическом примере являются плоскости проектирования. Они как бы накладываются на более полное бытие и ограничивают его до какого-то аспекта синтеза. Оператор, обеспечи-

вающий такое нисходящее движение от источника синтеза и ограничивающих условий к аспекту синтеза, – это оператор анализа. А противоположное движение, которое позволяет благодаря некоторым расширяющим условиям восходить от аспекта к синтезу, выражает дуальный оператор – оператор синтеза.

И вся эта конструкция определяется в некотором контексте, который задает как бы рамку согласованности источника синтеза и его аспектов. Здесь возникают отношения нестрогого порядка типа «меньше или равно» (см. рис. 2).

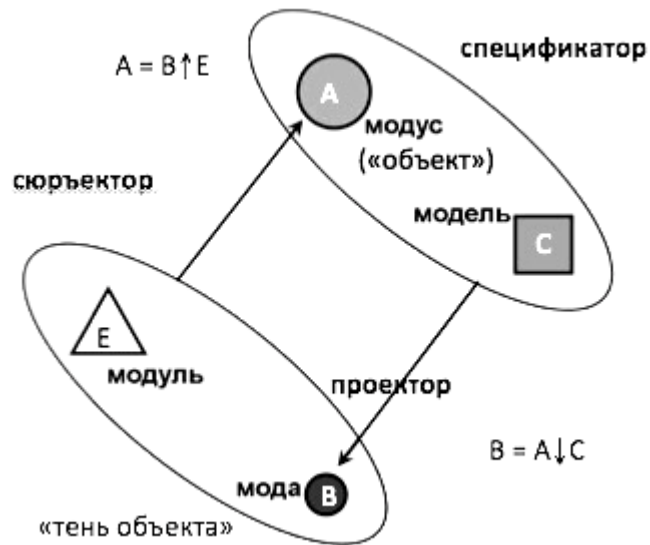


Рис. 2.

Семь основных объектов проективно-модальной онтологии

Вот такая конструкция, состоящая из семи базовых объектов и основных отношений, была положена в основание двух основных аксиом, которые регулируют эту систему отношений. На их основе удалось построить формальную аксиоматическую систему, используя логические средства, разработанные польским логиком Станиславом Лесьневским – одним из создателей Львовско-Варшавской школы. У него есть три основные логические системы: Прототетика, Онтология и Мереология. Используя язык этих систем и идеи русской философии всеединства, удалось соединить эти конструкции и построить новую логическую систему, которая может выражать основные операции анализа и синтеза. И здесь обобщается отношение источника синтеза и его аспектов, как отношение объекта и его теней-проекций.

Второй концепт – концепт «существо». Его структурным выражением является модель «субъектная онтология». В этом случае стоит задача выразить феномен жизни, феномен существования как космическое онтологическое явление, как своеобразный мир. В связи с этим используется понятие онтологии как некоторого возможного мира со своим пространством, временем, законами, сущностями и т.д.

Рассматриваются два основных вида онтологии: объектная и субъектная. Объектная онтология – онтология типа физической реальности, где можно элиминировать всех субъектов, и от этого ничего принципиально не изменится, а вот субъектная онтология – это онтология, в которой живем мы с вами. Это образ реальности, как он строится изнутри внутреннего мира живого существа. И здесь равноправны внешний и внутренний мир, они солежат, соположены в единой интегральной реальности, активно взаимодействуют между собой. Базовый концепт, который лежит в основании этого подхода, – это понятие внутреннего мира.

В модели субъектных онтологий используется ряд принципиальных философских идей. Это представление о том, что внутреннее бытие, «идеальную субстанцию» невозможно окончательно редуцировать к материальной субстанции. Это же подкрепляется идеями современной аналитической философии сознания о том, что субъективная, точнее говоря, субъектная реальность является самостоятельным типом бытия, который обладает первичной феноменологической данностью, не редуцируемой ни к чему иному. Это проблема так называемых *qualia* (качеств) субъектной реальности.

Можно сделать вывод: с одной стороны, в бытии есть какое-то самостоятельное место для внутреннего мира благодаря концепции *qualia*, а с другой стороны, – это место не находится нигде во внешнем мире. Следовательно, онтологию нужно удвоить, нужно не только найти место для внешнего мира, но и зарезервировать места для внутренних миров.

В этом плане внутренние миры похожи на своего рода метафизические телевизоры, которые показывают различные более или менее сложные варианты изображений. Отсюда возникает представление о более интегральном образе онтологии как системы *онтологических регионов*. Есть регион внешнего мира, но он не исчерпывает всю полноту бытия. Кроме того, есть регион внутреннего мира.

Регион субъекта выделяет из внутреннего мира какую-то одну составляющую, а из внешнего мира другую составляющую – телесность, и является неким объединяющим онтологическим регионом, который как бы пронизывает собой элементы и внутреннего, и внешнего мира (см. рис. 3).

Такую конструкцию можно назвать «субъектная онтология». Для разных субъектов возникает множественная регионалика внутренних миров, а также общего внешнего мира, где каждый субъект обладает телесностью и сам является некоторой самостью, которая как бы парит над ре-

гионом индивидуального внутреннего мира и над телесностью, интегрируя их между собой.

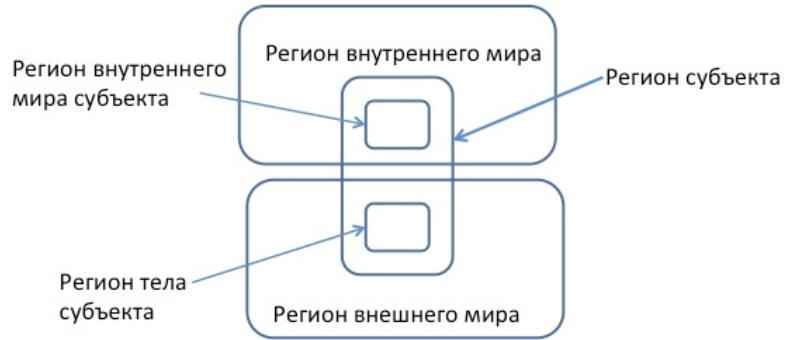


Рис. 3.
Онтологические регионы

Кроме того, есть еще коллективный внутренний мир, который объединяет между собой в большей или меньшей степени индивидуальные внутренние миры на разных уровнях организации (см. рис. 4). Подобные онтологические карты мы встречаем, например, в упомянутом ранее интегральном подходе американского философа Кена Уилбера.

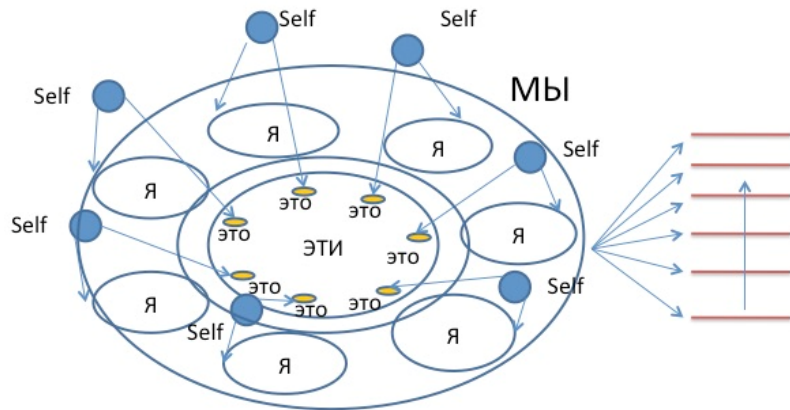


Рис. 4.
Типичная структура субъектных онтологий

Третий концепт – «антиномия», его также удалось структурировать и построить некоторую новую логику. Общую идею такой «логики антиномий» можно выразить следующим образом.

В современной математике есть такое направление, как математический анализ. В его основе лежит идея предела, перехода к пределу. И основу предельных процессов составляют бесконечные последовательности чисел. То есть для того чтобы достичь какого-то предела, нужно строить бесконечный процесс стремления к этому пределу в форме бесконечной числовой последовательности. Например, единица, деленная на n , при n , стремящемся к бесконечности, имеет в качестве своего предела ноль: $1/2$, $1/3$, $1/4$ и так далее до единицы, деленной на бесконечность, равной нулю.

Отсюда вытекает простая идея. Давайте рассматривать не только бесконечные последовательности чисел, объектов, но и *бесконечные последовательности смыслов, суждений*. Вот это самый кардинальный переход, который здесь используется. До этого, насколько я знаю, никто не строил такие логические системы, где можно было бы использовать бесконечные последовательности суждений.

Здесь, конечно, возникает много проблем. Первая, главная проблема: как определять пределы для таких бесконечных последовательностей мыслей.

Используя логическую технику, в простейшем случае можно справиться с этой проблемой, например, используя суждения о числах. Поскольку для последовательности чисел мы легко можем определить предел, то можно определить предел бесконечной последовательности суждений о числах, подставляя вместо чисел, которые входят в эти суждения, предел тех бесконечных последовательностей, на которых эти числа организованы.

Таким образом, благодаря этой простейшей технике, мы можем построить новую логику предельных последовательностей суждений. И оказалось, что эта логика – на самом деле более богатая, чем обычная формальная логика.

Мы строим ее таким образом, что каждое суждение в этой последовательности является истиной, но в пределе получается противоречие. Например, имеем бесконечно много истинных суждений вида

$$(1/n = 1/n) \text{ и } (1/n \neq 1/(n+1)) \text{ для каждого } n=1, 2, 3, \dots$$

Последовательность чисел $1/n$ при n , стремящемся к бесконечности, имеет пределом ноль. То же верно и для последовательности $1/(n+1)$. Если теперь на место $1/n$ и $1/(n+1)$ подставим пределы соответствующих последовательностей, т.е. ноль, то получим противоречие: $0=0$ и $0 \neq 0$.

Именно таким образом, мы можем работать с предельными последовательностями истинных суждений, которые все более и более стремятся к противоречию. И в пределе, при переходе к противоречию, получаем ложное суждение, потому что противоречие – это ложное суждение, и мы можем заменить работу с противоречием работой с предельными последовательностями, которые стремятся к противоречию.

Такая достаточно простая идея лежит в основании новой логической техники, которая была названа теорией или *логикой L-противоречий*, где L – от «limit» (предел).

Оказалось, что эта логика является достаточно универсальной, на ее основе можно объяснить все основные философские антиномии, парадоксы, например кантовские антиномии, парадоксы теории множества, допустим, парадокс Рассела, и т.д. В подобной же манере можно проинтерпретировать геделевскую теорему о неполноте и т.д.

Таким образом, удалось сформулировать своего рода *критерий логической демаркации*, который отделяет формально-логические противоречия, противоречия-ошибки, от так называемых диалектических противоречий (антиномий). Формулировка подобного критерия была и остается главной проблемой всех диалектических традиций.

Обычно представители этих традиций отказываются решать подобную проблему демаркации. Например, Гегель считал, что любое противоречие является диалектическим противоречием и не видел необходимости в том, чтобы отличать ошибки от диалектических противоречий. А когда последователи марксизма начали доводить диалектику до абсурда, практически теряя критерии логической демаркации, то как раз оказалось, что одной интуиции недостаточно и необходимо уже давать более четкие критерии того, как отделить диалектические противоречия или антиномии от формально-логических противоречий.

Павел Флоренский пытался найти этот критерий логической демаркации, о. Сергей (Булгаков) искал этот критерий, но никому, к сожалению, этого сделать не удалось. Используя описанную выше логику L-противоречий, можно достаточно просто сформулировать такой критерий.

И, наконец, четвертый концепт – «теофания» – который, как уже отмечалось, предполагает выделение идеального и эмпирического всеединства. Для его выражения можно также использовать новое направление, так называемый R-анализ (*релятивистский анализ*), где отношение идеального и эмпирического всеединства выражается как отношение бесконечного и конечного. Можно построить новую математику, где главную роль играют эти два вида отображений: отображение из бесконечного в конечное и из конечного в бесконечное, их условно можно называть *R-функции*, или *R-отображения*, от слова «релятивистский», потому что именно такие функции лежат в основе теории относительности Эйнштейна, где возникает неаддитивное сложение скоростей, которые не могут превысить скорость света.

И здесь возникает очень много интересных сюжетов, как раз об этом я читаю сейчас лекции в Доме Лосева. Если будет интересно, здесь также можно будет об этом поговорить.

Итак, получается, что представители русской философии всеединства использовали интегральные концепты «всеединство», «существо», «антиномия», «теофания». Они как бы делали набросок образа некоторой ин-

тегративной неклассической рациональной традиции, используя эти концепты, эту методологию как своеобразный новый алгоритм для решения тех или иных синтетических задач в разных областях. Представители этой философии пытались довести до большей строгости свои методы, даже до определенных математических структур.

Например, Павел Флоренский в знаменитой работе «Мнимости в геометрии» пытался как раз использовать новую интерпретацию комплексных чисел, для того чтобы выразить ряд конструкций философии всеединства. И он уже был в то время знаком с новыми работами по математической логике, которая начинала развиваться, она тогда называлась *логистика*, и он пытался использовать методы математической логики, например, для того чтобы сформулировать критерий логической демаркации в одном приложении к своей работе «Столп и утверждение истины».

Пытаясь довести выражение концептов до определенной большей строгости, Лосев вплотную приблизился к структуризации основных концептов этой интегральной философской системы. И он тоже хорошо знал математику, высшую математику, и есть у него ряд работ, в которых он пытается использовать методы математического анализа для отражения тех или иных философских конструкций.

Исследование текстов представителей этой философской традиции показало, что в них есть очень глубокий рационализм, но нет средств для выражения его концептов; и пришлось создавать новые математические средства, чтобы их эксплицировать. Но потом я комментировал одну работу за другой и показывал, что, по сути, там работает один алгоритм.

Затем начался второй этап развития этих идей, который я условно называю *философией неовсеединства*. То есть если по отношению к любой классической философской школе, например кантианству, гегельянству и так далее, могут быть образованы «нео»-направления, например неокантианство, неогегельянство, так почему нечто подобное нельзя образовать по отношению к русской философии всеединства или вообще философии всеединства?

Нет никаких принципиальных запретов в отношении того, чтобы нечто подобное сделать. Если проект этой философии пытается сегодня возродиться и во многом как бы переформатироваться, предстать в обновленном виде, то его вполне можно назвать проектом «Неовсеединство».

В процессе реализации этого проекта можно увидеть его отличия от классической школы философии всеединства (впрочем, у любого неонаправления есть своя специфика в отношении его прообраза). Во-первых, это попытка все-таки в большей степени развивать светскую линию философии всеединства. Во-вторых, здесь в большей мере используется структурный метод создания новой математики, новой логики для выражения интегральной логики.

Первое, наиболее крупное представление этот проект получил в монографии «Логика открытого синтеза», которая была издана в 2010 г., где

рассматривались проблемы философии как синтетического проекта, теории и логики синтеза и образа синтеза в культуре на материале различных наук. Позднее этот тренд был продолжен в следующих двух томах монографии, которые получили название «Человек и общество: образы синтеза» (вышли в 2012 г.). По сути это попытка создать своеобразную современную энциклопедию синтеза, интегральной синтетической философии на материале современной культуры.

Если в «Логике открытого синтеза», кроме общих вопросов, рассматриваются примеры синтеза в структурных и естественных науках, то в «Человеке и обществе» в большей степени представлен синтез гуманитарных и синтетических наук.

Теперь мы переходим к следующей теме, с которой тесно связана философия всеединства, – это *философия трансдисциплинарности* и феномен, который я условно называю *транснаукой*. То есть это образ научных знаний, научной методологии, опыта в рамках и в период философии трансдисциплинарности.

Мы в свое время с Ларисой Павловной Киященко написали небольшую книгу «Философия трансдисциплинарности», и сейчас уже трансдисциплинарные исследования так или иначе представлены в нашей стране. К примеру, в 2012 г. защитила докторскую диссертацию по теме «Философско-методологическое обоснование трансдисциплинарной парадигмы в биоэтике» Елена Георгиевна Гребенщикова.

Можно следующим образом кратко описать отличия трансдисциплинарности от междисциплинарности: если междисциплинарные исследования – это во многом перенос структур одной дисциплины в другую с сохранением дисциплинарных делений, то трансдисциплинарный подход – это уже создание таких образований, которые так или иначе принципиально выходят за дисциплинарные деления. То есть создаются какие-то поперек-структуры или поперек-структуры, вообще выходящие за границы известных дисциплин, но при этом, конечно, так или иначе соотносящиеся с дисциплинарной структурой.

Наиболее ярко на сегодня идеи трансдисциплинарности выражает так называемый Международный центр трансдисциплинарных исследований (CIRET), который принял в 1994 г. Хартию трансдисциплинарности на первом конгрессе в Португалии. Один из лидеров этого направления Басараб Николеску считает, что трансдисциплинарность выражается через три основных принципа: существование уровней реальности, использование логики «включенного третьего» и парадигмы сложности.

Данные конструкции во многом коррелируют с основными концептами в философии всеединства, со структурами неовсеединства. Например, принцип включенного третьего можно соотнести с логикой теории антиномии, существование уровней реальности – с уровнями идеального и эмпирического всеединства и т.д.

Как мне кажется, классическим определением трансдисциплинарности является определение Л.П. Киященко: «...*трансдисциплинарными мы называем такие познавательные ситуации, в которых по разным причинам... научный разум (как в науке, так и в философии) вынужден в поисках целостности и собственной обоснованности (прояснения условий возможного опыта) осуществить трансцендирующий сдвиг в **пограничную** сферу с жизненным миром*». Если выразиться образно, то трансдисциплинарный сдвиг – это сдвиг, который начинается в сфере научного знания и выходит в структуру жизненного мира вообще, представляя собой некоторые трансинтегральные образования, которые так или иначе ставят вопрос о синтезе, выходящем за границы только дисциплинарной науки (см. рис. 5).

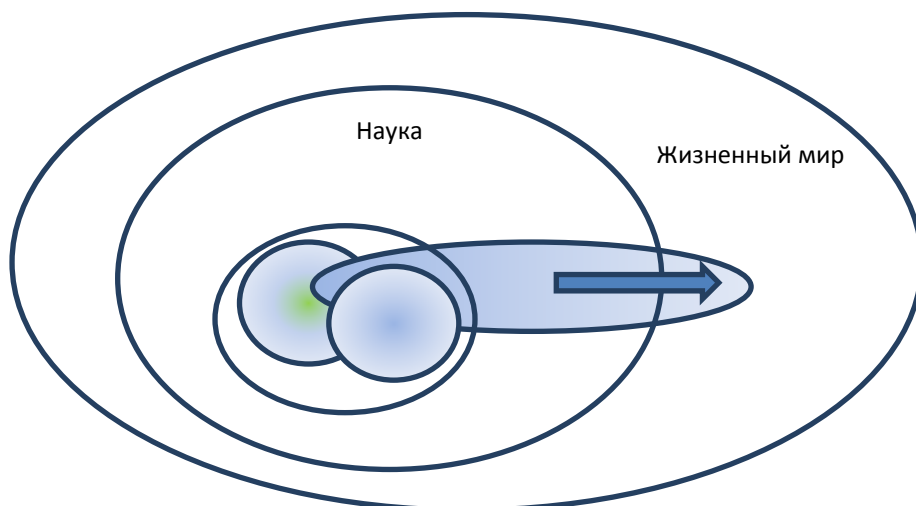


Рис. 5.

Графическая метафора трансдисциплинарности

Философия трансдисциплинарности – это новый этап развития философии науки вообще. Здесь, как известно, выделяют два основных этапа развития: неопозитивизм – это первая половина XX в., и постпозитивизм – вторая половина, так что оба направления можно условно называть не-множко смешным термином «парапозитивизм».

И неопозитивизм, и постпозитивизм, несмотря на то что кажется, что они во многом отрицают друг друга, одинаково продолжают оставаться в рамках одной плоскости. Они одинаково принимают отождествление объективного и объектнoго. Чтобы пояснить такое отождествление, надо различать четыре термина: объективное, субъективное и объектное, субъект-ное.

Первые два термина гносеологичны, т.е. объективное – это необходимо истинное, субъективное – ложное или случайное истинное. Два других термина онтологичны: объектное – относящееся к объектам, неодушевленным сущим, а субъектное – относящееся к субъектам, т.е. к живым существам.

Так вот, по сути, в этой парадигме парапозитивизма происходит отождествление объективного и объектного. То есть предполагается, что подлинное научное знание, как объективное, возможно только по отношению к объектам, неодушевленным сущим. Физическая картина мира – это и есть наиболее яркое выражение такого отождествления.

А что вытекает из этого отождествления? Если вы отождествляете объективное и объектное, то у вас тогда субъектное отождествляется с субъективным – как необходимое следствие. Все, что относится к субъекту, следовательно, является субъективным и ненаучным.

В рамках этой дихотомии неопозитивизм и постпозитивизм отличаются не много. Неопозитивизм выбирает объективность, и он считает, что наука объективна, и он ищет критерий демаркации, верификации научного знания, но поскольку он считает, что объективность связана только с объектностью, то для него все, что относится к науке, – это только объектные конструкции, и все, что относится к субъекту, должно быть отнесено в ненаучную область. По сути, он строит образ бессубъектной науки.

Что касается постпозитивизма, он выбирает другой полюс. Он признает, что наука субъектна, но остается в той же паре отождествлений. Принимая субъектность, он отождествляет субъектность с субъективностью и таким образом считает, что наука вообще невозможна как объективный проект, выражающий истинность, она так же субъективна, как мифология, религия.

Таким образом, один выбирает объектность за счет субъектности, другой выбирает субъектность за счет объективности. И в этом плане и тот и другой остаются в одной плоскости.

С этой точки зрения философия трансдисциплинарности может быть осмыслена как новый этап развития философии науки, идущий на смену парапозитивизму и принимающий новую форму объективности – объективности как единства объектности и субъектности.

В частности это означает, что объективность, научность может распространяться не только на мир объектов, что уже не надо доказывать, но и на мир субъектов, т.е. на мир живых существ и на их внутренние миры. Такое новое расширенное понимание научной объективности можно условно назвать «*транснаукой*», т.е. наукой в эпоху философии трансдисциплинарных исследований.

В этом смысле мы можем как бы продолжить схему В.С. Степина, который выделяет классическую науку XVII–XIX вв., неклассическую науку первой половины XX в. и постнеклассическую – второй половины

XX в., продолжив ее следующим этапом транснауки, т.е. науки эпохи трансдисциплинарности, – как науки XXI в. (см. рис. 6).

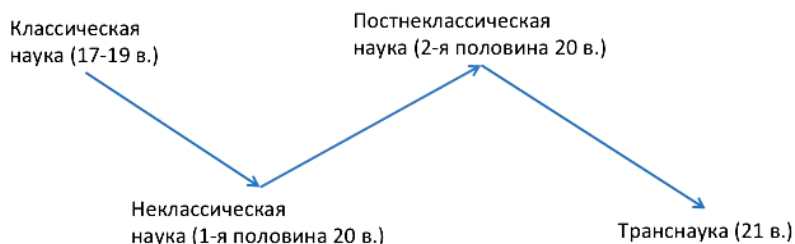


Рис. 6.
Этапы развития научной рациональности

В основе научного знания лежат эмпирический и теоретический уровни научного познания, а также их активное взаимодействие между собой в индуктивном и дедуктивном движениях, обеспечивающих то, что мы называем научными знаниями (см. рис. 7).



Рис. 7.
Научное знание как единство эмпирического базиса и теории

Транснаука предполагает два вида трансцендирования. Во-первых, трансцендирование эмпирического базиса и построение того, что можно условно называть *трансемпирическим базисом*, и трансцендирование теории в классическом смысле; в результате возникает то, что можно называть *транстеорией* (см. рис. 8).

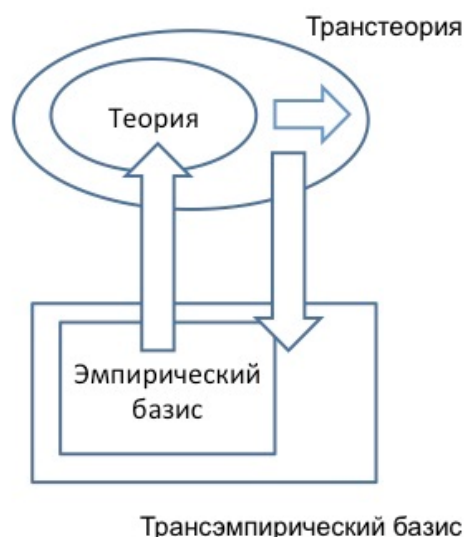


Рис. 8.

Транснаука как единство двух трансцендирований – эмпирического базиса (возникает трансэмпирический базис) и теории (транстеория)

Вся классическая наука, в том числе относящаяся во многом и к неклассике, опирается на «пятичувственный сенсорный базис». То есть предполагается, что в основе научного познания лежат пять основных внешних органов чувств – зрение, слух, вкус, обоняние и осязание; это то, что можно условно называть *пятичувственным сенсорным базисом*.

В классической науке предполагается, что научные знания во многом сводятся к обобщению информации относительно этой сенсорики. В неклассической науке возникает уже эффект косвенной наблюдательности, например пси-функции, кварки, черные дыры – это примеры непосредственно не наблюдаемых объектов. В постнеклассической науке предполагается уже элемент ненаблюдаемости. Потому что здесь речь идет уже об элементах введения субъекта в научную предметность, а субъект – это в том числе чужой внутренний мир, который еще более фундаментально ненаблюдаем, чем физические ненаблюдаемые объекты.

Транснаука – это своего рода попытка трансцендирования за сенсорную пятичувственную базу, т.е. введение более широкой области наблюдаемого, которая может наблюдаться неосенсорностью.

В этом плане можно говорить о расширении сенсорности, используя понятие *эписенсорности*, – это сенсорность, которая, с одной стороны, охватывает обычные внешние органы чувств, их данные, а с другой – включает в себя любые формы сенсорики, выходящие за обычную сенсорность и одновременно соединяемые с научной обработкой сенсор-

ных данных. Экстрасенсорность выходит за границы чувственного сенсорного базиса. Если начнет одновременно соединяться с элементами эмпирического научного метода исследования, то мы получим объективную транссенсорность, которую можно называть «эписенсорностью».

На основе расширенной сенсорности можно строить более интегральный эмпирический базис и более широкий опыт, который может лечь в основание нового типа научных знаний.

Мы все обладаем пятичувственным сенсорным базисом. И относительно этого базиса можно достичь интересубъектности.

Но представьте, что возникла бы группа субъектов, которые к пяти основным органам чувств дополнительно обладали бы какой-то шестой сенсорностью, и эта сенсорность была бы так же распространена и обычна в этом сообществе, как, например, зрение, слух в нашем. В этом случае возникли бы расширенная сенсорность и расширенный эмпирический базис.

Но если у нас есть только обычные пять органов чувств, то какое реальное значение имеют рассуждения о некоем «шестом чувстве»? Можно сказать, что это, в принципе, относится к каким-то другим существам. При чем здесь люди? Но дело в том, что люди обладают не только *базовым сознанием*, которое определяется в современной психологии и в таком направлении, как трансперсональная психология; но они к тому же обладают и множеством *измененных состояний сознания*. И в этих измененных состояниях есть не только свой интеллектуальный материал, но и своя сенсорность.

Например, постоянно и регулярно возникающее измененное состояние сознания – это состояние сновидения. То есть в течение половины, грубо говоря, суток мы находимся в базовом состоянии сознания, а в течение второй половины пребываем в измененном состоянии сознания – состоянии сновидения.

Такое регулярное пребывание в измененном состоянии сознания присуще каждому человеку. Для того чтобы попасть в это состояние, не нужно владеть экстрасенсорными или выдающимися способностями, как те удивительные люди, которые видят внутренние органы, читают мысли на расстоянии и т.д. В процессе сна мы с вами – обычные экстрасенсы, потому что кроме пяти органов чувств бодрствующего базового состояния сознания мы регулярно используем сенсорнику измененных состояний сознания, в частности сенсорнику сновидений.

Ведь, в самом деле, зрительный образ в сновидении – это не обычное зрительное восприятие бодрствующего состояния сознания, это сновидческое зрительное восприятие. С одной стороны, это сенсорность, потому что это образ. Он имеет форму, размеры, положение в пространстве, как сенсорность обычного зрения в бодрствующем состоянии сознания. С другой стороны, эта сенсорность воспроизводится в рамках измененного состояния сознания.

В сновидении присутствуют как бы измененное зрение, измененный слух, измененная сенсорика, выходящая за границы обычной сенсорики.

Еще один пример – творческое состояние сознания. Конечно, творческое состояние сознания не так сильно распространено, как сон, но все-таки достаточно много людей, не только поглощены рутинной, но и заняты творчеством. Конечно, сильное творческое состояние сознания в рамках высокой степени изменения присуще небольшому числу людей, которые являются творцами – выдающимися художниками, писателями, учеными.

Творческое состояние сознания – это тоже измененное состояние сознания. Вход в него сопровождается определенными изменениями и в сенсорике; например, Моцарт утверждал, что в момент вдохновения он слышал новое музыкальное произведение сразу, от начала и до конца.

Следующий пример измененного состояния сознания – гипноз. Гипнотические практики, которые достаточно широко используются в современной психотерапии, – это также практики по вводу в измененное состояние сознания.

И на этой основе можно строить науку. Можно продолжать применения научного метода в областях измененных состояний сознания, в том числе в новой сенсорике. На этом, в частности, основано новое направление в современной психологии, которое называется «трансперсональная психология».

Здесь можно назвать такие известные имена, как Зигмунд Фрейд – основатель психоанализа (и, в частности, упомянуть его методы толкования сновидений); Карл Густав Юнг, – создатель аналитической психологии; можно вспомнить идеи базовых перинатальных матриц Станислава Грофа; результаты многочисленных эмпирических исследований так называемых «ретровоспоминаний» Яна Стивенсона – американского психиатра и психолога; методы ретрогипноза американского психиатра и психотерапевта Майкла Ньютона и т.д.

Причем эти методики могут дополняться разного рода экспериментами. Например, известны исследования разного рода медитативных состояний с помощью электроэнцефалографии. Регистрируются особые мозговые волны, когда человек входит в эти измененные состояния сознания. То есть можно получать и объективную информацию, объективные данные и строить более объемную научную методологию в этой области.

Второе трансцендирование, которое характерно для транснауки, – это *транстеория*, трансцендирование в области теории. Когда возникает расширенный эмпирический базис, начинает привлекаться сенсорный материал измененных состояний сознания, этот материал нужно интегрировать в соответствующие теории, потому что теория всегда выполняет функцию синтеза, интеграции фактов. И если факты меняются, если они выходят за границы обычного чувственно-сенсорного базиса, то нам нужна и новая теория, которая попыталась бы интегрировать новую сенсорiku.

И сегодня возникают разного рода проекты в области такого обобщения. Я не оцениваю эти проекты как хорошие или плохие. Пока мне просто важен пример того, что идет движение в этом направлении, что делается попытка различать теоретические интеграции этой и новой эпистемологии и возникают проекты разного рода, которые можно называть транстеорией.

Это те же психоанализ Фрейда и аналитическая психология Юнга, теория измененных состояний сознания американского психолога и философа Чарлза Тарта, различные направления трансперсональной психологии, основателями которой являются Станислав Гроф и Кеннет Уилбер, и т.д.

Замечательно то, что структура таких транстеорий, которые постепенно начинают выстраиваться в нескольких направлениях, оказывается вдруг резонирующей с очень многими древними конструкциями интегральной философии и интегральной метафизики. Например, с разного рода восточными учениями.

Транстеория в этом плане формируется постепенно как феномен, который можно условно называть *научная метафизика*. Здесь можно привести пример: доказательства бытия бога у Курта Геделя – известного австрийского логика и математика, который известен своими двумя выдающимися теоремами в области математической логики (теоремы полноты и неполноты).

Наиболее интересна и известна теорема неполноты, которая утверждает, что любая фундаментальная теория либо противоречива, либо неполна. Такой результат послужил во многом аргументом для разного рода современных иррационалистических концепций, которые на этом основании доказывают, что границы разума присутствуют и разум ограничен.

Но мало кто знает, что Гедель много работал над попыткой формализации онтологического доказательства бытия бога. Это одно из первых доказательств бога, которое используется в схоластике. Одно из наиболее популярных, известных. Но он использовал методы современной модальной логики, семантики возможных миров, теории ультрафильтров, для того чтобы реализовать это доказательство. Доказательство это непростое. Достаточно интересное. И сегодня постепенно нарастает тенденция обсуждения малоизвестных ранее и только посмертно опубликованных работ Геделя, в том числе его доказательства бытия бога.

Я уже не говорю об идеях коллективного бессознательного, архетипов и синхроничности в аналитической психологии Юнга.

И конечно, здесь возникает вопрос о том, как быть с Кантом, поскольку Кант утверждал, что метафизика невозможна как наука, а здесь формируется как бы в рамках транснауки и философии неовсеединства, которая во многом коррелирует с этими же конструкциями, проект своего рода научной метафизики.

Научная метафизика невозможна, как же возможен проект научной метафизики? Вот здесь, мне кажется, Кант, который ошибся в двух известных областях, также ошибается. Он ошибся в области логики, предре-

кая, что невозможно создать никакие принципиально новые аналитические логические системы, кроме силлогистики Аристотеля, формальной логики. И буквально недолго после Канта, в конце XIX – начале XX в. стали возникать новые направления логики, которые сегодня расширили логику до бесконечности. Релевантные, многозначные, интенциональные логики, модальные логики... То есть все далеко ушло за границы формальной логики, которую Кант рассматривал как некую рамку для разума.

И вторая ошибка, которую он допустил: он предрекал абсолютность Евклидовой геометрии и считал, что это такая же априорная структура чувственности, как логика, выражающая априорные структуры рассудка. И здесь также оказалось, что буквально спустя некоторое время Лобачевский и Гаусс открыли неевклидову геометрию и началось бурное развитие этого направления.

Я думаю, что Кант ошибся и в третьем, самом главном своем утверждении – о том, что метафизика невозможна как наука. И главная ошибка, как мне представляется, состоит в том, что Кант полагал, что феномен человека фиксирован. То есть, конечно, он прав в том, что феномен науки глубоко антропологичен. Это наша наука, глубоко человеческая. Она уходит корнями в организацию человека как биологического вида. И мы не можем создать науку, которая выходит за границы человеческого организма, и здесь можно вспомнить Фрэнсиса Бэкона с его идолами, особенно идолом рода.

Все, что мы создаем, может быть только в рамках этой человеческой организации. В этом с Кантом спорить невозможно. Но сама эта организация может меняться. В то же время Кант очертил определенные границы этой человеческой организации. И стал утверждать, что эти границы неизблемы, человек не может выйти за них и поэтому его познавательные способности также принципиально лежат в этих границах.

Если же возможны измененные состояния сознания, если возможен расширенный сенсорный базис, если возможна интеграция этого базиса на основе научной методологии, то в этом плане мы выходим за очерченные Кантом границы, предполагая, что возможно создание научной теории в области эписенсорности.

Такую интеграцию можно рассматривать как элемент научной метафизики, потому что здесь, в самом деле, возникает высокоинтегральный, высокометафизичный логос. Например, идея души, идея сознания и бессознательного, глубин бессознательного, которое уходит в космическое трансперсональное бессознательное. Это же уже чрезвычайно напоминает очень глубокие метафизические конструкции, например восточные философские традиции, единство Брахмана и Атмана и т.д.

То есть этот логос, который начинает органично интегрироваться из расширенной сенсорности, уже очень коррелирует с разного рода метафизическими структурами, но он опирается на расширенную научную методологию и в этом смысле может называться научной метафизикой.

Вот это все, как мне кажется, – разные грани одной и той же темы. Ее можно связать с философией неовсединства или той же самой трансдисциплинарностью. Это разные грани единой интегральной традиции, рациональной традиции, которую можно условно называть «постнеклассическая интегральная философия». И она стремится соединять интегральность и строгость. Так, по сути, мы вновь возвращаемся к философии неовсединства, к ее разным аспектам как к разным образам постнеклассической интегральной философии. Спасибо.

Дискуссия

Гребещикова Елена Георгиевна: У меня первый вопрос. Собственно говоря, вы говорите о различных подходах. Как их можно оценить? Идет ли речь о переосмыслении предшествующих традиций, их продолжении, или о некоем другом синтезе? И можно ли рассматривать это переосмысление как своего рода синтез?

Моисеев Вячеслав Иванович: Этих подходов много. Может быть, и не все попадают в эту рамку. Если брать за основу не название, а суть, то есть, например, новая физика, которая связана с идеями многомерных пространств, с идеями синтеза, – это теория относительности и квантовая механика, создание теории объединения четырех фундаментальных взаимодействий и теории вакуума, которая предполагает, что вакуум – это на самом деле не пустота, а, наоборот, максимальная полнота, которая содержит бесконечную энергию, и эту энергию можно использовать. Это как бы большая линия, которая связана и со своей метафизикой, и со своими транснаучными определенными.

Эту тему можно развить более подробно. Есть квантовая механика, принципы дополненности и неопределенности, исчезновение нейтральности процесса наблюдения в квантовой механике, когда возникает зависимость наблюдателя от процесса наблюдения. Происходит синтез субъекта и объекта, который присутствует в методологии квантовой механики. Или можно вспомнить о многомировой интерпретации квантовой механики.

Все эти сюжеты развиты, например, в книге «Дао физики» Фритьофа Капры, итальянского физика, который замечательно показал, как все более нарастают корреляции с разного рода метафизическими традициями и Запада, и Востока. Если в основу транснауки положить единство интегральности и строгости, понимая интегральность как выходящую за границы классического эмпирического базиса, то это направление вполне начинает подходить под транснаучные определения.

Еще пример возможной транснаучной линии – разного рода направления философской логики. Сегодня существует огромное количество самых разных течений, школ, линий. Я уже называл такие направления, как

релевантная логика, интенциональная, модальная и т.д. Это логики, которые активно вводят субъекта в структуру научной методологии. Можно также упомянуть искусственный интеллект, когнитивистику, современные нейронауки, которые пытаются расшифровать процесс, происходящий в мозге, и открыть психофизический код. Генетический код открыт, начинаются уже более прикладные области его исследования, а вот то, как работает мозг и как мозг соединяет структуры нервной системы со структурой внутреннего мира, можно назвать психофизическим кодом. И это тоже во многом транснаучное направление исследований.

Я уже не говорю о собственно трансперсональной психологии, интегральном подходе Кена Уилбера. Так что здесь много линий, много направлений, которые, в принципе, в целом обрисовывают некую новую парадигму.

В Институте философии целое направление, которое возглавляет Владимир Иванович Аршинов, работает в области постнеклассической науки. Это также большая интересная традиция исчисления форм, которая возникла из работ Спенсера Брауна – британского математика, и потом была подхвачена исследованиями Хайнца фон Фёрстера и др.

Возникло направление так называемой кибернетики второго порядка, где делается попытка опять-таки ввести субъектность, построить концепцию субъектной инвариантности, субъектной объективности, которая основана на уравнениях на собственное значение. Тем самым предполагается, что в основе субъектной объективности лежат разного рода инварианты.

И в работах Льюиса Кауфмана показано, как можно попытаться формализовать конструкции «я», эго, структуру внутреннего мира как разного рода решения этого нового исчисления, вырастающего из идей Спенсера Брауна, – универсального исчисления форм

Я уж не говорю о биоэтике, которой мы с Еленой Георгиевной давно занимаемся. Биоэтика может быть рассмотрена как трансдисциплинарная научная практика работы биоэтических комитетов. А какой эмпирический базис у биоэтического комитета?

Биоэтический комитет может соединять в себе священников, философов, физиков, биологов, медиков, юристов, т.е. представителей совершенно разных профессий и областей культуры. Там ставится задача все-таки достичь определенной объективности при решении тех или иных биоэтических проблем. Для этого нужен некий общий язык. Для этого нужен диалог, который смог бы примирить между собой, например, представления священника о существовании посмертного мира, представления исповедующих восточные религии о карме и воззрения светских ученых. Этот дискурс нужно формировать как междисциплинарный и даже трансдисциплинарный.

Сейчас начинают возникать элементы взаимодействия сенсорики измененных состояний сознания, которые используются в религиозных и

духовных практиках, и сенсорики, допустим, светских традиций, той же самой научной традиции. Эти сенсорики сталкиваются между собой, и нужно их как-то координировать.

Таким образом, уже возникает пространство для трансэмпирического базиса. И когда биоэтический комитет будет пытаться как-то интегрировать эти конструкции, то ему нужны будут более просторная методология, более просторный язык, дискурс, для того чтобы находить общее понимание.

Линия транснаучных исследований не узкоспециальная, но выражает себя скорее в целом ряде разных линий, разных направлений, принадлежащих к общей трансдисциплинарной парадигме. Возникает новое понимание объективности, т.е. включение субъекта в картину мира и одновременное сохранение научной методологии. Расширение научной методологии на субъектные структуры внутреннего мира.

И здесь, как мне кажется, очень большую роль играют идеи инвариантности. Потому что возникает главный вопрос: как искать объективность в структурах внутренних миров? Они же такие зыбкие, такие условные, казалось бы. Как здесь строить науку?

Но если проанализировать структуры гуманитарных знаний, которые ставят перед собой, в принципе, ту же самую задачу – построение субъектной науки, – то можно предполагать, что реальность здесь – это некоторые интересубъектные конструкции, которые пронизывают индивидуальные и внутренние миры, выступая как инварианты отдельных внутренних миров, и принадлежат уже в своем существовании коллективному внутреннему миру. Это то, что в марксизме называлось «общественное сознание». То есть нет здесь никакой мистики. Это могут быть инварианты, входящие в бессознательное. Например, те же самые архетипы. И то и другое – интересубъектные инвариантные конструкции.

И точно так же, например, в физике. Вот вектор. Вектор – это инвариант, который в каждой системе координат дает свое координатное представление. В одной системе координат он передается одним набором чисел, в другой системе координат – другим. Как мы можем узнать, что тот набор чисел и этот набор чисел – это представление одного и того же? А вот как: есть определенный закон преобразования этих наборов чисел. И когда наборы чисел подчиняются этому закону преобразования, вот тогда мы утверждаем, что за этими представлениями лежит один инвариантный объект.

Таким образом, физика уже работает с этой двухуровневой конструкцией. Есть инварианты, висящие над какими-то локальными системами презентации, и есть представления этих инвариантов в этих системах. Есть какие-то закономерные связи между этими представлениями. Универсальная схема инвариантности может быть обобщена из физических исследований и перенесена на любую научную методологию. Она не связана уже с принципом материализма.

То есть здесь надо понимать, что в современной науке соединяются при определении научной объективности внутренние и внешние принципы. Внутренние принципы выражают некоторые универсальные определения, которые могут выходить из границы материи и работать одинаково хорошо и в материальном, внешнем мире, и во внутренних мирах. А внешние принципы выражают нечто условное, что зависит от той или иной идеологии, как, например, принцип материализма.

Схема инвариантности относится также к внутренним принципам науки. Реально то, что инвариантно. И чем больше представлений одного инварианта (объем инвариантности), тем более он реален.

Например, посмотрим на физический закон. За каждым физическим законом лежит своя схема инвариантности. Допустим, закон сохранения энергии. Он выражает симметрию во времени. Если процесс инвариантен при обращении во времени, то тогда он выражает закон сохранения энергии.

То есть за каждым законом лежит какая-то симметрия, а где симметрия, там инвариантность. Таким образом, то, что является реальным, то инвариантно.

Так давайте эту же схему перенесем в область субъектов. Чем, например, отличается восприятие от сновидения? И там и там я вижу, например, замечательный зрительный образ. Может быть, даже в сновидении он более яркий. Но в сновидении этот образ дан только мне, а в восприятии он интересубъектен. Другой вопрос – как устанавливается эта интересубъектность. Это вопрос тонкий. Оставим за скобками этот вопрос и просто примем, что это как-то достигается.

Что значит «зрительный образ интересубъектен»? Это значит, он инвариантен, т.е. присутствует и в одном индивидуальном внутреннем мире, и в другом, третьем и т.д. Он как бы множится во множестве индивидуальных внутренних миров и выступает как инвариант, выходящий уже за каждый отдельный внутренний мир. И вот поэтому мы считаем его реальным.

Эта схема замечательно работает в любых областях – и в области внешнего мира, и в области внутреннего мира. На этой аксиоме как раз и нужно строить расширенную научную методологию, которая может прилагаться и к измененным состояниям сознания, и к области внутренних миров, и ко внешнему миру.

Так что для феномена транснауки существует большое число проявлений и в естественных науках, и в гуманитарных и органических науках, в современной философии, и все они связаны с направлением трансдисциплинарности.

Ильин Михаил Васильевич: Позвольте поблагодарить за совершенно блестящее и очень вдохновляющее выступление. Многое совершенно иначе, ярче оказалось представлено. Вопросы мои касаются методологии, которой трое присутствующих здесь – Владимир Сергеевич Авдонин, Иван Владленович Фомин и ваш покорный слуга, Михаил Васильевич Ильин, – занимаемся здесь, в Центре перспективных методоло-

гий социально-гуманитарных исследований. Ваше выступление, Вячеслав Иванович, вызывает размышления, порой недоумения, а порой начинают мерещатся какие-то возможности. Хотелось бы вашей реакции по трем моментам.

Первый. Вы очень интересно говорили о трансцендировании, о выходе за пределы. Вот я подумал: а чем же мы занимаемся? Чем-то очень похожим. Выходим за пределы? Нет. Мне кажется, что мы пытаемся сделать ровно противоположное. Мы пытаемся уйти внутрь.

Вот как вы считаете, можно ли осуществить трансцендирование не только за счет выхода вовне, но и за счет погружения в некие новые глубинные измерения? Тут другая немножко геометрия получается.

Второй момент касается ваших идей о субъектности и субъективности. Я задумался: чем мы занимаемся в ваших терминах? – и попытался переформулировать свою собственную проблематику. Получается, что методология субъектна и субъективна по определению. Но тут возникает конфликт с классической традицией. И даже постклассической в некотором смысле, как вы это показали прекрасно. Все выстраивается на объектности и на объективности. На деле же уже у Аристотеля и Фрэнсиса Бэкона, а потом у Декарта и прочих метод инструментален. Это орган или органон исследователя, продолжение его личности. Субъектность и даже субъективность метода как бы не замечалась. А если попробовать ее заметить? Вот тогда получается замечательная «четверица» с объектностью – объективностью, субъектностью – субъективностью. Подобие логического квадрата с контрарностью, подконтрарностью и прочим.

Моисеев Вячеслав Иванович: Я не знаю эту вашу работу.

Ильин Михаил Васильевич: Об этом можно отдельно, потом побеседовать. Если в двух словах сказать о главном, то мы пытаемся выявить трансдисциплинарные методологии, которые скрыты не вне, а внутри науки. Помните мой первый вопрос? Эти методологии нам не видны. Они проявляются по мелким дисциплинарным кусочкам. Мы хотим общий пазл сложить из разных кусочков. Пока мы, кажется, нащупали три таких органа-интегратора. Это математика, морфология и семиотика. Каждый органон работает со своими типами объектов, отношений и прочим. Почему и как, мы попробуем обсудить в новом выпуске нашего ежегодника МЕТОД. А пока о третьем моменте.

Меня крайне привлекла идея сенсорики и транссенсорики. Здесь еще больше недоумений. Я не вижу появления при всех измененных состояниях сознания в полном смысле новых чувств, новых сенсориумов. На мой взгляд, сенсориумы остаются те же самые. При изменении состояния сознания они трансформируются, но только отчасти становятся другими. Получается тот же сенсориум, но в квадрате, в кубе, в четвертой степени и т.д. Получается какая-то матрешка из тех самых сенсориумов.

Нас в трансформации сенсориумов интересует немного иное. Вот вы сказали, что сновидения – это мое, а восприятие снов – интерсубъективно. Как возникает этот переход, Вы сказали, неважно. А для нас важно. Это для нас ключевой вопрос. Потому что наука, исследование и метод начинаются с взаимодействия творческих усилий. У меня свой цвет, у вас свой цвет, но мы понимаем, что это наш общий цвет, потому что мы вступаем в некую коммуникацию. Или речевую коммуникацию, и тогда у нас есть язык и мышление, которые производят это умножение. Вот первое, самое главное и, собственно, базовое измененное состояние сознания – состояние коммуникации мышления. Даже ни сна, ни сновидения, ни там гипноза. Мышление и общение с помощью речи или иных знаков, чисел, графиков, чего угодно. И мышление также трансформируется, тоже получают матрешки, как у сенсориумов. И методы тоже образуют матрешки. Как это происходит?

Моисеев Вячеслав Иванович: Спасибо большое. Очень интересные вопросы. Начну отвечать по порядку. По поводу двух «транс». Трансцендирование – это вообще выход вовне по отношению к какой-то области. Но здесь заранее не определяется, какая имеется в виду область и какое «вовне».

В этом смысле могут быть разные виды трансцендирования. Если, допустим, взять математический образ, ту же бесконечность, то существуют две бесконечности. Есть бесконечно большое и бесконечно малое. Но бесконечно малое так же трансцендентно по отношению к тому, что соизмеримо с единицей, множеству рациональных чисел, как и бесконечно большое. Есть две ипостаси трансцендирования. Так что здесь я совершенно с вами солидарен, возможны разные виды трансцендирования.

По поводу сенсорики и умножения, когда кажется, что возникает не столько новая сенсорика, сколько умножение все той же сенсорики. Здесь, понимаете, еще дело вот в чем. Представьте, что неким субъектом была достигнута какая-то принципиально новая сенсорика, которой нет у обычных людей. В этом плане она не смогла бы быть интерсубъективной. Он не может вернуться с этой сенсорикой и поделиться со всеми оставшимися субъектами. Он может поделиться только с такими же, у которых развита такая же сенсорика. Это уже накладывает фундаментальное ограничение на интерсубъективные практики, потому что речь должна идти не просто о сенсорике, а о той, которая воспроизводима после возврата к обычным людям. Потому что мы пока говорим о феномене науки, которая все-таки строится вокруг классического пятичувственного сенсорного базиса.

Поэтому все и оказывается привязанным к нему. Ближний слой эписенсорности – это умножение, по сути дела, базовой сенсорности. Но все-таки у нее есть и специфика. Если брать ее как гносеологическую структуру, то тут нет отражения объекта, который находится вовне (например, образ в сновидении). В этом плане здесь возникает другая объективная

конструкция, за которой лежит и своя онтология («онтология сновидения», например). Поэтому по результату такая сенсорность будет как бы тем же самым, а по процессу порождения это может быть другая гносеологическая конструкция.

И по поводу коммуникации. Да, совершенно с вами согласен. Николас Луман очень хорошо писал как раз о социальных онтологиях, о том, что есть большая несоизмеримость между психикой и социальностью.

У Уилбера тоже звучит эта тема, так называемая AQAL-схема (all quadrants all levels). В основе этой схемы лежат четыре сектора. Это измерения индивидуального – коллективного и внутреннего – внешнего. Они перемножаются между собой и возникают четыре комбинации: индивидуальное внутреннее, индивидуальное внешнее и т.д.

Каждый из этих секторов маркируется местоимением определенного лица и числа. То есть, например, индивидуальное внутреннее – местоимением первого лица единственного числа «я», индивидуальное внешнее – «он», «оно», «ты».

При переходе сознания индивидуального от внутреннего к коллективному внутреннему происходит качественный скачок. Особенно сильно это чувствуют интроверты. Они ощущают своеобразный удар, когда появляется другой человек. Их выбивает из индивидуального сознания и захватывает сила коллективности интерсознания. И если это доходит до патологии, например в аутизме, то спасением от коллективности является полная инкапсуляция в индивидуальном локальном внутреннем мире, потому что внешний мир очень «болезненный», очень раздражающий и т.д.

В этом смысле коллективность – это тоже измененное состояние сознания. И оно также постоянно воспроизводимо. Так что спасибо вам за эту подсказку.

И объективность как коммуникация. Да, может быть, в основе идеи субъектной объективности лежит коммуникация. Когда вы кладете в основание объективности коммуникацию, она начинает у вас звучать первично. А что лежит в основании коммуникации? Здесь мы подходим вообще к вопросу объективности и реальности в структуре субъектных онтологий («жизненного мира»).

Я тоже думал над этой темой. Вот мой краткий тезис: *мы воспринимаем конструкции внутреннего мира как объективные, пока эти конструкции подтверждаются примерами и не опровергаются контрпримерами.*

То есть, в общем, довольно простая вещь. Точно так же, как с научным познанием. Гипотеза считается ученым самой реальностью, до тех пор пока она ассимилирует материал опыта, т.е. разного рода факты ассимилирует как свои частные случаи; и пока она не сталкивается с контрпримером, пока не возникает актуальный фальсификатор. Вот это есть *интервал реальности.*

То есть до тех пор, пока некоторое образование субъектной онтологии выступает как инвариант, который ассимилирует свои аспекты и не встречается с контрпримерами, этот инвариант является самой реальностью в этом интервале.

Причем тут еще важный момент состоит в том, что процедуры верификации и фальсификации должны принадлежать самой структуре жизненного мира. Это не должны быть какие-то выдуманные конструкции, которые кто-то придумал, но сама структура бытия работает как постоянный генератор со своими процедурами верификации и фальсификации. Этот генератор – сама жизнь во всей своей совокупности. То, что Маркс называл практикой как критерием истины. Но только практика здесь поднимается до всей структуры жизненного мира.

Жизнь постоянно генерирует многообразие. Вы встречаетесь с человеком, начинаете с ним общаться – это тоже генератор многообразия. Если есть точно так же принадлежащий к этой структуре жизненного мира инвариант, который в органических процедурах верификации и фальсификации самого этого жизненного мира постоянно ассимилирует материал этого генератора, то не происходит фальсификации этого инварианта. До тех пор такой инвариант можно считать самой реальностью.

Посмотрите, например, на образ этого зала. Ведь каждый из нас воспринимает его не как объект, находящийся в нашем внутреннем мире, а как реальный объект вне нашего внутреннего мира, пока не возникнет какая-то фальсификация (например, вы заснули, потом проснулись, и оказалось, что этот зал вам снился). До таких фальсификаций объект дается как нечто, лежащее *рядом* с моим внутренним миром (а не внутри него), в общей структуре интегральной реальности, где лежат рядом внешний и внутренний мир.

В этом случае я не вижу объектов. Потому что все, что я вижу, находится внутри моего внутреннего мира. Если же оно не находится внутри моего внутреннего мира, а содано с ним, лежит рядом с ним, я не вижу его. Оно дано, оно непосредственно дано, пока не возникнет фальсификатор, и все подтверждается верификаторами. До тех пор нечто просто есть.

В этом плане можно вести новый концепт в структуру жизненного мира, *концепт соданности*. До тех пор, пока образование содано с моим внутренним миром – выступает в интервале реальности, – до тех пор это сама реальность.

В современной герменевтике довели уже до предела проблему понимания. Особенно постмодернисты настолько все запутали, что вообще невозможно понять, как мы можем понимать. Вырыта пропасть между людьми, с точки зрения возможности понимания, но мы постоянно понимаем друг друга. Понимание очень часто генерируется в нашем общении. Поэтому настоящая философия коммуникации должна в первую очередь ответить на вопрос о том, как возможно понимание. Вот концепт соданности отвечает на этот вопрос.

Фомин Иван Владленович: Спасибо за замечательный доклад! Много резонирует с тем, чем занимаемся мы в Центре перспективных методологий. И очень здорово, что есть возможность взглянуть на знакомые темы с незнакомых точек зрения.

Я бы хотел продолжить сюжет с поиском методов в трансэмпирике. Из того, что я знаю об опытах изучения измененных состояний сознания в трансперсональной психологии, пока, на мой взгляд, единственное, что мы можем из этих опытов взять, – что работает как познавательная способность, – это эмпатия. И это опять же не новый сенсориум, скорее это способность через тот же набор наших собственных ощущений почувствовать Другого, увидеть в Другом отражение себя. В некотором смысле это означает идти внутрь и одновременно наружу. А как, на ваш взгляд? Что из области трансперсональных состояний мы можем задействовать в качестве познавательного инструментария? И какое место занимает в вашей конструкции эмпатия?

Моисеев Вячеслав Иванович: Спасибо. С одной стороны, можно попытаться представить эмпатию как расширенную сенсорику в той части сенсорности, которая выходит за границы индивидуального сознания.

Например, помните фильм «Быть Джоном Малковичем»? Там разные люди попадают внутрь Джона Малковича, начинают видеть его глазами, испытывать его чувства и т.д.

Когда мы сочувствуем человеку, мы как бы отчасти попадаем «внутри него», становимся им. То есть можно рассмотреть такой момент эмпатии, когда мы переживаем себя на месте другого и видим его глазами, слышим его ушами, как своеобразную измененную сенсорность, уже в какой-то степени выходящую за границы индивидуальной сенсорности.

Классический пятичувственный сенсорный базис дополнительно связан с индивидуальностью. Но все-таки, поскольку он лежит в основе феномена науки, который весьма интерсубъектен, то мы, по-видимому, эту сенсорику должны брать очень расширительно, выходя за границу индивидуального внутреннего мира, и тут момент эмпатии как-то должен присутствовать.

Наверно, есть какой-то обертон, который сообщает момент сближения сенсорной и экстрасенсорности эмпатии, и есть моменты более стандартной эмпатии, которая должна быть включена в работу в том числе и научного метода.

Если проанализировать ситуацию, где в научной методологии работает эмпатия, – если там ее удастся найти, – то это должна быть более стандартная эмпатическая процедура. Ее надо отличать от других видов эмпатии.

Ясно, что телепатический прорыв, когда, допустим, мать чувствует, что происходит с сыном в какой-то критический момент, на расстоянии тысяч километров, можно назвать прямой эмпатией, прямым прорывом в другой внутренний мир, и это явно уже измененное

состояние сознания, которое предполагает синхроничность по Юнгу. Это другой вид эмпатии.

Поэтому, возможно, эмпатия существует в целом спектре от стандартной, которая работает в постоянной интерсубъектности, в том числе и в классической научной рациональности, до крайней, связанной с сильным изменением состояния сознания.

Авдонин Владимир Сергеевич: Спасибо большое за очень интересную лекцию! И у меня есть вопрос, который вызван вашим определением научного подхода к экстрасенсорике, транстеории, транссенсорике.

Как сюда включены понятия критики и критичности? Потому что наука как институт, как подсистема, как познавательная деятельность, если брать традицию, идущую и от Нового времени, и особенно от Канта, предполагает имманентно присутствие в ней критики понятий и восприятий.

Вот вы сказали, что в основном мы воспринимаем реальность до тех пор, пока жизнь нас не опровергнет, а наука не ждет момента, когда, так сказать, жизнь или практика будут опровергать. Она заранее вставляет в свое видение критический элемент. Например, критики Канта. Вы покритиковали у него трансцендентальное, но начиналось-то оно именно с критик. Критический элемент во всем этом.

Моисеев Вячеслав Иванович: Спасибо большое. Хороший вопрос. Мне кажется, существуют по крайней мере две критичности. Есть критичность, которая связана с универсальной научной методологией. Это метод генерации гипотез и их проверки.

Вот эта методология может использоваться и по отношению к транснауке. И более того, это важная составляющая транснаучных исследований.

И есть другая критичность. Не методологическая, а предметная – когда резко возрастает критичность сознания по отношению ко всему тому, что выходит за границы определенной парадигмы.

Это критичность не потому, что нечто не может быть встроено в какую-то научную методологию, а потому что это не может быть встроено в определенный образ науки, в определенную научную парадигму. И вот это другая критичность, и такая критичность, я думаю, ограничена только границами парадигмы.

Парадигма может быть расширена, может быть изменена, и, допустим, может быть построен такой же удовлетворительный вариант научного знания за границами прежней парадигмы. Поэтому здесь нужно различать, о какой критичности идет речь. Если, например, материалист говорит, что какой-то феномен невозможен, потому что он не принадлежит физической реальности, а ничего, кроме физической реальности, не существует, то это парадигмальная критичность – критичность, которая заранее ограничивает реальность только физической реальностью. Если же речь идет о том, что, допустим, есть шарлатаны, которые выдают себя за сенситивов, то критика в отношении этих людей – это выражение общенаучной критичности.

И по поводу генерации фальсификатора. Я уже отмечал, что не так просто сгенерировать фальсификатор. Если бы мы могли просто сгенерировать фальсификатор того, что скорость света может меняться в разных условиях, то теория относительности уже давно бы была опровергнута.

Карл Поппер как раз и построил свою теорию на разрыве между потенциальной и актуальной фальсификацией. И потенциальный фальсификатор должен быть сразу сформулирован при создании теории, но может пройти достаточно долгое время, пока объективные научные условия сложатся так, что будет реально обнаружен актуальный фальсификатор и теория будет отброшена.

В этом плане, если бы все было так просто с фальсификаторами, ни одна теория не смогла бы в этом случае вообще никогда существовать. Так что наука – это часть жизни, и научный генератор, продуцирующий верификаторы и фальсификаторы, – это определенная область жизненного мира, где, с одной стороны, достигнута высокая педантичность этих процедур, а с другой стороны, – наложены парадигмальные ограничения. И вот одно усиливает эту сферу жизни, а другое ослабляет. Если нам снять парадигмальные ограничения и оставить общий научный метод, то, я думаю, от этого наука только усилится.

Гребенщикова Елена Георгиевна: Спасибо! Надеюсь, что у нас еще получится встретиться и обменяться мнениями.

РОККАНОВСКАЯ ЛЕКЦИЯ

А.В. Коротяев

«ПРОБЛЕМА ГЭЛТОНА»

Существует весьма обширная литература по так называемой «проблеме Гэлтона» (Galton's problem), по попыткам ее решения [Narol, 1961, 1970 a, 1970 b, 1973; Naroll, D'Andrade, 1963; Driver, Chaney, 1970; Strauss, Orans, 1975; Членов, 1988 и т.д.] и превращения этой проблемы в «актив Гэлтона» (Galton's assert) [Galton's problem... 1984; Korotayev, Munck, 2003; Dow, 2008]. В последнее время предлагается также увязать соответствующую проблематику дивергенции и конвергенции развития с морфологическим учетом не только внутренних, но и внешних форм социальных явлений [Ильин, 2016; Авдонин, Ильин, Фомин, 2017].

Наиболее остро «проблема Гэлтона» проявляется в количественных кросс-культурных исследованиях. Начало данной традиции было положено в 1888 г. на одном из осенних заседаний Королевского антропологического института Великобритании и Ирландии. Там выдающийся антрополог Эдвард Тайлор изложил результаты проведенного им первого в истории науки количественного кросс-культурного исследования, базировавшегося на статистическом анализе формализованных социоантропологических данных по более чем 250 культурам.

Заседание вел президент института Фрэнсис Гэлтон. Это был блестящий ученый – статистик, метеоролог, биолог, психолог и антрополог (и, наряду с прочим, двоюродный брат Ч. Дарвина). Он сделал докладчику следующее замечание:

*«It was extremely desirable for the sake of those who may wish to study the evidence for Dr. Tylor's conclusions, that full information should be given as to the degree in which the customs of the tribes and races which are compared together are independent. It might be, that some of the tribes had derived them from a common source, so that they were duplicate copies of the same original»*¹ [Tylor, 1889, p. 272].

¹ «Было бы крайне желательно, чтобы для тех, кто мог бы захотеть тщательно исследовать фактические доказательства, приводимые д-ром Тайлором в пользу своих выводов, была бы дана полная информация о степени, в которой сопоставляемые обычаи раз-

В этих словах уже и содержалось описание сути того, что в дальнейшем и стало известно как «проблема Гэлтона». Речь здесь идет о воздействии социокультурной диффузии, распространения определенных социокультурных комплексов в пространстве на результаты кросс-культурных и кросс-национальных исследований.

Антропологи, выразившие свою обеспокоенность по поводу этой проблемы и предлагавшие свои решения для нее, беспокоились прежде всего о том, что социокультурная диффузия может привести к появлению корреляции между признаками, не находящимися между собой в закономерной функциональной зависимости, в результате чего ложные теории могут оказаться эмпирически подтвержденными.

Нельзя сказать, чтобы опасения эти были совсем уж необоснованными. Приведем один лишь пример, который, насколько нам известно, до нас никем не приводился.

В 1964 г. известный американский антрополог Дж.У.М. Уайтинг [Whiting, 1964] обнаружил значимую корреляцию между ритуальной деформацией мужских половых органов и полигинией и даже смог дать этой корреляции функциональное объяснение. Наличие данной корреляции было подтверждено Д.Дж. Строссом и М. Орансом [Strauss, Orans, 1975]. Однако приводимые ими данные, на наш взгляд, не доказывают существования реальной закономерной связи между двумя рассматриваемыми социокультурными характеристиками.

Связь между двумя признаками согласно Уайтнгу, Строссу и Орансу выглядит следующим образом (см. табл. 1 [= табл. 18 из Strauss, Orans, 1975:583, с корректировкой нескольких технических погрешностей]).

Таблица 1

**Ритуальная деформация мужских половых органов * Полигиния
Кросс-табуляция**

		Полигиния	
		<i>присутствует</i>	<i>отсутствует</i>
Ритуальная деформация мужских половых органов	<i>присутствует</i>	85	50
	<i>отсутствует</i>	560	115

Прим.: $\phi = 0,185$; $\alpha < 0,05$ (связь – статистически значима).

У нас с самого начала были самые сильные подозрения, что статистически значимая положительная корреляция в данном случае является результатом именно «гэлтоновского эффекта». Мы проверили это предположение для Околосредиземноморского региона (Европы, Северной Аф-

ных племен и рас являются независимыми друг от друга. Вполне может быть, что некоторые племена имеют общее происхождение, а потому мы должны рассматривать их в качестве дубликатов одного и того же оригинала».

рики и Ближнего Востока), используя в качестве базы данных электронную версию «Этнографического атласа» [Ethnographic Atlas... 1986, 1990, 1999–2000). Результаты проверки выглядели следующим образом (см. табл. 2).

Таблица 2

Ритуальная деформация мужских половых органов * Полигиния
Кросс-табуляция
(для Околосредиземноморского региона; первый вариант)

		Полигиния	
		<i>присутствует</i>	<i>отсутствует</i>
Ритуальная деформация мужских половых органов	<i>присутствует</i>	32	3
	<i>отсутствует</i>	7	20

Прим.: $\phi = 0,67$; $\alpha = 0,000000002$ (связь – статистически значима).

Результаты этого статистического теста достаточно легко интерпретируются в свете данных по социорелигиозной истории данного региона [см., напр.: Коротаев, Халтурина, Кунашева, 2002; Коротаев, 2003 а, 2003 б, 2005; Korotayev, 2004], достаточно определенно показывающих, что здесь мы имеем дело с самым очевидным гэлтоновским эффектом. Сильная и безусловно статистически значимая корреляция является здесь результатом совместного действия «христианского» и «исламского» факторов, или, другими словами, результатом долгосрочного функционирования в данном регионе двух обширных коммуникативных сетей – исламской и христианской. Ведь обрезание (подпадающее по классификации Мердока под понятие «ритуальной деформации мужских половых органов» [*male genital mutilations*]), хотя оно и не упоминается в исламском священном писании, Коране, до сих пор рассматривается среди мусульман в качестве фактически обязательной практики, будучи совершенно определенно предписанным в исламском священном предании (Хадисах).

Официальная разрешенность (хотя и не предписанность [см., напр.: al-Jazi:ri: 1990/1410]) полигинии (в сочетании с тем обстоятельством, что практически все исламские общества региона характеризовались заметным уровнем социальной стратификации и достаточно низким статусом женщин) практически неизбежно вела к повсеместной распространенности здесь многоженства, по крайней мере элитарного, во всех традиционных исламских культурах (даже в тех случаях, когда общество до исламизации было моногамным, как это наблюдалось, например, среди албанцев). С другой стороны, хотя христианство и запрещает полигинию самым строгим образом (см., напр.: [Коротаев, Бондаренко, 2001; Korotayev, Bondarenko, 2000; Korotayev, 2004]), оно тем не менее не запрещает прямо обрезание (собственно говоря, трудно говорить о возможности нахождения такого запрета в Священном Писании христиан с учетом того, что и сам Иисус

подвергся обрезанию [см., напр.: *Евангелие от Луки*, 2:21], притом что предполагаемая дата этого события даже отмечается христианами всего мира как один из наиболее крупных церковных праздников). Однако христианская Церковь (в отличие от исламских или иудейских религиозных властей) ни в какой степени не требует выполнения данного ритуала; в результате в Средние века отсутствие обрядов «ритуальной деформации мужских половых органов» стало важным культурным маркером, отличавшим христиан от мусульман и евреев (с которыми бóльшая часть христиан бóльшую часть данного периода находилась в откровенно враждебных отношениях). Таким образом, для христиан в этот период обрезание стало фактически табу. В результате распространение христианства в Околосредиземноморском регионе вело и к одновременному распространению запретов и на полигинию, и на обрезание. С другой стороны, распространение ислама вело к синхронному распространению прямо противоположной комбинации характеристик. Таким образом, в данном регионе мы сталкиваемся с классическим действием «Гэлтоновского эффекта». Поэтому неудивительно, что удаление из выборки христианских культур приводит к падению корреляции ниже значимого уровня (см. табл. 3).

Таблица 3

Ритуальная деформация мужских половых органов * Полигиния
Кросс-табуляция
 (для Околосредиземноморского региона; второй вариант
 [с исключением из выборки христианских культур])

		Полигиния	
		<i>присутствует</i>	<i>отсутствует</i>
Ритуальная деформация мужских половых органов	<i>присутствует</i>	2	2
	<i>отсутствует</i>	7	20

Прим.: $\varphi = 0,18$; $\alpha = 0,34$ (связь – статистически незначима).

Представим себе, что мы имеем дело с парой никак не связанных между собой переменных и выборкой из 20 никак не связанных между собой культур. В этом случае статистический анализ должен дать результаты следующего типа (см. табл. 4).

Таблица 4

Характеристика X * Характеристика Y
Кросс-табуляция (первый вариант)

		Характеристика X	
		<i>отсутствует (-)</i>	<i>присутствует (+)</i>
Характеристика Y	<i>отсутствует (-)</i>	5	5
	<i>присутствует (+)</i>	5	5

Прим.: $\alpha = 1,0$ (связь – статистически незначима).

Представим себе теперь, что диффузия определенной культурной системы (например, ислама), сочетающей характеристики X и Y (например, полигинию и обрезание), привело к появлению еще 15 культур, характеризующихся данным сочетанием; допустим при этом, что все эти культуры оказались в нашей выборке. В результате почти половина случаев окажется результатом диффузии комбинации данных характеристик. Но приведет ли подобный колоссальный диффузионный эффект к появлению значимой корреляции? Посмотрим, какие результаты дадут здесь статистические тесты (см. табл. 5).

Таблица 5

Характеристика X * Характеристика Y
Кросс-табуляция (второй вариант)

		Характеристика X	
		<i>отсутствует (-)</i>	<i>присутствует (+)</i>
Характеристика Y	<i>отсутствует (-)</i>	5	5
	<i>присутствует (+)</i>	5	15

Прим.: $\alpha = 0,17$ (связь – статистически незначима).

Таким образом, даже такой колоссальный «гэлтоновский эффект» не привел к появлению статистически значимой корреляции! Но насколько реалистично предполагать, что хотя бы в одном серьезном кросс-культурном исследовании по общемировой выборке почти половина случаев окажется происходящей из одного кластера исторически тесно связанных между собой культур? Действительно ли специалисты по кросс-культурным исследованиям настолько некомпетентны, что могут делать столь очевидные ошибки? Конечно же, ответы на эти вопросы могут быть только отрицательными. Но тогда какие у нас могут быть основания для того, чтобы хоть сколько-то беспокоиться о «проблеме Гэлтона»?

Однако представим, что мы имеем дело с выборкой, сопоставимой по своим размерам с числом культур, описанных в базе данных «*Этнографический атлас*» Мердока (1267). Представим также, что мы имеем дело не с одной диффузионной зоной, а с двумя взаимодействующими и соперничающими между собой коммуникативными сетями, подобными средневековым христианской и исламской системам. Как было показано выше, в этом случае мы получим не просто случайную диффузию различных комбинаций характеристик; вместо этого мы будем иметь дело с систематическим ростом числа случаев в диагонально противоположных клетках таблицы (+ + – –; или + – – +), т.е. именно с таким ростом, который быстрее всего и может вывести корреляцию на статистически значимый уровень. Та ситуация, которую мы наблюдаем относительно распределения практик «ритуальной деформации мужских половых органов» и полигинии в Околосредиземноморском регионе, полностью относится

именно к этому типу случаев. Здесь мы можем видеть множество сообществ (другим словами, все исламские сообщества макрорегиона), систематически воспроизводящих определенный паттерн социокультурных характеристик, прямо противоположный таковому, наблюдаемому среди другого множества сообществ (христианских), и служащий в качестве определенного маркера культурной границы. В результате мы имеем систематический рост числа культур не просто в одной из ячеек таблицы, а именно в диаметрально противоположных ее ячейках.

Теперь представим себе, что в подобном контексте мы сталкиваемся с действием диффузионной зоны, охватывающей лишь 6% всей выборки. Результат этого действия будет выглядеть следующим образом (см. табл. 6).

Таблица 6

Характеристика X * Характеристика Y
Кросс-табуляция (3-й вариант)

		Характеристика X	
		<i>отсутствует (-)</i>	<i>присутствует (+)</i>
Характеристика Y	<i>отсутствует (-)</i>	280	250
	<i>присутствует (+)</i>	250	280

Прим.: $\alpha = 0,037$ (связь – статистически значима).

Здесь стоит обратить внимание на то обстоятельство, что и общий размер выборки, и величина предполагаемой диффузионной зоны практически идентичны тем, с которыми мы имели дело при изучении корреляции между ритуальной деформацией мужских половых органов и полигинией. Таким образом, при исследовании кросс-культурных выборок, по своему размеру сопоставимых с «*Этнографическим атласом*» Мердока, мы можем начать сталкиваться с «гэлтоновским эффектом», даже если его действию подверглись лишь 6% культур выборки. Вместе с тем здесь нельзя не отметить и того обстоятельства, что большинство специалистов по кросс-культурным исследованиям в настоящее время пользуются не «*Этнографическим атласом*» (содержащим данные по достаточно ограниченному, порядка 100, числу показателей), а «*Стандартной кросс-культурной выборкой*» (по которой в настоящее время собраны данные по более чем 2000 показателей [Murdock, White, 1969, 1986; White, 1985; Divale, Khaltorina, Korotayev, 2002; Cashdan, Steele, 2013; Murray, Schaller, Suedfeld, 2013; Hoben, Buunk, Fischer, 2016 и т.д.] и которая включает в себя 186 культур мира) либо выборками еще меньшего размера. При этом необходимо отметить, что «Стандартная кросс-культурная выборка» была специально составлена таким образом, чтобы противодействовать именно «проблеме Гэлтона». С этой целью в ее состав для ослабления эффекта диффузии из каждого этнографического ареала включалась только одна

культура. А в этом случае снова возникает вопрос: так стоит ли тогда все-таки беспокоиться о «проблеме Гэлтона»?

Мы считаем, что стоит. Действительно, большинство специалистов в области кросс-культурных исследований пользуются в настоящее время «Стандартной кросс-культурной выборкой» (*Standard Cross-Cultural Sample [SCCS]*) и базой данных, подготовленной на ее основе [Murdock, White, 1969, 1986; White, 1985; Divale, Khalitourina, Korotayev, 2002; Cashdan, Steele, 2013; Murray, Schaller, Suedfeld, 2013; Hoben, Buunk, Fischer, 2016 и т.д.]. Но обладает ли эта выборка иммунитетом к «проблеме Гэлтона»?

«Стандартная кросс-культурная выборка» включает в себя семь христианских обществ и 23 исламские культуры. Достаточно ли этого для того, чтобы создать значимый «гэлтоновский эффект, подобный тому, с которым мы сталкивались выше? Да, как мы видим ниже, может (см. табл. 7 и 8).

Таблица 7

Характеристика X * Характеристика Y
Кросс-табуляция (четвертый вариант; по «Стандартной кросс-культурной выборке» для пары не связанных между собой признаков при исключении из выборки христианских и исламских культур, для которых данные признаки являются маркерами культурной границы между ними)

		Характеристика X	
		<i>отсутствует (-)</i>	<i>присутствует (+)</i>
Характеристика Y	<i>отсутствует (-)</i>	39	39
	<i>присутствует (+)</i>	39	39

Прим.: $\alpha = 1,0$ (связь – статистически незначима).

Таблица 8

Характеристика X * Характеристика Y
Кросс-табуляция (пятый вариант; по «Стандартной кросс-культурной выборке» для пары не связанных между собой признаков при включении в выборку христианских и исламских культур, для которых данные признаки являются маркерами культурной границы между ними)

		Характеристика X	
		<i>отсутствует (-)</i>	<i>присутствует (+)</i>
Характеристика Y	<i>отсутствует (-)</i>	46	39
	<i>присутствует (+)</i>	39	62

Прим.: $\alpha = 0,025$ (связь – статистически значима).

Итак, как мы видим, две конкурирующие коммуникативно-цивилизационные сети, включающие в себя лишь 16% всех культур выборки, мо-

гут привести к проявлению вполне статистически значимого «гэлтоновского эффекта» даже в *SCCS*.

Примечательно, что при прямом анализе «Стандартной кросс-культурной выборки» мы получаем статистически значимую корреляцию между наличием ритуальной деформации мужских половых органов и полигинией (см. табл. 9).

Таблица 9

**Ритуальная деформация мужских половых органов * Полигиния
Кросс-табуляция (по «Стандартной кросс-культурной выборке»;
первый вариант)**

		Полигиния	
		<i>отсутствует (-)</i>	<i>присутствует (+)</i>
Ритуальная деформация мужских половых органов	<i>отсутствует (-)</i>	30	100
	<i>присутствует (+)</i>	3	48

Прим.: $\alpha < 0,05$ (связь – статистически значима).

Если все, что было сказано нами выше, правильно, то в том случае, если мы оставим в «Стандартной выборке» только лишь по одному представителю как исламской, так и христианской коммуникативной сети, корреляция между рассматриваемыми переменными должна стать статистически незначимой. Проверим, такой ли результат мы получим при реальной статистической проверке данной гипотезы (см. табл. 10).

Таблица 10

**Ритуальная деформация мужских половых органов * Полигиния
Кросс-табуляция (по «Стандартной кросс-культурной выборке»;
второй вариант, с оставлением в выборке по одной исламской
и христианской культуре)**

		Полигиния	
		<i>отсутствует (-)</i>	<i>присутствует (+)</i>
Ритуальная деформация мужских половых органов	<i>отсутствует (-)</i>	26	99
	<i>присутствует (+)</i>	3	30

Прим.: $\alpha = 0,12$ (связь – статистически незначима).

Таким образом, обнаруженная Уайтингом, Строссом и Орансом значимая положительная корреляция между полигинией и ритуальной деформацией мужских половых органов, по всей видимости, объясняется именно «гэлтоновским эффектом»; т.е. корреляция здесь объясняется не наличием функциональной связи между двумя данными характеристиками (в результате чего появление одной из них закономерно ведет к развитию второй), а прежде всего многовековым функционированием и взаимодействием двух гигантских коммуникативных сетей – исламской и христианской

[de Munck, Korotayev, 2000; Korotayev, de Munck, 2003] (о «гэлтоновских эффектах», сгенерированных функционированием арабо-мусульманской коммуникативной сети, см. также: [Риски... 2014; Коротяев, Исаев, 2014; Коротяев, Исаев, Руденко, 2014, 2015; Issaev, Korotayev, Shishkina, 2013; Korotayev, Issaev, Shishkina, 2015]; о «гэлтоновских эффектах», сгенерированных функционированием иных коммуникативных сетей, см., напр.: [Березкин, 2002; Коротяев, 2006; Коротяев, Халтурина, 2010 а, 2010 б; Korotayev, Kazankov, 2000; Korotayev, 2006; Return... 2006]).

Между прочим, предпринятое нами исследование еще раз показывает, что обе полярные позиции по вопросу о «проблеме Гэлтона» – т.е. либо что проблема эта дискредитирует все количественные кросс-культурные исследования (см., напр.: [Членов, 1988, с. 197]), либо что эту проблему вообще не стоит принимать всерьез (см., напр.: [Ember, 1971; Ember, Ember, 1998, p. 678; Ember, Ember, 2001, p. 89]) – не представляются обоснованными. На мой взгляд, к «проблеме Гэлтона» необходимо относиться с полной серьезностью. Но, с другой стороны, ее можно рассматривать не столько как проблему, сколько как достояние количественных кросс-культурных исследований. Другими словами, необходимо совершенно серьезно относиться к любой достаточно сильной и статистически значимой корреляции, выявленной в ходе количественного кросс-культурного исследования, вне зависимости от того, явилась она или нет результатом «Гэлтоновского эффекта» (т.е. сетевой автокорреляции; см., напр.: [Dow, Burton, White, 1981; 1982; Galton's problem... 1984; White, Burton, Dow, 1981; Burton, White, 1987, p. 147; 1991; de Munck, Korotayev, 2000; Korotayev, de Munck, 2003; Dow, 2008; Peeters, Thomas, 2009; What... 2014; Wang, Neuman, Newman, 2014; Shared... 2016]).

Если она не является, тогда мы имеем дело с глобальной кросс-культурной закономерностью; но если она является, ты мы имеем дело с результатом функционирования некоторой исторической коммуникативной сети и ее влиянием на ход человеческой истории. А это, на наш взгляд, представляет отнюдь не меньший интерес. Это также показывает, что попытки ограничить кросс-культурные исследования исключительно изучением небольших случайных выборок не являются вполне оправданными. Да, такие выборки минимизируют «гэлтоновские эффекты», но это имеет смысл, только если мы рассматриваем «проблему Гэлтона» именно как проблему, а не как достояние кросс-культурных и кросс-национальных исследований. Конечно, анализ подобных выборок может привести к открытию определенных глобальных кросс-культурных закономерностей, но он никогда не сможет помочь исследованию исторических коммуникативных сетей и их влияния на социокультурную эволюцию человечества.

И наконец – заключительное замечание. Из того, что было сказано выше, должна стать особенно очевидна незаменимая важность созданной Дж.П. Мердоком базы данных «*Ethnographic Atlas*». «Репрезентативные» выборки (типа «Стандартной кросс-культурной выборки» или «Случайной

выборки HRAF») должны рассматриваться как дефективные в высокой степени именно потому, что они были созданы для того, чтобы нейтрализовать «проблему Гэлтона». Однако, как мы постарались показать выше, во многих случаях подобные кросс-культурные выборки не решают автоматически «проблему Гэлтона». Кроме того, такие выборки не дают нам возможности адекватным образом изучить сетевые автокорреляционные эффекты, лишая нас возможности должным образом исследовать коммуникативные сети и результаты исторических диффузий (что само по себе представляет не меньший интерес, чем холокультуральное тестирование гипотез). К тому же подобные готовые «антигэлтоновские» кросс-культурные выборки не дают возможности создавать оптимальные подвыборки для конкретных кросс-культурных исследовательских прецедентов. Несмотря на все неоспоримые достоинства баз данных, созданных на основе такого рода выборок, они никак не могут рассматриваться в качестве полноценной замены «*Этнографического атласа*». Поэтому, на наш взгляд, мало что нанесло столь заметный ущерб дальнейшему развитию холокультуральных исследований, как фактическое прекращение в 2005 г. дальнейших работ по развитию базы данных «*Этнографический атлас*». Действительно, после добавления нами к этой базе данных в 2004–2005 гг. двух инсталляций по народам Сибири и крайнему востоку Европы [Ethnographic atlas... 2004; Ethnographic atlas... 2005] к 1290 случаям, описанным в этой базе данных к 2006 г., не был добавлен ни один новый случай; и это несмотря на столь очевидные пробелы даже в самой последней версии этой базы данных, особенно в отношении Европы и территории бывшего Советского Союза. Поэтому мы уверены, что возобновление работ над развитием этой базы данных является одной из наиболее настоятельных задач для специалистов по холокультуральным исследованиям.

Список литературы

- Авдонин В.С., Ильин М.В., Фомин И.В. Чем и как могут насытить политические исследования математика, семиотика и морфология? // Ежегодник РАПН. – М.: РОССПЭН, 2017. – В печати.
- Березкин Ю.Е. Мифология аборигенов Америки: Результаты статистической обработки ареального распределения мотивов // История и семиотика индейских культур Америки / А.А. Бородатова и В.А. Тишков (ред.). – М.: Наука, 2002. – 574 с.
- Риски дестабилизации в контексте нарастающей неопределенности в «афразийской» зоне / Гринин Л.Е., Коротаев А.В., Исаев Л.М., Шишкина А.Р. // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. – 2014. – С. 4–10.
- Ильин М.В. Семейное дело Левиафанов. Государства в международных системах // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 3. – С. 4–17.
- Коротаев А.В. Мировые религии как фактор эволюции социальной структуры цивилизаций Старого Света // Религиоведение. – Благовещенск, 2003 а. – № 3. – С. 4–17.
- Коротаев А.В. Социальная эволюция: факторы, закономерности, тенденции. – М.: Восточная литература, 2003 б.

- Коротаев А.В.* Мировые религии как фактор социальной эволюции цивилизаций Старого Света // История и синергетика: Методология исследования / С.Ю. Малков, А.В. Коротаев (отв. ред.). – М.: URSS, 2005. – С. 119–138.
- Коротаев А.В.* Культурно-политическая сложность как фактор распределения мифологических мотивов в Новом Свете // Власть в аборигенной Америке / А.А. Бородатова, В.А. Тишков (ред.). – М.: Наука, 2006. – С. 329–352.
- Коротаев А.В., Бондаренко Д.М.* Полигиния и демократия: кросс-культурное исследование // Алгебра родства. – СПб., 2001. – Т. 7. – С. 173–186.
- Коротаев А.В., Исаев Л.М.* Формирование «афразийской» зоны нестабильности // Арабский кризис и его международные последствия / А.М. Васильев, А.Д. Саватеев, Л.М. Исаев (ред.). – М.: Ленанд / URSS, 2014. – С. 206–227.
- Коротаев А.В., Исаев Л.М., Руденко М.А.* Ортокузенный брак, женская занятость и «афразийская» зона нестабильности // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. – М.: Ленанд / URSS, 2014. – С. 180–207.
- Коротаев А.В., Исаев Л.М., Руденко М.А.* Формирование афразийской зоны нестабильности // Восток. – М., 2015. – № 2. – С. 88–99.
- Коротаев А.В., Халтурина Д.А.* Мифы и гены: Глубокая историческая реконструкция. – М.: Либроком/URSS, 2010 а. – 184 с.
- Коротаев А.В., Халтурина Д.А.* Мифы и гены заселяют Америку. Какая из волн заселения Нового Света принесла туда урало-америндские космогонические мотивы // История и синергетика: математические модели социальной, экономической и культурной динамики / С.Ю. Малков, А.В. Коротаев (отв. ред.). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Либроком / URSS, 2010 б. – С. 156–214.
- Коротаев А.В., Халтурина Д.А., Кунашева М.Б.* Мировые религии и семейно-родственная организация: кросс-культурное исследование // Этнографическое обозрение. – М., 2002. – № 5. – С. 3–16.
- Членов М.А.* Холокультурализм // Свод этнографических понятий и терминов. Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы / М.В. Крюков, И. Зеллов (отв. ред.). – М.: Наука, 1988. – С. 195–198.
- Ethnographic atlas XXXI: Peoples of easternmost Europe / Bondarenko D., Kazankov A., Khal-tourina D., Korotayev A.* // Ethnology. – Pittsburgh, 2005. – Vol. 44(3). – P. 261–289.
- Burton M.L., White D.R.* Cross-cultural surveys today // Annual review of anthropology. – Palo Alto, 1987. – Vol. 16. – P. 143–160.
- Burton M.L., White D.R.* Regional Comparisons, Replications, and Historical Network Analysis // Behavioral Science Research. – Baltimore, 1991. – Vol. 25. – P. 55–78.
- Cashdan E., Steele M.* Pathogen prevalence, group bias, and collectivism in the standard cross-cultural sample // Human Nature. – Sydney, 2013. – Vol. 24(1). – P. 59–75.
- Divale W., Khaltourina D., Korotayev A.* A Corrected Version of the Standard Cross-Cultural Sample Database // World Cultures. – Chicago, 2002. – Vol. 13(1). – P. 62–98.
- Driver H.E., Chaney R.P.* Cross-Cultural Sampling and Galton's Problem // A Handbook of Method in Cultural Anthropology / R. Naroll, R. Cohen (eds.). – Garden City, N.Y.: Natural History Press, 1970. – P. 990–1003.
- Dow M.M.* Network autocorrelation regression with binary and ordinal dependent variables: Galton's problem // Cross-cultural Research. – Thousand Oaks, 2008. – Vol. 42, N 4. – P. 394–419.
- Dow M.M., Burton M.L., White D.R.* Multivariate Modeling with Interdependent Network Data // Behavioral Science Research. – Baltimore, 1981. – Vol. 17. – P. 216–245.
- Dow M.M., Burton M.L., White D.R.* Network Autocorrelation // Social Networks. – Amsterdam, 1982. – Vol. 4. – P. 169–200.
- Galton's Problem as Network Autocorrelation / Dow M.M., Burton M.L., White D.R., Reitz K.* // American Ethnologist. – Washington, 1984. – Vol. 11. – P. 754–770.

- Driver H.E., Chaney R.P. Cross-Cultural Sampling and Galton's Problem // A Handbook of Method in Cultural Anthropology / R. Naroll, N. Cohen (eds.). – Garden City, N.Y.: Natural History Press, 1970. – P. 990–1003.
- Ember C.R., Ember M. Cross-Cultural Research // Handbook of Methods in Cultural Anthropology / H. R. Bernard (eds.). – Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 1998. – P. 647–687.
- Ember C.R., Ember M. Cross-Cultural Research Methods. – Lanham, MD: AltaMira Press, 2001.
- Ember M. An Empirical Test of Galton's Problem // Ethnology. – Pittsburgh, 1971. – Vol. 10. – P. 98–106.
- Ethnographic Atlas / Murdock G.P., Textor R., Barry H. (III), White D.R. // World Cultures. – Chicago, 1986. – Vol. 2, N 4. – First computer version.
- Ethnographic Atlas / Murdock G.P., Textor R., Barry H. (III), White D.R. // World Cultures. – Chicago, 1990. – Vol. 6, N 3 – Second computer version.
- Ethnographic Atlas / Murdock G.P., Textor R., Barry H. (III), White D.R., Gray J.P., Divale W. // World Cultures. – Chicago, 1999–2000. – Vol. 10, N 1. – P. 24–136.
- Ethnographic atlas XXX: peoples of Siberia / Korotayev A., Kazankov A., Borinskaya S., Khal-tourina D., Bondarenko D. // Ethnology. – Pittsburgh, 2004. – Vol. 43(1). – P. 83–92.
- Hoben A.D., Buunk A.P., Fisher M.L. Factors influencing the allowance of cousin marriages in the standard cross cultural sample // Evolutionary Behavioral Sciences. – Washington, 2016. – Vol. 10(2). – P. 98–108.
- Issaev L., Korotayev A., Shishkina A. Women in the Islamic Economy: a Cross-Cultural Perspective // St Petersburg Annual of Asian and African Studies. – Würzburg, 2013. – Vol. 2. – P. 105–116.
- Al-Jaziri: 'A. Kita:b al-Fiqh 'ala:l-madha:hib al-arba'ah. Al-juz' al-tha:lith. Kitab al-nika:h, kita:b al-tala:q. – Bayrut: Da:r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990/1410.
- Korotayev A. Parallel Cousin (FBD) Marriage, Islamization, and Arabization // Ethnology. – Pittsburgh, 2000. – Vol. 39. – P. 395–407.
- Korotayev A. World Religions and Social Evolution of the Old World Oikumene Civilizations: A Cross-Cultural Perspective. – Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press, 2004.
- Korotayev A. «Midwest-Amazonian» Folklore-Mythological Parallels? // Acta Americana. – Washington, 2006. – Vol. 14/1. – P. 5–24.
- Return of the White Raven: Postdiluvial Reconnaissance Motif A2234.1.1 Reconsidered / Korotayev A., Berezkin Yu, Kozmin A., Arkipova A. // Journal of American Folklore. – Boston, 2006. – Vol. 119. – P. 472–520.
- Korotayev A., Bondarenko D. Polygyny and Democracy: A Cross-Cultural Comparison // Cross-Cultural Research. – Thousand Oaks, CA, 2000. – Vol. 34, N 2. – P. 190–208.
- Korotayev A., Kazankov A. Regions Based on Social Structure: A Reconsideration // Current Anthropology. – Chicago, 2000. – Vol. 41, N 5. – P. 668–690.
- Korotayev A., Munck V. de. «Galton's Asset» and «Flower's Problem»: Cultural Networks and Cultural Units in Cross-Cultural Research MI (Or, Male Genital Mutilations and Polygyny in Cross-Cultural Perspective) // American Anthropologist. – Washington, 2003. – Vol. 105(2). – P. 353–358.
- Korotayev A.V., Issaev L.M., Shishkina A.R. Female Labor Force Participation Rate, Islam, and Arab Culture in Cross-Cultural Perspective // Cross-Cultural Research. – Thousand Oaks, 2015. – Vol. 49(1). – P. 3–19.
- Munck V. de, Korotayev A. Cultural units in cross-cultural research // Ethnology. – Pittsburgh, 2000. – Vol. 39 (4). – P. 335–348.
- Murdock G.P., White D.R. Standard Cross-Cultural Sample // Ethnology. – Pittsburgh, 1969. – Vol. 8. – P. 329–369.
- Murdock G. P., White D. R. Standard Cross-Cultural Sample Variables // World Cultures. – Chicago, 1986. – Vol. 2. – P. 4–28.
- Murray D.R., Schaller M., Suedfeld P. Pathogens and politics: Further evidence that parasite prevalence predicts authoritarianism // PloS One. – 2013. – Vol. 8, N 5. – P. e62275.

- Naroll R.* Two Solutions to Galton's Problem // *Philosophy of Science*. – N.Y., 1961. – Vol. 18. – P. 15–39.
- Naroll R.* Galton's Problem // *A Handbook of Method in Cultural Anthropology* / R. Naroll, R. Cohen (eds.). – Garden City, N.Y.: Natural History Press, 1970 a. – P. 974–989.
- Naroll R.* What Have We Learned from Cross-Cultural Surveys? // *American Anthropologist*. – Washington, 1970 b. – Vol. 72. – P. 1227–1288.
- Naroll R.* Holocultural Theory Tests // *Main Currents in Cultural Anthropology* / R. Naroll, R. Cohen (eds.). – Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1973. – P. 309–384.
- Naroll R., D'Andrade R.G.* Two Further Solutions to Galton's Problem // *American Anthropologist*. – Washington, 1963. – Vol. 65. – P. 1053–1067.
- Peeters D., Thomas I.* Network autocorrelation // *Geographical Analysis*. – Columbus, 2009. – Vol. 41(4). – P. 436–443.
- Shared Cultural History as a Predictor of Political and Economic Changes among Nation States / Matthews L.J., Passmore S., Richard P.M., Gray R.D., Atkinson Q.D. // *PloS one*. – 2016. – Vol. 11(4). – Mode of access: <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0152979> (Дата посещения: 18.04.2016.)
- Strauss D.J., Orans M.* Mighty Sifts: A Critical Appraisal of Solutions of Galton's Problem and a Partial Solution // *Current Anthropology*. – Chicago, 1975. – Vol. 16. – P. 573–594.
- Tylor E.B.* On a Method of Investigating the Development of Institutions: Applied to Laws of Marriage and Descent // *Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*. – L., 1889. – Vol. 18. – P. 245–272.
- Wang W., Neuman, E.J., Newman D.A.* Statistical power of the social network autocorrelation model // *Social Networks*. – Amsterdam, 2014. – P. 38, 88–99.
- What can cross-cultural correlations teach us about human nature? / Pollet T.V., Tybur J.M., Frankenhuys W.E., Rickard I.J. // *Human Nature*. – Sydney, 2014. – Vol. 25(3). – P. 410–429.
- White D.R.* The World Cultures Database and MAPTAB Program // *World Cultures*. – Chicago, 1985. – Vol. 1, N 1. – F. DATABASE.ART.
- White D.R., Burton M.L., Dow M.M.* Sexual Division of Labor in African Agriculture // *American Anthropologist*. – Washington, 1981. – Vol. 83. – P. 824–849.
- Whiting J.W.M.* Effects of Climate on Certain Cultural Practices // *Explorations in Cultural Anthropology* / Ward H. Goodenough (ed.). – N.Y.: McGraw-Hill, 1964. – P. 511–544.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

ЛИНГВИСТИКА И СЕМИОТИКА КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФЕРОВ (Рецензия)

Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии: Коллективная монография / Отв. ред. В.В. Фещенко; Ред. колл.: Н.М. Азарова, С.Ю. Бочавер (отв. секретарь), В.З. Демьянков, М.Л. Ковшова, И.В. Силантьев, М.А. Тарасова (редактор-корректор), Т.Е. Янко. – М.: Культурная революция, 2016. – 500 с.

Монография «Лингвистика и семиотика культурных трансферов», фрагменты из которой представлены ниже, – это результат коллективной научной работы, выполненной на базе Научно-образовательного центра теории и практики коммуникации им. акад. Ю.С. Степанова при Институте языкознания РАН. Авторы книги поставили перед собой комплексную задачу разработки лингвистической теории *культурного трансфера*, понимаемого как перенос знаний между различными языками и дискурсами. В частности, авторы обращаются к проблеме трансфера знаний между культурами, профессиональными сообществами и научными дисциплинами. В фокусе при этом находятся преимущественно лингвистические аспекты такого рода переноса.

В первом разделе (всего в книге их четыре) внимание уделяется наиболее общей проблематике – междисциплинарному и внутридисциплинарному трансферу в рамках гуманитарного знания в целом (с. 36–150). Во втором разделе авторы обращаются к более предметно насыщенным сюжетам, связанным с вопросами трансфера внутри лингвистики (с. 151–254). В третьем разделе в фокусе оказываются проблемы межкультурного, межъязыкового и междискурсного взаимодействия, исследованные на примере поэтического билингвизма (с. 255–307), а также на материале взаимодействия между устной и письменной речью (с. 354–405), между языками науки и искусства (с. 333–353), между авангардной поэзией и рекламой (с. 308–333). В заключительный раздел монографии вошли главы, посвященные исследованию изменчивости лексических кодов в куль-

туре (с. 406–427), механизмам передачи информации в коллективной памяти (с. 428–450), проблемам кодирования и трансферизации во фразеологии (с. 451–498). Особого упоминания заслуживает также вводная глава монографии, в которой представлен обзор подходов к изучению культурного трансфера, а также история самого этого термина (с. 5–35). Для более детального знакомства с данной публикацией далее представлены два фрагмента из первого раздела монографии.

Проблематика трансфера знаний тесно связана с комплексом вопросов, касающихся методологических возможностей интеграции научных дисциплин, которым посвящен этот выпуск МЕТОДа. Перспективным продолжением работы, проделанной коллективом авторов, представляется расширение предметных рамок и выход на уровень рассмотрения вопросов трансфера знаний за пределами социально-гуманитарных дисциплин. В частности, систематизированная семиотическая теория трансфера знаний может быть востребована в рамках проблематики взаимодействия между гуманитарными и естественными науками, а также в более очищенном от предметного содержания виде – как общая теория междисциплинарного переноса знаний.

И.В. Фомин

В.З. Демьянков

ЯЗЫКОВЫЕ ТЕХНИКИ «ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ»¹

Эволюция научной мысли состоит не только в изобретении новых подходов к предмету исследования, но и в «продвижении» и «презентации» взглядов – как новых, так и традиционных. Это сказывается на том, как создаются тексты, отражающие эмерджентные взгляды на предмет исследования. Когнитивно-лингвистический анализ динамики науки позволяет выделять и классифицировать используемые языковые средства – «языковые техники» трансфера знаний. Рассмотрим некоторые классы языковых техник, используемых для подачи научных положений.

1. Термин «трансфер знаний»

В переводоведении термин «трансфер знака» используется в значении «перенос некоторого знака как элемента некоторой знаковой структуры и как потенциала формы и функции в состав другого знака в качестве элемента другой знаковой структуры». С помощью этого понятия описываются прямые и обходные маневры при переводе «трудных» выражений с одного языка на другой.

Трансфером знаний в широком смысле называют передачу от человека к человеку не только практических и теоретических сведений, но и навыков, установок, предпочтений в выборе подходов к решению житейских или научных проблем (см.: [Демьянков, 2015]). Такие знания переносятся из одной позиции в «информационной системе» человека в другую позицию – той же или другой системы.

¹ Печатается по: Демьянков В.З. Языковые техники «трансфера знаний» // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии: Коллективная монография / Отв. ред. В.В. Фещенко; Ред. колл.: Н.М. Азарова, С.Ю. Бочавер (отв. секретарь), В.З. Демьянков, М.Л. Ковшова, И.В. Силантьев, М.А. Тарасова (редактор-корректор), Т.Е. Янко. – М.: Культурная революция, 2016. – С. 61–85.

В узком же смысле трансфер знаний – перенос мнений или теоретических достижений (иногда – и предрассудков) из одной сферы жизни человека в другую. Так, метафора – употребление выражения в «переносном» смысле, когда в терминах одной области знаний говорят о том, что известно меньше и / или хуже. Это переход от знания, данного непосредственно, к знанию, полученному опосредованно.

В последнее столетие очень широко исследуются различные виды трансфера знаний, когда понятия той или иной социальной или гуманитарной науки анализируются в опоре на то, как об этих понятиях принято говорить в обыденной речи, которая, как предполагается, является донором. Этот подход к анализу политически нагруженных слов получил название лингвистической политологии. Классифицируя различные контексты употребления слов и / или конструкций, делают выводы о том, каковы обслуживаемые «политические культуры». А классифицируя различные контексты употребления научных терминов и / или конструкций в обыденной речи, делают выводы о том, что же лежит за соответствующими научными понятиями.

Трансфер знаний лежит в основе небуквального употребления языковых выражений, когда о предметах, не данных непосредственно, говорят в терминах других предметов, данных опосредованно. Тогда имеют дело с трансфером «от известного к неизвестному». В частности, техники анализа обыденных значений слов, используемых в научном и политическом дискурсе, позволяют выявить механизмы такого трансфера знаний.

Такой взгляд на метафору вытекает, например, из концепции В.Н. Телия, представленной еще в 1980-е годы. В этой концепции принимается, что метафора «...способна обеспечить рассмотрение вновь познаваемого через уже познанное, зафиксированное в виде значения языковой единицы. В этом переосмыслении образ, лежащий в основе метафоры, играет роль внутренней формы с характерными именно для данного образа ассоциациями, которые предоставляют субъекту речи широкий диапазон для интерпретации обозначаемого и для отображения сколь угодно тонких “оттенков” смысла» [Телия, 1988, с. 179]. И далее: «...метафоризация – это процесс такого взаимодействия указанных сущностей и операций, которое приводит к получению нового знания о мире и к оязыковлению этого знания. Метафоризация сопровождается вкраплением в новое понятие признаков уже познанной действительности, отображенной в значении переосмысляемого имени, что оставляет следы в метафорическом значении, которое в свою очередь “вплетается” в картину мира, выражаемую языком» [Телия, 1988, с. 186].

Одни и те же феномены человеческого бытия можно объяснить с нескольких точек зрения. В частности, с точки зрения культурной и цивилизационной.

Как известно, термины «цивилизация» и «культура» соперничают в различных концепциях развития человеческой ментальности. А именно –

французский термин *civilisation*, вошедший в середине XVIII в. в научный оборот и во Франции, и за ее пределами, имел значение «культура как образ жизни». Недаром, в отличие термина *культура*, изначально этот термин не имел формы множественного числа: когда говорили о цивилизации, имели в виду некоторый единственный, уникальный, идеальный образ жизни, взятый в отвлечении от различий, существующих в реальных обществах¹. Термином же *культура* западноевропейские исследователи обозначали различные экзотичные общества, за пределами «западной цивилизации». Вот почему сегодня стихийно установилось такое разграничение задач: культурология занимается исследованием культуры глазами носителя этой культуры, а этнология – глазами внешнего наблюдателя, т.е. с точки зрения цивилизации, а не самой этой исследуемой культуры.

В языкознании XX–XXI вв., стартуя с универсалистской площадки, видят аналогию между цивилизацией и универсалиями языка, с одной стороны, и культурами и идиоэтническими особенностями языкового употребления – с другой. Иначе говоря, выражаясь языком пропорций, имеем: цивилизация так относится к культурам, как «универсальный язык» («универсалии языка») относится к исторически засвидетельствованным языкам.

При таком понимании цивилизационные ограничения на исторически засвидетельствованные языки можно представить себе как границы, предопределяющие развитие языков в рамках существующей цивилизации.

Выявление этих границ в гуманитарных науках происходит методом «реконструкции» (внутренней и / или внешней): рассматривая реликты и «слабые места» в наблюдаемых свойствах реальных языков, устанавливают, какие расхождения между языками случайны, а какие обусловлены языковыми универсалиями, лежащими в основе когнитивного механизма всех человеческих языков. Методы такой культурологической реконструкции оказались весьма плодотворными для современной лингвистики. Здесь эти методы используются не столько для восстановления внешней формы языковых знаков – того, как они выглядели или звучали в далекие времена праязыка, – сколько для выявления системы закономерностей, связывающих языковые знаки между собой и с их значениями в речи. В любом случае имеем дело с интерпретацией эмпирических данных и в цивилизационно предначертанных рамках (когда ученый стремится к «надкультурной», этнологической реконструкции), и в рамках конкретной культуры (когда исследователь по той или иной причине вольно или невольно «заземлен»

¹ «“Civilization” was a term coined in France in 1750 s and quickly adopted in England, becoming very popular in both countries in explication of their superior accomplishments and justification of their imperialist exploits [...]. The meaning was the same as the sense of “culture” as a way of life that is now proper to anthropology. Among other differences, “civilization” was not pluralizable: it did not refer to the distinctive modes of existence of different societies but to the ideal order of human society in general [...]» [Sahlins, 1995, p. 10–11].

на конкретную национальную культуру и не обладает амбициями выйти за ее пределы).

Интерпретируя факты, а также чужие и свои высказывания, человек обладает свободой, которая также может по-разному рассматриваться: в цивилизационном и / или культурном формате. В этом аналогия с диалогом, когда мы стремимся понять другого человека, понять себя, понять только текст и т.д. – в зависимости от своей техники понимания, от того, к чему мы подготовлены в большей степени своим предшествующим диалогическим опытом. Понимание – одновременно и интерпретативная деятельность (в этом можно видеть культурную обусловленность), и идеал, к которому мы стремимся (и в этом – цивилизационная составляющая понимания). Однако поскольку понимание – оценочный термин (ср.: правильно, хорошо понять vs. неправильно, неадекватно понять), связанный с ценностями, а потому и с выбором из множества альтернатив, то понимание обладает и своими культурами [см.: Демьянков, 2001, с. 318], и своей цивилизацией. Соответственно, прогресс искусства понимания можно видеть в расширении свободы каждого отдельного человека при выборе своего «параметра», своей позиции на шкале альтернатив. Это способность выбрать, как воспринимать речь в данном эпизоде своей жизни [там же, с. 319].

Интерпретация же текста предстает перед нами как занятие, связанное с решением интеллектуальной задачи – с распознаванием значения, иногда глубоко спрятанного. И этот момент также прекрасно уловила В.Н. Телия: «Узнавание метафоры – это разгадка и смысловая интерпретация текста, бессмысленного с логической точки зрения, но осмысленного при замене рационального его отображения на иногда даже иррациональную интерпретацию, тем не менее доступную человеческому восприятию мира благодаря языковой компетенции носителей языка» [Телия, 1988, с. 204].

Сегодня, когда освоение большого эмпирического материала происходит в опоре на большие корпуса текстов, с помощью «понимающей» социологии текста (или социологии дискурса) исследуются многие важные когнитивно нагруженные понятия. Этот метод лежит в основе, например, контрастивной лингвистической философии, исследующей обыденную речь о философски нагруженных понятиях в разных языках.

Исходным для этого метода является вопрос: почему об одних и тех же идеях, тождественных в рамках данной цивилизации, в разных культурах говорят по-разному? И говорят ли действительно об одних и тех же идеях (как если бы они принадлежали одной общей для разных народов цивилизации) – или имеются в виду совершенно разные идеи?

Такое исследование может не только давать лингвистические результаты, но и служить пропедевтикой для философского исследования, ни в коей мере, впрочем, не подменяя его: ведь этот лингвистический метод имеет отношение к исследованию языка, а чисто философская интерпретация требует и иных приемов для анализа данных, иногда связанных с

«хирургическим вмешательством» в наличный интеллектуальный аппарат философа.

Таким образом, на границе между философией и языковедением лежит выявление тех аспектов языка, которые позволяют взглянуть на цивилизационный мир, лежащий за пределами родных национальных (т.е. «культурных») ворот.

Вряд ли есть прямая зависимость между употреблением слов и философскими установками разных народов, говорящих на разных языках. Тем не менее наблюдения приводят нас к вопросу: а действительно ли мы говорим об одних и тех же вещах на разных языках? Сомнения в этом приводят некоторых исследователей к тому, чтобы считать фантомом само понятие цивилизации.

Сегодня на повестку дня вышло эмпирическое исследование ограничений, накладываемых цивилизацией на конкретные языки: можно предположить, что в рамках различных языков не только хранятся различные данные о внеязыковой действительности, но и задаются различные пути трансфера знаний. Иначе говоря, пути познания одних и тех же (универсальных, цивилизационных) сущностей в различных языках и культурах различны.

2. Интеллектуальная революция

Трансфером знаний можно назвать передачу не только эмпирических и теоретических сведений, но и навыков, установок, предпочтений в выборе теоретических подходов и в решении научных проблем. С помощью такого трансфера поддерживается «научный тонус» в общении между представителями различных поколений ученых (межпоколенный трансфер) и различных научных дисциплин (междисциплинарный трансфер).

Эти два вида трансфера взаимозависимы, грань между ними очень условна. Поколение – люди, объединяемые природным или благоприобретенным сходством облика и / или действий. В науке неполным аналогом поколений являются научные парадигмы. В результате интеллектуальных революций, а также новых тенденций («поворотов» и «волн») в интеллектуальной жизни общества изменяется «концептуализация» трактуемых предметов и возникает новое «поколение», этими предметами занимающееся. При этом изменяется не только отнесение предметов к тем или иным классам, но и то, как в научных текстах говорят об этих предметах. Интеллектуальные революции выражаются и в новой постановке вопросов об этих предметах, и в новых способах на эти вопросы отвечать.

В то же время, в отличие от научной теории, парадигма не представляет собой завершенное решение всех задач. Парадигма – как свидетельствует употребление этого слова [Демьянков, 2009] – образец, которому следуют в своих научных построениях ученые. А выбор образца предо-

пределяется не только объектом исследования, но и человеческими отношениями между учеными. Одним из важнейших направлений передачи, или «трансфера», знаний является влияние работ одного ученого – создателя парадигмы – на последователей этого ученого, особенно на его учеников и ближайшее окружение.

Теория может стать основой для парадигмы, если научное сообщество начинает признавать ее образцом для подражания. В таком словопотреблении о парадигме говорят как о чем-то вроде «заслуженной теории» или «респектабельного научного направления», при этом упоминают успехи, достигнутые сторонниками этой парадигмы. В речи о теории в фокусе внимания находится объект теоретического объяснения. А употребляя термин парадигма, имеют в виду, прежде всего, человеческий фактор теоретических объяснений и схему, по которой исследование проводится, протоколируется и интерпретируется.

В нашу эпоху междисциплинарности можно выделить два класса трансфера знаний в лингвистике. Один вид связан с экспортом достижения лингвистической мысли за пределы языкознания, когда лингвистический анализ используется, например, в литературоведении или в философии. В противоположном направлении происходит трансфер, когда лингвисты импортируют в языкознание свежие идеи и теоретические конструкции извне, например из математики, литературоведения и т.п. Об интеллектуальной революции говорят как о том, что еще актуально, развивается, особенно же часто – как о том, что еще только обещает принести плоды [George, George, 1972, p. xxix], благотворные для смежных дисциплин [Lanigan, 1988, p. 157]. Итак, интеллектуальная революция по определению должна быть актуальной. А о «прошедшей», неактуальной революции чаще говорят как о перевороте.

Интеллектуал по природе своей видит революционность во всем новом и необычном, лишь бы это новое не было очевидно абсурдным, ср.: [Nagel, 1995, p. 26]. Практика переубеждения состоит не только в прямом предъявлении опровергающих данных, но и в «интертекстуальной» демонстрации [Boudreau, 1996, p. 23–24] того, что сами формулировки рассматриваемой теории более дефектны, чем конкурирующие положения оппонентов, ср.: [Boudreau, 1996, p. 23–24].

3. Характерные черты и симптомы научной революции

Рассмотрение обширной литературы по данной проблеме позволяет выделить различные черты и разновидности научной революции, из которых упомянем только несколько:

- резкий рост объяснительности;
- превосходство нового над старым;
- межэпохальность и межпоколенность;

- наддисциплинарность, междисциплинарность, трансдисциплинарность;
- персональность vs надличность;
- развенчание очевидности – бегство от тривиальности, поиски удивительного.

Соответственно этим «параметрам» можно говорить о языковых техниках «презентации» научных «прорывов» в специальных и в научно-популярных публикациях.

3.1. Резкий рост объяснительности

Наука состоит из описывающей и объясняющей частей, соединяемых очень тонкой нитью. Запас наблюдений растет со временем, до тех пор пока не обнаруживаются противоречия между разными данными в рамках господствующей теории. Поэтому иногда кажется [Тулмин, 1972/84], что в науке меняется только объясняющая, но не описательная часть и что с развитием теории мы просто избавляемся от лишних ограничений, навязываемых господствующим взглядом на вещи там, где наблюдение подсказывает иной ход мыслей¹. В отличие от «рутинного» углубления теории, в научной революции видят или хотят видеть сочетание новых фактов с новыми объясняющими гипотезами [Wright, 1971, p. 169]. Без такой революции, открывающей глаза исследователей на мир, мы не увидели бы новые факты и продолжали бы видеть мир в прежнем свете.

3.2. Превосходство нового над старым

Революционность – термин оценочный. Чтобы констатировать революционность, новый взгляд соотносят со старым и оценивают как более достойного претендента на истину. Процедура соотнесения предполагает наличие точек соответствия и / или дополнения между старой и новой теориями (ср. принцип соответствия Н. Бора). Эти соответствия устанавливаются на текстуальном, терминологическом, идейном или ином уровне, ср.: [Pearce, Rantala, 1985, p. 15]. Однако с новыми теориями приходят и новые понимания старых терминов. Так на каком понимании – на старом или на новом – должно базироваться оценочное сравнение теорий? Когда подобные вопросы переходят из разряда праздных в разряд существенных, налицо революционная ситуация: это языковой признак революции, приносящей с собой смешение научных языков – старого и нового.

¹ П.К. Фейерабенд полагал, что научная революция – результат такого разрыва [Feuerabend, 1991], однако человек никогда не может быть вне какой-либо теории – поэтому-то и возникает новая теория или версия теории; см. также: [Preston, 1997, p. 210].

И такое смешение напоминает то, что происходит, когда новое поколение общается со старым и достигает взаимопонимания, однако не абсолютного, а только в степени, (по-разному) существенной для каждой из сторон. Старое поколение говорит тогда о «загрязнении интеллектуальной среды» [Stegmüller, 1986 а, р. 1], а представители нового считают себя санитарями для старой¹. Изменяется и тематическая направленность в рассмотрении одних и тех же вещей [Holton, 1973], вследствие чего меняются и сами понятия: компоненты значения терминов, раньше казавшиеся существенными, теперь нивелируются, и наоборот – нечто малосущественное в объеме понятия становится общепризнанно существенной или даже главной стороной старого понятия.

Такое превосходство не обязательно бывает «объективным»: большую роль играют пиаровские техники, позволяющие даже небольшой новации приписать огромный вес в глазах научной и обывательской общности.

Помимо задач пиара языковые техники в этой области нацелены на прояснение формулировок, разграничение понятий, устранение нечеткостей и скрытых противоречий в бытующих формулировках.

3.3. Межэпохальность и межпоколенность

Революция межэпохальна, лежит на границе интеллектуальных эпох, более или менее непрерывных во времени и в пространстве. Из таких эпох и состоит история науки [Blumenberg, 1976], подчиняющаяся законам изменения общества. Такие эпохи различаются:

– тем, какие проблемы ставятся: существенное в одну эпоху в другую признается фантазией или догматизмом;

– тем, какие решения проблем ожидаются и насколько терпимо воспринимаются противоречия или даже невнятность в этих решениях.

На границе же между интеллектуальными эпохами господствует тенденция к равновесному состоянию. Революция является проявлением, а не причиной нарушения этого равновесия.

Так, при чтении текстов основоположников новой парадигмы (скажем, Гейзенберга, Бора, Эйнштейна или Хомского) бросается в глаза заостренность, нарочито явная подача расхождений с предшественниками.

¹ Например, К. Попперу в теории научных революций Т. Куна [Kuhn, 1973] наиболее подозрительным казался термин *нормальная наука* [Stegmüller 1986 а: 295], а не положения последнего, не в последнюю очередь и потому, что английское *science* отлично от *Wissenschaft* в родном для Поппера немецком языке [Hoyningen-Huene, 1989, р. 16]. Да и сам термин *революция* оценивается обществом, недавно обжегшимся на социальной революции (как в Германии, России, Австрии и т.д.), не так же, как обществом, очень давно пережившим социальные взрывы (как в Великобритании или США).

И только со временем, в результате балансировки, эти острые углы все больше сглаживаются [Neuser, 1995, p. 18]. Как эволюцию или как революцию мы часто характеризуем одни и те же явления – в зависимости от того, из какой временной точки мы их наблюдаем. Т. Кун [Kuhn, 1962] говорит о революциях, поскольку его точкой наблюдения является тот период, когда баланс грозит потеряться. А вот интеллектуальные волнения прошлого кажутся скорее эволюционными, на них смотрят с философским спокойствием, подобно тому как смотрят на биологическую эволюцию [Beach, 1997, p. 11].

Для стороннего наблюдателя во время революции никакая сторона не может претендовать на истину в последней инстанции. Революция – предприятие рискованное, и это революционеры чувствуют. Революционный пыл объясняется тем, что приходится выступать за те гипотезы, истина которых еще не в деталях доказана. Главное первоначальное достоинство революционных гипотез – «креативность», новизна и свежесть взгляда, иногда, впрочем, только кажущиеся, ср.: [Heath, 1978, p. 86–87]. Новые гипотезы противопоставляются тому, что ранее вызывало сомнения, а в новую эпоху объявляется пережитком прошлого, – как классический психоанализ в психиатрии и марксизм в философии в конце XX в. [Shorter, 1997, p. vii]. Не следует забывать, что Коперник, Маркс, Фрейд и Эйнштейн выросли в старом интеллектуальном мире и остаются в нем хотя бы «одной ногой». А вот для поколения, вырастающего после революционеров, новые установки являются родными, «нормальными» и совсем не революционными.

Языковые техники трансфера, служащие продвижению научной революции, нацелены на подчеркивание «продвинутой» нового поколения, «стоящего на плечах» своих предшественников и уже поэтому занимающего более высокий социальный статус в глазах «прогрессивного человечества».

3.4. Наддисциплинарность, междисциплинарность, трансдисциплинарность

Можно различать глобальную и локальную научные революции или общеродовое и специфическое употребления термина «научная революция» в значении «скачкообразное изменение господствующего образа мыслей в науке» [Cohen, 1994, p. 21]. Для глобальных научных революций характерно изменение самого отношения к научному занятию, к критериям научности, а также к институциям (что связано с возникновением различных академий, лабораторий, научных обществ и т.п.). Так, в европейской науке эпоху XVI–XVII вв. (особенно первое десятилетие XVII в.) связывают с возникновением новых критериев научности и профессиональности [Rossi, 1991/97, p. 265]. В частности, парадигма физики Ньютона (1642–1727) была и часто остается идеалом таких наук, как химия и

биология, и в значительно меньшей степени – для общественных наук [Neuser, 1995, p. 1].

Причем изменения научных парадигм заразительны: научные революции приводят к изменению установок и за пределами науки, в иных интеллектуальных сферах – в литературе, искусстве, образе жизни и т. п. [Koyré, 1980]. Именно с представлением о бесконечности мира в пространстве и времени пришло и осознание бесконечности жизни в иных сферах, за пределами науки. Естественно, что локальные научные революции происходят гораздо чаще, чем глобальные, затрагивают интересы отдельно взятых наук и не создают подобных междисциплинарных парадигм.

Наблюдения за развитием лингвистических теорий показывают, что прототипом революционной теории является концепция, претендующая на объяснение явлений даже далеко за пределами науки о языке. Иначе говоря, глобальные теории тем более революционны, чем в большей степени позволяют воспарить над нуждами, над обыденной практикой данной научной дисциплины.

Языковые техники, связанные с этим параметром революционности, нацелены на междисциплинарный трансфер знаний – на перенос теоретических достижений из одной научной дисциплины в другую, когда происходит приращение объяснительности и для облагодетельствованной дисциплины, и для дисциплины-донора.

3.5. Персональность vs надличность

В эпоху, когда происходит интеллектуальная революция, наблюдается бурный рост количества имен, связанных с развитием новой идеи. Не всегда *post factum* можно выделить одну, центральную фигуру, однако всегда наблюдается большое количество сторонников, не просто следующих революционной идее (такое ограниченное следование можно было бы назвать интеллектуальной модой), а «авторски» (т.е. с авторским правом на явные творческие ростки) развивающих общую идею. Таково положение и в социальной революции: вспомним Великую французскую революцию, имя главной фигуры которой до нас не дошло, но в памяти остались Робеспьер и Дантон. Таково же положение в техническом прогрессе: лазерная и компьютерная революции в общественном сознании обывателя не связаны с центральной фигурой, но можно упомянуть большое количество людей и фирм, развивающих центральную тенденцию.

Тем не менее в науке нередко и иное, когда центральная фигура дает имя научной революции, ср.: коперниковская революция, галилеевская революция. Однако начиная с XX в. революции и в науке получают название чаще не по фамилии ученого, а по названию тенденции или прототипической теории: генеративная революция связана с именем Хомского (название «хомскианская революция» чаще употребляют противники ге-

неративизма), на знамени структуралистской революции – Ф.де Соссюр («соссюрианство» звучит не очень уважительно); о том, кто главный автор когнитивной революции, единогодущия нет и вовсе. Таким образом, наука сегодня рядоположена общественному движению.

3.6. Развенчание очевидности

В литературе по философии науки выделяются два устойчивых эпитета научной революции безотносительно к конкретной научной дисциплине: коперниковская и галилеевская. Им соответствуют и два типа интеллектуальной революции.

Коперниковская революция связана с легализацией взглядов, диаметрально противоположных бытующим, но не квалифицированным официальным сообществом как верные и самоочевидные. Вместо самоочевидного «Солнце вращается вокруг Земли» коперниканцы защищают противоположное: «Земля вращается вокруг Солнца»¹.

«Мы наблюдаем восход и заход солнца, что может быть более очевидным свидетельством в пользу геоцентрической модели?» – вопрошали оппоненты Коперника. Для коперниканцев же эта беспроblemность только кажущаяся, поскольку восход и заход солнца могут быть объяснены и при гелиоцентрической точке зрения, которая заодно объясняет и солнечные затмения (наблюдаемые, впрочем, значительно реже, не каждый день).

Итак, коперниканцы стремятся расширить спектр объясняемых явлений, принося в жертву непосредственную очевидность, в то время как доминировавшая ранее теория охватывала статистически самые частые явления. Противники коперниканцев имеют право сказать: «Зачем наводить тень на ясный день, когда и так все ясно?» Коперниканцы же объясняют более широкий спектр явлений, находят именно для них непосредственное объяснение, а то, что было ранее непосредственно ясно, получает теперь опосредованное и, возможно, менее естественное (со старой точки зрения) объяснение [Redding, 1996, p. 5–6].

Исследователь-коперниканец на время «остраняется» от своей обыденной точки зрения, чтобы исследовать саму эту обычную точку зрения, сделать ее объектом исследования [Nagel, 1986, p. 4–5]. Остранение как

¹ Именно в этом смысле говорят о коперниканском перевороте, совершенном Г. Фреге в логике. До него считалось очевидным, что высказывание должно согласоваться с реальностью; сегодня тоже является расхожим мнением, что высказывания «отражают» реальность в той или иной мере, что в этом отражении и состоит смысл употребления языка. Фреге же, по мнению некоторых исследователей, говорит о реальности, согласующейся или не согласующейся с конкретным высказыванием: «Frege achève une révolution copernicienne en sémantique en ne réglant plus l'énoncé sur la réalité? Mais la réalité sur l'énoncé» [Nef 1991: 26]. Добавим, что это согласование производится (в разной степени удачно) интерпретацией высказывания, осуществляемой носителем языка, согласующим свои представления о мире с интерпретируемым высказыванием.

прием (в искусстве или в науке) – один из способов «объективации» [Williams, 1978, p. 241], притом что граница между объективным и субъективным очень зыбка [Nagel, 1986, p. 5].

Коперник отнял у человека привилегированный статус центра Вселенной, казавшийся ранее самоочевидным. Кант совершил коперниковскую революцию в философии [Bowie, 1997, p. 31], предложив отказаться от того положения, что в своем познании мы должны следовать за объектами. По Канту, сами изучаемые объекты должны следовать за нашим познанием, поскольку все равно мы не можем увидеть в этих объектах больше, чем дано нам по нашей природе. Дарвин также был коперниканцем, показавшим, что человек не является центром природы не только во Вселенной, но и на родной Земле. Фрейд же продемонстрировал, что человек хо не является хозяином и в своем собственном доме – в своем сознании: то, что раньше прямолинейно объясняли как результат сознания, оказалось продуктом подсознания. А постмодернисты и постструктуралисты постарались окончательно развенчать субъективность [Hietala, 1990, p. 1].

Итак, в коперниковскую установку входит настороженно-подозрительное отношение ко взглядам, доставшимся нам от древности [Kamm, 1995, p. 28]. Отсюда – только один шаг до того стиля теоретизирования, который получил название «критика языка».

На всех этапах науки есть данные, от которых на время отвлекаются представители доминирующих взглядов, поэтому понятие фальсифицируемости, по К. Попперу, должно быть принято с оговорками не только в физике, но и в языкознании [Lightfoot, 1979, p. 75]. Это обстоятельство подрывает основы доминирующих взглядов. Революционеры-коперниканцы, называемые иначе диссидентами, популяризируют сведения о слабости доминирующей теории и формируют если не конкурирующую целостную концепцию, то по крайней мере программу действий. В результате вырисовывается новый взгляд, при котором иные наличные концепции оцениваются как фальсифицируемые или нефальсифицируемые [Lakatos, 1970]. Скажем, далеко не все наблюдаемые данные сходились с концепцией Коперника, но от них диссиденты отвлекались, поскольку эти данные занимали маргинальное положение в ядре общей исследовательской программы [Lightfoot, 1979, p. 76]. Социальные революции, поддерживаемые массами, по определению также являются коперниканскими, поскольку им предшествует широкое распространение определенных взглядов на социальную справедливость. Иначе говоря, теория-меньшинство приобретает статус доминирующей теории.

В истории языкознания, говоря о коперниковских революциях типа той, которая связана с грамматикой Пор-Рояля¹, имеют в виду не полный

¹ Подход, который, по [Padley, 1985, p. 382], означал синтез концепции рамистов (последователей Аристотеля, предвосхищавших структурализм), ориентировавшихся на форму выражения, с логицизмом, при котором принимается, что внешний облик высказывания не всегда прямо отражает логику высказываемой мысли.

отход от господствующей теории, а компромисс между распространенными взглядами, в совокупности противопоставленный господствующей точке зрения [Joly, Stéfanini, 1977].

Примером коперниковской революции была и структуралистская революция [Ullmann, 1958, p. 4], когда были легализованы идеи, бытовавшие в умах и раньше, но официально не принимаемые в качестве «научных» в сообществах лингвистов, а именно:

– синхронное описание языка не менее научно, чем историческое, поскольку обладает методами [Stozier, 1988, p. 1], в конечном итоге приводящими к целостному представлению о предмете; до Соссюра об этом знали все, но не все отваживались прямо это сказать, не рискуя быть обвиненными в ретроградстве, в приверженности к взглядам, господствовавшим до сравнительно-исторического метода;

– язык – не нагромождение разнородных элементов, а система, организованная целостность, «гештальт» [Ullmann, 1958, p. 4], части которого взаимозависимы; главное же – система, устройство которой не обязательно лежит на поверхности и должно быть выявлено, иногда методами Шерлока Холмса.

Итак, структурализм можно квалифицировать как коперниковскую революцию, поскольку на первых порах он выглядел как возврат к давно скомпрометированным взглядам: ведь он подчеркивал отказ от положения, под знаменем которого прошел весь XIX век – от всеобъяснительности эволюционной концепции развития человека и общества, когда главным, если не единственным, критерием объяснительности был историзм.

Галилеевский стиль (термин Гуссерля) и галилеевская революция связаны с созданием нового образа мышления в научной дисциплине, приводящего к неожиданным или парадоксальным результатам. «Очевидность реальности обманчива» – таков основной девиз галилеевского стиля [Haase, 1995, p. 5], см. также: [Reiss, 1997, p. xi]. Предлагаемое теоретиком объяснение в рамках такого стиля метафорично, наглядно соединяет разные стороны наблюдаемых явлений, бывает настолько привлекательным, что сторонники такой теории отвлекаются иногда от неточного соответствия предсказаний фактам: конструкты имеют бóльшую ценность, чем осязаемая реальность¹.

Галилеевское объяснение противопоставляют аристотелевскому [Lewin, 1930/31, p. 423] или платоновскому [Wright, 1971, p. 2] по линии: каузальность vs. телеологичность (или механичность vs. финалистичность). Теоретик при этом доверяет конструктам, им самим создаваемым, больше, чем своим органам чувств [Chomsky, 1980] (впрочем, лингвистика пока еще не может в полной мере довериться своим конструктам, см.: [Chomsky, 1982, p. 33]). Особенно уместен такой подход, когда исследуемый объект доступен нам только через посредство инструментов (в есте-

¹ В постмодернистскую эпоху такое предпочтение созвучно любви к комиксам, заменяющим подлинники литературных произведений [Turia, 1992/97, p. 11].

ственных науках) или с чужих слов (в гуманитарных науках). Этот научный стиль предполагает учет степени надежности самих конструкторов [Grewendorf, 1985, p. 89], т.е. допустимости идеализации объекта исследования. Например, полагаясь на показания информанта о правильности предложения, о семантических соотношениях между разными версиями его и т.п., лингвист (часто – носитель языка) должен задуматься над причинами своих разногласий с информантом. Кроме того, теоретики различаются изобретательностью в придумывании конструкторов для объяснения («экспликации») данных и глубиной интерпретации изобретаемых формальных систем [Geier, 1986, p. 36].

Эти разновидности интеллектуальной революции – коперниковская и галилеевская – соотнесены между собой, поскольку переход на диаметрально противоположные позиции (коперниковский переворот) не исключает парадоксальности. Однако для коперниковской революции важным предварительным условием является наличие официального консенсуса, а для галилеевской такой социологический фактор не существует.

Глобальная коперниковская революция в гуманитарных науках начала XXI в. не была возможна, поскольку не было консенсуса. Именно поэтому модель научной революции, предложенная Т. Куном, для философии, истории, лингвистики и теоретического литературоведения начала XXI в., не идеальна: в это время, а еще больше – в конце XX в. консенсуса в названных дисциплинах не было даже по самым центральным вопросам [Percival, 1976, p. 292], каждое теоретическое исследование начиналось каждый раз как бы с нуля [Stegmaier, 1988, p. 59].

Однако мы постоянно наблюдаем локальные перевороты в нашей науке. Поскольку же в результате революции теория-победительница начинает претендовать на роль консолидатора, а консенсус противен общественным наукам нашего времени в принципе (общественные науки по природе своей диссидентны), эта теория приобретает налет академической замшелости там, где раньше стремились просто к респектабельности. По свидетельству Дж. Серля [Searle, 1996, p. 23], такой была судьба аналитической философии в 1950-е годы¹.

Языковые техники в подаче революционных научных взглядов, связанные с данным параметром, нацелены на поиски и предъявление пара-

¹ Ср.: «Analytic philosophy has become not only dominant but intellectually respectable, and, like all successful revolutionary movements, it has lost some of its vitality in virtue of its very success. Given its constant demand for rationality, intelligence, clarity, rigour and self-criticism, it is unlikely that it can succeed indefinitely, simply because these demands are too great a cost for many people to pay. The urge to treat philosophy as a discipline that satisfies emotional rather than intellectual needs is always a threat to the insistence on rationality and intelligence. However, in the history of philosophy, I do not believe we have seen anything to equal the history of analytic philosophy for its rigour, clarity, intelligence and, above all, its intellectual content. There is a sense in which it seems to me that we have been living through one of the great eras in philosophy» [Searle, 1996, p. 23].

доксов в рамках схем: «очевидное – невероятное», «А знаете ли вы, что...» и в подобных заостренных формах.

4. Поворот мысли

Термины *поворот мысли* (так можно условно перевести английское *turn* и немецкое *Wende* в таких словосочетаниях, как *linguistic turn*, *pragmatic turn*, *cognitive turn*, *interpretive turn* и т.п.) и *волна* (например, прагматическая волна) лишены драматизма, привносимого термином *революция*, и относятся скорее к интервалу времени, чем к точке. Ведь поворот замечается только после того как произошел, и вернуться не всегда возможно.

Языковые техники подачи новаций при «поворотах мысли» также привносят меньший драматизм, чем при научной революции.

Лингвистический поворот мысли¹, а точнее, поворот мысли в сторону языка, означал повышенное внимание к языку², к тому, как глубины языка проявлены в дискурсе гуманитарных наук – в философии, литературе, истории, социологии.

Там, где раньше говорили о предмете исследования, теперь все больше говорят о языке человека как об организующем звене научного дискурса, касающегося существования, реальности, мышления человека [Baker, 1995, p. 1]. Ведь границы языка очерчивают и границы познавае-

¹Этим термином Густав Бергманн [Bergmann, 1953] назвал поворот мысли, произошедший в философии под влиянием логического атомизма Расселла, Мура и Виттгенштейна, а также логического позитивизма Шлика, Карнапа и Венского кружка [Hacker, 1996, p. 4]. Позже сам Бергманн, Куайн, Гудман и Селларз рассматривали – в разных направлениях – традиционные онтологические проблемы через призму языка как вопросы синтаксиса и семантики формального языка, более прозрачного, чем естественный [Hochberg, 1984, p. 11]. Позже этим термином был назван переход от эпистемологии к исследованию языка в философии XX в., начатый намного раньше Гумбольдтом в русле кантовской философии [Rorty, 1967 a], особенно [Rorty, 1980] (главы 6 и 7), см. об этом: [Ward, 1995, p. 50–51]. Еще одна хронологическая версия – рубеж XIX и XX вв., когда философы стали считать своей задачей не описание действительности, переведенное на язык философской системы, а выяснение в нашем знании того, что уже по своей буквальной формулировке представляется сомнительным. Рассматривая даже такие банальности, как обыденные представления и восприятия (книги Э. Маха «Анализ восприятий» и Р. Авенариуса «Человеческое понятие мира» были бестселлерами в конце XIX в.). Сильный импульс этой перестройке дало развитие квантовой механики (1900) и специальной теории относительности (1905). Тогда-то и начал интенсивно развиваться научный метод не только метафизики, но и теории литературы [Hürpau, 1996, p. 116–117].

²Это повышенное внимание к языку иногда называют рефлексивностью языка [Condit, 1995, p. 209] – интерес к воздействию языка на человека, когда полагают, что язык обладает структурой, воздействующей на человека так, что он воспринимает предметы и говорит о них, стремясь не противоречить этой структуре.

мости предметов, поэтому все, что мы узнаем и / или сообщаем о нашем мире, опосредовано языком: мы ограничены выразительными возможностями языка. В этом аналогия с исполнительским мастерством в искусстве: с помощью классического танца исполнитель может выразить практически весь универсум своих мыслей и чувств, но лишь в рамках канонов этого танца. Постигание же универсума, лежащего за пределами самого сообщения в рамках канонов, – задача интерпретатора (самого исполнителя и / или его зрителя), вычисляющего по внешней форме сообщения прямые и переносные смыслы в соответствии со своим собственным внутренним миром.

То, что мы считаем действительностью, мы также конструируем в опоре на язык [Kitcher, 1992], поэтому нельзя утверждать, что язык устанавливает референцию к реальному миру как к объективно существующей и независимой величине. Иногда, прибегая к олицетворению речи, говорят, что эту действительность конструирует наш дискурс [Wilkin, 1997, p. 24]. Тогда субъект не играет той роли, которую ему приписывал И. Кант: мы от рождения помещаемся в герменевтические круги, или формы жизни, в которых и формируются наши мировоззрения. При таком взгляде унаследованное от Просвещения представление о рациональном субъекте требует переосмысления. Там, где раньше занимались вопросом: «Что такое знание?», теперь начинают с анализа употребления слова *знание*, а размышление и речь о понятиях привязывают в первую очередь к фактам языка [Everitt, Fisher, 1995, p. 2] и только опосредованно – к самим понятиям. О связности (т.е. логической непротиворечивости) мира можно говорить тогда только в той степени, в какой это допускает наш язык.

Итак, с одной стороны – язык со своей логикой, с другой – мир человека [Olafson, 1995, p. 3] – «со своими тараканами». Отсюда взгляд на философию как на логико-лингвистическую реконструкцию языка в его употреблении человеком [Olafson, 1995, p. 4], что предполагает интерпретативный подход к тексту [Fornaro, 1988], см.: [Демьянков, 1989].

Парадным примером поворота мысли в языкознании является идеология структурализма (подробнее см.: [Giddens, 1987, p. 73–74]), в рамках которой:

– определенные лингвистические теории были объявлены главными для философии и социологии¹; положение о важности для лингвистики других дисциплин принималось и в предыдущие эпохи, не отказываются от них и в новую эпоху²;

¹ Ср.: «Исчерпывающее описание языкового материала содержания требует участия других наук; с нашей точки зрения, все они, без исключения, имеют дело с языковым содержанием. Итак, мы пришли к тому, как нам кажется, обоснованному взгляду, что все науки группируются вокруг лингвистики» [Ельмслев, 1943, с. 335].

² Ср.: «То, что составляло главное содержание традиционной лингвистики – история языка и генетическое сравнение языков, – имело своей целью не столько познание

– подчеркиваются целостность и «глубинная» (не всегда очевидная, но реконструируемая) структурированность исследуемого объекта, произвольности знака и примата означающего над означаемым¹;

– субъективность в употреблении языка сама проблематизируется и становится объектом исследования²;

– на передний план выдвигаются пространственно-временные координаты развертывания и интерпретации «осязаемого» текста, т.е. формы.

Событиями более локального масштаба стали прагматический и коммуникативный повороты мысли, т.е. тематизация в лингвистическом исследовании ситуативности употребления языка на фоне форм, процессов и интерпретаций речевой деятельности, ср.: [Liedke, Knapp-Potthoff, 1997, S. 9], [Weigand, 1996, p. 151].

Язык и раньше считали погруженным в общество, в общение. Однако с конца 1960-х – начала 1970-х годов росла убежденность, что описание формы и значения (семантики) высказывания вне контекста не исчерпывает еще задачи лингвистики, что лингвист должен описывать и употребление высказывания, особенно когда контекстное значение высказывания не

природы языка, сколько познание исторических и доисторических социальных условий и контактов между народами, т.е. знание, добытое с помощью языка как средства. Но все это также философия. Правда, часто кажется, что, оставаясь в пределах внутренних технических приемов сравнительной лингвистики этого рода, мы изучаем язык, но это только иллюзия. В действительности мы изучаем *disiecta membra*, т.е. разрозненные части языка, которые не позволяют нам охватить язык как целое. Мы изучаем физические и филологические, психологические и логические, социологические и исторические проявления языка, но не сам язык» [Ельмслев, 1943, с. 266]; «Если лингвист хочет уяснить себе объект своей науки, он должен обратиться к областям, считавшимся по традиции чуждыми лингвистике» [Ельмслев, 1943, с. 357].

¹ Ср.: «Лингвистика должна попытаться охватить язык не как конгломерат внеязыковых (т.е. физических, физиологических, психологических, логических, социологических) явлений, но как самодовлеющее целое, структуру *sui generis*. Только таким образом как таковой язык может рассматриваться научно, не разочаровывая своих исследователей и не ускользая из их поля зрения» [Ельмслев, 1943, с. 267]; «Признание того факта, что целое состоит не из вещей, но из отношений и что не субстанция, но только ее внутренние и внешние отношения имеют научное существование, конечно, не являются новым в науке, но может оказаться новым в лингвистике. Постулирование объектов как чего-то отличного от терминов отношения является излишней аксиомой и, следовательно, метафизической гипотезой, от которой лингвистике предстоит освободиться» [Ельмслев, 1943, с. 283]; «...лингвистика может и должна изучать языковую форму, отвлекаясь от материала, который может быть подчинен этой форме в обоих планах» [Ельмслев 1943: 335]. В психоанализе Ж. Лакана имеем следующую пропорцию [Fornaro, 1988, p. 325]: означающее = означаемое = репрезентация речи: репрезентация предмета = сознание и предсознание: бессознательное.

² Например, автор произведения объявляется фиктивной величиной [Barthes, 1968], [Foucault, 1969]. Так, на место автора у М. Фуко приходит институция (что очень сильно напоминает роль личности в марксистской трактовке истории), затем переосмысляемая как понятие рамки, или фрейма, в философии социологии [Weninger, 1995, p. xii].

совпадает с его семантикой. Прагматическая волна 1970-х годов возродила интерес к функциональности [Kaind 1., 1995, p. 16], вот тогда-то и возобновилось противостояние формализма функционализму (отзвукам парадигмы, предшествовавшей формализму)¹. Рецептами для реализации этого прагматического поворота стали, по [Hinrichs, 1989, p. 4], лозунги типа:

- «От теории – к эмпирии»;
- «От структурализма и порождающей грамматики – к анализу устного общения, восприятия речи, особенно понимания»;
- «От лингвистики – к психолингвистике и социолингвистике»;
- «От мелких единиц, типа фонемы и слова, – к крупным единицам, типа обмена репликами и текста»;
- «От монологичности – к диалогичности»;
- «От языковой системы – к тому, что лежит вне системы, случайно и спонтанно в обычном языке разговора»;
- «От интуиции лингвиста – к конкретному и по возможности аутентичному материалу».

Еще одной реализацией этого поворота мысли стала, по [Stegmüller, 1986, p. 64], теория речевых актов Дж. Остина: философам и филологам потребовалось две с половиной тысячи лет, чтобы осознать, что высказывание – это действие.

«Лингвистический поворот» привел к размыванию границ между философией вообще и философией языка, прежде считавшейся лишь разделом первой [Simon, 1981, p. 5]. Одни философы квалифицировали лингвистический поворот в философии (в обоих ответвлениях: у Хайдеггера и у Витгенштейна²) как конец философии, другие – как возникновение новой системной концепции философии, третьи – как необходимость преобразования философии в философскую герменевтику [Baynes, Bohman, McCarthy, 1987, p. 6–7]. Под влиянием этого поворота в исследовательские программы особым пунктом было включено рассмотрение дискурса, трактующего проблемы философии; при этом время от времени философы по-прежнему пытаются вернуться к проблемам субъективности и метафизики [Kress, 1996, p. 10–11].

¹ Это было именно возрождение, а не рождение контрверзы, причем не только в восточноевропейской лингвистике, но и в западноевропейской и американской. Так, известно, что сам термин *социолингвистика* был предложен впервые в работе начала XX в. – [Wrede, 1903]. В 1930-е годы диалектологи говорят о социально-лингвистическом принципе (*sozial-linguistisches Prinzip*) [Bach, 1934/69]. Однако социальные аспекты употребления языка находились раньше на периферии интересов лингвистов [Stevenson, 1995, p. 2], а главное, были методически малодоступны. Нужные методы были предложены прагмалингвистикой и социолингвистикой 1960–1970-х годах.

² Предвестником же этого поворота иногда называют Ф. Ницше, поскольку он, как утверждает [Hödl, 1997, p. 13], критиковал метафизику под углом зрения ее языка (особенно метафор).

Языковые техники «презентации» поворота мысли, соответственно, меньше драматизируют переход от одних господствующих представлений к другим. Это мягкое, академичное, неконфронтирующее предложение адресовано прежде всего к собратям по исследованию (и в гораздо меньшей степени – к широким слоям за пределами науки): обратить внимание на то, что, вообще говоря, и раньше принималось во внимание, но просто не тематизировалось «в полный рост».

Заключение

Различные межпарадигмальные переходы – в том числе трансферы знаний – обслуживаются различными же языковыми техниками для демонстрации объяснительной силы, новаторства и превосходства над конкурирующими (предшествующими) теориями, для того чтобы констатировать рождение новой научной эпохи и воспитать новые поколения исследователей в духе этой новой эпохи. Есть языковые техники для демонстрации междисциплинарных и «трандисциплинарных» научных решений, а также для ниспровержения того, что ранее казалось очевидным. Сторонники и популяризаторы новых научных «поворотов» (например, лингвистического поворота в философии) и «волн» (например, прагматической волны в философии языка) используют более мягкие средства, чем «революционеры».

Однако техники презентации, как и когниция, которая ими руководит, социальны; когниция проявлена в том, как дискурс реализуется в виде текста, а текст интерпретируется в социальном контексте [Демьянков, 2007]. А языковые знания, на которые такая интерпретация опирается, не всеядны. Противоречия и недосказанность в научных текстах не менее редки, чем в обыденной жизни, и наиболее ожидаемы в тех случаях, когда расхожие знания противостоят «революционным» теоретическим положениям.

Список литературы

- Демьянков В.З. Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989.
- Демьянков В.З. Лингвистическая интерпретация текста: Универсальные и национальные (идиоэтнические) стратегии // Язык и культура: Факты и ценности: К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – С. 309–323.
- Демьянков В.З. Парадигма в лингвистике и теории языка // Горизонты современной лингвистики: Традиции и новаторство: Сборник в честь Е.С. Кубряковой. – М.: Языки славянской культуры, 2009. – С. 27–37.
- Демьянков В.З. Языковые следы трансфера знаний // Когнитивные исследования языка. – М., 2015. – Вып. 23: Лингвистические технологии в гуманитарных исследованиях. – С. 17–29.

- Ельмслев Л.* Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. – М.: Иностранная литература, 1960. – Вып. 1. – С. 264–389.
- Телия В.Н.* Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М.: Наука, 1988. – С. 173–204.
- Тулмин С.* Человеческое понимание. – М.: Прогресс, 1984.
- Bach A.* Deutsche Mundartforschung. – 3. Aufl. – Heidelberg: Winter, 1969.
- Baker P.* Deconstruction and the ethical turn. – Gainesville etc.: Univ. press of Florida, 1995.
- Barthes R.* Le degré zéro de l'écriture, suivi d'éléments de sémiologie. – Paris: Seuil, 1968.
- Baynes K., Bohman J., McCarthy T.* General introduction // After philosophy: End or transformation? – Cambridge (Massachusetts); L.: MIT Press, 1987. – P. 1–18.
- Beach L.R.* The psychology of decision making: People in organizations. – Thousand Oaks etc.: Sage, 1997.
- Bergmann G.* Logical positivism, language, and the reconstruction of metaphysics // The linguistic turn: Recent essays in philosophical method. – Chicago; London: Univ. of Chicago, 1967. – P. 63–71.
- Blumenberg H.* Aspekte der Epochenschwelle: Cusaner und Nolaner. – Frankfurt: Suhrkamp, 1976.
- Boudreau H.* Rewriting Unamuno rewriting Galdós // Self-conscious art: A tribute to John W. Kronik. – Lewisburg (Pennsylvania); L.; Toronto: Associated univ. press, 1996. – P. 23–41.
- Bowie A.* From Romanticism to critical theory: The philosophy of German literary theory. – L.; N.Y.: Routledge, 1997.
- Chomsky N.* Rules and representations. – N.Y.: Columbia univ. press, 1980.
- Chomsky N.* On the generative enterprise: A discussion with Riny Hyub Regts and Henk van Riemsdijk. – Dordrecht; Cinnaminson: Foris, 1982.
- Cohen H.* The scientific revolution: Historiographical inquiry. – Chicago; L.: The Univ. of Chicago press, 1994.
- Condit C.M.* Kenneth Burke and linguistic reflexivity: Reflections on the scene of the philosophy of communication in the twentieth century // Kenneth Burke and contemporary European thought: Rhetoric in transition. – Tuscaloosa; L.: The univ. of Alabama press, 1995. – P. 207–262.
- Die Wissenschaftsphilosophie Thomas S. Kuhns: Rekonstruktion und Grundlagenprobleme / Hoyningen-Huene P.* Mit dem Geleitwort v. T.S. Kuhn. – Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg & Sohn, 1989.
- Everitt N., Fisher A.* Modern epistemology: A new introduction. – N.Y. etc.: McGraw-Hill, 1995.
- Feyerabend P.K.* Three dialogues on knowledge. – Oxford: Blackwell, 1991.
- Fornaro M.* Scuole di psicoanalisi: Ricerca storico-epistemologica sul pensiero di Hartmann, Klein e Lacan. – Milano: Università Cattolica del Sacro Cuore, 1988.
- Foucault M.* L'archéologie du savoir. – Paris: Gallimard, 1969.
- Geier M.* Linguistische Analyse und literarische Praxis: Eine Orientierungsgrundlage für das Studium von Sprache und Literatur. – Tübingen: Narr, 1986.
- George R.T.D., George F.M.D.* Introduction // The structuralists: From Marx to Lévi-Strauss. – Garden City (New York): Doubleday, 1972. – P. xi–xxix.
- Giddens A.* Social theory and modern sociology. – Stanford: California UP, 1987.
- Grewendorf G.* Sprache als Organ und Sprache als Lebensform: Zu Chomskys Wittgenstein-Kritik // Sprachspiel und Methode: Zum Stand der Wittgenstein-Diskussion. – Berlin; N.Y.: Gruyter, 1986. – S. 89–129.
- Haase M.* Galileische Idealisierung: Ein pragmatisches Konzept. – Berlin; N.Y.: Gruyter, 1995.
- Hacker P.M.S.* Wittgenstein's place in twentieth-century analytic philosophy. – Oxford: Blackwell, 1996.
- Heath J.* Functional universals // Proceedings of Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. – Berkeley (California), 1978. – Vol. 4. – P. 86–95.

- Hietala V.* Situating the subject in the film theory: Meaning and spectatorship in cinema. – Turku: Turun Yliopisto, 1990.
- Hinrichs U.* Slavistik – Germanistik – Linguistik // Sprechen und Hören: Akten des 23. Linguistischen Kolloquiums, – Berlin, 1988; Tübingen: Niemeyer, 1989. – S. 3–13.
- Hochberg H.* Logic, ontology, and language: Essays on truth and reality. – München; Wien: Philosophia, 1984.
- Hödl H.G.* Nietzsches frühe Sprachkritik: Lektüren zu «Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne» (1873). – Wien: WUV-Univ. – Verlag, 1997.
- Holton G.* Thematic origins of scientific thought. – Cambridge (Mass.): Harvard univ. press, 1973.
- Hüppauf B.* Das Ich und die Gewalt der Sinne: Döblin – Musil – Mach // Wer sind wir?: Europäische Phänotypen im Roman des zwanzigsten Jahrhunderts. – München: Fink, 1996. – S. 115–152.
- Kaindl K.* Die Oper als Textgestalt: Perspektiven einer interdisziplinären Übersetzungswissenschaft. – Tübingen: Stauffenburg, 1995.
- Kamm J.* Rules and methods: Die Grammatikalisierung von Sprach- und Dichtungstheorien im England des 17. Jahrhunderts // Barock. – Stuttgart; Weimar: Metzler, 1995. – S. 25–51.
- Kitcher P.* The naturalist return // Philosophical Review. – 1992. – Vol. 101, N 1. – P. 53–114.
- Koyré A.* Von der geschlossenen Welt zum unendlichen Universum. – Frankfurt: Suhrkamp, 1980.
- Kress A.* Reflexion und Erfahrung: Hegels Phänomenologie der Subjektivität. – Würzburg: Königshausen & Neumann, 1996.
- Kuhn T.S.* The structure of scientific revolutions. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1962.
- Kuhn T.S.* The structure of scientific revolutions. – 2 nd ed. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1973.
- La grammaire générale des modistes aux ideologues / Joly A.F., Stéfanini J. (éds.)* – Lille, 1977.
- Lakatos I.* Falsification and the methodology of scientific research programmes // Criticism and the growth of knowledge. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1970. – P. 91–195.
- Lanigan R.L.* Phenomenology of communication: Merleau-Ponty's thematics in communicology and semiology. – Pittsburgh: Duquesne univ. press, 1988.
- Lewin K.* Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise in Biologie und Psychologie // Erkenntnis. – Leipzig, 1930/31. – Bd. 1. – S. 421–466.
- Liedke M., Knapp-Pothoff A.* Einleitung // Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit. – München: Iudicum, 1997. – S. 7–16.
- Lightfoot D.* Principles of diachronic syntax. – Cambridge, etc.: Cambridge univ. press, 1979.
- Nagel T.* The view from nowhere. – N.Y.; Oxford: Oxford univ. press, 1986.
- Nagel T.* Other minds: Critical essays 1969–1994. – N.Y.; Oxford: Oxford univ. press, 1995.
- Nef F.* Logique, langage et réalité. – Paris: Editions universitaires, 1991.
- Neuser W.* Natur und Begriff: Zur Theorienkonstitution und Begriffsgeschichte von Newton bis Hegel. – Stuttgart; Weimar: Metzler, 1995.
- Olafson F.A.* What is a human being?: A Heideggerian view. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1995.
- Padley G.* Grammatical theory in Western Europe 1500–1700: Trends in vernacular grammar I. – Cambridge etc.: Cambridge univ. press, 1985.
- Pearce D., Rantala V.* Continuity and scientific discovery // Logic of discovery and logic of discourse. – N.Y.; L.; Ghent: Communication and cognition, 1985. – P. 15–23.
- Percival W.K.* The applicability of Kuhn's paradigms to the history of linguistics // Language. – 1976. – Vol. 52, N 2. – P. 285–294.
- Preston J.* Feyerabend: Philosophy, science and society. – Cambridge: Polity Press, 1997.
- Redding P.* Hegel's hermeneutics. – Ithaca; L.: Cornell univ. press, 1996.
- Reiss T.J.* Knowledge, discovery and imagination in early modern Europe: The rise of aesthetic rationalism. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1997.

- Rorty R.M.* The linguistic turn: Recent essays in philosophical method. – Chicago: Chicago univ. press, 1967.
- Rorty R.M.* Philosophy and the mirror of nature. – Oxford: Blackwell, 1980.
- Rossi P.* Der Wissenschaftler // Der Mensch des Barock. – Frankfurt; N.Y.: Blackwell; Paris: Maison des Sciences de l'Homme, 1997. – P. 264–295.
- Sahlins M.D.* How «natives» think: About Captain Cook, for example. – Chicago; L.: The univ. of Chicago press, 1995.
- Searle J.* Contemporary philosophy in the United States // The Blackwell companion to philosophy. – Oxford: Blackwell, 1996. – P. 1–24.
- Shorter E.* A history of psychiatry: From the era of the asylum to the age of Prozac. – N.Y. etc.: Wiley, 1997.
- Simon J.* Sprachphilosophie. – Freiburg; München: Alber, 1981.
- Stegmaier W.* Die Innovation der Gegenwart // Tradition und Innovation: XIII. Deutscher Kongress für Philosophie, Bonn 24–29. September 1984. – Hamburg: Meiner, 1988. – S. 59–69.
- Stegmüller W.* Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie: Eine kritische Einführung: – 7, erw. Aufl. – Stuttgart: Kröner, 1986. – Bd. 2.
- Stegmüller W.* Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie: Eine kritische Einführung. – 7, erw. Aufl. – Stuttgart: Kröner, 1986. – Bd. 3.
- Stevenson P.* The study of real language: Observing the observers // The German language and the real world: Sociolinguistic, cultural, and pragmatic perspectives on contemporary German. – Oxford: Clarendon, 1995. – P. 1–23.
- Stozier R.M.* Saussure, Derrida, and the metaphysics of subjectivity. – Berlin etc.: Mouton de Gruyter, 1988.
- Trupia P.* Die Semantik der Kommunikation: Die Schaffung von Sinninhalten in Kunst, Wissenschaft und bei der Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit / Übers. aus dem Ital. – Berlin: Duncker und Humblot, 1997.
- Ullmann S.* Language and style: Collected papers. – Oxford: Blackwell, 1964.
- Ward G.* Barth, Derrida and the language of theology. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 1995.
- Weigand E.* Words and their role in language use // Lexical structures and language use: Proc. of the International Conference on lexicology and lexical semantics, Münster, September 13–15, 1994. – Tübingen: Niemeyer, 1996. – P. 151–167.
- Weninger R.* Framing a novelist: Arno Schmidt criticism 1970–1994. – Columbia: Camden, 1995.
- Wilkin P.* Noam Chomsky: On power, knowledge and human nature. – L.: Macmillan, 1997.
- Williams B.* Descartes: The project of pure inquiry. – Harmondsworth: Penguin, 1978.
- Wrede F.* Der Sprachatlas des deutschen Reiches und die elsässische Dialektforschung // Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. – Berlin, 1903. – Bd. 111. – S. 29–48.
- Wright G.H. von.* Explanation and understanding. – Ithaca; New York: Cornell univ. press, 1971.

В.И. Постовалова¹

ПУТИ И ПРИНЦИПЫ ТРАНСФЕРИЗАЦИИ ЗНАНИЯ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

1. Основные тенденции в современном гуманитарном познании: наука и технология. По наблюдению эпистемологов и историков культуры, характерную черту современного познания составляют два момента. Во-первых, установка на переход от плюрализма и релятивизма в постижении реальности к поиску интегральных метапарадигм знания, направленных на разработку видения мира как единого целого, преодоление разрывов между различными сферами духовной и социокультурной жизни человека и достижение утрачиваемой цельности человеческого духа. И, во-вторых, установка на более тесное сближение науки с практикой социотехнической деятельности человека, что проявляется в обращении к сфере создания новых технологий, и прежде всего – технологий гуманитарного типа. Как лаконично обрисовывает современную социокультурную ситуацию культуролог и методолог О.И. Генисаретский: «...основной объем того, чем раньше занимался философ, уже опредмечено наукой, функционализировано и технологизировано проектной мыслью, институционализировано в тех или иных культурных практиках...» [Генисаретский, 2002, с. 518].

В составе гуманитарных технологий нашего времени особое место принадлежит лингвистическим технологиям в силу того уникального положения, которое занимает язык в мире человека. По единодушному признанию философов и лингвистов разных школ и направлений прошедший XX век стал временем углубления представлений о языке, раскрытия его

¹ Печатается по: Постовалова В.И. Пути и принципы трансферизации знания в гуманитарных науках // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии: Коллективная монография / Отв. ред. В.В. Фещенко; Ред. колл.: Н.М. Азарова, С.Ю. Бочавер (отв. секретарь), В.З. Демьянков, М.Л. Ковшова, И.В. Силантьев, М.А. Тарасова (редактор-корректор), Т.Е. Янко. – М.: Культурная революция, 2016. – С. 36–60.

основополагающей роли во всех сферах человеческого бытия и действительности в целом.

Историки культуры и философы языка говорят о трех важнейших «поворотах» в развитии европейской культуры последнего времени. «Антропологическом повороте», заключающемся в перемещении внимания философской мысли с познания мира на постижение феномена человека. «Лингвистическом повороте», состоящем в переходе от рассмотрения мышления, «мыслящего самого себя», к постижению феномена языковой активности. И «коммуникативном повороте», заключающемся в формировании коммуникативной парадигмы в гуманитарном познании¹.

Для отечественной культуры всегда было характерно подчеркивание и раскрытие особой роли языка в научном познании и культурной активности человека в широком концептуальном контексте. В частности, подчеркивание того, что роль языка в науке не сводится только к форме представления научного знания и что между языком и наукой существует глубокая онтологическая связь. Вспоминая слова аббата Кондильяка «Une science n'est qu'une langue bien faite – всякая наука есть лишь хорошо обработанный язык», П.А. Флоренский в своей работе «Наука как символическое описание» утверждает даже, что все науки «суть язык и только язык», поскольку все они «суть описания действительности» [Флоренский, 1990, с. 124]. Ведь, как подчеркивает Флоренский: «Во всякой науке нет решительно ничего такого, каким бы сложным и таинственным оно ни казалось, что не было бы сказуемо с равной степенью точности, хотя и не с равным удобством и краткостью, – словесною речью» [там же, с. 122]. Это относится и к «целостной науке как связной деятельности мысли» [там же, с. 123].

Начавшийся XXI век с его вниманием к разработке информационных технологий, относящихся к управлению, накоплению, обработке и передаче информации, открывает новые грани языковой активности. К их числу принадлежит и участие языка в многообразных социотехнических практиках, связанных с формальным представлением разного рода знаний и их объективацией. Так, например, если долгое время «практика» языкознания сводилась преимущественно к составлению словарей и грамматик, то современное языкознание значительно расширило сферу своей практики. Она включает «машинный перевод, автоматизацию в информационной службе, обеспечение автоматизации систем управления, речевую сигнализацию в системе передачи информации, программированное обучение с помощью автоматов, механическое моделирование человеческого понимания, речевое управление производственными и иными механизмами» [Карпов, 1976, с. 81].

Термин «технология» (от др.-греч. τέχνη – ‘искусство, мастерство, умение’ и λόγος – ‘мысль’) был введен в научное употребление в 1772 г.

¹О «коммуникативном повороте» в лингвофилософской мысли см.: [Медведев, 2012, с. 173].

немецким ученым Иоганном Бекманом для наименования «науки о ремеслах». Со временем под технологией в самом общем смысле этого слова стали понимать использование знаний (методов, операций и др.) в различных социокультурных практиках.

Одним из первых инициаторов разработки гуманитарных технологий в отечественной науке был философ и методолог Г.П. Щедровицкий, развивавший данное направление на базе теории деятельности и мышления. В его понимании технология, будучи одним из видов регулятивов деятельности и проекций содержания логики, представляет собой «закрепленное в определенных знаково-знаниевых формах... выполнение процессов коллективно организованной деятельности» [Щедровицкий, 1997, с. 432]. Или более конкретно, что особенно значимо для понимания сути лингвистических технологий: технология есть «операционально-процедурное содержание текстовых и логических форм, представленное затем в виде самостоятельного предмета и объекта нашей мысли» [там же, с. 430]. Из этой последней дефиниции следует, что генерирование лингвистических технологий предполагает коррелятивное рассмотрение лингво-семиотического и логического плана действий в их единстве. Ведь всякое знание, включая и знание, применяемое в социотехнических практиках, есть в своей основе логико-семиотический феномен.

Г.П. Щедровицкий подчеркивает условный и исторически преходящий характер технологий, являющихся, по его выражению, «условными знаково-знаниевыми установлениями, меняющимися исторически в зависимости от многих и разнообразных обстоятельств деятельности и мышления» [Щедровицкий, 1997, с. 437]. Щедровицкий называет два условия для осуществления генезиса технологии как особой сферы деятельности. Это – формальная соорганизованность соответствующих систем деятельности в ее составе. И – их так называемое «оестествление». Начиная свою реконструкцию генетического пути формирования технологии как самостоятельной сферы деятельности, Г.П. Щедровицкий утверждает: «...технологии, чтобы стать технологиями в прямом и точном смысле этого слова, должны быть не только формализованными соорганизациями многих систем деятельности, но они еще должны быть также и оестествлены» [там же, с. 432].

Таковыми формами «оестествления» могут быть, на метаязыке его теории, как «машины» (механизмы), так и «материал» самих людей. На этом материале «сложные и длинные цепи деятельностных актов превращаются в поведенческие навыки или в бессознательное в нашем поведении» [там же]. За счет подобных процессов «оестествления» технологии «выпадают» из самой деятельности, но в то же время в этой своей предельной форме они продолжают существовать в ней, трансформируя ее и выступая в качестве «важнейших факторов, определяющих линии и тенденции развития сложных систем деятельности» [там же].

В гуманитарной сфере наиболее трудно поддающимися формализации оказываются лингвистические технологии, где участником организованных систем деятельности выступает не машина, а человек. К числу технологических разработок такого типа относится и конструирование лингво-семиотических механизмов трансферизации, или трансфера (от лат. *transfere* – ‘переносить’, ‘направлять’) знаний. Такое конструирование может быть осуществлено на основе изучения смысловых модификаций при переносе и адаптации знаний в сфере познания в ситуациях взаимодействия разных сфер социокультурной деятельности человека. Исследование лингвистических механизмов процессов трансферизации знания представляет особый интерес в современную эпоху, для которой в высшей степени характерны активные интегративно-коммуникативные процессы в культуре – построение, развертывание и проектирование новых дисциплин и направлений, а также интенсивные контакты различных областей знаний и социокультурной деятельности человека.

2. Знание и его эпистемологические лики в современной культуре.

Знание, о котором идет речь в различных гуманитарных технологиях и социокультурных практиках, представляет собой многомерное и многоплановое образование, существующее во множестве конкретных форм своих проявлений и эпистемологических типов. В методологической реконструкции О.И. Генисаретского знание предстает в этой проекции как «отдельная от познания и сознания предметная реальность, в иных, чем на предыдущем этапе, структурных контекстах» [Генисаретский, 2002, с. 23]. Генисаретский определяет современный контекст аналитического рассмотрения знания в этом направлении как триединство «традиция – коммуникация – рефлексия» [там же].

Концепция знания как самостоятельной предметной реальности в ее автономии от познания и сознания развивается в настоящее время в составе «научной эпистемологии» – дисциплины, отделившейся от гносеологии (философской теории познания) и изучающей формы существования знания в культуре, а также способы его реализации в различных типах деятельности. Г.П. Щедровицкий считает главным условием построения такой научной эпистемологии, в отличие от традиционной философской эпистемологии, «объективацию наших представлений о знании», что, в свою очередь, предполагает отнесение их к определенной «объективированной картине», выступающей в качестве своеобразной «рамки для знаний» [Щедровицкий, 1997, с. 437]. В составе научной эпистемологии можно было бы выделять также особую «прикладную эпистемологию», направленную на осуществление различного рода технологий, включая и гуманитарные лингвистические технологии.

Наряду с пониманием знания в научной эпистемологии, допускающим возможности его формализации, существуют и другие концепции знания, рассматривающие знание в ином понятийном и экзистенциальном контексте. С античных времен знание характеризовалось в его

противоположении мнению. В наши дни религиозный философ-неотомист Ж. Маритен в своей книге «Знание и мудрость» рассматривает знание в контексте сопоставления его с мудростью, отмечая три типа знания, различающиеся степенью приближения к мудрости.

Первый тип – это высший тип знания, включающий в себя как свою наивысшую сферу мудрость, понимаемую как «знание, получаемое из наивысших источников» и «открывающееся в наиболее глубоком и простом свете» [Маритен, 1999, с. 10]. Это знание «твердое и непоколебимое... не исчерпывающее (им обладает лишь Бог), но дающее уверенность и способное постоянно продвигаться по верному пути» [там же]. Таково знание святых. Этот наиболее всеобъемлющий смысл и имеют в виду, по Маритену, когда говорят: «Наука и знание» [там же].

Второй тип (средний) – это знание «детальное, эмпирическое, или очевидное», противоположное высшей сфере знания. Таково научное знание (например, знание в лингвистике или ботанике). Именно этот смысл имеют в виду, когда говорят: «Частное знание или частные науки». Наконец, *третий тип* – это знание, «рождаемое любознательностью людей и диктуемое их пристрастием к мирским вещам, к познанию вещей как бы в соучастии, или в сговоре, с ними» [там же]. Таково знание дегустатора вин, знахаря и шамана. Этот тип знания, по Маритену, противостоит мудрости в наибольшей степени.

Согласно одному из наиболее развернутых и обобщающих толкований знания, развиваемому И.Т. Касавиным, знание есть «форма социальной и индивидуальной памяти, свернутая схема деятельности и общения, результат обозначения, структурирования и осмысления объекта в процессе познания» [Касавин, 2001, с. 51]. Оно есть способ «трансформации знаковых систем, сознания, деятельности и общения, придания им новой формы», а также внесения нового смысла в соответствующий вид реальности, в качестве которого могут выступать: «производственная практика, социальная регуляция, ритуальный культ, языковой текст» [там же, с. 52]. Поскольку всякий тип знания, по утверждению Касавина, может быть охарактеризован в содержательном плане лишь как «элемент целостного культурно-исторического комплекса (науки, техники, религии, мифа, магии)», то «исчерпывающая типология знания фактически совпадает с историей культуры» [там же].

Такое широкое понимание знания как многомерного образования может быть положено в основание изучения и процессов трансферизации знания. Принципиальное значение для осмысления таких процессов при этом имеет традиционное разделение знания на два типа. Знание «практическое», имеющее «неявный, невербальный, ритуализированный характер» [Касавин, 2001, с. 51], и знание «теоретическое», предполагающее «явную текстуально-словесную форму» [там же]. К последнему типу относятся философия, теология, идеология и наука.

При трансферизации знания речь может идти об эпистемологических единицах самого разного типа, к каковым могут относиться идеи, понятия, концепции, принципы, термины, парадигмы, картины мира. В настоящее время наиболее разработана эпистемологическая структура научного знания. По словам Г.П. Щедровицкого, «новейшие исследования по общей методологии и теории науки показывают, что в систему всякого достаточно развитого научного предмета (или специальной научной дисциплины) входят, по крайней мере, восемь основных типов единиц и еще несколько сложных суперединиц, объединяющих и рефлексивно отображающих исходные единицы» [Щедровицкий, 1995, с. 648].

В число единиц первого уровня, по Щедровицкому, входят: факты, методические предписания, онтологические схемы, изображающие идеальную действительность изучения, модели, репрезентирующие частные объекты исследования, теоретические знания, проблемы и задачи научного исследования. А также средства выражения, куда входят «языки» разного типа, оперативные системы математики, системы понятий, представления и понятия из общей методологии и др.

3. Ситуации трансферизации знания в социокультурной сфере и ее направления. Ситуации трансферизации знания в культуре и жизнедеятельности человека весьма многообразны и практически неисчислимы. Поскольку знание выступает как необходимый элемент «целостного культурно-исторического комплекса и как осмысление человеком контекстов своего опыта» [Касавин, 2001, с. 52], то, очевидно, что исчисление ситуаций трансферизации знания в их полноте будет совпадать с исчислением всех возможных ситуаций взаимных контактов разных сфер знания в рамках этого культурно-исторического комплекса. И – шире – с исчислением всех контекстов опытного миропостижения *homo symbolicus* (человека символического) в понимании Э. Кассирера.

Согласно учению Кассирера о человеке как *homo symbolicus*, глубинной сущностной характеристикой человека является наличие у него особых символических структур – языка, мифологии, религии, искусства, науки, запечатлевающих систему его миропредставлений и выступающих в роли регулятора его жизнедеятельности. С помощью таких опосредствующих символических структур человек формирует себе образ («картину», «эскиз», «модель» мира) как основу своей жизнедеятельности и культуры.

По выражению Э. Кассирера, человек, воспринимая реальность через посредство символов, обитает в «символическом универсуме», или «символической Вселенной» [Кассирер, 1998, с. 471]. Как поясняет Кассирер: «В языке, религии, искусстве, науке человек не может сделать ничего другого, кроме как создать свою собственную вселенную – символическую вселенную, которая позволяет ему объяснять и интерпретировать, артикулировать, организовывать и обобщать свой опыт» [там же]. В этом универсуме, составляющими которого выступают язык, миф, искусство, религия, человек «погружен» в лингвистические формы, художественные обра-

зы, мифические символы, религиозные ритуалы и уже ничего не может видеть и знать «без вмешательства этого искусственного посредника» [Кассирер, 1998, с. 471].

Отметим только некоторые из типичных ситуаций трансферизации знания в социокультурной сфере у человека как *homo symbolicus*'а, опираясь на понятийные противопоставления «эксплицитность – имплицитность» и «внутреннее – внешнее». К таким ситуациям могут быть отнесены события *эксплицитного культурного трансфера* при создании синтетических и комплексных дисциплин в научном познании, а также события *имплицитного культурного трансфера* при неосознанном выборе некоторых идей и представлений в качестве основания для разработки научных теорий и интерпретации опытных данных речевой практики.

К таким ситуациям, далее, могут быть отнесены также события интра-культурного трансфера в процессах различного адекватного или же неадекватного понимания общенаучных базисных понятий, таких как функция, энергия, информация и др., при коммуникационных контактах представителей разных школ и направлений в какой-либо конкретной науке в условиях множественности вариантов представления реальности. А также события интеркультурного трансфера при диахронических процессах адаптации и переосмысления базисных концептов (идей) культуры и миропонимания из разных сфер культуры.

Можно выделять также ситуации трансфера при смене культурных типов или внутри одного культурного типа. Поскольку знание предстает как единство двух своих планов – содержания и формы его выражения, – то возможно и изучение трансферизации знания в двух его планах – содержательно-эпистемологическом (концептуальный словарь и т.д.) и формально-эпистемологическом (концептуальный синтаксис).

4. Способы трансферизации знания: «Переформатирование» и спецификация. Трансферизация знаний в гуманитарном познании и социокультурной деятельности может осуществляться различными путями.

4.1. Трансферизация знания как «перформатирование». Трансферизация знаний может происходить в форме чистого «переформатирования», или перевода (конвертации, преобразования) знаний или их фрагментов как некоей целостности из одних культурно-дискурсивных форматов в другие. При этих процессах интерферируемые знания, не теряя своей целостности, обретают новую автономную форму существования.

Классическим случаем этого типа является реконструкция и переформулирование одной научной концепции на языке другой. Такой путь избирает для себя С.К. Шаумян, пытаясь донести воззрения А.Ф. Лосева до лингвистов, непонятные для них по причине специфических особенностей его стилистики мышления. При этом он считал целесообразным не излагать лингвистическую концепцию Лосева на его метаязыке, хотя и стремился в целом не отступать от его терминологии.

Избирая такой путь, С.К. Шаумян пишет: «Мир идей Лосева – это мир тончайших диалектических идей, проникнуть в который не так просто... Одна из причин трудности работ Лосева состоит в том, что для философии Лосева характерны две тенденции – иррационализм и диалектика... Лингвистические работы Лосева трудны для понимания... потому, что Лосев не заботится о терминах для своих интуитивных идей и ограничивается простыми примерами там, где необходимы словесные формулировки принципов. Ввиду этой особенности работ Лосева я не считал полезным излагать лингвистическую концепцию Лосева обязательно в терминах Лосева, хотя и стремился не отступать от его терминологии. Моя задача – сделать глубокие идеи Лосева доступными для лингвистов» [Шаумян, 1999, с. 334, 352–353].

К данному типу трансферизации знания относится также философское «перестраивание» предметного плана научной дисциплины на языке философии, имеющее своей целью не разрушение такого предметного содержания, но его представление в логически более ясной форме. По выражению А.Ф. Лосева, философия конкретных научных дисциплин есть «только более интимное, более связанное логически и более понятийное построение тех же самых предметов» [Лосев, 1997, с. 34]. В работе, посвященной диалектическим основаниям математики, он так поясняет специфику подобной модификации знания в науке на примере философии числа: «...философия числа... есть не просто познание или сознание, но и самосознание духа. Это значит, что дух видит здесь сущность своей собственной деятельности... Математика в этом смысле есть знание как бы одномерное, одноплановое; философия же заново перестраивает этот математический план, превращает его из структуры-в-себе в структуру-для-себя, понимая числа как понятия и тем самым перекрывая числовую структуру структурой логической» [там же, с. 30].

Один из способов трансферизации как перформатирования заключается в изложении содержания соответствующей концепции на особом языке имманентной реконструкции, что наблюдается на очень продвинутом и очень глубоком уровне изучения творчества автора.

4.2. Трансферизация знания как «спецификация». Трансферизация знаний может выступать также как «спецификация», в ходе которой интерферируемые знания, экстрагированные из одной какой-либо целостности, становятся частью другой целостности, адаптируясь к новой среде своего существования. В частности, в научную дисциплину могут быть перенесены из окружающих ее дисциплин такие концептуальные образования, как понятия, модели, онтологические представления.

В основе трансферизации знания как спецификации лежит *принцип ответственности*, согласно которому трансферируемое знание должно быть согласовано с целостностью, адаптирующей новое знание, и прежде всего с лежащей в его основании парадигмой. Применительно к адаптации общенаучных понятий принцип спецификации был так сформулирован А.Ф. Лосевым:

«...общенаучные понятия в каждой отдельной науке должны проводиться так, чтобы от этого не нарушалась специфика данной науки, не нарушалось ее конкретное лицо» [Лосев, 1989, с. 10]. Ведь «только строжайшее соблюдение специфики языкознания и может обеспечить собою плодотворную работу в применении общенаучных понятий» [там же].

Сам А.Ф. Лосев усматривал специфику языка «в смысловозначительной коммуникации, т.е. в таких актах смысловозначения, сущностью которых является разумно-жизненное человеческое общение» [там же, с. 11]. И в свете такого понимания он расценивал как введение общенаучных понятий и представлений в науку о языке, так и введение новых методов исследования. Так, по словам Лосева, лингвист, занимающийся своим предметом, «вправе защищаться от тех методов, которые уводят его от лингвистики и заставляют лингвистический предмет понимать как нелингвистический» [Лосев, 1983, с. 66].

На этом основании Лосев выступал против бездумной математизации лингвистики, ставшей весьма популярной в период структурализма. По его мысли, поскольку математический знак лишен всех коммуникативных функций, то, обозначая языковые явления математически, мы лишаем язык всякого содержания, в результате чего он «перестанет быть языком» [Лосев, 1989, с. 7]. В лучшем случае язык как орудие разумно жизненного общения может превратиться в «счетно-вычислительную машину» [Лосев, 1983, с. 66].

По утверждению Лосева, математические обозначения, имеющие своим предметом «системы бескачественных полаганий», будучи примененными к языку, обозначают «такую степень его общности, в которой уже теряется конкретность и специфика обозначаемого факта» [Лосев, 1983, с. 10, 16]. Ни треугольник, ни квадрат, ни какая-либо другая математическая фигура «вовсе не являются теми живыми объектами, на которые можно было бы свести всякую языковую предметность», полагает Лосев [Лосев, 1983, с. 68].

Принципом спецификации руководствуются в опытах трансферизации знания и в других лингвистических дисциплинах. Так, по признанию лингвокогнитологов, хотя у исследований процессов когниции и языковых явлений «часто появляются как философские, так и чисто инженерные научные аспекты» [Кубрякова, Демьянков и др., 1996, с. 7], их рассмотрение не имеет самоценного характера и подчиняется научным задачам данной дисциплины.

5. Процедура база трансферизации знания. Согласно *принципу имманентности знания* «каждое научно-предметное знание... так организовано, что оно в принципе исключает всякую возможность органического и законосообразного объединения его с знаниями из других научных предметов» [Щедровицкий, 1995, с. 635]. Для такого объединения требуются особые процедуры по адекватному переносу как научно-предметного, так и других типов методологически организованного знания.

5.1. «Распредмечивание» и «опредмечивание». Операциональную основу трансферизации знания образует цикл процедур, базирующихся на идее предметности научной деятельности.

Согласно такому пониманию содержания (смыслы) эпистемологических единиц в научной дисциплине существуют не сами по себе, в изолированном положении, но в опредмеченном виде. Так, в «модели» как единице организации научного знания ее содержание (идеальный объект, фиксирующий в объектной или квазиобъектной форме предметное видение объекта изучения в данной дисциплине) предстает в единстве со своим выражением – знаковой конструкцией, сопровождаемой описанием норм оперирования ее элементами.

Процедурный цикл перепредмечивания при трансферизации знания включает два типа процедур. Это – процедуры «распредмечивания» знания и его единиц, заимствованных из определенной концептуальной системы. И – обратной процедуры «опредмечивания» трансформируемого знания в составе концептуальной системы, заимствующей соответствующий эпистемологический элемент.

При распредмечивании (полном или частичном) целостная система научного предмета, метафорически выражаясь, «разламывается» и из нее изымается трансформируемый элемент. Содержания предметных сущностей (понятия, теоретические представления и др.), отделяясь от своей предметной формы, утрачивают свою непосредственную связь с объектом изучения этой дисциплины. Другими словами, предметные содержания деонтологизируются и получают новый статус своего существования. Они становятся условными элементами теоретико-деятельностных или же семиотических конструкций, преобразуясь во всеобщую нейтральную форму смыслов-значений и переходя в план формальных пространств, схем, оппозиций.

В ходе обратной процедуры опредмечивания содержания, отделенные от своей старой предметной формы, после определенных преобразований они обретают новую форму – «опредмечиваются», превращаются в эпистемологические единицы заимствующей дисциплины, например новые понятия или онтологические представления. В ходе процедурного цикла перепредмечивания в познании и коммуникации происходит, таким образом, «перетекание» содержания смысла из одной предметной формы в другую.

5.2. Конфигурирование и гомогенизация концептуального пространства. Как отмечал Г.П. Щедровицкий, XX век «кардинальным образом изменил фокусы проблематизации и направления методологических и эпистемологических поисков» [Щедровицкий, 1995, с. 635]. В это время все больший интерес начинают вызывать случаи «одновременного использования знаний из разных научных предметов в ситуациях решения различных *социотехнических задач*» [там же]. При «обучении и воспитании людей, управлении научными исследованиями и разработками, пла-

нировании социального развития отдельных предприятий, отраслей промышленности и регионов и т.п.» [Щедровицкий, 1995, с. 635].

Для всех этих случаев характерно, по наблюдению Щедровицкого, то, что «объект социотехнического действия не совпадает с объектами изучения отдельных наук» [там же]. Поэтому в действиях с социотехническим объектом «не удастся опереться на знания о законах функционирования и развития какого-либо одного научного объекта, а приходится говорить о “многостороннем” и “комплексном” характере социотехнического объекта и искать на практических путях способы связи и объединения различных разнопредметных знаний, описывающих его с разных сторон» [там же]. В итоге объединения этих знаний в одно многостороннее знание об объекте должно получиться «одно целостное (или целостно организованное) представление о сложном “многостороннем” объекте» [там же].

В научной эпистемологии и теории деятельности, развиваемой Щедровицким, выработана особая процедура, именуемая *конфигурированием*. Конфигурирование, или синтезирование, – в широком смысле есть процедура объединения знаний¹. Например, получение «целостного научно-теоретического изображения объекта путем синтеза различных представлений его, полученных в разных научных дисциплинах» [там же].

Особую сложность трансферизация знания приобретает при конструировании научных дисциплин синтетического плана, где осуществляется объединение в едином мыслительном пространстве концептуальных представлений из разных дисциплин или даже сфер знания. На построение такого единого пространства при трансферировании знаний направлена особая методологическая процедура *гомогенизации*, представляющая собой процедуру объединения онтологически и методологически однопорядковых представлений в едином концептуальном пространстве.

Здесь встречаются две различные ситуации. В одних интегративных дисциплинах, таких как психолингвистика, лингвокультурология и др., в одном мыслительном пространстве объединяются теоретические представления из дисциплин, принадлежащих одной сфере познания и деятельности – науке. В другом случае происходит объединение представлений из дисциплин, принадлежащих к разным (нерядоположенным) сферам познания. Так, при конструировании новой синтетической дисциплины теолингвистики, направленной на изучение взаимосвязи языка и религии, происходит объединение теоретических представлений из сферы науки и сферы богословия (религии) с их различными представлениями об истинности познания, приемами аргументации, принимаемыми ценностями и т.д.

¹ См.: «Мы называем изображение объекта, создаваемое в целях описанного выше объединения и синтеза разных знаний, “конфигуратором”, а процедуру этого объединения и синтеза, основывающуюся на специально созданном для этого изображении объекта, – “конфигурированием”» [Щедровицкий, 1995, с. 654].

И даже более глубоко – с их различными типами ментальностей, стоящими за научной и религиозно-богословской мыслительными традициями.

5.3. Другие процедуры конструирования различных эпистемологических систем: «Мифологизация» («дезмифологизация») и «метафоризация». В истории культуры и духовной жизни общества homo symbolicus'a весьма распространены явления мифологизации и демифологизации – наделения мифологическим содержанием определенных семиотических форм и, соответственно, редуцирования подобного содержания. Известно, что в ритуальном действии «оба события – внешнее действие и внутреннее, ритуальный акт и образ-мифологема, воспроизводимая в уме, – формально подобны, а символически тождественны друг другу» [Семенов, 1981, с. 28].

При глобальной смене миропредставлений мифологема, теряя свой онтологический статус как носителя и выразителя мифологического содержания, превращаются некое формально-семиотическое образование. Как формулирует суть происходящей смысловой модификации И.Г. Франк-Каменецкий, размышляя о библейской поэзии эпохи вавилонского пленения: «...можно сказать, что то, что на мифологической почве является содержанием, становится формой поэтического творчества, имеющего существенно иное содержание...» [Франк-Каменецкий, 2001, с. 77]. Возникающая на этой почве символика, по его словам, «способствует превращению мифических образов в лишённые самостоятельного идеологического содержания средства художественного воспроизведения реальной действительности в поэтическом творчестве» [там же, с. 78]. И далее резюмирует: «Чем более отступают на второй план символизируемые мифическими образами религиозные идеи и представления, тем интенсивнее совершается усвоение самих образов в технике поэтического творчества. Это можно наблюдать в пределах одной и той же национальной культуры при каждом резком переломе мирозерцания» [там же, с. 79].

В научном познании нашего времени встречается и обратный процесс *мифологизации* (оживотворения, придания статуса живой жизни) некоторых формально-семиотических конструктивных построений. Так, при самом первом опыте введения антропологической парадигмы в науку о языке человек как предмет исследования в лингвистическую теорию не вводится, но антропологизируется («гипостазизируется») при этом сам язык, который наделяется чертами человека, одушевляется, мифологизируется. Как в свое время писал Ю.Н. Караулов: «В силу общей бесчеловечности современной лингвистической парадигмы место подлинно антропного фактора в ней, место антропного характера создаваемого ею образа языка занимает антропоморфический, человекоподобный, порождаемый стремлением уподобить – одушевить, оживить, очеловечить – мертвый образ» [Караулов, 1987, с. 20]. И это «приводит к фетишизации языка-механизма, языка-системы и языка-способности, к мифологическому его переживанию...» [Караулов, 1987, с. 20].

Иногда трансферизация знания в истории культуры предстает в своем сокровенном лике. Не как прямой перенос каких-либо идей, но как принятие творческого импульса от некоторых идей, существующих в культуре. И пришедшая идея может выступать то ли в новом мифологическом (а всякая научная картина мира несет в себе начала мифологичности), то ли в новом метафорическом облике. В этом плане представляет интерес опыт создания Ю.С. Степановым его книги-эссе «Мыслящий тростник. Книга о “Воображаемой словесности”», где развивается идея о существовании в культуре особой ментальной реальности, называемой им «Воображаемой словесностью» [Степанов, 2010].

Концептуальный мир «Воображаемой словесности» Степанова являет собой причудливый симбиоз реального и воображаемого (воображаемых) миров с его переходами, подчас трудноуловимыми, из одного мира в другой. При задании ментального пространства «Воображаемой словесности», в котором происходит единение первичной (жизненной) и вторичной (художественной) реальностей, снимаются многие межведомственные культурные «барьеры» и устраняются многие запреты, действующие при конструировании художественного и интеллектуального пространств культуры.

Идея разработки концепции «Воображаемой словесности» была навеяна у Ю.С. Степанову, по его собственным словам, опытами создания неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевского и попытками выяснить возможную роль такого типа геометрии в реальном мире. «Самый сильный импульс пришел от поэзии абстрактного научного мышления, – замечает Степанов, – от “Воображаемой геометрии” Н.И. Лобачевского и его идеи “Воображаемое пространство”» [Степанов, 2010, с. 3]. И далее в разделе «Воображаемая геометрия» и «Воображаемая словесность», «Воображаемое пространство вообще» своей книги Ю.С. Степанов поясняет: «Термин “Воображаемая геометрия” придумал Н.И. Лобачевский, когда понял, что через одну точку можно провести не одну, а несколько пересекающихся линий, параллельных одной данной. Вся геометрия в результате получила другой, по сравнению с эвклидовой, вид» [там же, с. 117].

В своей разработке концепции «воображаемой словесности» и истолковании категории «воображаемого» Ю.С. Степанов опирался также на работу 1912 г. логика Н.А. Васильева «Воображаемая (неаристотелева) логика», в которой, по словам Степанова, «прозорливо “ухватываются” некоторые существенные черты творческого мышления – если не в строгой науке, то в искусстве» [Степанов, 2004, с. 37].

Возникает вопрос: можно ли рассматривать «Воображаемую словесность» Ю.С. Степанова как своего рода «неевклидову словесность»? Предполагает ли конструирование идеального мира «Воображаемой словесности» отказ от каких-либо общепринятых научных постулатов и представлений, как это происходило у авторов «Воображаемой геометрии» и «Воображаемой логики»? Или же «Воображаемая словесность» для автора

данной концепции есть только метафора? Известно, что, разрабатывая свою неевклидову геометрию, Лобачевский отказывался от пятого постулата Эвклида. Ответы на эти вопросы требуют особого исследования. Здесь же важно подчеркнуть, что трансферизация знания может выступать и в неявной форме принятия некоего творческого импульса (в случае творческого опыта Ю.С. Степанова – импульса от «поэзии абстрактного научного мышления»), когда принимаемая идея начинает новую жизнь в новой форме в новом осмыслении при созвучии творческих миров обитания идеи.

6. Модификации при трансферизации знания: редукция и смысловые расширения. Изучение опытов переноса и адаптации знания в гуманитарном познании свидетельствует о невозможности трансферизации знания без смысловых модификаций, которые сопровождают всякий, даже самый элементарный процесс заимствования знания.

Наиболее часто встречаются смысловые модификации двух типов: редуцирование части смыслов при адаптации заимствованных элементов и смысловые наращивания. Эти процессы можно наблюдать при изучении истории адаптации философско-антропологической концепции языка В. фон Гумбольдта, которая многократно подвергалась различному переосмыслению в истории культуры. Это наглядно проявляется в переинтерпретации ее базисных понятий. Известно, что гумбольдтовские понятия «дух» (Geist) и «дух народа» в толковании Г. Штейнтала были превращены в «психику» (Seele) говорящих индивидов, утратив свое пневматологическое и этносоциологическое измерение. Понятие внутренней формы языка часто сводилось к понятию внутренней формы слова. А центральный тезис Гумбольдта о том, что язык есть не эргон, а энергейя, напротив, получает более широкое истолкование в синергичной парадигме русской религиозной философии языка (П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков).

Известно, что категория энергейи у Гумбольдта восходит (через Г. Харриса) к Аристотелю, обретая некоторые смысловые оттенки, которые данная категория получает в немецкой классической философии.

В терминологической системе Аристотеля «энергия» приближается по своему значению к понятию осуществленности, о чем говорит сам Аристотель в своей «Метафизике» (Кн. 9, гл. 8, 20–25): «Ибо как цель выступает дело, а делом является деятельность, почему и имя “деятельность” (ἐνέργεια) производится от <имени> “дело” (ἔργον) и по значению приближается к осуществленности (προς ἐντελέθειαν)» [Аристотель, 1999, с. 244]¹.

¹ В терминологической системе Аристотеля энергия, наряду с энтелехией, используется для обозначения «актуальной действительности предмета» в отличие от его «потенции, возможности», причем энергия означает «действие, переход от возможности к действительности», а энтелехия – «конечный результат этого перехода» [ФЭС, 1983, с. 800], хотя сам Аристотель эти термины – энергия и энтелехия – часто употребляет как синонимы.

Этот смысл сохраняется в целом и у Гумбольдта, который понимал под «энергейей» прежде всего деятельность по осуществлению лингвокогнитивного синтеза – сплавления мысли со звуком. Скорее всего, Гумбольдт, говоря о языке как деятельности-энергейи, имел в виду онтологический синтетический процесс самоосуществления языка как синтетического процесса. Ведь язык, по Гумбольдту, – «самодетелен, самосоздан и божественно свободен» [Гумбольдт, 1984, с. 49]. Он – «вечно порождающий себя организм» [там же: 78], и его «следует рассматривать не как мертвый продукт (Erzeugtes), но как создающий процесс (Erzeugung)» [там же, с. 69]. Говоря о том, что язык есть не продукт деятельности (эргон), а деятельность (энергейя), Гумбольдт завершал это утверждение словами о том, что истинное определение языка «может быть поэтому только генетическим» [там же, с. 70].

Создатели отечественной реалистической философии имени (прот. П. Флоренский, прот. С. Булгаков, А.Ф. Лосев) в числе ее источников упоминали и учение В. фон Гумбольдта. Сопоставляя две энергетические концепции языка – гумбольдтовскую и имяславскую, – необходимо учитывать, однако, и очевидный момент смыслового различия в их истолковании базисной категории энергии, восходящей к Аристотелю. В синергической парадигме отечественной философии языка («имяславие»), развивающей идеи православного энергетизма (паламизма), понятие энергии приобретает смысловой оттенок воздействующей силы¹. Как подчеркивает прот. С. Булгаков в своей «Философии имени», слово в молитве имеет власть благодаря тому, что оно является «не только смыслом, но и вместилищем энергии, орудием, проводником» [Булгаков, 1998, с. 233]. В православном самосознании Имя Иисусово есть «творящая сила». Но эту мысль, утверждает Булгаков, нужно «понимать не лингвистически, что было бы просто бессмысленно, но мистически» [там же с. 313]. Здесь речь идет «не о фонеме имени, и не о морфеме, но об их мистической синеме», или «индивидуальной энергии, присущей каждому имени и в нем живущей, ядре его» [там же].

Следует упомянуть также, что А.Ф. Лосев во втором периоде своего творчества с гумбольдтовской энергейей сближал лингвистическое понятие валентности.

7. Мистико-религиозное знание и возможности его трансферизации. Отдельную тему составляет осмысление процессов переноса знания из религиозно-мифологического концептуального представления (картины мира) в концептуальное пространство других сфер знания. Например, осмысление переноса-интерпретации идеи-мифологемы из концептуального пространства какого-либо конфессионального вероучения в мир рефлексивного осмысления в богословии, философии и даже науки.

¹ О понятии силы и энергии в святоотеческом богословии см.: [Давыденков, 2002].

Здесь встречаются два подхода. В первом случае идея-мифологема осмысливается в религиозно-мистическом ключе, сохраняя свою «мифологическую» форму. Во втором случае осмысление идеи-мифологема переводится в рациональный план – в категориально-понятийную форму, так что идея-мифологема, обретая категориально-понятийную форму своего существования, в известном смысле «деифологизируется».

Но именно только в такой форме ее смысловое содержание может адаптироваться в других сферах знания.

Рассмотрим эти два подхода на примере опытов истолкования мифологема «нового имени» из «Откровения» Иоанна Богослова, где применительно к обетованиям Пергамской Церкви говорится: «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр 2. 17).

Прот. С. Булгаков, посвятивший много усилий обоснованию православного статуса имяславского учения об Имени Божиим, производит интерпретацию данного фрагмента *на языке мистического богословия*. Он пишет: «Запечатление Именем Божиим есть именно личная встреча с Богом, Его ипостасное самооткровение... Имя Отца есть Слово Божие, Имя Сына, в котором открывается Отец Духом Святым. Это троичное самооткровение есть не что иное, как троичное раскрытие Имени Божия, а Имя новое есть откровение будущего века» [Булгаков, 1991, с. 248].

В интерпретации прот. А. Геронимуса, производимой *на категориально-понятийном языке богословия имени*, «подлинное имя» из Апокалипсиса – это не имя человека, полученное им при рождении и имеющее «скорее функциональное значение» [Геронимус, 2014, с. 317]. Подлинное сокровенное имя, в его понимании, – это имя, которое человек получит в будущей жизни и которое будет выражать его «последнюю истинную сущность» [там же]. Это имя будет тесно связано с тем, как человек «действовал в творении», и оно выразит «самую суть неповторимой личности каждого» [там же].

Категориально-понятийное истолкование идеи-мифологема «нового имени» позволит вводить ее концептуальное содержание в онтологическую (реалистическую) философию языка, развиваемую в некоторых направлениях современного гуманитарного познания, а также в синтетическую научную дисциплину «теолингвистику».

8. Глобальные смысловые модификации при трансферизации знаний в культуре и духовной жизни. Трансферизация знания относится к числу глубочайших механизмов формирования культуры и отдельных направлений в ее составе. В генезисе культуры действуют скрытые механизмы трансферизации знания, которые в эпистемологических описаниях часто лишь упоминаются, но не раскрываются. Так, Вал.А. Луков и Вл.А. Луков высказывают предположения о контекстуальной и субъективной переконструированности некоторых фрагментов «знаниевых систем» прошлого в интеллекту-

альном пространстве настоящего. Как отмечают данные авторы: «В интеллектуальном пространстве все время находятся какие-то фрагменты старых и даже древних знаниевых систем (тезаурусных конструкций), которые долго, иногда многие века могут находиться в запасниках коллективной памяти и никак не проявлять себя» [Луков Вал.А., Луков Вл.А., 2010]¹.

Однако в переходные периоды такие фрагменты «вдруг становятся актуальными для человеческих общностей, обретают своих адептов – теоретиков и практиков, перемещаются в зону социальной нормы» [там же]. И авторы резюмируют: «...когда мы говорим об актуализации фрагментов ушедших, забытых знаниевых систем или о предполагаемом гуманитарном знании будущего, нельзя не видеть, что и то и другое не обладают в Настоящем первозданностью и неизменностью, они *контекстуально и субъектно переконструированы*» [там же].

Особенно сложные процессы смысловых модификаций наблюдаются при переходе из одного культурного типа в другой, при смене научных парадигм в ходе научных революций. Так, по утверждению С.С. Аверинцева, центральную установку формирования новоевропейской научности составляет позиция бессубстанционального мышления, или деонтологизации реальности, что находит свое проявление в переключении исследовательского внимания от сущности к форме. Согласно этой тенденции, «мышление в функциях все последовательнее очищает себя от реликтов мышления в субстанциях» [Аверинцев, 1997, с. 51]. В силу такой тенденции центральной установкой в науке становится поиск каузальных связей вещей и процессов.

Открываются все новые и новые процессы в истории культуры, которые могут быть описаны на метаязыке трансферизации знания. Смысловые модификации в истории культуры возникают при перемифологизации (демифологизации и новой мифологизации) знания-действия, при процессах «контентизации» или насыщении содержанием формальных структур.

В философии говорят об отделении философской техники от концепции и ее новой мифологизации. Так, возникновение феномена христианского неоплатонизма с позиций самосознания самого христианского неоплатонизма предстает как сложный процесс перемифологизации и переинтерпретации: «исходный духовный опыт (язычество) – выражающая его мифологема – осмысливающая его философема (диалектическая конструкция) – новая мифологема, выражающая новый опыт и миропонима-

¹ В цитируемой статье авторы дают аналитическое описание содержания коллективного труда «Высшее образование и гуманитарное знание в XX веке»: Монография-доклад Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета на VI Международной научной конференции «Высшее образование для XX века» (Москва, МосГУ, 19–21 ноября 2009) / Под общ. ред. Вал.А. Лукова и Вл.А. Лукова. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009. – 480 с. [См. также: Камалдинова, Кузнецова, 2006].

ние (христианство)». Генезис системного подхода мыслится как рационализация философского представления Всеединства при переводе религиозно-мифологической картины мира и ментальности в научную картину мира. Другими словами, системный подход может быть рассмотрен как редуцированный вариант учения Всеединства.

9. Корректирующие процессы и процедуры при трансферизации знания. Одной из задач изучения процессов смысловых модификаций при трансферизации знания является установление адекватности такой проведенной трансферизации. Критерием адекватности в этом случае может служить соблюдение *эпистемологической гомогенности* объединяемых знаний на основе принципа соответствия.

Известно, что развитие каждой культуры и науки как определенной формы ее выражения¹ может быть охарактеризовано с помощью определенного круга вопросов, одни из которых запрещены в данной культуре, а другие допустимы и могут быть поставлены. Как пишет Р.М. Фрумкина: «Научная культура исследователя проявляется не только в том, какие эксперименты он ставит и какие гипотезы он проверяет; не в меньшей степени она проявляется и в том, какие гипотезы он не проверяет в силу того, что на данном этапе существования науки они вообще не могут рассматриваться как научные гипотезы» [Фрумкина, 1980, с. 207–208].

Это касается и формирования отдельных эпистемологических систем. Так, при конструировании теолингвистики как синтетической дисциплины в концептуальное пространство этой новой дисциплины войдут не все теологические и лингвистические представления, но лишь те из них, которые являются релевантными для установления взаимосвязи языка и религии и представления языка как теоантропокосмической реальности и которые не нарушают принципа эпистемологической гомогенности.

Известно, что одним из проявлений эпистемологической гомогенности является соблюдение определенных принятых в данной сфере познания и деятельности запретов при трансцендировании знаний. Такие системы запретов исторически и ситуативно преходящи. Как отмечает Р.М. Фрумкина, рассуждая о феномене веры в научном знании: «...в научном изложении (если только мы не занимаемся такой специфической наукой, как теология) мы теряем право ссылаться на догматы и сакральные тексты с целью подтверждения истинности нашего знания» [Фрумкина, 1995, с. 95]. В теолингвистических работах такое ограничение, естественно, снимается. В качестве обоснования истинности выдвигаемых здесь утверждений разрешается прибегать к мистико-мифологическим фактам и их богословским интерпретациям. В случае православно-христианской теолингвистики – к событиям Священной истории и истинам Откровения.

¹ См. об этом у П.П. Гайдено: «...наука не есть нечто внешнее по отношению к культуре, а есть один из способов ее самовыражения» [Гайдено, 1982, с. 74].

При изменении эпистемологических ситуаций могут переосмысливаться существующие запреты.

Необходимость оценки степени адекватности процессов трансферизации знания выдвигает задачу разработки особых корректирующих концептуальных процедур. Так, в гипотетико-дедуктивных системах эмпирических наук производят «концептуальную интерпретацию» теоретических терминов [Баженов, 1978, с. 19]. Такая интерпретация включает установление связей теоретических терминов друг с другом и отношений теоретических терминов данной науки с теоретическими терминами других научных теорий. А также установление связей с компонентами «интертеоретического фона», остающихся за вычетом других научных теорий. К ним относятся такие компоненты, как сетка философских категорий, картина мира, «высшие уровни систематизации знания» и др.

К числу корректирующих процедур относится *изгнание чуждых* для соответствующих эпистемологических систем *понятий*. Так, в естествознании XVII в. с его картиной мира как машины и отрицанием того, что между природой как *machina mundi* и механиком-богом существуют какие-либо «посредствующие звенья» («душа», «жизнь»), как это было характерно для унаследованных от Платона натурфилософских представлений эпохи Возрождения, происходила настоящая борьба против телеологических понятий «цели» и «целевой причины» по отношению к природе, поскольку в античных научных программах «душа» и «жизнь» «осмыслялись с помощью категорий “цели” (“телоса”» [Гайденко, 1982, с. 73].

Вторая ситуация в числе корректирующих процедур заключается в очищении заимствуемых понятий от чуждых смысловых привнесений. Такая ситуация возникла в IV в. при создании тринитарной терминологии в христианском догматическом богословии на основе терминов эллинской философии. В святоотеческом Предании такое произведенное очищение именуют «крещением» эллинской философии. Как описывает эту ситуацию В.Н. Лосский: «Церковь выразила термином “омоусиос” единственность трех Лиц, таинственное тождество монады и триады и одновременность тождества единой природы и различия трех Ипостасей» [Лосский, 1991, с. 40]. И продолжает: «Интересно отметить, что выражение “омоусион” встречается у Плотина. Плотиновская троица состоит из трех единственных ипостасей: Единое, Ум и Душа мира. Однако их единственность не поднимается до Троичной антиномии христианского догмата: она представляется нам как бы нисходящей иерархией и проявляется в непрерывной эманации ипостасей, которые, переходя одна в другую, одна в другой отражаются» [там же]. И резюмирует: «Потребовались нечеловеческие усилия таких отцов Церкви, как святые Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов и еще многих других, чтобы очистить понятия, свойственные эллинскому образу мысли, разрушить их непроницаемые перегородки, вводя в них начало христианского апофатизма, преобразовавшего рационалистическое умствование в созерцание тайн Пресвятой

Троицы. Надо было найти терминологическое различие, которое выражало бы в Божестве единство и различие, не давая преобладания ни одному, ни другому, не давая мысли уклониться ни в унитаризм савеллиан, ни в требожие язычников» [Лосский, 1991, с. 40–41].

* * *

Мы рассмотрели в данной работе только самые общие вопросы, встающие в связи с разработкой лингвистических технологий трансферизации гуманитарного знания. Многие вопросы не были даже упомянуты. Систематическое изучение данной темы в аспекте генерирования лингвистических технологий только начинается.

Успешная разработка всякого рода технологий опирается на достаточно глубоко отрефлектированную в прагматическом ключе теоретическую основу. В случае гуманитарных технологий в области трансферизации знания ситуация разработки таких технологий затрудняется недостаточно полным теоретическим осмыслением данной темы. Исследование процессов смысловых модификаций при трансферизации знания поднимает вопрос о необходимости создания отдельных дисциплин и направлений по изучению данной темы. И прежде всего отдельного направления (дисциплины) – «трансферологии», формируемой на стыке научной эпистемологии и культурологии.

Многие из ее топиков рассматриваются историками культуры и философами при изучении историко-культурных процессов. Так, П.П. Гайденко задается вопросом о том, «через какие каналы происходит взаимодействие науки с другими сферами культурной жизни общества» [Гайденко, 1982, с. 61]. А также поднимает вопрос о «трансформациях определенной научной программы при переходе ее из одной культуры в другую» [там же, с. 66].

Изучение темы трансферологии знания вносит свой вклад также в формирование одного из важнейших направлений гуманитарной мысли – «идеографии», или изучения жизни идей. Одним из разделов данной дисциплины могла стать «идеографическая компаративистика», направленная на сравнительный анализ различных мировоззрений и типов ментальностей¹.

Список литературы

- Аверинцев С.С.* Поэтика ранневизантийской литературы. – М.: Coda, 1997. – 343 с.
Аристотель. Метафизика / Перевод А.В. Кубицкого. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 608 с.
Баженов Л.Б. Строение и функции естественно-научной теории. – М., 1978. – 232 с.

¹ О соотношении теории культурного трансфера и компаративистики в гуманитарном познании см. в работе Е. Дмитриевой: [Дмитриева, 2011].

- Булгаков С., *прот.* Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования). – М.: Отрада и утешение, 1991. – 352 с.
- Булгаков С., *прот.* Философия имени. – СПб.: Наука, 1998. – 448 с.
- Гайденко П.П. Культурно-исторический аспект эволюции науки // Методологические проблемы историко-научных исследований. – М.: Наука, 1982. – С. 58–74.
- Генисаретский О.И. Навигатор: методологические расширения и продолжения. – М.: Путь, 2002. – 528 с.
- Геронимус А., *прот.* Рождение от Духа. Что значит жить в православном Предании. – М.: Никея, 2014. – 486 с.
- Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – 400 с.
- Давыденков О., иерей. Велия благочестия тайна: Бог явися во плоти. – М.: Изд-во Свято-Тихоновского Богословского института, 2002. – 183 с.
- Дмитриева Е. Теория культурного трансфера и компаративный метод в гуманитарных исследованиях: оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы. – М., 2011. – № 4. – С. 302–313.
- Камалдинова Э.Ш., Кузнецова Т.Ф. Гуманитарное знание в XXI веке: Рецензия на книгу: Гуманитарное знание: тенденции развития в XXI веке: В честь 70-летия Игоря Михайловича Ильинского / Под общ. ред. Вал. А. Лукова. – М.: Изд-во Науч. ин-та бизнеса, 2006. – 680 с. // Знание. Понимание. Умение. – М., 2007. – Вып. 21. – С. 233–235.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. – 261 с.
- Карпов Л.Н. Методологические аспекты структурной лингвистики // НДВШ. Философ. науки. – М., 1976. – № 6.
- Касавин И.Т. Знание // Новая философская энциклопедия / Под ред. В.С. Степина: В 4 т. – М.: Мысль, 2001. – Т. 2. – С. 51–52.
- Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. – М.: Гардарики, 1998. – 781 с.
- Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. – М.: Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. – 245 с.
- Лосев А. Ф. Языковая структура. – М.: Московский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина, 1983. – 375 с.
- Лосев А. Ф. В поисках построения общего языкознания как диалектической системы // Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. – М.: Наука, 1989. – С. 5–92.
- Лосев А. Ф. Хаос и структура. – М.: Мысль, 1997. – 831 с.
- Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. – М.: Центр «СЭН», 1991. – 288 с.
- Луков Вал.А., Луков Вл.А. Высшее образование и интеграция гуманитарного знания: тезаурусный подход // Тезаурусный анализ мировой культуры: сб. науч. трудов / Под ред. Вл.А. Лукова. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. – Вып. 20. – С. 3–12.
- Маритен Ж. Знание и мудрость. – М.: Научный мир, 1999. – 224 с.
- Медведев В.И. Философия языка. Очерки истории. – СПб.: Издательство РХГА, 2012. – 336 с.
- Семенов В.С. Проблемы интерпретации брахманической прозы (ритуальный символизм). – М.: Наука (ГРВЛ), 1981. – 184 с.
- Степанов Ю.С. Протей: Очерк хаотической эволюции. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 264 с.
- Степанов Ю.[С.]. Мыслящий тростник. Книга о «Воображаемой словесности». – Калуга: Эйдос, 2010. – 168 с.
- Философский энциклопедический словарь. – М.: «Советская энциклопедия», 1983. – 840 с.
- Флоренский П.А. [Сочинения]. – М.: Правда, 1990. – Т. 2: У водоразделов мысли. – 448 с.
- Франк-Каменецкий И.Г. К вопросу о развитии поэтической метафоры // Аверинцев С.С., Франк-Каменецкий И.Г., Фрейденберг О.М. От слова к смыслу: Проблемы тропогенеза. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 28–80.

- Фрумкина Р.М.* Лингвистическая гипотеза и эксперимент // Гипотеза в современной лингвистике. – М.: Наука, 1980. – С. 198–204.
- Фрумкина Р.М.* Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца 20 века. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. – С. 74–117.
- Шаумян С.К.* Диалектические идеи А.Ф. Лосева в лингвистике // Лосевские чтения: Образ мира – структура и целое. Философский журнал «Логос». – М., 1999. – № 3. – С. 334–378.
- Щедровицкий Г.П.* Синтез знаний: проблемы и методы // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – М.: Школа культурной политики, 1995. – С. 634–666.
- Щедровицкий Г.П.* Проблемы и проблематизация в контексте программирования процессов решения задач // Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. – М.: Школа культурной политики, 1997. – С. 424–471.

С.Т. Золян

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОДА КАК ПРОЕКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ ТЕКСТА

1

Теория перевода – когда осознанно, когда нет – неизбежно основывается на некоторой лингвистической теории. Характер этой теории предопределяет подходы, согласно которым будет описываться и оцениваться практика перевода. При этом многоаспектность процесса перевода – с одной стороны, и многообразие и разнородность различных типов и стратегий перевода – с другой, делают необходимым их описание посредством взаимодополняющих, но не сводимых одна к другой теорий, основанных на альтернативных, принципиально различных подходах. Одни и те же феномены будут по-разному описываться в теориях, основанных на различных принципах (нестрогих или интуитивных аксиоматиках): описываемое как отклонение в одной теории предстанет как базисное в другой, не говоря уже о возможности описания феноменов, не объяснимых посредством других теорий.

В свое время так формулировал проблему Фридрих Шлейермахер. Выделяя два основных типа перевода¹, он говорил о принципиальной невозможности сведения их к единой теории:

«О каких бы методах перевода ни шла речь – о формальном или содержательном, о точном или изящном, все неизбежно сводится к двум вышеупомянутым; что касается их достоинств и недостатков, то точность и передача смысла, буквализм и полная свобода в рамках одного

¹ «Либо переводчик оставляет в покое писателя и заставляет читателя двигаться к нему навстречу, либо оставляет в покое читателя, и тогда идти навстречу приходится писателю. Оба пути совершенно различны, следовать можно только одним из них, всячески избегая их смешения, в противном случае результат может оказаться плачевным: писатель и читатель могут вообще не встретиться» [Шлейермахер, 2000, с. 32].

метода будут пониматься совершенно иначе, чем в рамках другого» [Шлейермахер, 2000, с. 32–33].

При подобной разнородности критериев место некоторой общей теории может занять нечто вроде практического руководства:

«Для ясности каждый из методов перевода можно было бы снабдить сводом правил и корпусом наиболее удачных образцов, которые можно было бы сравнить и оценить» [там же].

В XX в. эта идея возродилась, но уже в совсем иной философской традиции и без какого-либо упоминания Шлейермахера: она получила широкую известность как принцип неопределенности (indeterminacy) перевода Уилларда Куайна: различные теории («руководства») могут адекватно описывать речевую деятельность, но будут не совместимы друг с другом – приемлемый, согласно одной теории, перевод может быть не эквивалентен другому, приемлемому уже в рамках другой теории:

«Руководства для перевода с одного языка на другой могут быть составлены различными способами; все они могут быть совместимы со всей совокупностью речевых диспозиций, но в то же время не совместимы друг с другом. В бесчисленном множестве случаев они будут различаться в том, что они предлагают в качестве соответствующих переводов предложений одного языка предложения другого языка, которые не находятся одно к другому в отношении какой-либо удовлетворительной эквивалентности» [Куайн, 2000, с. 44].

Подобная ситуация может привести к идее заменить теорию перевода ее эмпирическим аналогом: «руководством» или «пособием», что и было предложено одним из наиболее авторитетных исследователей в данной области:

«Вместо разговоров о различных теориях перевода, следует говорить скорее о различных подходах к задачам перевода, различных ориентациях, приводящих к полезным результатам, и различных способах рассмотрения того, как сообщение может быть передано с одного языка на другой» [Nida, 1991, с. 21].

Тем не менее возможен и иной подход, при котором именно это теоретическое и практическое разнообразие и несопоставимость становятся той подлежащей описанию и объяснению основной проблемой теории перевода. В таком случае не надо пытаться создать некоторую типологию переводов в рамках единой теории, которая при этом неизбежно будет распадаться на крайне слабо связанные друг с другом разнородные автономные теории (теория художественного перевода, технического, синхронного и т.п.). Можно исходить из того, что существуют различные взаимодополняющие лингвистические теории, основанные на различных лингвистических постулатах и ориентированные на описание определенных типов перевода. Тогда исходной задачей будет соотнесение и оценка соответствия аксиоматики той или иной теории характеру того или иного типа перевода.

Так, в данной заметке мы попытаемся показать, что большая часть из существующих теорий перевода основана на некоторых фундаментальных предпосылках, которые условно можно назвать словоцентричными (сам термин был предложен в: [Алпатов, 1982]). Такой подход ориентирован на тот тип перевода, при котором основной задачей является точное воспроизведение лексических значений и их упорядочение посредством аналогичной синтаксической структуры. Уже применительно к теории значения и референции такой подход наталкивается на давно указанные фундаментальные проблемы, не имеющие в рамках данной теории удовлетворительного решения (вспомним придуманное Уиллардом Куайном знаменитое «гавагаи», когда невозможно определить, обозначает ли это слово кролика или нечто иное, связанное с кроликом)¹.

Попытаемся сформулировать основные догмы словоцентричного подхода и рассмотреть перспективы новой теории, открывающиеся при выдвижении их альтернатив. Как нам представляется, большинство семантических теорий, как в лингвистике, так и в философии языка и логической семантике, основываются на трех постулатах:

- 1) слово имеет значение;
- 2) говорящий знает значение слов;
- 3) знание языка есть знание значений слов и (грамматических) правил их употребления.

Все эти теории исходят из того, что слово обладает смыслом и значением независимо от контекста. В качестве сферы, где возможны отклонения, признается поэтическая семантика, в которой под влиянием текстуальных, интертекстуальных и контекстуальных отношений происходит трансформация естественных значений слова.

Этим постулатам следует и теория перевода. Дело представляется так, как если бы слово имело набор закрепленных за ним значений и говорящий (автор) производил бы адекватный выбор из данной ему парадигмы. Переводчик должен, исходя из текста, найти это значение и привести ему в соответствие лексическую единицу из словаря языка перевода.

Но возможен и противоположный подход – при котором нормальной характеристикой системы будет именно то, что признается как характеристика поэтического языка, а частным (вырожденным) случаем – то, что имеет место при так называемом «обычном» употреблении языка. В таком случае ситуация, когда «говорящий не знает языка, на котором говорит»²,

¹Заметим, что намного раньше эта умоглядная ситуация была описана Брониславом Малиновским: на практических примерах он продемонстрировал невозможность основанного исключительно на лексических соответствиях адекватного перевода в иной социокультурной среде и необходимость учета контекстуальных факторов [Malinovsky, 1923].

²«В глоссолалии самое поразительное, что говорящий не знает языка, на котором говорит. Он говорит на совершенно неизвестном языке. И всем, и ему кажется, что он говорит по-гречески или по-халдейски» [Мандельштам, 1987, с. 43].

будет характеристикой не только такого экзотического явления, как глоссолалия, но и речевой деятельности в целом¹.

Если основанные на вышеприведенных постулатах теории являются «словоцентричными», то альтернативные им семантические теории можно назвать «текстоцентричными» или контекстно зависимыми. Они будут исходить из того, что:

1) слово не имеет фиксированных и не зависимых от контекста значений;

2) соответственно, говорящий не может знать значения слова (раз его нет в языке);

3) соответственно, знание языка не есть знание значений слов и (грамматических) правил их употребления.

Безусловно, это негативные характеристики, которые должны быть дополнены позитивными – как слово «приобретает» значение, или, точнее, каким образом слово начинает соотноситься с внутриязыковыми смыслами и – посредством этих смыслов – с экстралингвистическими значениями. Хотя подобных законченных теорий на сегодняшний день не существует, но их принципы были провозглашены еще в первой трети XX в.: в философии языка – это Людвиг Витгенштейн, в лингвистике – Луи Ельмслев, в поэтике – Осип Мандельштам (подробнее см в: [Золян, 2013; 2015]).

При таком понимании слово не может обладать фиксированным и не зависящим от контекста смыслом. Соответственно, говорящий не в состоянии знать смыслы употребляемых им слов. Однако есть разница между отсутствием «представления о том, как и что означает каждое слово» в родном языке и «не-знанием» лексики неизвестного говорящему языка. Естественно, что на незнакомом языке он не будет в состоянии выразить какой-либо смысл, даже если механически запомнит словник данного языка.

Предлагаемый подход позволяет решить эту дилемму. Если понимать смысл как функцию от текста и контекста, то знать смысл слова – это знать, какой смысл может выражать слово в том или ином контексте. Поскольку знание всех контекстов доступно лишь вечному и всеведущему существу, то полное знание контекстов и, соответственно, всех возможных смыслов оказывается для говорящего недостижимым. Поэтому для говорящего знать смысл слова – это уметь вычислить его смысл как функции в некотором множестве контекстов: начиная от нормативного и заканчивая новаторским. Тем самым на весь лексикон переносятся принципы описания индексальной (дейктической) семантики.

¹ Ср.: «Человек обладает способностью строить язык, в котором можно выразить любой смысл, не имея представления о том, как и что означает каждое слово» [Витгенштейн, 1958, 4.002].

2

Альтернативная словоцентричной теории требует не только переосмотра вышеприведенных постулатов, но, прежде всего, понимания текста как динамического объекта. Как то предлагал Ю.М. Лотман еще в 1980-е годы [Лотман, 1981], текст необходимо рассматривать динамически, в процессе его порождения и функционирования, это не контейнер для «готовых» смыслов, а их «генератор». Следует учесть, что как при порождении текста, так и при его интерпретации оказываются задействованными несколько семиотических систем, и их смысловое взаимодействие приводит к динамическим смысловым трансформациям уже на уровне сублексических структур (так, в поэтическом тексте уже даже звуки могут непосредственно соотноситься со смыслами – так называемый звукосимволизм).

Тем самым исходный объект текстоцентричной семиотики и лингвистики – это текст, но изучаемый «не в себе и для себя», а как целокупность его многомерной гетерогенной смысловой структуры, множественности языков порождения и интерпретации, а также и контекстно обусловленных коммуникативных характеристик. Единицы языка будут в таком случае определяться не столько посредством их внутрисистемных синтагматических и парадигматических отношений, а относительно их функции в организации текста и его возможных приложений (интерпретаций). Текст выступает и как структура, и как операция (действие), а языковая деятельность – как многомерная актуализация и тем самым текстуализация языковых структур в процессе коммуникации.

При таком подходе исходными оказываются не слова, из которых потом составляются тексты, а напротив – как коммуникативная единица выступает текст, в котором слово наделяется смыслом исходя из его не только внутрисистемных, но и интертекстуальных, и контекстуальных характеристик. Учитывая, что последние не могут быть стабильными¹, семантика текста тоже обречена на постоянные изменения. Знаковая форма текста не меняется, что создает иллюзию его тождественности самому себе, однако смысл под воздействием новых интертекстов и контекстов подвержен постоянному изменению. Остановка этого процесса знаменует смерть текста или его мумификацию в виде памятника истории языка или литературы. В этом отношении перевод оказывается наиболее адекватной

¹ Фиксация подобных характеристик достигается особыми средствами – как, например, особые правила толкования и перевода юридических актов, международных договоров, сакральных текстов и т.д., – когда необходимо сохранить неизменной «первозданную» (т.е. зафиксировать контекст и интертекст в момент создания) семантику текста. С другой стороны, полноценное (т.е. не ограниченное только той или иной социолингвистической сферой) функционирование текста нейтрализует подобные ограничения – так, например, в американской культуре «Декларация независимости» напоминает скорее художественный текст, и она, порождая новые значения, в этом смысле становится неперево-димой.

формой существования текста – он откликается на процесс семантических изменений и влечет за собой и изменение знаковой формы текста.

Если исходить из того, что семантика текста – динамическая, изменяющаяся в зависимости от контекста многомерная структура, то переводом-эквивалентом может стать зафиксированное на другом языке множество отображений этой структуры. Как нам представляется, этот основной принцип контекстно-зависимой семантики применительно к переводу можно выразить как «протеизм» – для семантического «протеизма» оригинала адекватной передачей станет «протеизм» множественного (многовариантного) текста-перевода. Как выразил этот принцип в стихотворении «Переводчику» (1904) Вячеслав Иванов – «С Протеем будь Протей!»

4

Текстоцентричная (или контекстно зависимая семантика) может описать те явления, которые в практике перевода хорошо известны, но в теории пока не получили адекватного методологического освещения. Возникающие при переводе практические задачи и их решения подводят к необходимости учета контекстной зависимости лексических единиц. Помимо конкретных задач применение текстоцентричной теории языка поможет дополнить существующие словоцентричные переводоведческие теории, что требует дальнейшей проработки. Здесь же в общих чертах обрисуем то, как текстоцентричный подход помогает решить (или снять) две «неразрешимые» проблемы теории перевода: это критерии «лучшего» перевода и «непереводимости».

4.1

Так, при текстоцентричном подходе теряет свою драматическую значимость извечный вопрос о непереводимости поэзии. Поскольку любой текст есть порождение как минимум нескольких кодов (знаковых систем), то непереводимость есть свойство самого текста, связанное с его способностью приобретать новые значения и «лишь» наглядно проявляемое при переводе. Не вдаваясь в детальное обсуждение, приведем сделанное Ю.М. Лотманом заключение:

«Комбинация переводимости – непереводимости (с разной степенью того и другого) определяет креативную функцию. Поскольку смыслом в данном случае оказывается не только тот инвариантный остаток, который сохраняется при разнообразных трансформационных операциях, но и то, что при этом изменяется, мы можем констатировать приращение смысла текста в процессе этих трансформаций» [Лотман, 2000, с. 159].

Простым доказательством этого служит неэквивалентность обратного перевода, в том числе и внутриязыкового перифразирования. В случае текста перестают строго выполняться правила симметричности, транзитивности и даже рефлексивности¹: текст в различных контекстах перестает быть тождественен самому себе, обратный перевод приводит к другому тексту, и уж тем более перевод перевода не есть перевод исходного. С другой стороны, эти отношения тем не менее в определенной мере наличествуют: так, можно говорить об одном и том же тексте в различных контекстах, обратный перевод может выражать то же содержание, что и исходный, а достаточно часто перевод осуществляется не с оригинала, а с его перевода (вспомним существовавшую практику перевода литературы народов СССР с русского) или же подстрочника. Тем самым вместо проблемы переводимости / непереводимости имеет смысл рассматривать, говоря словами Ю.М. Лотмана, «комбинацию переводимости / непереводимости», или, точнее, различные комбинации или пропорции этих факторов, что, кстати, куда привычнее для переводоведческой и переводческой практики. Любой текст переводим и непереводим в зависимости от комбинации этих факторов, от степени поликодовости данного текста. Как семантическая величина, он существует как множество связанных отношением фамильного сходства вариантов: поскольку изменчив и сам исходный текст, то множество вариантов-преобразований может и не иметь инварианта. Проекцией «непереводимости / переводимости» станет множество выводимых друг из друга вариантов, в которых различными способами и в различной степени сохранено это соотношение. При этом, в соответствии с принципом фамильного сходства (по Л. Витгенштейну), любой вариант выводим из какого-либо другого, в том числе исходного, но может не быть такого, из которого выводим любой вариант (поэтому два произвольно взятых варианта могут оказаться невыводимыми друг из друга). Преобразование текста, сохраняя некоторые релевантные признаки текста, неизбежно видоизменяет другие, поэтому Роман Якобсон даже предлагал отказаться от термина «перевод» и использовать термин «транспозиция». Понятие выводимости представляется нам более удачным воспроизведением комплексного явления переводимости / переводимости, тем более что оно позволяет сравнивать различные варианты (количество операций, необходимых для преобразования одного варианта в другой).

Будучи характеристикой, вытекающей из поликодового характера текста, «непереводимость» может быть эксплицирована посредством множества переводов, каждый из которых ориентирован на преимущественную передачу того или иного кода. Это объясняет наличие множества переводов одного и того же произведения – их совокупность есть попытка

¹ Напомним: математически эквивалентность определяется как отношение рефлексивности, симметричности и транзитивности.

не только «исчерпать» неперевоодимость оригинала, но и вывести из него новые смыслы.

Как пример взаимосуществования различных, не отменяющих друг друга преобразований приведем судьбу четверостишия Ованеса Туманяна в русской литературе («Во сне овца ко мне пришла»), где оно существует в восьми переводах, как предельно точных, так и весьма вольных. Однако его наиболее известная репрезентация – считающееся оригинальным стихотворение «Подражание армянскому» («Я приснюсь тебе черной овцою») Анны Ахматовой¹.

4.2

Одним из следствий текстоцентричной семантики применительно к переводу будет хорошо согласующееся с практикой положение о том, что нет и не может быть «наилучшего» перевода. Но то, насколько правомерно подобная постановка вопроса, будет зависеть от того, что мы понимаем под переводом и каковы критерии его оценки. Если перевод – это соотношение синтаксически упорядоченных лексических единиц одного языка с лексическими единицами другого языка и их аналогичное синтаксическое оформление – то при таком подходе «лучшим» переводом будет наиболее точный. Такая оценка допускает количественное выражение, что было предложено в свое время М.Л. Гаспаровым [Гаспаров, 1983; 2001]. Вместе с тем, как отмечалось самим М.Л. Гаспаровым, такая оценка не может претендовать на то, чтобы быть критерием художественности перевода, – она характеризует лишь один из аспектов отношения между оригиналом и переводом. Заметим, что точного совпадения, в силу многозначности, не может быть даже между оригиналом и подстрочником (не случайно, что подобная методика лучше работает при сравнении перевода и подстрочника). Другой подход, в духе романтической герменевтики, исходит из того, что лучшим переводом будет тот, который наилучшим образом передает авторскую интенцию, «дух» оригинала. Но тут возникает вопрос, который подрывает саму основу такого подхода: а знал ли сам автор, что он имел в виду? В свое время Лев Толстой так ответил подобным «фельетонистам» от герменевтики:

«И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить qu'ils en savent plus long que moi (Что они знают об этом больше меня. – С. 3.)» [Толстой, 1984, с. 785].

Для самого Толстого интерпретация, авторский замысел и сам текст романа и его структура оказывались чем-то единым. Что касается моди-

¹ Подробнее о соотношении всех этих текстов см. в: [Zolian, 1985], дополненный вариант в: [Золян, 2014].

фикации тезиса (*понять автора лучше, чем он сам*), то его вразумительная экспликация обязательно приводит к некоторой новой стратегии (процедуре) прочтения текста (а может быть, даже и к его деконструкции).

Вопрос: почему нет и не может быть лучшего перевода? – можно поставить и по-другому. Предположим, лучший перевод возможен – то ли как максимальное приближение к оригиналу, то ли как выдающееся произведение на данном языке, в то же время являющееся переводом иноязычного текста, то ли в каком-либо ином смысле. Тогда оказывается непонятным – почему у наиболее известных произведений мировой литературы существует такое множество вариантов перевода, почему наличие всеми признаваемого как эталон переводческого мастерства перевода не препятствует появлению новых. Вопрос аналогичен такому: почему у признанных классическими произведений постоянно возникают новые интерпретации?

В обоих случаях ответ можно найти только в том случае, если будем рассматривать текст как динамический объект. Если исходить из словоцентричной теории, то возможен лучший (или самый точный) перевод: если переводчик «точно» воссоздал смыслы лексических единиц оригинала и – даже более строгое требование – именно тот смысл, который имел в виду автор. Согласно текстоцентричной теории, автор не может знать точного значения слова – поскольку оно может приобрести значение только после того, как будет создан текст, и уже внутри этого текста слово приобретет значение. Соответственно, даже самый проникательный переводчик не может знать, что мог иметь в виду говорящий, поскольку сам автор не обладал этим знанием. Если же слово не имеет фиксированного значения, то оно, находясь внутри оказывающего в различных контекстах целого, обречено на вечные изменения, и даже сам Господь не может знать значение слова, если оно не имеет значения. Он может созерцать или создать множество возможных контекстов для употребления данного слова (подобно тому как Бог в философских построениях Лейбница в состоянии созерцать все возможные миры, перед тем как создать лучший из возможных). Соответственно, будучи всеведущим и совершенным, Бог в состоянии проследить изменение семантики слова в различных контекстах и из множества возможных найти наилучший и воссоздать его на разных языках. Но переводчик этого лишен – и всеведения, и совершенства. Тем самым переводчик и автор оказываются равноправны перед лицом текста. (Правда, некоторые теории приписывают эти божественные атрибуты автору.)

Однако сам текст не есть статичная величина. До этого мы говорили о контексте, имея в виду лексическое окружение языковой единицы. Но текст может существовать, только будучи помещен в куда более широкий контекст – коммуникативный, социокультурный и т.п. Этот внешний контекст воздействует и на внутренний. Семантическое воздействие этих факторов автор предугадать не в состоянии. («Нам не дано предугадать, Как наше слово отзовется» (Е. Баратынский).) И если в родной для автора

языковой среде текст при смысловых изменениях сохраняет формальную идентичность, то в иноязычной среде, подобно мифу в концепции К. Леви-Стросса, он существует и развивается только как множество вариантов. Изменяющаяся семантика текста в родной для автора языковой среде воплощается в различного рода метатекстах, тогда как в иноязычной – во множестве текстов-вариантов¹. Поскольку это множество открыто и всегда допускает возможность новых вариантов, то вопрос о наиболее совершенном переводе оказывается неуместным: переводом оказывается не один текст, а их множество. При этом эти варианты могут достаточно далеко отстоять друг от друга, создавая тем самым многомерное семантическое представление об оригинале. Томас Венцлова в изящной заметке о двух переводах Петрарки – Вячеслава Иванова и Осипа Мандельштама – показал, насколько могут отличаться переводы друг от друга, оставаясь при этом прекрасными стихами и переводами [Венцлова, 1997]. Это есть отражение того факта, что в культурно-литературном пространстве не сводимые друг другу переводы, если они удовлетворяют некоторым эстетическим критериям, не отменяют друг друга.

5

Заключая, заметим следующее. Использование принципиально различающихся лингвистических теорий приводит к различающимся и не сводимым друг другу теориям перевода. Так, словоцентричная теория не оставляет места для такого понятия, как «непереводимость», и в то же утверждает возможность (хотя бы как идеал) «наилучшего» перевода. Обратная ситуация возникает при использовании текстоцентричной теории: комплекс «переводимость / непереводимость» есть характеристика любого текста, которая эксплицируется как множество выводимых один из другого вариантов. Текст отображается как множество взаимодополняющих переводов, каждый из которых удовлетворяет некоторым, различающимся друг от друга критериям приемлемости (переходя к эстетическим категориям, назовем это «степенью совершенства»).

Такие характеристики в той или иной степени присущи не только поэтическому, но и любому типу перевода, но при поэтическом переводе они оказываются особо наглядными в силу специфики поэтических текстов и его восприятия, что и подлежит экспликации посредством тексто-

¹ Я.М. Колкер выдвигает и более сильное условие – не только возможности, но и необходимости новых переводов: «Учитывая тот факт что любой перевод является еще одной трактовкой оригинала, при создании новой трактовки следует принимать во внимание не только и даже не столько исторические условия, сколько роль оригинала в современной культуре страны данного языка и отношение современного образованного читателя к произведению и его автору» [Колкер, 2008, с. 50].

центричных теорий перевода. Но что примечательно – к аналогичным выводам можно прийти и путем логико-семантического анализа обычной коммуникации. В этом смысле поэзия и логика совпадают по конечным результатам.

Вновь вспомним теорию неопределенности перевода У. Куайна: одним из ее следствий было то, что ввиду несовместимости («не-эквивалентности») получаемых в соответствии с различными «руководствами» переводов мы оказываемся не в состоянии указать, какой именно из переводов следует выбрать (какой из них лучший). Впоследствии (1987) Куайн счел необходимым уточнить: отсутствие перевода, признаваемого всеми теориями в качестве приемлемого, не есть свидетельство того, что такового не существует. Наоборот:

«Критика значения, заданная моим тезисом о неопределенности перевода, направлена против неверных взглядов, но она не приводит к нигилизму. Переводы продолжают существовать и не перестают быть необходимыми. Неопределенность означает не невозможность приемлемого перевода, а возможность множества таковых» [Куайн, 2002, с. 45].

Соответственно, это свидетельствует не только о приемлемости различающихся переводов, но и о неизбежности появления различных теорий, описывающих варьирующиеся характеристики и условия приемлемости и переводимости / непереводимости.

Список литературы

- Алпатов В.М. О двух подходах к выделению единиц языка // Вопросы языкознания. – М., 1982. – № 6. – С. 66–73.
- Венцлова Т. Вячеслав Иванов и Осип Манделъштам – переводчики Петрарки // Томас Венцлова. «Собеседники на пиру». – Vilnius: Baltos lankos, 1997. – С. 168–183.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М.: Изд. иностранной литературы, 1958. – 131 с.
- Гаспаров М.Л. Брюсов и подстрочник // Брюсовские чтения 1980. – Ереван: Айастан, 1983. – С. 173–184.
- Гаспаров М.Л. Подстрочник и мера точности // Гаспаров М.Л. О русской поэзии. Анализ. Интерпретации. Характеристики. – СПб.: Азбука, 2001. – С. 361–372.
- Золян С.Т. Текстцентричная семантика и теория перевода // Иностранные языки в высшей школе. – Рязань, 2013. – Вып. 2 (25). – С. 11–18.
- Золян С.Т. Перевод или цитация? Акмеистическое подражание как тип текста // Золян С.Т. Семантика и структура поэтического текста. – 2-е изд. переработанное и дополненное. – М.: URSS, 2014. – С. 187–194.
- Золян С.Т. О формальном аппарате контекстно-зависимой композиционной семантики // Иностранные языки в высшей школе. – Рязань, 2015. – Вып. 2 (33). – С. 3–19.
- Колкер Я.М. Роль вертикальной и горизонтальной составляющей в межкультурной коммуникации при переводе поэзии // Перевод как гравитационное поле взаимопроникновения культур. – Ереван: Лингва, 2008. – С. 48–50.
- Куайн Уиллард. Слово и объект. – М.: Логос, Праксис, 2000. – 386 с.
- Куайн Уиллард. Еще раз о неопределенности перевода // Логос. – М., 2005. – № 47. – С. 43–45.

- Лотман Ю.М.* Семиотика культуры и понятие текста // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. – Тарту, 1981. – Вып. 515. – С. 8–28.
- Лотман Ю.М.* Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000. – 704 с.
- Мандельштам О.Э.* Слово и культура // Мандельштам О.Э. Слово и культура: Статьи. – М.: Советский писатель, 1987. – С. 39–43.
- Толстой Лев.* Письмо к Н.Н. Страхову (Ясная Поляна, 1876, апрель, 23 и 26) // Л.Н. Толстой. Собр. соч. в 22 т. – М.: Художественная литература, 1984. – Т. 18. – С. 784–785.
- Шлейермахер Ф.* О разных методах перевода: Лекция, прочитанная 24 июня 1813 г. // Вестник МГУ. Сер. 9.: Филология. – М., 2000. – № 2. – С. 127–145.
- Malinowski B.* The problem of meaning in primitive languages // Ogden C.K., Richards I.A. The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism. – Cambridge: Magdalene College, University of Cambridge, 1923. – P. 296–337.
- Nida Eugene A.* Theories of translation // TTR: traduction, terminologie, redaction. – Québec: Association canadienne de traductologie, 1991. – Vol. 4, N 1. – P. 19–32.
- Zoljan S.* Akmeisticka imitacija kak posoban tip teksta // Knizevna smotra, XVIII. – Zagreb, 1984. – Broj 57. – P. 124–130.

ВЛАСТЬ СМЫСЛА

Ли Ю.

ОБЩАЯ СЕМИОТИКА КАК СТРАТЕГИЯ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК: ОБЩАЯ СЕМИОТИКА ПРОТИВ ФИЛОСОФСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА (Реферат)

Li Y.

**General Semiotics (GS) as the all-round interdisciplinary organizer:
GS versus philosophical fundamentalism // Semiotica. – La Haye, 2015. –
Vol. 2016, Issue 208. – P. 35–47.**

Работа «Общая семиотика как стратегия по междисциплинарной организации общественных наук: общая семиотика против философского фундаментализма» профессора Ли Ючжэна (Li Youzheng), вице-президента Международной ассоциации семиотических исследований (IASS), была опубликована в журнале «Semiotica» в 2016 г.

В данной работе профессор Ли затрагивает ряд тем, касающихся особенностей, роли и перспектив семиотики. Он определяет общую семиотику как функциональную стратегию по созданию комплексной междисциплинарной теории. Профессор подчеркивает, что общая семиотика определяется не только как междисциплинарная наука, но и как набор прикладных функциональных методов, свободный от «фундаменталистских» философских доктрин. «Междисциплинарная сущность семиотической теории противоположна любому типу философского фундаментализма, и прикладная семиотика также не нуждается в философском основании», – заявляет Ли (с. 35).

Современная семиотика, по его мнению, сталкивается с серьезными вызовами. Из-за коммерциализации академической системы профессиональный успех ставится выше научной истины в научных исследованиях. Нигилистическая онтологическая риторика используется для нивелирования тенденции проведения междисциплинарных исследований в гумани-

тарных науках. Отсутствуют связи между западными и восточными социальными науками, что проблематизирует осуществление глобальной миссии семиотики. Набирает обороты процесс вульгаризация содержания, направления развития и практического применения семиотики в общественном дискурсе.

Исходя из существующих вызовов, перед которыми стоит современная семиотика, профессор Ли формулирует для нее новые задачи. Так, необходимо превратить гуманитарные науки в более «научные» дисциплины для решения проблемы конфликта между догмами и верой разных людей и традиций в мире. Это может быть достигнуто посредством исключения эпистемологического вмешательства философского фундаментализма в семиотику и будущее развитие гуманитарных наук. Для решения этих задач, по его мнению, необходимо создание нового представления об общей семиотике как о методе, позволяющем формировать эпистемологические модели для проведения междисциплинарных исследований в гуманитарных дисциплинах и теоретической семиотике. Хотя неэмпирические способы познания должны по-прежнему присутствовать в семиотике и социальных науках, они не должны оставаться теоретическим основанием последних.

Современное развитие семиотики, отмечает профессор, характеризуется расширением горизонта географически-исторически-культурной территории, увеличением теоретической базы благодаря развитию различных семиотических традиций, а также глубокой переоценке взаимодействия между обществом, культурой и знанием. Сегодня в гуманитарных науках существует необходимость в семиотике, но проблема заключается в том, что из-за профессионального протекционизма и научного консерватизма, основанного на разделении наук и соревновательном индивидуализме, более теоретически продуктивная концепция общей семиотики пока не стала общепризнанной.

В статье предлагается точка зрения, что на данный момент господствующее положение в гуманитарных науках занимает фундаменталистская философия, которая считается первоисточником всех видов человеческих знаний. Однако в силу естественной необходимости постепенного углубления рациональных практик в процессе эволюции происходит процесс отмежевания наук от их философского базиса. Это постепенное отмежевание привело в итоге к отделению наук от философии и появлению вне философии самостоятельных дисциплин, таких как логика и математика. Схожая тенденция сейчас проявляется в гуманитарных науках, хотя по-прежнему фундаменталистская философия является их основным содержанием. Именно поэтому семиотика может стать эпистемологическим и методологическим руководством в перестройке современных социальных и гуманитарных наук.

Однако, делает оговорку Ли, необходимо различать философию как хранилище определенных знаний и философию как фундаментализм с его исторически передаваемым идеологическим содержанием. «Философия,

особенно европейская континентальная философия в ее сегодняшнем состоянии, содержит элементы междисциплинарного научного подхода, тем самым фактически являясь сочетанием традиционной философии и современной науки» (с. 39). Философия как современная дисциплина должна, по мнению Ли, существовать для того, чтобы хранить ключевые идеи и знания, которые по-прежнему представляют интерес для научного сообщества. Вместе с тем необходимо избегать влияния фундаменталистской философии на семиотику, так как в случае если фундаменталистская философия продолжит оказывать воздействие на гуманитарные науки, внутри семиотики возникнет противоречие между междисциплинарной сущностью семиотики и общей семиотикой, базирующейся на определенной философской модели. Это, как полагает Ли Ючжэн, обусловлено усилившимся в последнее время процессом профессиональной конкуренции среди научного сообщества, что подталкивает ученых к поиску личной выгоды в исследованиях и попытке получить конкурентное преимущество в ходе исследования, используя методы фундаменталистской философии, благодаря чему удастся упростить процесс исследования, так как это избавляет исследователя от нужды осуществлять междисциплинарные исследования.

Семиотика, по мнению автора статьи, должна использоваться также для проектирования преобразований в гуманитарных науках, направленных на расширение горизонтальных междисциплинарных теоретических связей. При этом такие изменения должны происходить не на общетеоретическом уровне, а на структурно-функциональных уровнях между дисциплинами. Таким образом, в отличие от фундаменталистской философии, принцип, которому стремится следовать общая семиотика, заключается в том, что единственной концепцией унификации современных социальных наук может быть увеличение количества связей и углубление взаимодействия между различными дисциплинами, которое имеет эмпирически обоснованные результаты. Поэтому семиотика не должна быть дисциплиной в традиционном смысле, она должна развиваться вместе с перестройкой социальных наук, представив междисциплинарную стратегию, охватывающую все дисциплины гуманитарных наук.

Кроме того, в статье предлагается следующая точка зрения: общая семиотика может решить проблему структурного расхождения между западной и незападными культурно-историческими научными традициями, так как более развитая западная метафизика не может использоваться для исправления или модернизации незападной традиции на теоретическом уровне. Например, так называемая кросс-культурная семиотика является особым типом междисциплинарной семиотики, который требует от ученых при проведении исследования иметь знания о западной и восточной традициях одновременно. Более того, незападные научные традиции являются историческим материалом, который позволит семиотике расширять межкультурное развитие социальных наук.

Профессор Ли считает, что общая семиотика также должна осуществить анализ структуры и функции фундаменталистской философии посредством новых эпистемологических теорий из гуманитарных наук, так как философия по-прежнему является наиболее важным источником при проведении теоретических исследований в общественных науках. «Семиотика на общем и частном уровнях всегда нуждается в заимствовании методов у философии для увеличения своей теоретической базы» (с. 45). Это позволит семиотике увеличить качество теоретических и эмпирических исследований, способствуя прогрессу социальных наук в сторону расширения междисциплинарных связей. Для осуществления данной задачи профессор Ли предлагает создать проект, который позволит семиотике подробно изучить механизм и функции философского фундаментализма как дисциплины, концентрируясь на онтологии, метафизике и других теоретических направлениях.

В случае выполнения этих намеченных задач, как указывает Ли Ючжэн, общественные науки будут существенным образом перестроены – отход от фундаменталистской философии приведет к переходу человеческого знания в новое качество.

Н.А. Скляр

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПРАВОЧНИК ПО СЕМИОТИКЕ /

Под ред. П.П. Трифонаса.

(Реферат)

International handbook of semiotics / Ed. P.P. Trifonas. –

Dordrecht: Springer, 2015. – xv, 1308 p.

Ключевые слова: глобальная семиотика; метасемиотика; интерсемиотический перевод; трансфер знаний; мультимодальность; трансдисциплинарность; семиотический диалог.

Семиотика представлена как трансдисциплинарное учение, призванное исследовать не столько разнородную структуру отдельных семиосфер, сколько диалоговые формы между ними. Семиотические концепции начала XXI в. характеризуются разнообразием предметов и методов исследования, мультимодальной репрезентацией объектов анализа, общей тенденцией к установлению интерсемиотических переходов в целях расширения возможностей трансфера знаний в структуре глобальной семиотики. Современная семиотика (семиология) «объединяет множество эпистемологических схем¹, методов и концепций, на которых строится диалог ученых, работающих в различных направлениях» (с. 1).

Работа состоит из раздела «В защиту», восьми разделов с главами, представленных компендиумами исследований методологического и прикладного характера в рамках семиотических сфер: лингвосемиотики, медиасемиотики, биосемиотики, социосемиотики, киберсемиотики, когнитивной семиотики, семиотики образования.

В разделе «В защиту» представлены краткие аннотации редактора в отношении разделов и глав; при этом демонстрируется, что разнородные научные системы могут быть подвергнуты анализу на одних основаниях, семиотических, не только потому, что все системы имеют знаковый характер, но в силу того что они объединены общими законами функционирования семиотических систем как динамических образований.

¹ Под эпистемологическими схемами понимаются семиотические схемы формирования знания. – *Прим. реф.*

В разделе первом «Историко-методологические основания семиотики» рассматриваются общие проблемы современного мультипарадигмального семиотического знания: 1) проблема изучения семиотических систем как комплексных и динамических, интегрирующих все уровни семиотической репрезентации жизни: от биосемиотического и зоосемиотического до абстрактно-логического; 2) проблема разработки общих принципов трансфера знаний из одной семиотической системы в другую; 3) проблема интерпретации семиотических систем посредством анализа значения семиотических единиц и их места в системе.

В главе второй «Семиотика в современном мире: находки двадцатого века и перспективы века двадцать первого» Дж. Дили выявляет трансформации семиотического знания, которые произошли со времени появления в XX в. терминов «семиотика» (вслед за Ю.М. Лотманом, использующим термин Дж. Локка и Дж. Пуансо¹) и «семиология» (вслед за Ф. де Соссюром, который не был знаком с учениями Дж. Локка и Дж. Пуансо и, соответственно, с предложенным ими термином для обозначения науки о знаках); при этом основные трансформации знания связаны с выбором динамической концепции семиозиса Ч.С. Пирса в качестве ведущего семиотического учения и теории биосемиозиса Т.А. Себеока (испытывавшего влияние Р.О. Якобсона и Ч. Морриса), развивающей положения Пирса на расширенном семиотическом материале. Соссюрианская семиотическая модель (дихотомическая, включающая слово и образ) получила развитие в идеях Ю.М. Лотмана и других представителей отечественной (русской) семиотики о первичной и вторичной моделирующих системах (под которыми понимаются, соответственно, язык и мир), а также в концепциях А. Греймаса и Л. Ельмслева (в основу которых легло моделирование знака как двусторонней сущности, без учета динамизма пирсовской семиологии). Пирсовская модель семиологии развивалась в учениях Ч. Морриса, Р.О. Якобсона и позднее – Т.А. Себеока, при этом ее продвижению также способствовало то, что ее принципы соответствовали зарождающимся в философии того времени идеям прагматики. Дж. Дили полагает, что именно семиотические модели Т. Себеока способствовали превращению семиотики в «феномен глобального масштаба» (с. 43) в интеллектуальной культуре постмодернизма. Отмечается, что Себеок обратился к семиотическим идеям Пирса в результате толкования своих биологических наблюдений, предложив вначале термин «зоосемиотика» для обозначения процесса развития знака, который Пирс назвал семиозисом. Решающим фактором, определившим направления концепции Себеока, стали идеи Я. Фон Юкселя и Ю.М. Лотмана о «Umwelt / семиосфере», которую Се-

¹ Дж. Локк в работе «Опыты о человеческом разумении» [Locke, 2008] предлагает несуществующий, но производный по активным моделям в латинском языке термин «семиотика», употребляя его в значении «доктрина о знаках», исходно предложенном Дж. Пуансо. – *Прим. реф.*

беок был склонен считать первой моделирующей системой для развития всех живых существ, язык – второй, а третьей, сугубо человеческой, – культуру. Позже Себеок интегрировал в свою концепцию идеи М. Крампена о био- и фито-семиозисе. При этом основная идея семиозиса сформулирована именно Пирсом: «Знак сам по себе – двусторонняя сущность, но для сущности, которое делает знаки знаками, эта структура триадическая» (с. 48). Дж. Дили вслед за Ч.С. Пирсом считает, что семиотика должна сочетать методы наблюдения (*cenoscopic analysis*) и методы экспериментального анализа (*ideoscopic*) (с. 52). Взгляд, согласно которому вся вселенная описывается знаковыми отношениями, называется пансемиотикой (*pansemiotics*) или пансемиотизмом (*pansemiotism*), глобальный характер семиозиса связывается автором со становлением интеллектуальной традиции постмодернизма. Для данной эпохи характерен поворот от «описания знака с позиций его произвольного характера к экспериментальному и опытному изучению, которое бы учитывало то, что характер воздействия знака определяется положением идеи, воздействия, объекта в системе триадических отношений» (с. 57)¹. Автор с опорой на идеи Себеока высказывает мнение, что семиотика как глобальная наука «определяет путь развития природы, включая и те сферы, к которым человек не прикоснулся» (с. 59), тем самым он рассматривает семиотику как «интердисциплинарную и трансдисциплинарную науку» (с. 62). Трансдисциплинарность семиотики означает, что отношения и связи существуют не только в голове человека, но и «независимо от сознания» (*mind-independent*) (с. 62); они связывают все семиотические объекты, т.е. существуют объективно, при этом только люди имеют уникальные способности улавливать эти отношения.

Автор систематизирует взгляды на отношения между знаком, понятием и объектом в работах Аристотеля, Дж. Пуансо, У. Оккама, Ч. Огдена и А. Ричардса, делая выводы об отношениях трех компонентов знака: 1) отношения между словами и объектами условны; 2) отношения между объектами и понятиями (автор вслед за Т. Себеоком использует термин *passion*) иконичны; 3) отношения между понятиями и словами двунаправлены: симптоматичны (термин Себеока²) от слов к понятиям и символически от понятий к словам.

В главе третьей «Карты, диаграммы и знаки: значение зрительного опыта в семиотике Пирса» В. Кирющенко демонстрирует, как логико-семиотические взгляды Ч.С. Пирса формируются и трансформируются под влиянием его ранних математических и геодезических практик. Семиотическая динамическая концепция связи знака и значения, в основе

¹ Основы такого широкого понимания лежат в разграничении Интерпретатора и Интерпретанта, предложенном Пирсом. Интерпретанта не обязательно предполагает введение ментальной или концептуальной составляющей, она может быть прагматической или исходить из структуры объекта или структуры самой семиотической системы. – *Прим. ред.*

² Симптомы присутствия человеческой мысли (с. 84).

которой лежит введение третьего компонента Интерпретанты, находит более раннее обоснование в логико-методологической теории экзистенциальных графов (Existential graphs) как систем знания, упорядоченных в карты и диаграммы. Основное место отводится диаграммам, которые представляют собой визуальное (картиночное) отображение структурированного процесса мышления; сам Пирс их называет «движущимися картинками мысли» [Peirce, 1933, p. 6]. В качестве их характерных особенностей автор называет: 1) нелинейный характер трансформаций, представляющих логическую последовательность мыслительных операций; 2) отображение трансформаций, ограничивающихся поверхностными структурами; 3) наличие связей между знаками и объектами, которые переданы через визуальные изображения. Карты при этом используются как вспомогательное средство «для превращения трехмерных объектов в двухмерные диаграммы» (с. 122).

Визуальное и графическое отображение процесса мышления в связи с объектами в виде диаграмм, по мнению автора, помогло Ч.С. Пирсу сформулировать свою версию прагматизма, в основе которой лежат отношения мысли и действий, произведенных с объектами, что, в свою очередь, выражается в прагматическом значении знака. В число основных предпосылок формирования логико-прагматического видения Пирса автор включает: 1) фактор наследственности (отец Пирса, лектор Гарвардского университета, отличался редкой живостью и быстротой ума); 2) психофизиологический фактор (Пирс владел одинаково хорошо правой и левой руками); 3) фактор определяющей значимости предшествующего опыта (опыт знакомства с математическими теориями сложных систем К.Г. Шварца); 4) фактор наличия прикладной значимости (Пирс пытался применить разработанные семиотические принципы для нужд криминалистики).

В главе четвертой «Семиотика как интердисциплинарная наука» Яр Ньюман вслед за Дж. Дили рассматривает семиотику в метаперспективе. Семиотика представлена как наука наддисциплинарного характера с учетом ее метаметодологических положений, касающихся взаимодействия значения знака и значимости. Аналогично тому как метаэвристика признана базисом для кибернетики и кибернетических систем, метасемиотика является методологическим базисом для множества сближающихся наук. С опорой на оппозицию значения и значимости знака (предложенную Ф. де Соссюром) автор очерчивает границы феномена значимости в детерминировании значения знака в структуре ряда семиотических систем, описываемых разными научными дисциплинами: иммунологией (значимость определяется способностью иммунной системы распознавать свои и чужие клетки), индивидуальной и коллективной психологией (значимость событий определяется в зависимости от принадлежности к определенному коллективу), теорией коллективного разума (значимость инференциальной или выводной информации определяется способностью программы выра-

батывать такие знания, которые не могут быть получены человеческим коллективом).

В главе пятой «Семиотическая парадигма как компонент теоретической семиотики» Ч. Пирсон представляет модели абдукции (термин Ч.С. Пирса) как абстрагирования от структуры знака для универсализации семиотических законов интерпретации семиотической реальности. В главе систематизируются положения теории структуры универсального знака (Universal sign structure theory, USST), разработанные Американским семиотическим обществом (Semiotic society of America)¹. Автор отмечает, что хотя триадизм в динамической концепции Пирса получил только три варианта описания (в рамках феноменологии, метафизики и психологии), дальнейшие эмпирические исследования разных семиотических систем подтверждают универсальную сущность теории Пирса. В качестве основных принципов теории структуры универсального знака называются: 1) принцип репрезентации знака (в трех измерениях: синтактике, семантике и прагматике); 2) принцип внешнего и внутреннего баланса компонентов или измерений; 3) принцип компонентной структуры знака. Интерпретация значения знака определяется совокупностью правил или теорем. В результате интерпретационного анализа выводятся девять типов знаков, различающихся характером означиваемого объекта (абстрактный, конкретный, фактуальный, единичный, собирательный), типом связи между объектом и знаком (условная, мотивированная), отношениями между значением и объектом (отношения сходства и смежности). Выявленные типы знаков обнаруживаются при моделировании синтаксически организованных знаковых систем (в качестве примера рассматривается модель коммуникации К. Шеннона), прагматически ориентированных знаковых систем (примером служит прагматическое содержание религиозных обращений Св. Терезы), семантически организованных систем (примером является семантика перцепции). Автор указывает, что помимо отношений абдукции, знаковые системы организуются отношениями индукции, дедукции, аналогии, символической трансформации; с их помощью описываются все возможные типы взаимодействий знаков.

В главе шестой «Восприятие “чужого” и свободная непрямая речь в художественном дискурсе: Бахтин, Пазолини и Делез» О. Понцио и С. Петрилли рассматривают особенности реализации категории «свой – чужой» в формах косвенной речи (прямой, не прямой и «свободной не прямой»), при этом методологической основой анализа становится интеграция концепций внутреннего диалогизма текста М.М. Бахтина и внешнего диалогизма Пазолини и Ж. Делеза. Под свободной не прямой речью (free

¹ В качестве ключевых фигур общества, работающих над концепцией структуры универсального знака, называются В.Р. Гарнер (W.R. Garner), Ш. Зелвегер (Sh. Zellweger), Ю. Байер (E. Baer), Дж.С. Брунер (J.S. Bruner).

indirect speech), или внешним диалогизмом (вслед за Пазолини¹), понимается «столкновение и взаимодействие разных точек зрения в речи» (с. 181). Понятие внутреннего диалогизма, разработанное в литературной школе М.М. Бахтина, «обратно пропорционально внешнему диалогизму: чем больше внешнего диалога, формального, например диалога ролей в жанре драмы, тем меньше диалога в смысле Бахтина» (с. 182). Исследование проведено на материале текстов В.Н. Волошинова (фрагментов работы «Марксизм и философия языка»), М.М. Бахтина («Проблемы поэтики Достоевского»²), франкоязычных текстов Ж. Делеза («Кино I: образ-движение» и «Кино II: образ-время» [Deleuze, 1983; 1985]). Исследователи отмечают, что анализ особенностей диалогического текста осложняется отсутствием формального маркирования чужой речи, поэтому ее трудно отличить от проявлений встроенного дискурса (substituted discourse). Свободная непрямая речь звучит в виде чужих голосов А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского и его персонажей, О. де Бальзака, У. Шекспира (в текстах В.Н. Волошинова и М.М. Бахтина); Ч.С. Пирса, Н. Хомского, Аристотеля (в работах Ж. Делеза). Полифония текстов обеспечивается не оценкой чужого слова в отношении означиваемого им объекта, а диалогом слов, в ходе которого «слово встречается со словом и обращается к слову» (с. 196).

В главе седьмой «Ч.С. Пирс и интерсемиотический трансфер» Ж. Кейрос и Д. Агитар рассматривают вопросы междисциплинарных переходов. В интерсемиотическом плане развиваются идеи Р.О. Якобсона, ограничивающего переходы языковой системой. Интерсемиотический трансфер показан как «отношения внутри многоуровневых систем, где состав и отношения уровней управляются набором ограничений» (с. 203). Разные семиотические системы (например, литература, танец, язык) описываются одинаковой системой динамических отношений компонентов движения, организации пространства, выбора света, костюмов. В целом, в основе развиваемого подхода оказываются идеи семиозиса, но возможности интегративности различных семиотических сфер исследуются с опорой на исследования в области креативного трансфера У. Стеконни, С. Петрилли, О. Понцио, Г. Кампоса, Д. Горле³ и др. Авторы предпринимают попытку разработать функциональную модель переходов между поэтическим текстом и текстом танца. В основе модели оказываются три типа знаков (иконы, индексы и символы), которые в семиотической системе перевода (трансфера) должны получить соответствующую типу роль. Так, иконические односложные слова, оказывающиеся в акценте ритмико-

¹ Пазолини развивает литературно-философские идеи К. Фосслера, Б. Кроче, Л. Шпитцера, В.Н. Волошинова. – *Прим. реф.*

² Речь идет об англоязычных изданиях [Vološinov, 1973; Bakhtin, 1984].

³ Автор анализирует работы: [Stecconi, 2004; Pettrilli, Ponzio, 2010; Campos, 2007; Goriée, 2007].

методических синтагм, переносятся в быстрые и неплавные танцевальные па; параллельные конструкции передаются волновыми вращательными движениями. Отмечается, что выбор модели трансфера определяется семиотическим типом информации источника.

В главе восьмой «Сигнифика Уэлби: развитие и международное распространение» С. Петрилли очерчивает роль теории сигнифики Виктории Уэлби в структуре мирового семиотического и философского знания. Термин «сигнифика» был впервые предложен В. Уэлби в 1894 г. Под ним понималось учение, нацеленное на выявление значимости путем анализа знаков и их значения. Исследовательница намеренно уходит от терминов «семиотика» и «семантика», ввиду того что считает область их применения достаточно ограниченной. Учение о сигнифике изначально планировалось как нацеленное на исследование чувственного опыта¹, но впоследствии интегрировало разные виды опытного и выводного знания, которое рассматривалось с позиции значимости. Большое влияние на становление семиотических взглядов Уэлби оказала ее переписка с Ч.С. Пирсом и Дж. Вайлати. В основе триады, разработанной Уэлби, лежат понятия «чувство» («ощущение»), «значение» и «значимость» (sense, meaning, perception); это три «динамических и взаимоопределяющих этапа выражения, интерпретации и означивания, которым соответствуют опыт познания, практика, означивание» (с. 220). В работах Уэлби рассматриваются вопросы, связанные с языковым и семиотическим трансфером: «двойственность» и «пластичность» языковых знаков, отношения буквального и метафорического значений, разные виды опытного знания, многие типы знаковых систем (включая тайнописи). В 1915–1926 гг. в Нидерландах вопросами сигнифики занимался лингвистический кружок под руководством ван Эдена, но он распался по причине несогласованности взглядов относительно роли логики общей структуры учения; позднее концепция развивалась и поддерживалась международной группой ученых (Signific Study Group, Vienna Circle, the Unity of Science Movement); в разное время его развитию способствовали работы и поддержка Ч. Морриса, растущая популярность семиотического журнала «Синтез» (Synthese), учреждение награды Уэлби (Welby Prize), увеличивающийся интерес к вопросам интерпретации.

В разделе втором «Язык, литература и семиотика» представлены исследования, объединенные темой семиотики литературного творчества.

В главе девятой «Семиотическое мастерство литературы: от метафизики к детективному жанру в “Имени розы”» П. Трифонас обращается к роману «Имя розы» У. Эко [Eco, 1983] с целью реконструировать семиотическую перспективу трансформации детективного романа в метафизический трактат. Автор делает попытку преодолеть существующую бипо-

¹ Так, в работе [Welby, 1896] В. Уэлби используется термин *sensifics*. – *Прим. реф.*

лярность критических подходов к анализу указанного произведения (в рамках жанрово-литературной и философско-герменевтической парадигм), в качестве интегративного решения предлагая его литературно-семиотическое описание. Основная тема романа – поиск сущности значения, связывающего знаки языка и реальный мир, – является одновременно и источником страданий для его главного героя, бенедиктинского монаха, жившего в XIV в. Сюжет выстраивается вокруг трансформаций мировидения монаха (и его окружения), переживающего множество политических и исторических событий и пытающегося увидеть их знаковую сущность. Мир знаков вначале предстает как несущий правду и голос Бога, позднее – как отражение высшего логоса и как абсолют. Такая трансформация, по мнению автора, призвана сформировать у читателя мотивацию к собственной интерпретации знаков на основе интер- и экстратекстуальных ассоциаций. Потеря веры в Божественное начало, как и смерть логоса, сопоставляется с «потерей центра как прелюдией смерти» и «семиотическим распятием» (с. 243), в них автор усматривает корни религиозно-философской традиции западной культуры. Мысль о поиске сущности в конфликтующих формах поддерживается использованием современной жанрово-литературной формы (детективный жанр рассказов А.К. Дойля и Х.Л. Борхеса) для описания событий и философских течений средневековой эпохи (воззрений У. Оккама, Ф. Аквинского, Р. Бэкона). Таким образом, текст представляет собой лабиринт для путешествующего по нему читателя, при этом, как пишет У. Эко, «не получится читать текст так, как хочешь ты, но только так, как хочет сам текст» [Есо, 1979, р. 9].

В разделе третьем «Медиа, информационный обмен и семиотика» освещаются проблемы семиотической репрезентации информационных и коммуникационных систем.

В главе пятнадцатой «Бренд как экономическая ценность и знак: эффективный инструмент для повышения конкурентоспособности» Д. Трендафилоф подвергает анализу семиотическую роль торговой марки (бренда) с позиций ее ценностной составляющей. Показано, что торговая марка не только является отличительным знаком, но включает в себя компоненты: репутацию марки, традиционность, положительную маркетинговую историю, высокие показатели качества, стабильность и надежность, достойные характеристики и внешние данные. В то же время расширенное понимание бренда предполагает включение его множественных манифестаций: собственно продукта (страна происхождения, тип продукта, выгода от использования), организации-производителя (репутация производителя, уровень компетентности и ориентации на потребителя), олицетворенный образ марки (персонализированные черты, запоминающийся образ), символ (стойкие ассоциации знака марки и продукта, его характеристик, философии бренда). Продвижение марки обуславливается следующими факторами: зрелостью рынка, уровнем конкурентоспособности марки и потребительской культуры, уровнем жизни, законодательными ограниче-

ниями и др. Формирование ценности марки рассматривается автором как коммуникативно-семиотический процесс социальной, а не экономической направленности¹; данный процесс включает в себя такие составляющие, как стратегическое планирование, техники продвижения, техники поддержания и стимулирования конкурентоспособности, будучи «динамической серией управленческих решений» (с. 347). Таким образом, бренд представляется автором не как вторичный знак (миф, условный знак, символ культуры), а как первичный, демонстрирующий связь между формой и содержанием в коммерческой коммуникации.

В главе двадцатой «Медиасемиотика» М. Данези разрабатывает концептуально-аналитическое обеспечение, позволяющее оценить роль медиакommunikации в появлении новых трендов в культуре и обратного процесса влияния культурной среды на содержание текстов медиа. Медиасемиотика понимается как «направление исследования знаковых форм отображения и отражения общественных процессов в средствах массовой информации» (с. 485). В исторической перспективе систематизируются положения западной медиакультурологии, при этом внимание уделено не только методологическим концепциям (в частности, Р. Уильямса, Э. Ноэль-Ньюман), но и эмпирическим подходам (исследования П. Лазарфилда, Х. Кантрила). Появление медиасемиотики вызвано работами в области теории мифа Р. Барта, исследованиями коммуникации К. Шеннона (телекоммуникационного инженера по профессии), теорией симулякра Ж. Бодрийяра. Медиасемиотика представлена как знаковая система коммуникации, в которой 1) содержание текстов читается на двух уровнях, языковом и мифическом (бессознательном); 2) кодирование и декодирование знаков осуществляются с опорой на их репрезентативность, интерпретативный характер, контекстуальную информацию; 3) конструируемый мир претендует на то, чтобы быть более реальным, чем объективная картина мира.

В разделе четвертом «Биосемиотика» исследуются биологические коммуникативные системы.

В главе двадцать седьмой «Ощущение и значение: биосемиотическое обоснование единства» Дж. Лемке подвергает анализу формирование ощущений и значений как два этапа единого процесса на том основании, что описываемый процесс выходит за рамки сугубо антропосемиотической динамической системы, являясь частью более крупной биосемиотической организации. Значение рассматривается не в плане соотношения означаемого с означающим (дихотомия Ф. де Соссюра), а как процесс, регулирующий отношения объекта, репрезентанты и интерпретанты (с опорой на концепцию Ч.С. Пирса); оно определяется как «процесс, основная функция которого состоит в адаптации организма к условиям существования в окружающей среде» (с. 590). В качестве общих характеристик эта-

¹ Для обозначения данного процесса автор использует термин *positioning*. – *Прим. реф.*

пов формирования ощущений и значений автор усматривает: 1) распределенность (being distributed) в организмах и среде, субъектах и объектах, человеке и артефактах; 2) ситуационную обусловленность (being situated), отличающуюся взаимонаправленностью: от структуры ситуации к стимуляции ощущений и значений и от последних к реструктурированию самой ситуации; 3) активный характер, определяемый не движением сознания (специфичным только для человека) и не реакцией на стимулы (характерной для биосистем более низкого порядка), а специфической деятельностью направленной на оценку релевантности событий, связанной с трансфером энергии и информационного содержания; 4) локальную и культурную обусловленность, результатом которой становится существование значительных различий в процессах порождения значений. Возможность интегративного представления ощущений и значений предопределена уровневой организацией биосемиотической системы, в которой связь между уровнями обеспечивается способностью системы к самоорганизации путем распознавания своих потребностей и сдерживающих факторов среды.

В разделе пятом «Общество, культура и семиотика» в семиотическом ракурсе представлены некоторые социокультурные системы: урбанистическая, художественная, этическая; показаны возможности их интегративной репрезентации как компонентов единого процесса культурного семиозиса.

В главе тридцать первой «Семиотика культуры: основные проблемы и подходы» Ф. Седда в качестве методологических оснований семиотики культуры приводит: 1) положение о двустороннем характере данного направления, нацеленном на анализ антропосемиотических и культурносемиотических проявлений; 2) концепцию о непреднамеренной трансформации культурной среды путем ее изучения (любое изучение связано с вмешательством в систему); 3) парадокс культуры, аккумулирующей проявления индивидуального и коллективного воздействия. Три основных направления исследования семиотики культуры – изучение структуры семиосферы, процессов ее формирования и трансляции (трансфера) – получают детальное описание в развиваемой автором вслед за Ю.М. Лотманом и Б.А. Успенским концепции «знания о знании»¹. Так, понимание семиосферы как континуума реализуется в положениях о ее внутреннем хаосе и нерегулярности, сосуществовании «своего» и «чужого», отсутствии четких границ между разными семиосферами, изоморфизме организации. Формирование семиосферы происходит путем реорганизации как ее частей, так и системы в целом; в основе структуры семиосферы культуры лежат «ценности и функции ее компонентов» (с. 688). Трансляция культур происходит посредством обмена знаками, языками, при этом «логика трансляции» (с. 691) включает трансфер как знаковых проявлений культу-

¹ Автор апеллирует к работе: [Lotman, 1978].

ры, так и ее значений как двух одновременно независимых и взаимодополняющих компонентов системы.

В главе тридцать шестой «От семиозиса к семиоэтике» Дж. Дили обращается к вопросу места категорий этики (на примере категории «ответственность») в структуре семиотических систем. Исследователь полагает, что категории этики принадлежат не сугубо антропосемиотической культуре, а семиотической культуре в целом, а именно культуре метасемиозиса, под которым понимается «глобальность знаковости» (с. 783). Данное положение обуславливается тем, что в динамической структуре метасемиозиса при планировании действий принимаются во внимание последствия действий; эта зависимость и является источником возникающих категорий этики. Планирование в свою очередь представляется автору реализацией будущего или третьим звеном в процессе семиозиса. Будущее не только определяется настоящим, но и через настоящее использует ресурсы прошедшего; таким образом, будущее не является изолированной и независимой категорией. Дж. Дили отмечает, что в интеграции и динамике семиотических категорий и состоит процесс семиозиса, который после Ч. Дарвина долгое время назывался «эволюцией». Категории этики не сводимы к ощущениям и восприятиям, а подразумевают вовлеченность «семиотического животного» в метасемиотический процесс; в момент соединения прошедшего, настоящего и будущего «семиотическое животное» становится «семиоэтическим».

В главе тридцать девятой «Обращение к истории: от семиологии к постструктурализму» П.П. Трифонас подвергает анализу историографию как направление, аккумулирующее множественные источники, например философские, антропологические, социологические, лингвистические, психологические (помимо собственно исторических). При этом что центральной проблемой историографии считается ее идеологический базис, также обнаруживаются проблемы, связанные с интерпретацией значения и формированием индивидуального и коллективного сознания. Прочтение исторических событий – это всегда акт интерпретации, который задействует стратегии более высокого уровня репрезентации, чем исследуемые в рамках «лингвистического поворота». Для комплексного описания стратегий историографического описания автор предлагает воспользоваться достижениями «семиотического поворота», ввиду того что историографическое описание создает форму или оболочку предмета описания, а с ней появляется новое значение. Как отмечается, сам «лингвистический поворот» в историографии, получивший описание в работах Х. Уайта¹, был инициирован и предварительно сформулирован в идеях семиологов, в первую очередь М. Фуко. Историограф выступает в качестве интерпретатора мира, его текст содержит не объективную информацию, а «сконст-

¹ См. напр.: [White, 1987].

руированную объективность» (constructed facticity) (с. 841), что создает «эффект реальности»¹. Автор констатирует, что историография представляет не что иное, как «описание чужого через свое» (с. 845).

В главе сороковой «Современная идентичность и основная задача семиотики» С. Петрилли вновь² обращается к ценности «ответственность», в воспитании которой автор усматривает основную задачу образования, в противовес культивируемым в современном мире ценностям власти, конкуренции, карьерного успеха. Автор апеллирует к работе А. Эйнштейна³, который пишет о неспособности науки решить все задачи человечества и усматривает заслугу науки в том, чтобы разработать методы для продвижения к решению этих задач путем воспитания личностей, определяющих пути эволюции. С. Петрилли обращается к семиотическим концепциям Ф. де Соссюра и Ч.С. Пирса как к «семиотике декодирования» и «интерпретационной семиотике», указывая, что дихотомический подход семиотики декодирования⁴ не способен справиться с объемом содержания знаков, а их «интерпретационный потенциал не может быть описан единым значением» (с. 851). Триадиический подход Пирса, дополняемый концепциями текстовой динамики М.М. Бахтина и Р. Барта, позволяет представить знак не как объект анализа, а как процесс, возникающий на пересечении отношений. Телесная оболочка – это знаковый материал, который совместно с другими знаками формирует единую систему; идентичность выступает в качестве «воплощенной субъективности, которая не ограничивается рамками телесной оболочки» («the self is embodied but not imprisoned») (с. 857). Телесная оболочка является необходимым условием для развития сознания и протекания процессов инференции, для того чтобы сформировать «семиотическое животное» (термин Дж. Дили⁵). Субъективное образуется в процессе взаимодействия или диалога, в отграничении своего «Я» от своего «другого Я» (alter ego), это и есть тот эволюционный путь развития, о котором пишет А. Эйнштейн. Однако идентичность может принимать уродливые формы «закрытого себя»⁶ (с. 863), что проявляется в неприятии «других Я». Глобальный характер знаковых систем не предполагает существование таких «антидемократических» форм взаимодействия, которые проводят систему к разрушению (что проявляется в недемократической политике, разжигании войн).

¹ Термин Р. Барта, используемый в: [Barthes, 1981, p. 17].

² См. содержание гл. 36. – *Прим. реф.*

³ Речь идет о работе 1949 г.: [Einstein, 2009].

⁴ Дихотомический подход реализуется в рассмотрении в качестве бинарных оппозиций таких категорий, как язык и речь, означающее и означаемое, синтагматические и парадигматические отношения, код и сообщение, др. – *Прим. реф.*

⁵ См. содержание гл. 36.

⁶ Автор предлагает термин, образованный по аналогии с термином «the open self», предложенным Ч. Моррисом в работе: [Morris, 1948].

В разделе шестом «Кибернетика, аналитика и семиотика» рассматривается семиотическая организация автоматизированных систем.

В главе сорок второй «Функции знака в естественных и искусственных системах» П. Кариани сосредоточивается на формальных показателях знака и знаковой системы в соотношении с функциональными проявлениями знака в системе и возможными операциями, производимыми над знаками. «Семиотический дискурс» (с. 918) организуется в четырех направлениях: 1) функциональном, обеспечивающем передачу сигнала знаками в структуре различных систем (живых организмах, нервной системе, обществе, искусственных системах коммуникации); 2) эпистемологическом, распространяющем знаковую информацию в среде получателей (observers); 3) феноменологическом, нацеленном на установление отношений между знаком и содержанием сознания человека; 4) онтологическом, реализующемся в содержании отличной от человека сущности, которая представляется в возможных мирах (в концепциях логиков), в идеальных формах (в платонической философии), в системах алгоритмов (в программировании). В качестве основных семиотических операций автор называет оценку, переключение, конструирование, вычисление, измерение, действие и др. К самым простым системам П. Кариани относит синтаксические системы, в которых знаки на входе и на выходе связаны операциями вычисления (computation); более сложные системы нацелены на выполнение прогностической функции, они организованы операциями изменения (measurement); самые сложные системы являются обучаемыми системами, это организмы, способные совершать выбор из широкого диапазона действий, реагировать на изменения. В качестве разновидностей последних автор называет адаптивные системы (кибернетическая), самоуправляемые системы (окружающая среда), нейронные системы.

Раздел седьмой «Когнитивная семиотика» посвящен изучению когнитивных (ментальных) оснований процесса семиозиса.

В главе сорок седьмой «Когнитивная семиотика» Дж. Златев обосновывает положение о том, что хотя когнитивные семиологи занимаются преимущественно антропологическими исследованиями, в их основании лежат общесемиотические принципы эволюции и интегративности систем. Данное направление интегрировало достижения в области когнитивной науки, лингвистики и семиотики; в настоящее время оно в большей степени ассоциируется с исследованиями когнитивной семантики, жестовой культуры, биокультурной эволюции, антропологического семиозиса и воплощенного сознания (embodied mind). В фокусе когнитивной семантики оказываются вопросы конструирования образ-схем, теории когнитивной метафоры, профилирования и перспективизации. Изучение жестовой культуры сосредоточивается на изучении структур «мультимодальных высказываний» (с. 1047). В концепциях биокультурной эволюции антропоэсемиозис рассматривается в более широких рамках биосемиозиса и семиозиса культуры. В теориях антропологического семиозиса развиваются методы экспериментального

анализа сенсомоторных навыков, воображения, внутренней и внешней речи. Разработка идей воплощенного сознания основывается на развитии феноменологических концепций; объектом анализа становятся телесные схемы и образы, интеракционистские схемы восприятия и интерпретации. Когнитивная семиотика представляется автору одновременно междисциплинарной наукой (объединяющей разные парадигмы) и трансдисциплинарной (находящейся на перекрестке научных направлений).

В главе пятидесятой «От семантики к нарративу: семиотика А. Греймаса» П.П. Трифонас обращается к структурно-семантическим идеям А. Греймаса¹, обосновывая их перспективность в направлении исследования дискурса и семиотики нарратива. Это обусловливается тем, что А. Греймас рассматривает значение не как застывшую субстанцию, а посредством обращения к его трансформациям. В основе семантического учения Греймаса находятся положения о бинарном характере оппозиций (которые высказывали Ф. де Соссюр и Ж. Деррида) и глоссемантической структуре знака (вслед за Л. Ельмслевым); с опорой на которые ученый разрабатывает уровневый подход к анализу семантики с учетом ее синтаксических, лексических и текстовых проявлений. Отношения между семантическими компонентами описываются с опорой на предложенный метод «семиотического квадрата» (*semiotic square*), охватывающий отношения конъюнкции, дизъюнкции, контрарности и контрадикторности. Нарратив конструируется путем отбора семантических ценностей, которые получают роли лексических актантов на уровне нарративного синтаксиса. Текст как совокупность парадигматических и синтагматических отношений формирующих его семантических элементов демонстрирует связность, достигаемую за счет изотопного характера всех уровней его репрезентации: синтаксического, семантического, актантного, структурного, глобального. П.П. Трифонас отмечает, что структурно-семиотический подход к анализу текста, разработанный А. Греймасом, позволяет не только моделировать нарративный процесс, но и определить место предложенного метаязыка нарратологии в современном семиотическом знании.

В разделе восьмом «Образование и семиотика» рассматриваются вопросы семиотической организации сферы образования, а также роли семиотических систем (например, визуальной или культурно-ценностной) в повышении качества образования.

В главе пятьдесят шестой «Семиотика западного образования» Д. Кергел исследует философские источники, рассматривающие проблемы образования и обучения, с целью обнаружить специфические семиотические коды, существующие в сфере образования. В качестве таких кодов выступают: 1) ценности, правила и законы социализации (по Э. Дюркгейму); 2) индивидуальные ценности (по Р. Декарту); 3) социальные потребности

¹ Автор ссылается в основном на: [Greimas, 1970].

и практики (по И. Канту). В постмодернистской модели образования с ее тенденцией к глобализации все перечисленные системы кодов подвергаются интеграции. Человек оказывается «брошенным в символическую систему» (с. 1191) с ее эпистемологическими, антропологическими и онтологическими правилами; поведение человека программируется множественными паттернами социализации. Таким образом, само образование становится носителем социальных и культурных кодов.

В целом идея глобальной семиотики, развиваемая в работе, через ключевые принципы (динамизм, интегративность, вариативность, поликодовость, функционализм, информационность, диалогизм) находит отражение в конструировании трансдисциплинарного пространства, которое подвергается анализу на единых семиотических основаниях.

М.И. Куоце

Список литературы

- Bakhtin M.M.* Problems of Dostoevsky's poetics. – Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 1984. – 333 p.
- Barthes R.* The discourse of history // Comparative criticism / Ed. E.S. Shaffer. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1981. – Vol. 3: A year book. – P. 3–20.
- Campos H.* Translation as creation and criticism // Novas: selected writings Haroldo de Campos. – Evanston: Northwestern univ. press, 2007. – P. 312–326.
- Deleuze G.* Cinema I. L'image-movement. – Paris: Éditions de Minuit, 1983. – 296 p.
- Deleuze G.* Cinema II. L'image-temps. – Paris: Éditions de Minuit, 1985. – 379 p.
- Eco U.* The name of the rose / Trans. W. Weaver. – N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1983. – 502 p.
- Eco U.* The role of the reader. Explorations in the semiotics of text. – Bloomington: Indiana univ. press, 1979. – 288 p.
- Einstein A.* Why socialism // Monthly review. – N.Y., 2009. – N 61 (1). – P. 55–61.
- Gorlée D.* Bending back and breaking // Symploke. – Lincoln, 2007. – Vol. 15, N 1–2. – P. 341–352.
- Greimas A.* On meaning: selected writings in semiotic theory. – Minneapolis: Univ. of Minneapolis press, 1970. – 238 p.
- International handbook of semiotics / Ed. P.P. Trifonas. – Dordrecht: Springer, 2015. – xv, 1308 p.
- Locke J.* An essay concerning human understanding / Ed. H. Nidditch. – Oxford: Oxford univ. press, 2008. – 576 p.
- Lotman J.M., Uspenski B.A.* On the semiotic mechanism of culture // New literary history. – Baltimore, 1978. – Vol. 9, N 2. – P. 211–232.
- Morris Ch.* The open self. – N.Y.: Prentice hall, 1948. – 179 p.
- Peirce Ch.S.* The collected papers of Charles Sanders Peirce. – Cambridge: Harvard univ. press, 1933. – Vol. 4. – x, 601 p.
- Petrilli S., Ponzio Au.* Iconic features of translation // Applied Semiotics = Semiotique appliqué. – Toronto, 2010. – Vol. 9 (24). – P. 32–53.
- Steconni U.* Interpretive semiotics and translation theory. The semiotic conditions to translation // Semiotica. – Berlin, 2004. – Vol. 150. – P. 471–489.
- Vološinov V.N.* Marxism and the philosophy of language. – N.Y.: Seminar press, 1973. – 205 p.
- Welby V.* Sense, meaning, interpretation // Mind. – Oxford, 1896. – Vol. 5, N 17. – P. 24–37.
- White H.* The content of the form: narrative discourse and historical representation. – Baltimore: John Hopkins univ. press, 1987. – 264 p.

**БИОСЕМИОТИКА КАК НАУКА: КОДЫ, ЗНАКИ,
ЛОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ПОРОЖДЕНИЕ СМЫСЛА
(Сводный реферат)**

Brier S.

Can biosemiotics be a «science» if its purpose is to be a bridge between the natural, social and human sciences? // Progress in biophysics and molecular biology. – Oxford; N.Y., 2015. – Vol. 119, N 3. – P. 576–587.

Kull K.

Semiosis stems from logical incompatibility in organic nature: Why biophysics does not see meaning, while biosemiotics does // Progress in biophysics and molecular biology. – Oxford; N.Y., 2015. – Vol. 119, N 3. – P. 616–621.

Биосемиотика призвана добавить семиотический взгляд в процесс моделирования биологических систем и тем самым создать основу для исследования эволюции познания и коммуникации во всех живых системах, выходящих за рамки механической молекулярной биологии. Эту позицию аргументирует в своей статье «Способна ли биосемиотика стать подлинной наукой, если ее цель – быть “мостом” между естественными, социальными и гуманитарными науками» ее автор Сёрен Бриер.

Биосемиотический взгляд предполагает выход за рамки чистых моделей обработки информации, которым также не хватало эмпирического, феноменологического, а также герменевтического аспектов анализа того, как работает связь на семиотическом уровне, находящемся ниже уровня человеческого языка. Внимание при этом концентрируется не только на внешней коммуникации между организмами (экзосемиотика), но и на внутренней связи между органами и клетками многоклеточных организмов (эндосемиотика).

Попытки создать общую теоретическую концепцию, увязывающую опытное познание с поведением биологических систем, предпринимались рядом этологов: нобелевским лауреатом Конрадом Лоренцом, Марком

Бекоффом и Гриффином. Однако эти попытки не увенчались успехом. Современная наука может описывать динамику жизни на молекулярном уровне, но пока не способна объяснить процесс опытного познания.

Чилийские биологи Матурана и Варела предприняли новую попытку заложить немеханистический трансдисциплинарный фундамент для описания динамики живых систем, включающий процесс познания. Введенное ими понятие аутопоэзиса позволяет идентифицировать живые системы среди неживой природы как способные к самовоспроизводству. Живые системы, по Матуране и Вареле, представляют собой «аутопоэтические машины» – сети процессов производства, трансформации и разрушения своих собственных компонентов с заданной топологией таких сетей. Концепция Матураны и Варелы основана на кибернетике второго порядка фон Фёрстера и может быть названа «метабиологией». Ее также часто считают разновидностью радикального конструктивизма, с чем сами чилийские биологи изначально не были согласны.

Проблему интеграции теории аутопоэзиса Матураны и Варелы в социальные науки попытался решить Никлас Луман, создавая на теоретико-системной и кибернетической основе универсальную теорию коммуникации, включающую в себя триадическую концепцию аутопоэзиса для биологических, психологических и социологических аспектов реальности. По Луману, воплощенные телесно психические системы нуждаются в структурном соединении с системой коммуникации для функционирования в социуме. То есть требуется разновидность языка или хотя бы система знаков. Сообщение не является непосредственно доступным для психической системы, так как она имеет только свой собственный замкнутый мир смысла, мыслей и чувств. Психические системы не общаются друг с другом напрямую, а только посредством различного рода систем коммуникации. Нет никаких «потоков» объективной информации: информация всегда является частью сообщения, которое нуждается в интерпретации.

Бриером отмечается тот факт, что Матурана и Варела никогда не санкционировали использование своей концепции аутопоэзиса за пределами биологии и даже были откровенно против такого использования. И Бриер полагает, что самой по себе теории аутопоэзиса недостаточно, чтобы объяснить эмпирическую живую систему, поскольку этой теории не хватает фанероскопических (в смысле теории Чарльза Сандерса Пирса) и герменевтических аспектов в ее философии.

Как справедливо указал Хоффмайер, необходимо более широкое теоретическое обоснование для понимания осмысленности значения и коммуникации, для того чтобы стало ясно, почему биологические системы становятся субъективными и интерпретирующими знаками. В качестве одного из важных аспектов такого обоснования можно рассматривать «кодovou двойственность» (code-duality). Кодовая двойственность объясняет, как организмы содержат в своих генах оцифрованные версии самих себя, одновременно будучи аналогами этих версий. В популяции эта оцифрован-

ная версия изменяется выборочно из поколения в поколение с помощью эволюции, путем естественного отбора и других интерактивных процессов. Таким образом, гены представляют собой своего рода обобщенные истории, которые всегда немного отличаются от особи к особи из-за смешения генов при половом размножении. Поэтому воплощенный фенотип имеет конкретную собственную историю. Тем самым создается своего рода биологическая субъективность.

Хоффмайер рассматривает тело как «рои» клеток, организованные в «суперрой» через семиотические связи между нервной, гормональной и иммунной системами. Исходя из этой кибернетической, системной и семиотической точки зрения интеллект не понимается как нечто, возникающее из «центрального контроллера», а рассматривается как зарождающийся из суперроя клеток феномен, способный к самоорганизации. Хофштадтер в дополнение к этому утверждает, что аутопоэтическая система мышления организована не сверху – в классическом логическом порядке, а снизу – через множество актов подсознательной деятельности: не мы манипулируем символами, а символы манипулируют нами, пребывая не на уровне нейронных сигналов, а на уровне вербализации.

По Бриеру, истинный единичный элемент эволюции располагается между организмом и аспектами окружающей среды, в которой он действует. Это то, что Иксюль назвал термином «умвельт». Для Матураны это когнитивная область. Бейтсон назвал это истинной единицей развития, а Хоффмайер – семиотической нишей. Живущие вместе организмы образуют среду для координации друг с другом своей внутренней организации во взаимных структурных соединениях – как это имеет место быть, например, между хищниками и жертвами. Такую «координацию координаций» поведения Матурана и Варела назвали «лингвизацией» (*linguaging*), которую Бриер, вдохновленный Лоренцем, интерпретирует с этологической точки зрения как основное требование взаимной рефлексии среди представителей биологического вида для развития воплощенных знаковых игр.

В этологии ритуализованное инстинктивное поведение становится набором знаков-стимулов для координации действий различных животных: например, представителей разных полов одного биологического вида в их брачных играх. Это означает, что некоторые действия животного или цвет оперения птицы становятся знаком для координации поведения в определенных случаях – таких как спаривание или уход за малышами. Эти случаи и их контекст определяют биологический смысл таких знаков. Красный живот самки колюшки является репрезентативом (в смысле теории Пирса) для двойственной кодовой аутопоэтической системы лингвизации самца, стремящегося к спариванию, превращая его в интерпретанта, определяющего через цвет живота самки ее готовность к спариванию.

К сожалению, ни Тинберген, ни Лоренц, ни любой из их последователей не разработали общую семиотику, охватывающую их концепцию знаков. Это сделал Томас Себеок, создавший зоосемиотику, основанную

на понятии умвельта Якоба фон Иксюля и семиотике Чарльза Сандерса Пирса. Эта зоосемиотика была позже обобщена в биосемиотику под влиянием работы Мартина Крампена по фитосемиотике.

В своей философии языка Людвиг Витгенштейн говорит о том, что значения слов или знаков могут быть определены только в языковой игре – такой как флирт или написание научной статьи. Хотя мы отказались от представления о животных, имеющих языки с синтаксисом и генеративными грамматиками, это вовсе не означает, что знаки, которыми они обмениваются, не имеют никакого смысла, структуры или динамики. Брачные игры могут быть очень сложными последовательными диалогами. Если что-то не так с синхронизацией или последовательностью, пусть даже только на долю секунды, спаривания не произойдет. Таким образом, основанная на понятии языковой игры Витгенштейна концепция знаковой игры позволяет сформулировать биологическую основу языка, не претендуя на то, что таковой имеется у животных.

Марчелло Барбьери внес существенный вклад в развитие биосемиотики, и поэтому Бриер считает необходимым рассмотреть его концепцию «кодовой биологии» вкупе с соответствующими дискуссиями о том, что собой представляет настоящая наука. Для включения социальных и гуманитарных наук в свое видение биосемиотики Бриер предпочитает использовать немецкую концепцию науки – как «Wissenschaft» – вместо английской концепции науки – как «science». Wissenschaft охватывает естественные, технические, социальные и гуманитарные науки. Это важное отличие от интерпретации науки, которая включает только естественные науки и количественный аспект социальных и технических наук. Взгляд же на науку Барбьери, однако, сфокусирован на понятии механизма: по его мнению, научное знание получается путем построения моделей того, что мы наблюдаем в природе. При этом он утверждает, что механизм – это не редукционизм, поскольку концентрируется на целом, а не распадается на части, не детерминизм, поскольку выходит за рамки классической физики, и не физикализм, поскольку не ограничивается физическими величинами. Кроме того, механизм состоит из моделей, не совпадающих с реальностью, а значит, механизм неполон и постоянно развивается. По Барбьери, механизм практически эквивалентен научному методу. Разница заключается в том, что гипотезы научного метода заменяются моделями, т.е. описаниями полностью функциональных рабочих систем. Механизм, другими словами, есть научное моделирование. С момента своего первого появления в начале научной революции механизм был весьма эффективным в решении проблем, и в то же время он показал экстраординарную способность изменяться при возникновении такой необходимости.

Позиция Барбьери требует расширения в сфере философии науки определения того, что значит быть научным, и поэтому он предлагает свое такое определение, а именно – основанное на использовании механистических моделей в качестве объяснения природных явлений на основе дан-

ных, полученных с помощью строгих эмпирических и воспроизводимых методов. Тем самым исключается существование каких-либо качественных наук.

Однако в биологии существует множество открытых проблем, решение которых с помощью построения механистических моделей представляется Бриеру весьма сомнительным. Такова, например, проблема подачи сигнала об опасности: подающая такой сигнал особь должна соотнобразовывать степень однозначности такого сигнала для членов своей группы с риском обнаружить своим сигналом местонахождение группы перед хищниками. Другой пример представляют исследования когнитивных способностей домашних кур, познавательные и коммуникативные способности которых оказались сопоставимыми с таковыми у приматов. То есть простое увязывание объема головного мозга со степенью развития познавательных способностей не срабатывает. Более того, опыт животных и интерпретация ими их экологической ниши имеют непосредственное влияние на их поведение, что также необъяснимо, по Бриеру, с помощью механистических моделей.

Гуссерль в своей известной книге «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» писал о том, что чрезмерная рационализация привела к одностороннему развитию наук после Галилея. Предпринятая им попытка разработать чистую феноменологию была направлена на решение возникшего кризиса. Другой подход предложил Чарльз Сандерс Пирс с его интеграцией семиотики с феноменологией (фанероскопией). Трансдисциплинарный подход Пирса не сразу получил признание по той простой причине, что сам Пирс так и не свел воедино свои концепции в одной книге. Поэтому до сих пор исследования в области когнитивного (например, бихевиоризм) основывались на статистическом понятии информации. Тем не менее Бриер отмечает, что поворот в сторону пирсовских концепций медленно происходит в настоящее время. По его мнению, парадигма, основанная на статистической теории информации, термодинамике и общей теории систем, не способна превратиться в полноценную науку в смысле «Wissenschaft», а не только в смысле «science». Бриер считает, что Марчелло Барбьери с его «кодовой биологией» разделяет эту мысль.

Барбьери утверждает, что эволюция от одиночных клеток к многоклеточным животным была чем-то гораздо большим, нежели простым увеличением роста и сложности: это была настоящая макроэволюция, приведшая к возникновению не существовавших до того восприятия, чувства и способности к интерпретации информации из окружающего мира. Соответственно, Барбьери разделяет два типа семиозиса в живых системах: основанный на кодировании / декодировании органический семиозис и основанный на интерпретации животный семиозис.

Представляет интерес существенное расхождение взглядов Барбьери и Бриера на перспективы использования пирсовской семиотической философии и соответствующего анализа в качестве основы биосемиотики. Бар-

бьери считает, что такой подход может завести биосемиотику в тупик. Тогда как Бриер утверждает, что со времен возникновения эволюционной теории не было ничего более смелого, нежели попытки использования пирсовских концепций в биосемиотике. По его мнению, просто «перекинуть мост» из мира природы в мир культуры невозможно, поэтому создание трансдисциплинарной основы для совместного изучения двух миров представляется неизбежным. Бриер видит потенциал в «киберсемиотике» – сочетании общей теории систем с кибернетикой и пирсовской семиотикой.

Барбьери утверждает, что наличие смысла в органическом мире не более странно, чем наличие в нем кода. Смысл и код являются «двумя сторонами одной медали»: смысл есть ментальная сущность, когда код – посредник между психическими объектами, и органическая сущность, когда код – посредник между органическими молекулами. Таким образом, его концепция кодирования может работать только на основе концепции смысла. Но чтобы уйти от семиотической философии Пирса, Барбьери предлагает не разделять знак и значение, превращая таким образом семиотику в изучение знаков и смыслов вместе. Но именно пирсовское разделение знаков на репрезентамены и интерпретанты, его концепции изменения знаков по мере утраты ими энергии и воздействия знаков на объекты, по мнению Бриера, могут быть полезны для семиотического анализа смыслового содержания. Тогда как теория информации Шеннона адекватна лишь для технических систем связи. Биты не могут быть знаками сами по себе – вне какого-либо контекста, и из них нельзя получить пирсовские символы простым «нанизыванием» битов одного за другим. Концепция кода для того и нужна Барбьери, чтобы уйти от пирсовского понятия знака. По Барбьери, код – это всегда набор правил, которые устанавливают соответствия между двумя независимыми мирами. Сами эти правила не диктуются законами физики и химии. В этом смысле они являются произвольными, а количество произвольных соответствий между двумя независимыми мирами является потенциально неограниченным. И тогда код – это небольшой набор произвольных правил, выбранных из потенциально неограниченного их числа, для того чтобы обеспечить определенное соответствие между двумя независимыми мирами.

Парадигма «кодовой биологии» (code biology) Барбьери, по его собственному утверждению, призвана решить проблему конфликта между объяснением поведения биологических систем на основе анализа химических реакций и на основе подхода, рассматривающего информацию. Барбьери также претендует на то, что его «кодовая биология» способна дать больше, нежели пирсовская и аутопоэтическая биосемиотики. Однако Барбьери использует пирсовскую концепцию абдукции: если поведение многих животных можно объяснить «программами», состоящими из нейронных кодов, то способность некоторых животных к интерпретации на основе ограниченной информации, поступающей из окружающего мира,

не сводится к индукции или дедукции и требует рассмотрения процесса абдукции.

Барбьери предпочитает говорить о «кодопоэзисе» – сочетании аутопоэзиса Матураны и Варелы с кодовой концепцией самого Барбьери. Тогда клетка становится кодопоэтической системой, способной создавать и сохранять собственные коды. Однако Бриер не находит в такой теории места для смысла, хотя Барбьери и ведет речь о дуализме смысла и кодов и о двух различных типах семиозиса – на основе кодов и на основе интерпретации, что идет вразрез с пирсовской семиотикой, в которой интерпретация присутствует в любой форме семиозиса.

Таким образом, согласно Барбьери мы имеем уровень органических кодов – как систем, которые могут быть удовлетворительно смоделированы как механические (без смысла), а затем у нас есть уровень органических кодов с возникающей способностью производить интерпретацию. Абдуктивные интерпретирующие способности, связанные с возможностью приобретения опыта и осознания и необъяснимые механистически, – это и есть тот интересный взгляд на эволюцию, которым мы обязаны Барбьери. Его теория предполагает, что абдуктивные способности возникают на основе новых нейронных кодов, производящих эмоции. Тем не менее Бриер полагает, что теория Барбьери пока далека от тех перспектив, которые предлагает биосемиотике концепция Пирса, разрабатывавшаяся в течение всей его жизни.

Но модель Барбьери бросает вызов механистической парадигме, объясняя проблемы возникновения жизни из физико-химического мира и появления опыта самоорганизации живых систем процессами производства новых кодов. В такой кодовой модели чувства не являются спонтанным результатом процессов более низкого уровня в головном мозге, а возникают в качестве «артефактов мозга», будучи произведенными нейронным устройством в соответствии с правилами нейронных кодов. Такое устройство представляет собой систему производства кодов, получающую информацию от органов чувств и доставляющую приказы двигательному аппарату. Таким образом, параллель между жизнью и разумом состоит из трех различных параллелей: одной – между белками и чувствами, другой – между генетическим и нейронным кодами, а третьей – между клетками и системой производства кодов.

Критика Бриера приведенной теории не основывается на том, что существует другая теория, в лучшей степени решающая рассматриваемые Барбьери проблемы. Напротив, Бриер отдает должное Барбьери за его теорию. Критике подвергается антипирсовский посыл теории Барбьери. Двойственное определение знака, данное Барбьери, ближе к сосюрровскому и далеко от триадической динамики Пирса с его первичным, двойственным и тройственным. Упреки в «ненаучности», адресованные Пирсу Барбьери, парируются Бриером: он полагает, что одного только механистического моделирования недостаточно, для того чтобы решить пробле-

му ума и сознания. Нужна трансдисциплинарная структура, охватывающая естественные, социальные и гуманитарные науки. Пирс является одним из немногих исследователей, которые предприняли серьезную попытку создания такой трансдисциплинарной структуры.

Барбьери хочет отделить восприятие от умозаключения. Но это все равно, что отрицать непрерывную связь между бессознательным и «преднамеренной» мыслью. Тем самым устраняется возможность того, что не только восприятие включает в себя логический вывод, но и последний включает в себя реальный опыт, как это следует из подчеркиваемой в пирсовской теории преемственности между неявной и явной логиками. По мнению Бриера, совершенно очевидно, что нет ни одной точки в эволюционной истории, где исчезают инстинкты животных и начинается человеческое рассуждение, где неявная логика природы вдруг становится явной.

По мнению Бриера, то, что наука называет «мозгом», представляет собой физиологическую концепцию или модель материальной субстанции, неразрывно связанную с производством нашего восприятия и субъективных ощущений. Тем не менее «мозг» является моделью объективной субстанции. Это не субъективное переживание. Наш мозг – это не мы. Поэтому «мозг» не может иметь субъективных чувств и мыслей, и он не может сам по себе быть субъективным; такими можем быть только мы. Бриер полагает, что моделирование субъективных процессов не есть моделирование мозга. Очевидно, что мозг вместе со всем телом участвует в процессе приобретения опыта, но пока непонятно, каким именно образом. По этой причине Бриер сомневается в возможности кодовой модели адекватно описать причинно-следственные связи между работой мозга и производством опыта.

Информация Шеннона определяется независимо от среды ее конкретизации. В биосфере, однако, нельзя отделить информацию от материала, в котором она конкретизируется. Если в мире компьютеров информация, не изменяясь, может циркулировать между различными устройствами, то в мире живой материи это уже не так: как мы знаем, один и тот же генотип дает разные фенотипы.

По Шеннону, в упорядоченной последовательности чисел содержится меньше информации, чем в случайной, поскольку первую можно предугадать на основе встроеной в нее закономерности. Тогда получается, что упорядоченные совокупности клеток, каковыми являются живые организмы, содержат меньше информации, нежели случайные наборы клеток. Бриер видит здесь фундаментальное противоречие.

По мнению Бриера, попытка Барбьери использовать концепции Пирса об абдукции и семиотической интерпретации, игнорируя пирсовские философские основы, упирается в проблему отсутствия в механистической науке понятий для опыта и смысла.

В эволюционных исследованиях, по мнению Бриера, мы видим различные варианты развития в направлении форм, адекватных окружающей

среде. И тогда, если ген является символом, он должен включать в себя индексальные и знаковые функции, для того чтобы быть информативным. Однако Бриер полагает, что из идей Пирса это не следует. Пирс определяет символ как тип или вид. Так, генотип является символом, но не конкретный ген или массив генов внутри конкретной клетки. Конкретный ген, действующий в конкретной клетке, не является символом, но служит его репликой. Символ является символом, даже если он не воплощен. Его реальность не зависит от существования, хотя он может быть выражен только тогда, когда воплощен в репликах. Символы не являются статичными. Они растут и, как правило, становятся сложными. Их рост происходит, когда они воплощены в репликах. И возникающие совершенно случайно при этом росте новшества, обобщаясь, становятся частью самого символа.

Пирс не утверждал, что физическая реальность смешалась со знаками. Скорее нужно говорить о вселенной дискурса, открытой для разных семиотических структур и тем самым пересекающей искусственно установленную границу между природой и культурой. Сочетание семиотики Пирса с теориями аутопоэзиса и умвельта, по мнению Бриера, может позволить прийти к подлинной трансдисциплинарности и выйти за рамки естественных наук в их нынешнем виде. Простое добавление информации к физическим и химическим процессам не даст того, что может дать пирсовская биосемиотика, основанная на понимании того, что логическая (она же – семиотическая) вселенная «охватывает» вселенную сущностей, а не наоборот.

Выход за пределы физического осуществляет в своей статье «Происхождение семиозиса из логических конфликтов в живой природе. Или почему биофизика не способна увидеть смысл, а биосемиотика его видит» и Калеви Кулль, предлагающий модель, в которой речь идет о возникновении феноменального мира через натурализацию логического противоречия или несовместимости (более широкого понятия, включающего в себя логическое противоречие). Физические модели исключают противоречия. Однако, по мнению Кулля, семиозис возникает на основе принятия решения в ситуации логического конфликта, происходящего в феноменологическом настоящем, с помощью «строительных лесов», воздвигнутых предыдущими актами принятия решений.

Связь физического с феноменальным была одной из самых сложных проблем для теоретической биологии, а также для философии и науки в целом. Икскуль обвинил физикалистски настроенных биологов в «слепоте по отношению к смыслу» (*Bedeutungsblindheit*). Действительно, физическая методология, описывающая все процессы на основе вычислительных моделей, не нуждается в концепции смысла. Более того, она не обладает инструментами, чтобы изучать смысл, чтобы даже хотя бы заявить это. Выход состоит в том, чтобы дополнить модели биофизики методологией, которая может работать со смыслами, дополнить семиотикой – изучением «производства смыслов». Ведь, по Хоффмайеру, эмпирическая состав-

ляющая жизни является ее неотъемлемым аспектом, имеющим собственную историю эволюции от примитивных форм до сложных видов умвелта в больших организмах.

Куллер отмечает то обстоятельство, что говорить о смысле в логически совершенных системах абсурдно: такие системы безотказно работают на основе непреложных законов – подобно машинам, и если такая система и сломается, то это не проблема самой системы, а проблема ее пользователя. Смысл появляется только там, где возможны ошибки. Именно таковы живые системы. Поэтому и необходимо изучать логические конфликты в таких системах, в которых возможны ошибки.

Можно заметить, что определенная логическая несовместимость является необходимым условием для любого диалога, для производства смысла, а также для конструктивного общения (даже для автокоммуникации). Это происходит потому, что диалог имеет место быть, если есть определенное качественное различие между коммуникантами, если что-то непонятно или несопоставимо. Кроме того, такая логическая несовместимость является условием для возникновения процессов адаптации, изучаемых в биологии. Казалось бы, логические конфликты или смысловая несовместимость очень часты в поведении живых существ. Тем не менее трудности в формализации этих явлений весьма симптоматичны, поскольку большинство существующих моделей процесса биологической адаптации не включают в себя наличие смысла. Смысл есть реальная возможность, не выражаемая в вероятностных терминах.

Многие процессы живых систем можно описать как операции общего вида «Если А, тогда выполнить Б», где связь между А и Б в процессе не следует непосредственно из физических или химических законов, но приобретает историю, эволюцию, обучение, компиляцию – т.е. через какой-либо процесс в живой природе. Что действительно характерно для живых систем – так это способность сохранять связь между такими объектами, которые не обязательно связываются друг с другом спонтанно при реконфигурации. То же самое характерно и для семиотических систем. Например, вещество А вне клетки может регулярно сопоставляться с веществом Б внутри клетки посредством передачи сигнала-фермента, в то время как вещества А и Б могут быть вообще никак не связаны в химическом смысле – могут никак не взаимодействовать в случае непосредственного контакта.

Операции «Если А, тогда выполнить Б» не являются семиозисом сами по себе – по причинам, которые мы обсудим в ближайшее время; тем не менее они, как правило, продукты семиозиса, или, вернее, они являются своего рода дегенерировавшим семиозисом – семиозисом, превратившимся в привычку (и таким образом потерявшим способность создания смыслов). Такие привычки можно рассматривать как коды в смысле теории семиотики Умберто Эко.

По Чарльзу Пирсу, семиотика есть обобщение логики. Эта точка зрения полезна при рассмотрении того, как логические отношения возникают в живых системах. Предположение о существовании таких знаковых и логических отношений дает возможность распознавать прелингвистическую логику как этап в развитии лингвистической логики. Лингвистическая логика (а в дальнейшем и формальная логика) затем будет рассматриваться в качестве ступеней или уровней в развитии сознания.

Существуют знаковые отношения и привычки в живых системах, отличных от человека, которые можно рассматривать как гомологичные (т.е. не только аналогичные) прекурсоры лингвистических отношений (как логических в более общем смысле) и которые являются структурно негомологичными химическим взаимодействиям. Это происходит потому, что знаковые отношения и привычки (как операции) приобретаются.

Поскольку нет практически никаких ограничений на комбинации предпосылок и следствий в знаковых или логических операциях, способность выполнять которые может быть приобретена независимо в случае каждой отдельной операции, то существует вероятность того, что некоторые комбинации операций могут быть несовместимы друг с другом и противоречивы. Этот пункт может потребовать дополнительных объяснений. Физический мир в обязательном порядке описывается с помощью непротиворечивых законов. По определению физические законы (как детерминированные и стохастические) не могут противоречить друг другу, они не могут иметь исключения (это фундаментальное предположение для физических теорий). Операции не являются законами. Операции – это правила, используемые в поведении. Операции не являются универсальными, они являются локальными. Операции могут иметь исключения даже в пределах одного организма. Операции могут противоречить друг другу.

Куль делает очевидное для него предположение о том, что живые организмы способны устанавливать некоторые правила своего поведения. Условные рефлексы могут служить хорошим примером таких правил. В случае минимальной модели несовместимости существуют по крайней мере две различные операции, которые сохраняются с помощью прямого или косвенного самовоспроизведения, в то время как эти две операции несовместимы. Имеется в виду, что возникает ситуация, в которой более чем одна операция применяется в тот момент, когда они не могут быть выполнены одновременно. Особый случай несовместимости появляется на уровне языка как противоречие. Таким образом, несовместимость является более общим понятием, чем противоречие.

Вполне возможны операции, совместимые по отдельности. Тогда их несовместимость проявляется только в том случае, когда эти операции должны выполняться одновременно.

Несогласованность операций, их несовместимость сами по себе обуславливают стремление к диалогу (переговорам, по Умберто Эко, переводу, по Юрию Лотману). Это логический конфликт, путаница, которая не

может спокойно сохраняться и желает перейти в непротиворечивое, совместимое состояние.

Поскольку мы склонны использовать (не только в науке, но и в повседневной жизни) непротиворечивые модели, путь к построению таких моделей лежит через устранение различных видов противоречий или несоответствий. Таким образом, несовместимости представляют собой общий и необходимый этап в возникновении непротиворечивых моделей.

Аналогичной точки зрения придерживается Рикёр, утверждающий, что семантическая несовместимость – больше, чем сигнал для интерпретации, и фактически является составной частью самого производства (смысла).

Ситуация несовместимости, таким образом, есть ситуация выбора. Выбор предполагает альтернативы, которые не могут быть выполнены все вместе – в противном случае не было бы ситуации выбора или несовместимости.

Такую точку выбора – точку бифуркации – биофизика практически неспособна описать. Это происходит потому, что биофизические описания по своей природе являются вычислительными, т.е. последовательными, в то время как для того чтобы осуществить выбор, возможности должны быть предоставлены одновременно. Такое возможно только в том случае, если время останавливается на мгновение. И это на самом деле происходит в субъективном настоящем.

Согласно пирсовскому определению знака, знак – это то, что означает нечто иное, чем он сам. Кроме того, знак является неприводимой триадой, т.е. это «нечто иное» не может быть отделено без разрушения знака. Таким образом, ссылка на это «нечто иное» представлена в знаке в настоящем времени. Этот аспект времени, однако, не был предметом дальнейшего анализа Пирса. Тем не менее этот аспект является принципиально важным, поскольку он подразумевает, что для знака «настоящее время» имеет важное значение. Таким образом, мы приходим к выводу, что пирсовская неприводимость знака-триады относится к темпоральной одновременности в смысле внутреннего «прямо сейчас».

Примечательно, что слово «вариант» появляется в основном тексте восьми томов собрания сочинений Пирса только один раз. Именно тогда, когда он говорит о законах физики, не оставляющих частице никаких вариантов. При этом что возникновение знака очевидным образом связано с «вариантом» – как возможностью выбора.

Возможность выбора для Пирса более тесно связана с ошибочностью. Вместо того чтобы использовать концепции выбора или принятия решений, Пирс говорит об этом через понятие сомнения. Он не обсуждает выбор явно. Тем не менее для Пирса первичность есть возможность, и такая возможность реальна. Семиозис, являющийся интерпретацией, также есть принятие решения, выбор опции. Пирса отличает от приверженцев более привычной феноменологии то, что он развивает свой анализ вплоть

до самых примитивных знаков, доступных для живых систем задолго до того, как возникает сознание.

Как было описано выше, операции могут быть несовместимы, т.е. находиться в конфликте. Тем не менее для возникновения конфликта необходимо требование об их совместном исполнении. Это требование диктуется принятием решения (или интерпретацией – в смысле Пирса). Для того чтобы осуществилось принятие решения, возможности должны быть предоставлены синхронно, т.е. должны наличествовать одновременно возможные варианты. Если возможности не одновременны, то они не являются истинными альтернативами, они не являются вариантами, поскольку выбор возможен только из одновременно предоставленных возможностей. Условием для логического конфликта является наличие вариантов, предоставленных в феноменальном настоящем.

Последовательное описание процессов исключает ситуацию выбора. Даже теория бифуркаций в нелинейных системах, теория катастроф и детерминированного хаоса, а также фрактальная динамика не преодолели порог для рассмотрения принятия решений – и, таким образом, для семиозиса. Эти модели работают как последовательные за счет введения вероятностного понятия микрофлуктуаций. Поэтому и различные вычислительные модели не в состоянии описать реальный процесс принятия решений. Поскольку семиозис не является вычислением.

Для того чтобы одновременность была возможна, соответствующий момент времени должен иметь конечную длину, время должно остановиться. Это то, что было описано (например, Уильямом Джеймсом) как правдоподобное настоящее (*the specious present*), воспринимаемое в качестве «кванта времени».

Правдоподобное настоящее – это феноменологическое понятие. Организмы взаимодействуют с окружающим миром через конечные пирсовские квалии (*qualia*). Они существуют в виде моментов, минимальных элементов времени, которые еще не содержат в себе движения. Такое восприятие времени с помощью качественных моментов было ясно обозначено уже фон Бэр: в его концепции данный момент является вневременной границей между прошлым и будущим, что, как правило, называют «сейчас». Фон Бэр высказал мнение, что разные организмы могут иметь различные «данные моменты» при измерении с помощью внешних средств, вроде часов.

Вовсе не обязательно предполагать постоянство феноменального настоящего времени. Настоящее может появляться и исчезать, а затем вновь возникать в течение короткого или длительного времени. Воспринимаемое неизменным феноменальное настоящее время является тем, что характеризует сознание. Во многих организмах (в том числе и в живой клетке) феноменальное настоящее само по себе может быть временным, и такое положение приводит к путанице. Это означает, что последователь-

ные операции и их одновременное присутствие могут чередоваться в разном соотношении у разных организмов в разное время.

Другим выводом из проведенного анализа является то, что для принятия решений не требуется понятие «центра». Это хорошо согласуется с концепцией организма как «роя». Ни один наблюдатель не нужен для существования феномена. То, что требуется, – это лишь пересечение несовместимых операций по их репрезентаменам в момент одновременности. Только в пределах феноменального настоящего выбор может быть сделан между вариантами. Мы полагаем, что противоречие здравому смыслу этого заявления может быть одной из основных трудностей в решении проблемы психической неопределенности (вместе с ее частным случаем – свободной волей).

По мнению Кулля, для того чтобы окончательно соединить физиологию и феноменологию (или физику и семиотику), нужны модели правдоподобного настоящего времени в обеих областях, а затем их будет необходимо соединить соответствующим образом.

Выбор между вариантами, осуществляемый в настоящее время, является «решением» или «интерпретацией». Решение, которое преодолевает затруднение, обычно не просто везение. Оно основано на «строительных лесах», представляющих собой множество следов от ранее принятых решений. Создание этих следов является тем, что называется обучением. «Строительные леса» обеспечивают предпочтения или фрейм, которые помогают, как правило, быстро преодолеть неопределенную ситуацию выбора при одновременном сосуществовании возможностей в феноменальном настоящем времени. Конструкции биологических (а также культурных) систем полны таких «строительных лесов»: все органические формы строятся по следам имевшего место быть ранее обучения. Поэтому ситуации принципиально свободного выбора часто дают хорошо предсказуемые модели поведения, если описываются сторонним наблюдателем. Короткий период выбора и предсказуемость его результата являются очевидными причинами, по которым такой выбор трудно заметить, если ученый не располагает соответствующей моделью принятия решений и феноменального настоящего времени, т.е. семиозиса.

Т.Ш. Адильбаев

П. Чилтон *

СМЫСЛ БЕЗОПАСНОСТИ¹

«And you all know security is mortals' chiefest enemy»², – так говорит Геката трём ведьмам в пьесе «Макбет». Современный читатель может на секунду замешкаться, пытаясь найти смысл в этих словах, ведь в XX в. *security* стала «самым добрым людским другом» в англофонном мире. Слова Гекаты кажутся парадоксальными, до тех пор пока мы не подойдем критически к самой культуре безопасности. Хотя Шекспир и его современники и начали употреблять слово безопасность в современном смысле, они знали и иное толкование этого слова, основанное на латинской этимологии. Слово безопасность (*security*) происходит от приставки *se* (без) и корня *cura* (забота), т.е. буквально означает порицаемо «без-заботный». Изменение смысла с позитивного на негативный связано с процессами изменения общества в раннем Модерне, и в частности – с ростом политической культуры, связанной с формированием национального государства. Подобные семантические генеалогии демонстрируют относительность лингвистически кодированных концептов. Но остается очень важный вопрос: если слово *безопасность* (*security*) более не означает того, что оно означало для шекспировских ведьм, то что же оно значит теперь, в XXI в.?

* Чилтон Пол, ассоциированный исследователь Центра прикладной лингвистики Университета Уорик, почетный профессор Университета Ланкастера.

Chilton Paul, Associate Fellow in the Centre for Applied Linguistics, Warwick University; Emeritus Professor, Lancaster University.

¹ Оригинал был опубликован в 1996 г.: Chilton P. The meaning of *security* // Post-Realism: The Rhetorical Turn in International Relations / F.A. Beer and R. Nariman (eds.). – East Lansing: Michigan state univ. press, 1996. – P. 193–216. Перевод с английского языка публикуется с разрешения автора.

² Дословно: «Вы все знаете, что беззаботность – главный враг смертных». Автор статьи обращает внимание на то, что Шекспир, имея в виду «беззаботность», использует в этой фразе слово *security*, которое в современном английском означает «безопасность». В существующих художественных переводах «Макбета» на русский можно найти разные варианты перевода этой фразы: «самый злобный враг людской – // самонадеянный покой» (М. Лозинский), «беспечность – людям враг» (С. Соловьев), «людей погибель – в похвальбе, // в уверенности их в себе» (Б. Пастернак). – Прим. пер.

Точнее, какие концепты, образы и эмоции пробуждаются, когда кто-то слышит или произносит это слово? Если нынешний смысл обретается вследствие исторических, социальных и политических изменений, а не в ходе произвольной игры языка, то как хорошо этот концепт будет работать в период драматических изменений? Может быть, старый смысл – «отсутствие заботы» – действительно сослужит нам лучшую службу?

Политическая наука, язык, смысл

Если концепт *безопасность* укоренен в языке и культуре, то первым делом необходимо освободить его из них. Как это сделать? Язык и смысл всегда были в поле интересов тех, кто размышлял о природе политики. Мюррей Эдельман одним из первых ясно и наиболее отчетливо обратил внимание на центральные положения языка, смысла и метафоры в политической культуре. Для него язык – основа реальностей и главный элемент всякой символической активности. В частности, в своем смысло-ориентированном подходе к политической культуре он рассматривает «метафору и миф» в качестве центральных элементов. В некоторой степени его взгляд на язык отражает традиции лингвистического релятивизма Сепира и Уорфа. Так, Эдельман утверждает: «В выработке убеждений языковые формы играют критическую роль; они делают это такими способами, которые мы не можем сознательно воспринять, и потому неочевидны» [Edelman, 1971, p. 67].

Хотя концепция метафоры сформулирована у Эдельмана слишком неопределенно, она в тоже время удивительно хорошо совместима с подходом, принятым в когнитивной лингвистике.

«Мысль метафорична, и язык пронизан метафорами, так как все неизвестное, новое, непонятное и отдаленное понимается через восприятие уже известного. Таким образом, метафоры определяют паттерны восприятия, на которые реагируют люди» [ibid., p. 68].

Эдельман отмечает еще одно свойство метафоры – она отбирает определенные перцепции и игнорирует остальные. Для него политическое значение метафоры состоит в том, что она предстает как инструмент оформления политической поддержки и оппонирования, создания допущений, из которых вырастают решения [ibid., p. 68]. Речь идет не о пышных риторических соцветиях выступлений политических ораторов, но о паттернах мысли, которые представляются естественными в политической культуре. Эдельман утверждает, что политическая речь «пробуждает самые сильные ощущения скорее через воспринимаемые как данность метафорические образы, нежели через эксплицитно отстаиваемые воззрения» [ibid., p. 69].

Идеи Эдельмана не нашли своего применения в исследованиях международных отношений и международной безопасности, несмотря на на-

личие в этой области множества работ, делающих в духе постструктурализма отсылки к языку [напр.: Ashley, 1986; Campbell, 1992; Dalby, 1990; International / intertextual relations, 1989; Walker, 1987; One world... 1988; On the Spatio-temporal... 1990; Inside / outside, 1993]. Впрочем, неверно будет сказать, что теоретики ортодоксальной теории международных отношений не интересовались смыслом понятия *безопасность*. На самом деле исследователи, которые занимались всесторонним изучением концепта безопасности, подчеркивали ее внутренне проблемную природу. Частично их замешательство можно объяснить большей или меньшей приверженностью дискурсу реализма или же связать с тем, что понимание природы концептов и языка делало их излишне озабоченными поисками ясности. Например, Арнольд Уолферс в 1945 г. работал во влиятельном Брукингском институте, а через 20 лет написал статью «О национальной безопасности как неопределенном символе» [Wolfers, 1962, ch. 10]. Еще через 20 лет, в 1983 г. вышла важная и новаторская работа Барри Бузана, в которой отстаивался похожий тезис. Стремясь проложить курс между реализмом и конструктивизмом, он отмечал, что, с одной стороны, безопасность – это, выражаясь словами У.Б. Галли, «сущностно оспариваемый концепт» (essentially contested concept). С другой стороны, Бузан ставит вопрос о том, где в реальном мире есть референт существительного *безопасность*, предполагая в объективистской манере, что такой референт должен существовать [Buzan, 1991; Gallie, 1955].

Подобные исследования не порвали ни с реалистской эпистемологией, ни с политической теорией реализма. Основная исследовательская оптика Бузана во многих отношениях остается неореалистской. В поисках объективного референта слова *безопасность* Бузан пользуется организующей рамкой, в которой дискурсивный универсум по-прежнему структурируется моделью трех уровней глобальной политики Кеннета Уолтца. Первый уровень – это уровень индивида в государстве, второй – уровень самого государства с его ограничивающими и защитными внешними границами, а третий – внешний мир, мир анархичной международной системы. Эти элементы, «внутреннее», «граница», «внешнее», рождены мощным и убедительным пространственным представлением о непроницаемом вместилище (container), которое постоянно используется в семантике естественных языков и является в них источником большого количества метафорических выражений. Более того, с эпохи раннего Модерна и до конца XX в. образ вместилища лежит в основе западного политического дискурса, центрированного на государстве, суверенитете и безопасности.

Теперь вернемся к идеям Эдельмана о важности языка и в особенности метафор для политического мышления и принятия решений. Лингвистический элемент важен по трем причинам. Во-первых, это наше главное свидетельство существования неявных убеждений, которые лежат в основании международного политического дискурса. Во-вторых, он сам по себе составляет саму суть политического взаимодействия, и потому его

надо анализировать именно как форму действия. В-третьих, любое частное использование некоторого языка разделяет семантическую систему этого языка с другими людьми, говорящими на этом языке.

Это не значит, что языковые смыслы постоянны. Под семантической системой я понимаю систему минимальных смыслов, разделяемых говорящими, на основе которой появляются и применяются более богатые и более точные контекстуальные смыслы в процессе коммуникации. Из этого следует, что нам необходимо принять во внимание отличительные аспекты определенной лингвистической (семантической) системы и аспекты, связывающие системы убеждений с культурой, которая может более или менее сознательно влиять на концептуализацию и на образы взаимодействий.

Многие аспекты лингвистической системы влияют на политический дискурс и связанные с ним концептуализации, но в этой главе я продолжу линию Эдельмана с его упором на метафоры, хотя мое понимание и анализ метафор основываются скорее на концепциях из когнитивной лингвистики.

Моя цель – сделать явным присутствие метафор в лингвистических и когнитивных способностях людей, живущих в политиях, в которых дискурс производит концепт безопасности в ряду других близких концептов. В некотором смысле это та цель, которую Бузан преследовал другими средствами, а именно – «очертить сферу безопасности как сущностно оспариваемого концепта... определить концептуальные подструктуры, на основе которых эксперты по изучению политических стратегий и другие аналитики проводят массу эмпирических исследований» [Buzan, 1991, p. 14].

Метафора и политические концепты

Исследования в когнитивной семантике не раз показывали, что физический опыт раз за разом оказывается метафорической основой для ключевых аспектов смысла, в частности для полисемии и идиоматических выражений. Данный факт важен для понимания текущих и потенциальных концептуализаций международных отношений, обороны и безопасности. Многозначные слова, идиоматические смыслы и выражения, эксплицитно представленные в качестве метафор, можно понять в качестве систематических, т.е. не просто как произвольные, случайные или уникальные переносы смысла из исходных сфер физического и социального опыта людей. Исходные сферы могут быть двух типов, хотя они пересекаются и разнятся от культуры к культуре¹. Первый тип – это телесный опыт. Кажется, что взаимодействие человеческих тел с объектами в пространстве порождает когнитивные образы-схемы, гештальты, кинестетические образы. Они

¹ О таком взгляде на концепты и метафоры см.: [Lakoff, Johnson, 1980; Lakoff, 1986; Women, fire... 1987; Sweetser, 1990].

суть доконцептуальная основа концептуальной и лингвистической организации. Естественно, это не единственные факторы, влияющие на лингвистическую и концептуальную структуру, но ниже мы увидим, что именно они откроют нам путь к понимаю таких систем мысли, как реализм.

Вторым типом источников для метафорических выражений является культурный опыт, хранящийся в виде стереотипных фреймов и сценариев (scripts). Подобные источники сильнее связаны с культурами, чем кинестетические изобразительные схемы. Они включают такие сценарии, как социальные ритуалы, игры и даже пространственные фреймы (spatialized frames), вроде зданий, с релевантными сценариями для входа, посещения, выхода и ухода. Очевидным примером здесь является любовь американцев к использованию бейсбольных метафор для политики и покерных метафор для соперничества в международных отношениях. Некоторые культурные метафоры берут свое начало в социально-экономических типах организации. К примеру, индустриальное общество породило метафору «время – деньги», которая стала частью стабильного ядра современного словаря и, соответственно, основой для целой системы выражений: время можно *купить, потратить, потерять, вложить, использовать с пользой*, им можно *распоряжаться* и т.д.

Стоит сосредоточиться на четырех специфичных доконцептуальных структурах, в которых физическое и культурное основания по-разному сочетаются. Исторически они все служили источником для метафорической концептуализации международных отношений, обороны и безопасности. Первый доконцептуальный образ – это упоминавшаяся схема ВМЕСТИЛИЩЕ (CONTAINER schema). Она состоит из трех ключевых элементов – внутреннее, граница, внешнее. Эта схема выступает в качестве основы понимания слов *внутри* и *снаружи* (inside and outside). Она настолько органично вошла в наши лингвистические и концептуальные системы, что мы обычно ее даже не замечаем. Например, ее можно найти в настолько далеких друг от друга областях, как поле зрения и социальные отношения, – *войти в поле зрения, выйти из поля зрения, быть в поле зрения, попасть в поле зрения – вступить в отношения, выйти из отношений*. Для реалистского политического дискурса особенно важен тот факт, что схема ВМЕСТИЛИЩЕ тесно связана с концептуализацией человеческого тела, хотя в конкретных манифестациях они сильно зависят от культуры и гендера. По крайней мере, тело концептуализируется как нечто, имеющее внутреннее, внешнее и границу, отделяющую одно от другого. Границу можно определить как кожный покров или как личное пространство, она может быть выпирающей, а может и не выдаваться. Не менее важно то, что концептуализация тела может быть связана с другими многочисленными схемами и сценариями. Из них самыми очевидными представляются сценарии болезни и роста, которые в свою очередь можно связать с другими схемами и сценариями. Болезни обычно представляют как нечто, вторгающееся в тело извне, т.е. их восприятие базируется на схеме

ВМЕСТИЛИЩА и на военном сценарии. Основанная на таком наборе представлений метафора *политического тела* (body politic) дала западному политическому дискурсу рамку для анализа государства-нации и для рассуждений в дискурсивной аргументации о внутренней и внешней политике государства. Реконструировать комплексные системы, лежащие в основе некоего дискурса, можно через рассмотрение знания носителя языка о том, что такое «грамматическое» или «естественное» в его языковой культуре, которая также является частью политической культуры. Концептуализация государства (state) и человеческого тела как вместилища (container) дает особенно сильно связанную сеть потенциальных следствий, которые могут объяснить, почему доминирующий концепт государства не только аффективно нагружен, но и, по-видимому, имеет псевдоестественную, принимаемую за данность очевидность в политическом дискурсе современности. Это также помогает объяснить постоянство и видимую естественность, с которой государство рассматривается как цельная личность в политическом дискурсе.

Так как метафоры влекут за собой цепочки заключений из исходных концептуальных схем и сценариев, то метафора тела потенциально влечет за собой набор таких концептов, как *побуждение, инкорпорирование, обезглавливание, опухоль, хирургическое вмешательство, общественные недуги* и лекарства от них и т.п. Метафорические рассуждения можно применить к хорошо известным примерам. Так, если коммунизм – это агрессивный организм, заразная болезнь или злокачественная опухоль, то из этого следует, что политическое тело надо оздоровить, или что надо остановить распространение болезни, или вырезать пораженный болезнью участок. Подобные выводы делают в сфере метафор, но их можно перевести в прагматическое поле политического, социального или военного действия. Схема ВМЕСТИЛИЩЕ также связана с культурно-относительными когнитивными фреймами вроде дома, форта, городской стены и т.д. Эти концептуальные связи между схемой вместилища и образом тела, а также культурно укоренными формами укреплений могут объяснить эффективность риторики Рональда Рейгана о Стратегической оборонительной инициативе (СОИ). Несмотря на технологическую невозможность, непроницаемая СОИ, «крыша», «панцирь» или «щит» в когнитивном плане внушали доверие и были естественными метафорами¹. Другой пример – «Европейский дом» Горбачёва, который в конце 1980-х стал концептуальным инструментом в дебатах о будущем безопасности и о политических формах для Европы. В данном случае образ вместилища породил концепцию ограни-

¹ Существование концептуальных связей с вместилищем подтверждается этимологиями: английские слова shield (*щит*) и shell (*ракушка, панцирь*) имеют общее происхождение; римляне называли осадное оружие с защитной крышей *testudo* (*чепенеха*, от *testa* – *горшок* или *ракушка*); английский глагол *protect* (*защищать*) включает в себя латинскую морфему, означающую *покрытие* или *оболочку*.

ченной политической единицы, а дискурс сфокусировался на переопределении Европы. Разные понимания формы и функции прообраза – западного *house* (один свободно стоящий семейный дом) и русского *дом* (множество квартир под одной крышей) – породили отличные и противоречащие друг другу политические последствия.

Опыт физических связей между объектами и между телами выступает основой для другой метафорической схемы – схемы ЗВЕНО (LINK). Особенно важной разновидностью для семантики безопасности служит случай подвижного или незакрепленного предмета, зафиксированного или стабилизированного через прикрепление к неподвижной основе. Схема звена метафорически проецируется на концепты (например, в сфере социального мы говорим о *связях, узах, привязанности* – *bonds, ties, attachments*), на абстрактные понятия (когда мы рассуждаем о цепочках каузальных *связей* или логических *звеньях*), на обязательства, которые *связывают* человека. Подобные концептуальные структуры проявляются разнообразными способами как в реалистском дискурсе, так и в дискурсе международного сообщества.

Третьей схемой, которая имеет широкое распространение, является схема ПУТЬ (PATH), основа которой обнаруживается в физическом опыте перемещения и хождения на двух ногах. В нее входят такие структурные элементы, как начальная точка (происхождение), конечная точка (место назначения), препятствие, тропа и направленность в сторону точки назначения. Как и у всех образных схем, у нее есть своя логика: предполагается, что пункт назначения есть в поле зрения или в уме, как и препятствия, через которые надо добраться до цели без отклонения. Надо также сказать, что акцентирование какого-либо из этих элементов зависит от конкретной культуры или конкретного дискурса. Таким образом, фокусироваться на направленности, на единственном пути и на конечной цели означает быть целеориентированным. Сосредоточение только на цели может давать предопределенность или предустановленность. Фокусирование на исходном пункте может предполагать наличие миссии, т.е. роль посланника какой-то силы. Ориентация на путь или цель, когда путь неизвестен, ведет к появлению концепта поиска (*quest*). Схема ПУТЬ служит основой для абстрактных концептов вроде категории цели и политических концептов, таких как историческое прошлое или политическое будущее. Подобные лексические рефлексы можно найти в выражениях «дорога к социализму», «политические цели», «путь к миру», «демарш», «сближение» и многих других. Безопасность сама по себе часто предстает как предмет поисков (*goal of a quest*). В реалистском дискурсе схема пути является частью набора образов и смыслов для концептуализации государства. Мы уже видели, что государства метафорически представлены как тела и одновременно как личности. А так как у личностей есть цели и направленное движение, то и государствам приписываются наличие физического движения и целенаправленность действий. Более того, так как государства метафорически

являются ВМЕСТИЛИЩАМИ (containers), то их движение влечет за собой движение границ – т.е. экспансию, оказание давления на сопредельные вместилища.

Отношения между этими концептуальными моделями и действительным поведением государств довольно сложны. Возможно, что государства или некоторые из них действительно проводят экспансионистскую политику. Может даже быть так, что концептуальная модель, положенная в основу их дискурса, побуждает их действовать таким образом и ожидать того же от других государств. Однако государства не будут всегда с необходимостью следовать экспансионистской модели, будь они привержены этой схеме или нет. Проблема данной системы мышления, которая объясняет и конструирует государства как целенаправленные экспансионистские тела, состоит в том, что она генерализирует, натурализует и легитимирует подобные ожидания.

Четвертой важной изобразительной схемой является схема динамики СИЛЫ (FORCE). Данная изобразительная схема берет начало от физического опыта давления и сопротивления, как оказываемых, так и получаемых, – т.е. от надавливания и удара или, наоборот, от получения толчка, удара [Johnson, 1987; Talmy, 1988; Sweetser, 1990]. Скорее всего, опыт бокового толчка и тяги (lateral push and pull), гравитационной силы и опыт равновесия являются самыми важными случаями. Опыт давления и сопротивления можно представить на шкале от полной блокировки до абсолютной свободы. Кажется, что эта схема важна в целом ряде лингвистических структур, включая категории модальности (возможность, необходимость, дозволенность). Образы СИЛЫ на уровне здравого смысла служат основой понимания движения физических тел, но со времен Ренессанса они создают также материал для понимания и, возможно, создания отношений – дипломатических и военных – между суверенными государствами. Кажется, что метафоры, произведенные от классических концептов гравитации, динамики, гидравлики и магнетизма, стали основой политических дискурсов и со временем стабилизировались в лексиконе до такой степени, что их смысл и правила использования оказываются автоматически известны всем социализированным носителям языка. Лексическая стабилизация позволяет объяснить, почему такие конвенциональные метафоры распространены одновременно в речах политиков и в языке исследователей международных отношений. Однако экспертные дискурсы используют метафоры и их следствия более насыщенным и выверенным образом. Метафорическая структура ключевых терминов обычно не признается, но становится очевидной, когда термины раскрываются: *стабильность, баланс сил, выравнивание, равновесие, вакуум, притяжение, давление, полярность* и т.д.

Особый случай, центральный для реалистского дискурса, – это семантическое подполе силы, власти и влияния. Концепция силы зависит от проекции схемы физической СИЛЫ и связанных с ней концептов причин-

ности. Концепты власти (power) и влияния (influence) обычно понимаются в дискурсе в смысле гидравлической силы и схемы вместилища. Этимология слова *влияние* (в + лить, англ.: influence – in + flow – «в + литься») ясно отражает данную связь. Все три лексических единицы с их оспариваемыми смыслами отчетливо принадлежат к нашей культуре, являясь частью схемы физической СИЛЫ. Внутренняя логика гидравлической метафоры имеет два крайне важных следствия. Первое состоит в том, что жидкость (власть или влияние) оказывает постоянное давление на вмещающие ее сдерживающие поверхности и имеет склонность распространяться, растекаться, выплескиваться, оказывать давление, проникать в любое из соседних вместилищ. Второе состоит в том, что вследствие этого и согласно соответствующим когнитивным концептам необходимо сдерживать жидкость, предотвратить утечку, остановить поток, предотвратить затопление и т.д. Конечно, существуют и дополнительные метафоры, когерентные с метафорой жидкости, которые также можно использовать для описания распространения влияния. Лучше всего известна теория домино – по сути, это метафора динамики силы, отражающая причину и следствие в простых механических образах.

Носители английского языка (и не только они) полагают значительную часть этих метафор естественными. Заметно, что данные метафоры, заполнившие дискурс, по своему характеру являются систематическими и продуктивными, а не произвольными и идиосинкратическими. То есть они имеют следствия в конкретном процессе познания и коммуникации. В сфере международных отношений некоторые следствия можно суммировать следующим образом.

1. Концепты, функционирующие в политическом дискурсе, имеют те же когнитивные источники, что и концепты общего лексикона в целом. Соответственно, концепты и метафоры, используемые в политическом дискурсе, кажутся естественными, потому что в некотором смысле они таковыми и являются. Они также кажутся необходимыми, что, конечно, не так.

2. Концептуальные системы, включающие метафоры, неизоморфны с некоторой существующей «вовне» реальностью. Разные лингвистические культуры имеют разные кодирующие модели, а разные дискурсы используют разную селекцию и разное применение слов из их языков. Можно концептуализировать и коммуницировать, используя разные модели. Хотя языки и дискурсы не ставят абсолютных преград для концептуализации, принятые и допускаемые концепты могут казаться единственно возможными и естественными для тех, кто ими пользуется.

3. Концептуальные модели, включающие метафоры, могут быть более или менее применимы, полезны или бесполезны для определенных ситуаций. Их применимость может измениться вслед за изменением контекста. Но поскольку они кажутся естественными и являются частью комплексных сетей ассоциаций, то существующие метафоры будут сохраняться.

Данные наблюдения ведут, подкрепляют гипотезу. Дискурс международных отношений – как в практике, так и в академической дисциплине – ограничен степенью укорененности этих моделей и степенью их рефлексивного восприятия. Изменения происходят через изменения в дискурсе: отчасти это влечет за собой изменения в метафорах. Таким образом, лингвистический анализ и дискурс анализ могут играть большую роль в производстве такого изменения.

Метафорические основания безопасности и сдерживания

Семантика слова *security* (безопасность), как ее понимали ведьмы из Макбет, происходит от его этимологии. Но в современном английском такого содержания в понятии безопасности уже нет. Можно показать, что семантика слова *security* (безопасность) и связанного с ним *secure* (безопасный, обезопасить) сильно зависит от образных схем ЗВЕНА и ВМЕСТИЛИЩА, а также от их метафорических расширений. Это очевидно из систематичности полисемии этих слов, из образуемых с ними сочетаний и идиом, с которыми они обычно употребляются. Зависимость от специфических изобразительных схем делает их частью ядра социальных и политических концептов¹.

Часть современной семантики безопасности связана с уверенностью (*certainty*) и надежностью (*surety*) – с понятиями, выражаемыми как метафоры, основывающиеся на ЗВЕНЕ, в его варианте, связанном с закреплением нестабильных объектов. То есть *обезопасенный* (*secured*) понимается в том смысле, в каком говорится о свободных предметах, закрепленных (*secured*) какой-то физической связью. Таким образом, один из концептуальных элементов в понимании безопасности связан с отсутствием движения, статикой и, выражаясь более точно, с физическим ограничением нежеланного движения. Так как пространственные концепты (особенно ПУТИ) накладываются метафорически на время, мы также говорим об отсутствии и предотвращении нежелательного движения во времени, т.е. нежелательного изменения: безопасность выступает как гарантия определенного состояния дел на протяжении времени. Частое использование слов *безопасность* и *стабильность* в связке подкрепляет данный анализ в том, что касается концепта изменений. В английском дискурсе безопасности такие выражения, как *tight security* (*усиленные меры безопасности*, буквально: *тугая безопасность*), *slack security* и *loose security* (*ослабленные меры безопасности*, буквально: *провисающая безопасность* и *развязанная безопасность*), также отражают метафору ЗВЕНА, хотя здесь есть и наложения других метафорических структур.

¹ Более детальное рассмотрение этих идей см. в: [Chilton, 1995].

Кажется, что самые существенные современные смыслы безопасности зависят от структурных элементов схемы ВМЕСТИЛИЩА, особенно важен в этой изобразительной схеме элемент границы. Если что-то находится в безопасности (*is secure*), то тогда никто не может попасть внутрь или выйти оттуда. Примеры этому: «*secure building*» («безопасное здание»), «*secure prison*» («охраняемая тюрьма», буквально: «безопасная тюрьма») и «*secure computer program*» («безопасная компьютерная программа»). Предлог «в» метафоричен, хотя это его качество редко распознается. Он часто является подсказкой: «*in the security of their own homes*» («спокойно у себя дома», буквально: «в безопасности своих домов»), «*secure in their beliefs*» («уверенный в своих взглядах», буквально: «безопасный в своих взглядах»). Важно, что схема ВМЕСТИЛИЩА имеет две ориентации – вовнутрь и вовне: вместилище препятствует как движению вовнутрь, так и движению изнутри. Можно обратить внимание на существование таких выражений, как «*penetration of security*» («нарушение безопасности», буквально: проникновение в безопасность) и «*leaks of security*» («утечки в безопасности»), а также «*security leaks*» («безопасность нарушается», буквально: «безопасность утекает») и «*breach (hole) insecurity*» («брешь (дыра) в безопасности»). Такие фразы подразумевают возможность движения в обоих направлениях: вовне и вовнутрь.

Элемент границы в дискурсе может приобрести метафорическую конкретность. В естественных языках лексически закодирован наш опыт взаимодействия со множеством ограниченных защитных поверхностей вроде оберток, крышек, крыш, стен, заборов, раковин, щитов. Все эти слова органично вошли в военные и стратегические концептуализации: «прикрой войска огнем», «СОИ станет непроницаемым астродомом, щитом, крышей» (*astrodome, shell, roof*), расширенное сдерживание в дискурсе холодной войны должно было обеспечить «ядерный зонтик над Европой». Конечно, граница-поверхность не функциональна, если в ней есть дыры, – отсюда такие выражения, как «дырявые системы ПРО» (*leaky ABM systems*) или «окно уязвимости» (*window of vulnerability*)¹. В американском дискурсе безопасности одной из наиболее важных граничных метафор была метафора «периметра безопасности» (*security perimeter*), которая в ходе холодной войны постоянно переопределялась и уточнялась. Внутренняя логика изобразительной схемы подразумевает, что чем дальше и чем яснее линия периметра, тем дальше ваш противник (вне вместилища) и, следовательно, тем более вы в безопасности (внутри вместилища и обычно в его центре). Это особенно верно, если враг – посторонний (*outsider*) – концептуализируется как находящийся на неизбежном экспансионистском пути по направлению к вам.

¹ Литературно-риторические размышления об аргументе «окна уязвимости» в политике в 1970-е годы см.: [Mailloux, 1989]; скорее критический, чем риторический подход к этой теме см.: [Kaplan, 1983].

Схема ВМЕСТИЛИЩЕ входит в семантическую целостность дискурса безопасности множеством способов, зависящих от локального контекста и решаемых задач. Например, она связана с семантическими оппозициями, которые сосредоточены вокруг понятия незащищенности (*lack of protection*), уязвимости (*exposure* – этимологически: *выставление наружу*), незащитности (*vulnerability*), опасности (*danger*). Уязвимость концептуализируется как ситуация полного отсутствия покрытия или отсутствия покрытия, которое было бы непроницаемым, как отсутствие крыши или стен, как стены с дырами и т.д. Сила выражения «окно уязвимости» идет от его естественной укорененности в концептуальной системе схемы вместилища.

Возможно, схема ВМЕСТИЛИЩЕ была концептуальным мотиватором и / или главным легитимизирующим инструментом для многих доводов и положений из стратегических доктрин, как и для многих решений и исследовательских проектов в программах по разработке вооружения.

Можно предположить, что как только появились воздушная бомбардировка и межконтинентальные баллистические ракеты, понятия о физически защищенных вместилищах, от замков до континентов, оказались фундаментальным образом подорваны. Концепты уязвимости стали доминировать, даже чересчур. Как минимум отчасти это обусловлено аффективной и когнитивной силой схемы вместилища, ее ролью в концептуализации телесного опыта, ее распространенностью в семантике английского лексикона.

В этом случае следуют два вывода. Первый: аргументы тех, кто во времена холодной войны выступал за возведение оборонительных щитов в той или иной форме, могли звучать правдоподобно на наивном когнитивном уровне, поскольку были основаны на естественности схемы вместилища. Второй вывод состоит в том, что верны и обратные аргументы тех, кто, как Роберт Макнамара, выступал за минимальное сдерживание, основанное на взаимной уязвимости (*mutual vulnerability*), – когнитивно неудобная позиция. Как может безопасность, основанная на схеме вместилища, быть основана на уязвимости – антитезисе вместилища? Во время холодной войны дискурс безопасности имел тенденцию колебаться между этими двумя позициями. Результатом была когнитивная нестабильность всех дебатов о сдерживании (даже до того, как горбачевская дипломатия выбила из под нее концептуальную опору, убрав главного врага).

Основанный на схеме контейнера концепт безопасности в контексте американской идеологии имеет глубокие исторические корни. Результаты когнитивного анализа здесь согласуются с нарративными сценариями Чейса и Карра, которые считали, что американская внешнеполитическая традиция структурирована вокруг «поиска абсолютной безопасности с 1812 г. и до звездных войн», а также описывали предложение о СОИ как «возврат к попыткам создать непроницаемый щит, который обеспечит защиту границы и отечества» [Chase, Carr, 1988, p. 307]. В сущности, гипотеза

теза Чейса-Карра состоит в том, что на американскую внешнюю политику влияет историческая память, которая производит и воспроизводит поиск закрытого вместилища безопасности. Когнитивный лингвистический анализ показывает, как такая историческая память концептуально обоснована и структурирована и как она конкретизируется в вербальной субстанции дискурса.

Схема ВМЕСТИЛИЩЕ была частью дискурса безопасности в послевоенные годы и лексически отразилась в стратегии, известной как *сдерживание* (*containment*¹). Для реалистов данная политика была рациональным ответом на угрозу, исходящую от Советского Союза. Однако возможны и другие интерпретации. Например, Дебора Ларсон (*Deborah Larson*) утверждает, что теория реалистов предсказывает столкновения двух сверхдержав, но не объясняет форму, в которой это столкновение происходило во время холодной войны, как и не объясняет, почему не принимались другие внешнеполитические решения, например меры более кооперативной направленности, которые бы признавали за СССР право на безопасность и другие нужды. Далее Ларсон утверждает, что необходимо использовать когнитивный и социально-психологический подходы, для того чтобы объяснить то, что реализм не объяснил [*Larson, 1985*]. Однако ее подход упускает из виду метафоры, несмотря на то что Ларсон постоянно обращается к важнейшим речам и текстам, и, конечно же, признает роль метафоры и аналогии в эволюции политических концептов.

Слово *сдерживание* и концептуальная схема, в которой оно укоренено, являются продуктом атмосферы нестабильности, сложившейся после Второй мировой. Перед Джорджем Кеннаном, бывшим поверенным в делах в московском посольстве США, поставили задачу проанализировать ситуацию в СССР после речи Сталина в Верховном Совете в феврале 1946 г., в которой увидели угрозу. Летом 1947 г. Кеннан дал имя концепту и политическому курсу сдерживания в своей статье «Истоки советского поведения», изданной под псевдонимом «Х». В заглавии использовалась неявная метафора, которая на самом деле была глубоко имплицирована в высказанных в эссе аргументах. Изучая метафоры вместилища, предположительно включенные в семантику словаря «Длинной телеграммы» и статьи, написанной под псевдонимом Х, можно точно указать те организующие принципы, которые придают текстам их концептуальную связанность.

Оба документа разделяют допущение, что СССР – это сущность, напоминающая вместилище. Эта неявная концептуальная модель создает лексическую целостность, основанную на оппозиции внутреннего и внешнего. В качестве исходной посылки (производной от геополитики Маккиндера и Спайкмана) Кеннан полагал, что Советский Союз страдает от «инстинктивного чувства незащищенности», которое возникло вследствие

¹ В английском языке слова *container* («вместилище») и *containment* («сдерживание») однокоренные. Один из смыслов слова *containment* – «вместимость». – *Прим. пер.*

жизни на обширных открытых территориях и которое в свою очередь ведет к страху «иностранный вторжения, прямого контакта между западным миром и своим собственным, боязни того, что может случиться, если русский народ узнает правду о внешнем мире», и к росту военной мощи, чтобы «обеспечить внешнюю безопасность своего внутренне слабого политического режима». Советская личность сама по себе была представлена как вместилище, как одержимо скрытная и как не знающая про внешний мир. Так как схема вместилища может быть использована для создания объективистской эпистемологии, согласно которой «факты» можно обнаружить во «внешнем мире», и поскольку субъективный «внутренний» мир считается иррациональным, советскую индивидуальность можно описать как «невосприимчивую к логике рассуждений», подвластную «самовнушению» и другим формам иррациональности [The Chargé... 1946].

Таким образом, геополитические, психологические и эпистемологические представления подкрепляются схемой вместилища. Этот концептуальный конструкт позволил делать метафорические выводы с политическими последствиями: хотя СССР и не воспринимает рациональные аргументы, он «весьма восприимчив к логике силы» [ibid., p. 707]. Возможности потенциальных выводов в длинной телеграмме весьма существенны, потому что формат телеграммы оставляет читателю задачу заполнения дискурсивных связей (выражающих каузальные или логические отношения, например).

С этими метафорами тесно связан и второй набор шаблонных схем и сценариев, которые служат источником знаний о теле и болезни. Предполагаемая советская интроверсия и сопротивление реальному внешнему миру подаются как психическая болезнь. Снова метафорические выводы используются для выработки предположений о политическом курсе. Переходя от Советского Союза ко всему коммунистическому «движению», которое в телеграмме представлено как исходящее из центра советского вместилища, Кеннан утверждает: «Мы должны изучить его с такой же решимостью, беспристрастностью, объективностью и эмоциональной грамотностью, с какими врач изучает непослушного и неблагоразумного пациента».

В тексте присутствуют и другие метафорические связи. Физические болезни обычно понимаются как заразные и способные распространяться. Здесь же эти свойства переносятся на психическую болезнь советской идеологии: «Многое зависит от здоровья и энергии нашего собственного общества. Мировой коммунизм подобен болезнетворному паразиту, который питается только пораженными тканями» [The Chargé... 1946, p. 708].

Третий набор образов связан со вторым через концепт движения наружу, за пределы вместилища, который в свою очередь связан с метафорами СИЛЫ, особенно гидравлической и механической, и ПУТИ. В частности, статья X разворачивает эту концептуальную сеть в качестве основы для

своих выводов, при этом сохраняя связь с фоновым географическим аргументом и дискурсами, концептуализирующими политическую власть как субстанцию, которая может вливаться во вместилище и выливаться из него.

«Его [Кремля] политика – это плавный поток, который, если ему ничто не мешает, непрерывно движется к намеченной цели. Его главная забота – во что бы то ни стало заполнить все уголки и впадины в бассейне мировой власти. Но если на своем пути он наталкивается на непреодолимые барьеры, он воспринимает это философски и приспосабливается к ним. Главное, чтобы не иссякал напор, упорное стремление к желанной цели» [The sources... 1946–1947]¹.

Концепт *сдерживания* вытекает из такого рода метафорических допущений. Существенная часть конвенциональных концептуализаций иррациональных эмоций, инстинктивных порывов, неуправляемых людей, инфекционных заболеваний и жидкостей строится на том, что они мыслятся как требующие «сдерживания», удержания в каком-то ограничивающем месте². Таким образом, наименование *сдерживание* влечет за собой целую метафорическую систему и зависит от начального набора допущений – главным образом, гласящих, что советская власть – жидкая субстанция, выплескивающаяся наружу через «каналы», оказывающая давление на некоммунистический мир и проникающая в него, и что Советский Союз – психически нездоровый пациент, нуждающийся в ограничениях: «В данных обстоятельствах краеугольным камнем политики Соединенных Штатов по отношению к Советскому Союзу, несомненно, должно быть длительное, терпеливое, но твердое и бдительное сдерживание экспансионистских тенденций России» [The sources... 1946–1947, p. 575].

Метафорические структуры подобного типа – это не просто риторические украшения. Они образуют априорную логику: если X – жидкость (или животное, болезнь и т.д.), то из этого следует, что правильной политикой по отношению к X будет сдерживание. Метафорические проекции в некоторых сообществах говорящих, например эпистемических сообществах политических экспертов, могут быть единодушно приняты за реальность. Но в результате их фокус может быть слишком узким, может оттеснять другие дискурсы и факты. Метафорические проекции способны ограничить мышление, начать жить собственной жизнью независимо от других форм доказательств и рассуждений.

Результатом вхождения метафор Кеннана в официальный дискурс стало затмение других возможных политических курсов, в частности более «открытых» и коммуникативных концептуальных моделей, которыми

¹ Цит. по перев.: Кеннан Дж.Ф. Истоки советского поведения // США: экономика, политика, идеологи. – М., 1989. – № 12. – С. 218–239. – Прим. пер.

² Напр.: «содержать жидкость в запечатанной колбе», «эпидемию сдержали», «она сдерживала эмоции» («contain the liquidina sealed flask», «the epidemic has been contained», «she contained here motions»).

пользовались Рузвельт и его военный министр Генри Л. Стивенсон. Действительно, кажется, что «Длинная телеграмма» прямо или косвенно не изменила взглядов президента Трумэна, Дина Ачесона или Джеймса Бирнса, но Госдепартамент США разослал копии телеграммы в дипломатические миссии по всему миру, а министр военно-морских сил Джеймс Форрестол, главный архитектор послевоенной политики национальной безопасности, внес «Длинную телеграмму» в список «обязательного чтения» для сотен военных офицеров. В 1947 г., когда администрации Трумэна пришлось убеждать конгрессменов проголосовать за помощь Греции и Турции, именно речь госсекретаря Ачесона, структурированная вокруг метафорических образов вместилища и инфекционного заболевания, изменила ход событий и стала основой Доктрины Трумэна.

Также верно и то, что Кеннан потом отмежевался от милитаристской интерпретации сдерживания. Тем не менее здесь важно, что текст сам по себе содержал возможность подобных интерпретаций и что расцветающий дискурс безопасности продолжил кристаллизоваться вокруг тех концептов, которые мы определили и обозначили. Лучшим примером этого процесса служит документ, подготовленный Полом Нитце, известный как Директива СНБ-68 (NSC-68), который концептуально совместим с метафорической структурой «Длинной телеграммы». Документ представляет из себя призыв к массивному наращиванию американской военной силы.

Текстуальная связность Директивы СНБ-68 достигается поразительно частыми повторами небольшого числа лексических единиц, большая часть из которых суть производные от схем ВМЕСТИЛИЩА и СИЛЫ. Международная среда предстает как поле магнетических, механических и гидравлических сил, в которой два «центра» силы «поляризованы», а остальные сущности в системе «тяготеют» к тому или другому полюсу. Далее, два «центра» находятся в двух вместилищах, они создают «силу», которая наращивает «давление» внутри одного из вместилищ – внутренне репрессивного Советского Союза, – вызывая «экспансию». Из логики метафорических импликаций следует, что США – это «оплот оппозиции советской экспансии», который должен «отслеживать» или «блокировать» «распространение», «остановить» (halt) советскую «экспансию» («expansion») и сокрушить ее устремления (drive). Этот оплот должен препятствовать разворачиванию советской динамики (dynamism), «оказывать давление» (apply pressure) или противодействовать (counter-force), должен «сдерживать» (contain) советскую силу, должен отбросить ее (roll it back). США, таким образом, оказываются для Кремля «основной преградой на пути к мировому господству». Этот набор метафорических импликаций концептуально пересекается с метафорами, производными от метафор телесности, болезни и физического расстройства, как и в случае текстов Кеннана. То есть США должны поддерживать «здоровую» среду, поскольку Советский Союз – разлагающаяся (decay), извращенная (perverted) страна, содержащая «семена вырождения» (seeds of decay). Политика

сдерживания сама по себе продолжает восприниматься в терминах оказания контрдавления и сопротивления проникновению, а также изображается в виде барьера, напоминающего стену [A Report to... 1950, p. 13–14].

Концептуальная вселенная, сконструированная в Директиве СНБ-68, произвела и / или обосновала стратегию «наращивания» (building up) вооружений в «центре» (в США и Западной Европе) – что терминологически обозначалось как создание превосходящей мощи (preponderant strength) – в тоже время в рискованной форме осуществляя «сдерживание» на «периферии». Некоторые историки утверждают, что политика Ачесона и Нитце была непропорциональна существовавшим военным угрозам. Если это так, то правдоподобность их дискурса нуждается в дополнительном объяснении; возможно, убедительность воплощенных в тексте метафорических концептов частично будет служить таким объяснением.

Концептуальные системы и концептуальные изменения

Концепт безопасности, появляющийся в классических текстах реалистов в начале послевоенной эпохи, явным образом основан на схеме ВМЕСТИЛИЩА. Однако не менее очевидно, что убедительная природа реалистского дискурса зависит не от одной-единственной схемы и производных метафор, но опирается на целую сеть тесно взаимосвязанных образов, которые при этом не являются статичными, а постоянно пребывают в своей собственной дедуктивной динамике. Если рассматривать эту концептуальную сеть с точки зрения ее тесно ассоциированных кластеров, то становится очевидно, что образ ВМЕСТИЛИЩА имеет много связей с концептом государства и концептом безопасности, с концептами человеческого тела и человеческой личности, которые сами по себе используются в качестве метафор государства. Именно благодаря множеству связей в лингвистических и концептуальных системах схему вместилища тяжело сделать эксплицитной, изменить или заменить. Она дает образ, который, будучи единожды спроецирован на метафору и взят в употребление властными группами и индивидами, придает самому государству естественный характер. Именно так метафора может внести вклад в реификацию и легитимацию феномена, который возник исторически.

Именно поэтому важно принимать во внимание исторические изменения, которые привели к появлению семантических структур, конституирующих политическую культуру в современный период. Схема ВМЕСТИЛИЩЕ стала главным политическим концептом в период между XV и XVII вв., когда развивались дискурсы собственности, прав на землю, коммерции и политической теории. Это также период, в котором схема ВМЕСТИЛИЩЕ реализовывалась географически, экономически и социальными на огороженных землях (land-enclosures), в противоположность общинным (commons), в период, когда определялись границы государств-

наций, в противоположность пересекающимся юрисдикциям средневековой Европы¹. Это также было время, когда сами слова *безопасный* (*secure*) и *безопасность* (*security*) изменялись семантически – от смысла, который у них был во времена Шекспира, к концепту, основанному на схеме ВМЕСТИЛИЩА, характерной для современных социальных, экономических и политических дискурсов. Концепт суверенного государства, разработанный Гоббсом в «Левиафане», ставший каноническим текстом для эпигонов реализма, когнитивно связан с образом ВМЕСТИЛИЩА. Внутренняя логика этой образной схемы, вместе с СИЛОЙ и ПУТЕМ, прекоцептуализирует многое в дискурсе Гоббса, в частности его понятие безопасности. Схема позволяет разграничить внутреннее (себя, дружественное, интегрированное) и внешнее (другой, враждебное, анархичное). Таким же образом из схемы вместилища вытекает понятие контроля над страстями, т.е. *сдерживания* (*containing*) агрессивности. Если говорить более абстрактно, то политические начинают представлять в пространственных терминах, и особенно через пространственный гештальт вместилища, который дает основу понятиям (и чувствам) идентичности и различия, себя и другого, суверенного государства и анархического не-государства, ясно и отчетливо разделенных граничным пределом.

Однако система мышления реалистов не является ни неизменной, ни абсолютной. Хотя она действительно закреплена в основных образных схемах, производящих смыслы, и укоренена в культурных метафорах, сами эти метафоры не являются единственными концептуальными возможностями, и это не единственные концептуальные системы, которые могут дать чувство «реального». Действительно, можно сказать, что чем больше развиваются глобальная экономика, глобальные миграции и глобальные коммуникации, тем больше эта система мысли, с ее представлениями об изолированных (*self-contained*) суверенных государствах, кажется нереальной. Подобное понимание границ особенно проблематично. Дело не в том, что идентичности и границы бесполезны, не нужны или неблагоприятны для человеческой жизни, а в том, что нужно задаться вопросом о том, *какие* из границ нужны, а какие производят негативный эффект². Так как процессы коммуникации и разные уровни интеграции увеличивают проницаемость границ и эти процессы далее ведут к пересекающимся границам во множестве сфер, то концепты идентичности и различия становятся все более важными в конфликтующих политических дискурсах³.

¹ Ср.: [Ruggie, 1986], о дипломатии и государствах-вместилищах: [Mattingly, 1955].

² Это становится поразительно понятным из: [Clements, 1990, p. 18–20; см. также: Camilleri, Falk, 1992].

³ Во внутренней политике важным проявлением этого является рост националистических, расистских и этноцентричных дискурсов как в Западной Европе, так и на бывших территориях советской империи.

В 1989 г. официально считалось, что военный и дипломатический подходы, основанные на реалистской картине мира, положили конец холодной войне и привели к коллапсу СССР. Этот взгляд нельзя эмпирически подтвердить или опровергнуть. Ведь также можно утверждать, что именно реалистский дискурс изобрел, оправдал и продлил холодную войну. Ясно, что концептуальная система реализма, по большому счету, не смогла предсказать события, а если бы могла, то предсказала бы и собственную кончину. Более того, можно утверждать, что с момента потери Западом своего советского врага сохранение концептуальной системы, описанной выше, было крайне дисфункциональным, когда дело касалось физической безопасности больших групп людей. Таким образом, война в Заливе в 1991 г. была «успешной», только если смотреть на нее извне, как на «внешнее» (external) столкновение государств-вместилищ, вызванное проникновением одного в другое. Оптика вместилища не позволяла увидеть уничтожение простых иракцев, курдов и болотных арабов и оставила иракский режим у власти. Сербско-хорватская война 1991–1992 гг. и последующая катастрофа также были результатом подобной оптики, так как конфликты на Балканах воспринимались многими политиками и чиновниками как гражданские войны и, таким образом, как «внутренние» проблемы. Реалистский дискурс суверенного государства указывал разнообразные, но в равной степени губительные векторы движения: с одной стороны, – он давал аргументы против интервенции, что делало миротворческие силы ООН бессильными, с другой стороны, – он оправдывал продажу оружия «суверенному государству», которое могло начать очередную виток насилия. НАТО, определяя свою роль в рамках реалистской системы мышления, не смогло после 1989 г. приспособиться к новым дискурсам глобальной политики, из которых уже не конструировалась правдоподобная картина единой угрозы со стороны чуждой Западу силы.

Дискурсы реализма и неореализма создали комплексную реифицированную совокупность мысленных образов, которые считались естественным положением дел. Очевидные недостатки этой ситуации – экономические, военные и дипломатические – привели к целому ряду попыток создать новые концепции безопасности. Попытки, осуществляемые через разные каналы и в разных формах, – это и дипломатические шаги, вдохновленные в 80-х «новым мышлением» Горбачева, и международная деятельность ученых, физиков, религиозных деятелей, и европейское движение за мир, и антиядерное движение, это специальные доклады ООН, сыгравшие важную просветительскую роль независимые комиссии вроде Комиссии Улафа Пальме 1982 г. и Доклада Брунтланн в 1989 г.¹ Однако ясно, что привычный концепт безопасности, укорененный в запутанной

¹ Краткий обзор этих трендов: [Buzan, 1991, p. 12–14]. Основные документы: [Concepts of security, 1986; Common security, 1982; Our common future, 1987; Ullmann, 1983; Kaldor, 1988; Walker, 1987; One world...1987; Dalby, 1990; Clements, 1990].

сети концептов государства, суверенитета и самости, нельзя легко изменить, не изменяя других частей концептуальной системы и в конечном итоге – не изменяя политическую и международную системы.

Дискурсивные попытки переориентировать мышление о безопасности произвели целый набор новых выражений вроде *общей безопасности* (common security), *всеобъемлющей безопасности* (comprehensive security), а также категорий *глобального общего достояния* (global commons) и *экологических стрессов* (environmental stress) из Доклада Брунтланн. Эти понятия появляются и осмысляются через отрицание или переформулирование реалистских метафор вместилища и силы. Похожим образом выражения *экологическая небезопасность* (environmental insecurity) и *продовольственная безопасность* (food security) бросили вызов реалистской семантике. Они заменили реалистскую связку между безопасностью, вооруженными силами и государством, концептами, имеющими отношение к базовым нуждам, т.е. теми, которые относятся к физической безопасности и выживанию индивидов, выраженными в таких понятиях, как «продовольственное обеспечение», кров и сообщество. Дискурсивная попытка разъединить глубоко укорененные в дискурсах политической современности концептуальные связи между безопасностью, государством, суверенитетом и военной мощью можно понимать как процесс демегафоризации. Такое разъединение можно помыслить как *вертикальный* переход от абстрактного и часто метафорического уровня межгосударственных отношений к более частным и материальным уровням, расширяя концепт безопасности *горизонтально*, чтобы включить экологические, социальные и индивидуальные проблемы. С точки зрения теории познания, языка и дискурса здесь идет переориентация от категорий высшего порядка и метафорических концептуализаций до значений «базового уровня». «Базовый уровень» – это уровень, на котором человеческие культуры (и специализированные группы в этих культурах) взаимодействуют физически и социально со своим окружением, создавая соответствующие концептуальные и лексические организации. На этом уровне категории легче усваиваются, запоминаются и узнаются: т.е. категория «дерево» может быть основой, отличной от субкатегорий дерева (лиственный, дуб, виды дуба) и категорий высшего порядка (роща, лес). Концепты, которые абстрактны, проблематичны, отдалены, выражаются через метафорическую проекцию от уровней базового опыта (семейное древо)¹. Я утверждаю, что доминирующее понятие *безопасности* в современный период включает множество метафорических обработок. Соответственно, дискурсы безопасности включают большое количество дискурсов, в частности экспертных дискурсов, склонных затемнять концепции и перцепции базового уровня. Дискурс

¹ О категоризации базового уровня см., напр.: [Rosch, 1973; обзор: Lakoff, 1986].

безопасности на базовом уровне будет отличаться от крайне метафоричного реалистского и неореалистского.

В некоторых отношениях скалярные различия между концептами базового уровня и метафорическими проекциями соответствуют уровням неореализма, которые отделяют индивидов в обществе от предполагаемой анархии отдаленной международной среды. Однако изменения в концепте безопасности не могут заключаться только в смене «референтов», так как речь идет обо всей системе взаимосвязанных концептов, метафор и метафорических импликаций. Реконцептуализация безопасности потребует не только демегафоризации сегодняшнего понимания, но и переформулирования множества концептуальных и дискурсивных связей с государственностью (*statehood*), суверенитетом и войной; также необходимо развить образный аппарат взаимосвязанности. Демегафоризация перенаправит мышление на индивидуальные и социальные тела, их безопасность и выживание, а не на привилегированное сохранение суверенного политического тела (*sovereign body politic*). Образы вместилища надо переформулировать в терминах физической безопасности и крова, уйдя от непроницаемых кордонов сдерживания и фантазий о защитном астрокуполе. Схемы звена и пути необходимо переформулировать, используя метафоры коммуникации, общности и транспорта, вместо разговоров о пути к постоянной стабильности и походах в поисках окончательной безопасности. А безопасность в этих трансформациях смыслов можно назвать *базовой безопасностью* (*basic security*).

Заключение

Любопытно, что антонима слову *security*, в том негативном смысле, в каком его употреблял Шекспир, нет, – слова *insecure* (небезопасный) и *insecurity* (небезопасность) являются антонимами только к современному пониманию безопасного и безопасности (*security*), представляемыми через метафоры защитных вместилищ, стабильность и закрепленность¹. Самыми близкими антонимами в старом смысле будут *care-full* (заботливый) и *care-full-ness* (забота). Эти слова можно понимать как «полная забота о» («full of care for»), «хорошо заботиться о ком-то» («taking good care of»). Геката знает, что Макбет этими качествами не обладает, так как он презрительно относится к телесным опасностям и страхам. Будучи *se-cure* (беззаботный, самонадеянный), он верит в свою неуязвимость, но тем не менее ищет

¹ В старом этимологическом смысле *secure* уже имеет негативную приставку (*se-*, «без»). Появление *insecure* и *insecurity* говорит о том, что знание о смысле этой приставки исчезло. Похоже, что *insecure* и *insecurity* вошли в употребление в конце 1640-х, возможно, под влиянием Английской гражданской войны, которая также служила контекстом для гоббсовского аргумента в пользу Левинафана, суверена, обеспечивающего безопасность.

безопасности в смысле современном, прибегая к насилию, что ведет его к неожиданным напастьям. Оба смысла слова *security* были доступны современникам Шекспира, но нынешние читатели могут перечитать слова Гекуты, помня, что ее понимание *security* как беззаботности и гоббсовское понимание *security* как безопасности смешались в XX в., – неспособность позаботиться о непосредственном и основном совпала с ростом амбиций достигнуть предельной безопасности военными средствами:

And you all know security
is mortals' chiefest enemy.

Пер. с англ. И.Е. Кочедыков, И.В. Фомин¹

Список литературы

- A report to the National Security Council by the Executive Secretary on United States objectives and programs on national security («NSC-68»). – Washington, 1950. – April 14. – 72 p.
- Buzan B. People, states and fear: The national security problem in international relations. – 2nd ed. – Brighton: Wheatsheaf, 1991. – x, 262 p.
- Camilleri J.A., Falk J. The end of sovereignty? The politics of a shrinking and fragmenting world. – Aldershot: Elgar, 1992. – 312 p.
- Campbell D. Writing security: United States foreign policy and the politics of identity. – Manchester: Manchester univ. press, 1992. – ix, 269 p.
- Chace J., Carr C. America invulnerable: The quest for absolute security from 1812 to Star Wars. – N.Y.: Summit Books, 1988. – 367 p.
- Chilton P.A. Security metaphors: Cold War discourse from containment to common house. – N.Y.: Peter Lang, 1995. – 468 p.
- Clements K. Transcending national security: Towards a more inclusive conceptualization of national and global security // New views of international security, Occasional Paper. – N.Y., 1990. – N 1: Program on the analysis and resolution of conflicts, Syracuse. – P. 18–20.
- Common security. A Programme for disarmament, report of the Independent Commission on disarmament and Security issues under the chairmanship of Olaf Palme. – L.: Pan, 1982. – xxi, 202 p.
- Concepts of security (United Nations department of disarmament affairs, Report of the secretary general). – N.Y.: United Nations, 1986. – ix, 53 p.
- Dalby S. American security discourse: The persistence of geopolitics // Political geography quarterly. – Borough Green, Sevenoaks; Kent, England, 1990. – Vol. 9, N 2. – P. 171–88.
- Edelman M. Politics as symbolic action. – Chicago: Markham Pub., 1971. – ix, 188 p.
- Gallie W.B. Essentially contested concepts // Proceedings of the Aristotelian society, new series. – 1955. – Vol. 56, N 1. – P. 167–98.
- Inside / outside. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1993. – 233 p.
- International / intertextual relations: Postmodern readings of world politics / Derian D.J. and Shapiro M.J. (eds.). – Lexington, Mass.: D.C. Heath, 1989. – xxi, 353 p.
- Johnson M. The body in the mind: the bodily basis of meaning, imagination, and reason. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1987. – xxxviii, 233 p.

¹ Перевод выполнен в рамках работы по проекту № 16-23-20009 «Семиотика политического дискурса: трансдисциплинарный подход» при финансовой поддержке РФФИ / РГНФ.

- Kaldor M.* Transforming the state: An alternative security concept for Europe // Europe: Dimensions of peace / Ed. by B. Hettne. – L.: Zed Books, 1988. – P. 187–214.
- Kaplan F.* The wizards of Armageddon. – N.Y.: Simon and Schuster, 1983. – 452 p.
- Lakoff G.* Cognitive semantics // Versus. – 1986. – Vol. 44, N 5. – P. 119–154.
- Lakoff G., Johnson M.* Metaphors we live by. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1980. – xiii, 242 p.
- Larson D.* Origins of containment: A psychological explanation. – Princeton, N.J.: Princeton univ. press, 1985. – 380 p.
- Mailloux S.* Rhetorical power. – Ithaca: Cornell univ. press, 1989. – xiv, 189 p.
- Mattingly G.* Renaissance diplomacy. – L.: Cape, 1955. – 323 p.
- On the Spatio-temporal conditions of democratic practice. – Unpublished ms., 1990. – Архив автора.
- One world, many worlds: Struggles for a just world peace. – Boulder, Colo.: L.: Rienner Publishers; L.: Zed Books, 1988. – xiii, 175 p.
- Our common future / World Commission on Environment and Development. – Oxford: Oxford univ. press, 1987. – xv, 400 p.
- Richard A.* The Poverty of neorealism // Neorealism and its critics / R.O. Keohane (ed.). – N.Y.: Columbia univ. press, 1986. – P. 255–300.
- Rosch E.* Natural categories // Cognitive psychology. – Amsterdam, 1973. – Vol. 4. – P. 328–350.
- Ruggie J.G.* Continuity and transformation in the world polity: Toward a neorealist synthesis // Neorealism and its critics / R.O. Keohane (ed.). – N.Y.: Columbia univ. press, 1986. – P. 131–157.
- Sweetser E.* From etymology to pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic structure. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1990. – 174 p.
- Talmy L.* Force Dynamics in Language and Cognition // Cognitive science. – Kidlington; Oxford, UK, 1988. – Vol. 12, N 1. – P. 49–100.
- The chargé in the Soviet Union (Kennan) to the secretary of state // Foreign relations of the United States. – 1946. – Vol. 6. – P. 699–708.
- The sources of Soviet conduct // Foreign affairs. – Frederick, Md., 1946–1947. – Vol. 25. – P. 575.
- Ullmann R.* Redefining security // International security. – Cambridge, MA, 1983. – Vol. 8, N 1. – P. 129–153.
- Walker R.B.J.* The concept of security and international relations theory: IGCC Working Papers. – Ballyvaughn, Ireland, 1987. – N 3: First annual conference on discourse, peace, security and international society. – 28 p.
- Wolfers A.* Discord and collaboration; essays on international politics. – Baltimore: John's Hopkins Press, 1962. – 283 p.
- Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1987. – 614 p.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДА СОЦИАЛЬНОЙ СЕМИОТИКИ В МУЛЬТИМОДАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ, МУЗЕЯХ И БОЛЬНИЦАХ

Беземер Дж., Диамантопулу С., Джюитт К., Кресс Г., Маверс Д.

1. Введение

Цель данной работы состоит в том, чтобы показать, как процесс обучения можно изучать с точки зрения мультимодального подхода социальной семиотики (multimodal social semiotic approach). Мы используем этот подход в исследовании трех различных учреждений – школы, музея и больницы, – иллюстрируя на этом материале некоторые ключевые категории из области социальной семиотики и обращаясь к педагогическим и технологическим проблемам в современном обществе.

Мультимодальный подход социальной семиотики фокусируется на производстве смыслов (meaning-making) во всех модусах (modes). Это теоретическая перспектива, сводящая все социально организованные ресурсы, которые люди используют для производства смыслов, в единую дескриптивную и аналитическую область. Эти ресурсы включают в себя различные модусы, такие как изображение, письмо, жестикуляция, взгляд, речь, поза, а также различные носители данных, такие как экраны, трехмерные формы различных видов, книги, заметки и записные книжки. Все эти формы и носители, в частности, используются в средах, предназначенных для обучения. Это делает мультимодальный подход социальной семиотики уместным для исследования процесса обучения.

В статье показаны три способа, которыми в рамках социально-семиотического взгляда на мультимодальность может быть исследовано обучение. Во-первых, он позволяет увидеть, как «педагоги» (educators) представляют мир и устанавливают педагогические отношения через мультимодальный образовательный дизайн. Мы исследуем это в разделе 2, где

обсудим отрывок из учебника для средних школ, музейную экспозицию и демонстрацию на уроке естествознания в начальной школе. Во-вторых, социально-семиотический подход к мультимодальности обращает внимание на мультимодальные *признаки (знаки) научения* (signs of learning). Этот тезис рассматривается в разделе 3, в котором мы исследуем знаки научения на примере телесных действий учеников и их рисунков. Мы проанализируем рисунки, сделанные некоторыми из посетителей экспозиции музея и некоторыми студентами на уроке естествознания (раздел 3.1), а также разберем телесные действия студента-медика, ассистирующего при хирургической операции (раздел 3.2). В-третьих, социосемиотический подход к мультимодальности позволяет исследователям изучать *социальные, педагогические и технологические изменения*. Мы проиллюстрируем это в разделе 4, сравнивая мультимодальные конструкции для обучения в начале и середине 2000-х годов в классе средней школы в Лондоне. В заключительной части статьи мы для дальнейшей иллюстрации мультимодальной социально-семиотической оптики пересмотрим несколько «старых» понятий, относящихся к проблематике обучения, – *преподавание, каноничность и компетенция*.

Работа ориентирована на педагогов. Мы стремимся наметить теоретическую оптику, социальный семиотический «взгляд», вводя ключевые понятия и используя фрагменты данных, взятых из целого ряда различных научно-исследовательских проектов. Мы не обсуждаем (качественные) методы сбора и анализа данных, используемые в проектах, из которых взяты примеры. Ссылки на публикации об этих проектах можно найти в конце статьи, а в последующих работах коллектива программы MODE будет представлен целый ряд различных мультимодальных методов. Наша позиция касательно методологии заключается в том, что подход, представленный здесь, объединяет различные материалы в качестве источников доказательств, от рисунков до видеозаписей, от фотографий до полевых заметок. Он направлен на развитие семиотических категорий, которые позволяют нам понять различия и сходства этих материалов.

2. Мультимодальный дизайн обучения

Во всех коммуникациях, во всех областях современного социального мира смыслы создаются как ансамбли, включающие разнообразные модулы: жесты, устная речь, материальные объекты, письменные тексты, изображения, взгляды, позы и действия других видов – все это задействуется при производстве смысла. Каждый из модусов в таких группах предпола-

гает особые аффордансы¹ (affordances), т.е. специфические для него коммуникативные потенциальности. В качестве довольно обычного примера рассмотрим рис. 1.

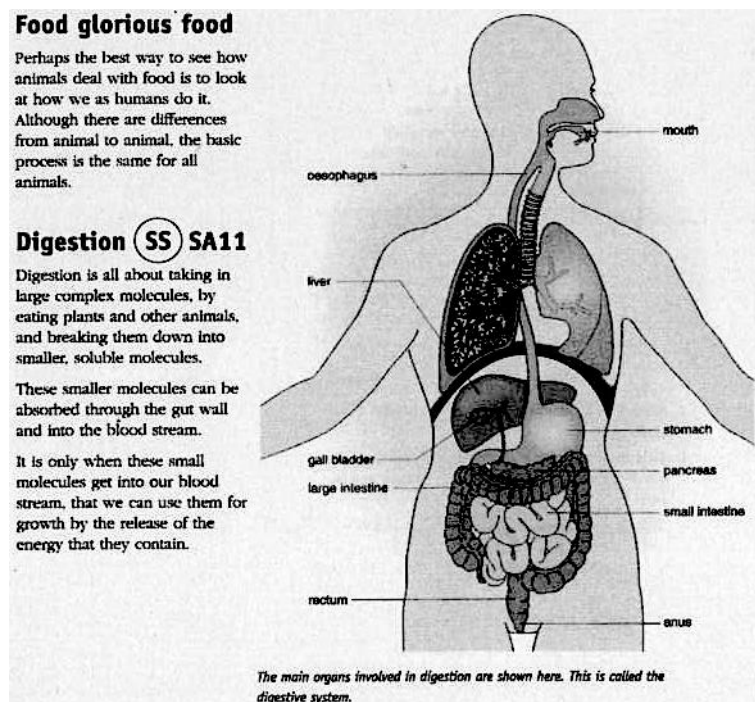


Рис. 1.

Фрагмент из учебника естествознания [Salters... 2002, p. 90]

Здесь приведен фрагмент из учебника для средних учебных заведений в Англии. Подписи на рисунке содержат *описание* процессов и органов, участвующих в пищеварении: в приеме пищи, ее переваривании, разложении на молекулы, выделении энергии и т.д. А картинка *изображает* формы, размеры и положение органов, участвующих в этих процессах. Без использования одного либо другого элемента информация, представленная в описании или изображении, будет строго ограничена по отношению к информации, которая необходима по учебной программе. Это одна из ключевых предпосылок мультимодальной социальной семиотики – всегда опираться на множественность модусов, чтобы выразить смысл. Модусы

¹ *Аффорданс* (от англ. *affordance* «возможность», от англ. *afford* «предоставлять, позволять себе») – побудительное, «приглашающее» качество объекта, показывающее способ использования этого объекта. Термин используется в психологии и дизайне. – *Прим. пер.*

соединяются, организуются и упорядочиваются посредством мультимодального дизайна. Создатели текста на рис. 1 использовали не только текст и изображение, но и типографику, и расположение элементов в макете (layout) – тоже являющиеся способами представления. Выбор осуществляется в каждом модусе (мы только что упомянули, что процессы – описываются, а формы – изображаются), и каждый модус предлагает способы подчеркнуть то, на что должно быть обращено внимание обучаемого. Например, в типографике используются размер и насыщенность шрифта. Авторы текста таким образом могут задавать траекторию чтения текста и определять, как читатель в процессе чтения продвигается по нему. Другими словами, дизайн является знаком, указывающим на интерес «педагога» (здесь мы используем это слово метонимически, имея в виду всех, кто принимает участие в создании текста, включая авторов и графических дизайнеров).

Использование приемов мультимодального образовательного дизайна можно найти не только в двумерном пространстве учебника, но и в трехмерных пространствах, таких как классные комнаты и музеи. Для того чтобы привести пример последнего, мы обратимся к дизайну музейной экспозиции. Кураторы и работники музеев создают дизайн среды, с которой взаимодействуют посетители. Выставки, такие как, например, «Лондон до Лондона» в Музее Лондона, представляют и упорядочивают в пространстве «культурные объекты» – оригинальные археологические артефакты, а также копии объектов, тексты, подписи, модели, компьютерные экраны, звуки, освещение, реконструкции доисторических хижин и разнообразие панелей.

Рассмотрим, как устроена выставка «Лондон до Лондона». Дизайн этой выставки предполагает определенный взгляд на мир: каким этот мир мог бы быть и как его можно было бы себе представить; что известно о прошлом; каковы способы, с помощью которых это прошлое следует рассматривать в настоящем. На этой выставке левая часть выставочной площади, например, состоит из стеклянного корпуса, заполненного объектами с подписями на фоне простой голубой подсветки. Многие из отображаемых объектов были обнаружены на дне Темзы, и выбор освещения указывает на отношение объектов к реке. Тем не менее способ отображения – в больших стеклянных витринах, – а также тип освещения воспроизводят эстетически гораздо более знакомый стиль художественной галереи. Это свидетельствует о заинтересованности кураторов музея в наделении экспонируемых объектов статусом произведений искусства с использованием ресурсов, которые обычно можно найти в художественной галерее.

С правой стороны от входа на выставку стоят деревянные панели с мониторами. Большая часть информации здесь дана в виде письменного текста в жанрах, представляющих эстетический дискурс. В то же время можно заметить желание авторов экспозиции научно подкрепить приведенную информацию с помощью графиков и привнесения «научных дока-

зательств» из различных дисциплин и «научного дискурса» в приводимых текстах. Эти пересекающиеся дискурсы – эстетический, экологический, научный – и их сочетания регулируют дизайн выставки и отражают интересы (производителей смысла из) команды дизайнеров, их эпистемологические позиции и политику музея в целом. Выставка перекликается с общим интересом к актуализации темы доисторических артефактов и в то же время проверяет на достоверность современные представления о важности этих предметов и периода истории, которому они относятся.

Так же как и в примере с учебником, такие мультимодальные ансамбли и их пространственная организация предлагают посетителю траектории прочтения путем расставления необходимых акцентов во всех различных модусах. Ключевые способы репрезентации, такие как цвет, размер, угол обзора и местоположение объектов на выставке, подталкивали посетителей к определенной последовательности действий, которые они совершали, проходя через всю экспозицию. Кроме того, эти способы репрезентации воздействовали на интересы зрителей. Такие же выводы можно сделать и в примере с учебником. Оба случая показывают, как корпус знания, «учебная программа» в терминах образования, артикулируются через несколько модусов с использованием множества ресурсов, доступных «педагогу». Следующий пример показывает, как другие места, такие как классная комната, позволяют использовать определенный набор ресурсов.

Пример взят из начальной школы в Лондоне. В нем фигурируют учитель и класс учеников 7–8 лет. Учитель рассказывал часть учебного материала по естествознанию (тема «Силы»), зачитывая цели всего раздела и конкретно этого урока с экрана, задавая вопросы, демонстрируя физические процессы, составляя диаграмму концептуальных связей (*mind map*), показывая различные виды магнитов. В процессе коммуникации учитель пользовался различными модусами: *расположением* трехмерных объектов, *телесными действиями*, *жестикуляцией* над объектами и *устной речью*. С помощью этих модусов учитель выстраивал «условия эксперимента», предлагая классу предугадать, что случится, «если сдвинуть магниты ближе друг к другу». Для привлечения внимания и поддержания интереса учащихся к происходящему учитель использовал «визуализатор» – цифровой дисплей, увеличивающий все, что попадает в поле зрения камеры, и транслирующий изображение на большой экран. Это способ направить внимание класса (рис. 2).


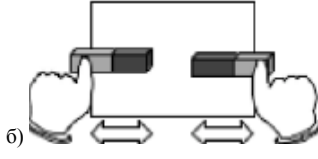

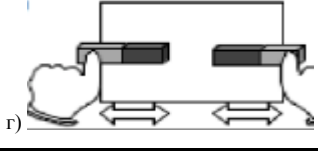

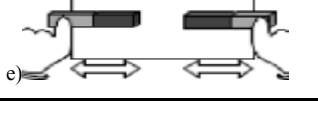


Жесты		Речь
 <p>а)</p>	<p>Кладет магниты на «визуализатор»</p>	<p>окей (.)</p>
 <p>б)</p>	<p>Касается каждого из магнитов и слегка пододвигает их друг к другу</p>	<p>два магнита (..)</p>
 <p>в)</p>		<p>теперь, возвращаясь к цели нашего занятия на сегодня (.) Том (..) окей (..) мы выучим, что силы действуют между двумя магнитами (..)</p>
 <p>г)</p>	<p>Касается каждого из магнитов и слегка пододвигает их друг к другу</p>	<p>так, здесь у нас два магнита, окей (..)</p>
 <p>д)</p>		<p>Итак, как вы думаете (.) подумайте получше (.), не поднимайте руки просто так (.)</p>
 <p>е)</p>	<p>Касается каждого из магнитов и слегка пододвигает их друг к другу</p>	<p>если (...) подвинуть их</p>
 <p>ж)</p>	<p>Подносит пальцы друг к другу над магнитами</p>	<p>ближе друг к другу (..)</p>
 <p>з)</p>		<p>затем отпустим (..) Как вы думаете, что случится с магнитами?</p>

Рис. 2.
Мультимодальный транскрипт демонстрации
на уроке естествознания

Три рассмотренных примера показывают не только то, что разные пространства – учебник, музей, класс – предполагают различные наборы доступных модусов, но и то, что разные модусы имеют различные потенциалности в плане того, что именно может быть донесено с их использованием, и того, каким образом учитель и ученик включены в процесс производства школьного предмета. «Педагогика» в таком понимании – это транспозиция социальных взаимоотношений из социального мира вне стен школы в классную комнату – как метафора того, какие виды социальных взаимоотношений можно представить и какие из них предпочитает школа.

3. Мультимодальные признаки научения

В этом разделе мы рассмотрим, как обучающиеся получают знание под воздействием мультимодальных дизайнов обучения, обсуждавшихся выше. Мы сместим акцент с интересов и дизайна обучающей программы, придуманных «педагогами», на учеников и признаки их включенности в процесс обучения. Мы сфокусируемся на мультимодальных признаках научения, которые можно увидеть в их рисунках (раздел 3.1) и телодвижениях (раздел 3.2).

3.1. Рисунки

Прежде чем мы взглянем на рисунки, сделанные в школе и в музее, давайте посмотрим на пример из среды, которая была выстроена в других рамках. Трехлетний ребенок, сидя на коленях у отца, рисует ряд кругов (семь, если быть точным) и заявляет, что это – машина (рис. 3). Как с точки зрения процесса обучения, так и с точки зрения построения смыслов возникает вопрос: как это может быть «машиной»? Пока мальчик рисовал, он приговаривал: «Вот колесо, вот другое, вот еще смешное колесико... Вот и машина!» Другими словами, ключевой особенностью автомобиля было для него наличие колес, тот факт, что у машины их много. Колеса были представлены в виде кругов, а автомобиль – в виде набора из семи кругов. Такая репрезентация возможна благодаря аналогиям: колеса похожи на круги. Результат этой аналогии – метафора. То же самое и с репрезентацией автомобиля: «автомобиль – это множество колес». Смысл здесь сконструирован последовательностью двух метафор: колеса – (похожи на) круги, множество кругов – (похоже на) автомобиль.

Мы могли бы спросить дальше, почему для этого ребенка колеса могли быть определяющей характеристикой «автомобиля». Если мы представим себя на месте ребенка, смотрящего на семейный автомобиль (в данном случае Фольксваген «Гольф» 1982 г. выпуска) с его заметными колесами, особенно на высоте трехлетнего наблюдателя, можно сделать

вывод, что эта позиция буквально физически, но в том числе и психически аффективно вполне может привести к видению производителем смысла (в нашем случае – ребенком) объекта таким образом. Поэтому его рисунок представляет его «позицию», его «интерес», вытекающий из его (физической, аффективной, культурной, социальной) позиции в мире на тот момент по отношению к объекту для его представления. С точки зрения обучения мы можем сказать, что его интерес формирует его внимание к части мира и тем самым выступает в качестве мотивации для принципов отбора.



Рис. 3.
Рисунок трехлетнего ребенка

Наш вывод заключается в том, что именно этот *интерес* производителя смысла определяет, что он использует в качестве главной характеристики объекта в момент его представления. Рисунок ребенка предполагает взгляд на мир, который сформирован исторически, социально и культурно. То, что производитель смысла принимает в качестве ключевой характеристики, затем определяет, как он будет представлять этот объект (сущность). Только то, что соответствует выбранной характеристике, представлено; другие признаки опущены или выступают в качестве фона. Следовательно, представление всегда частично. Рисунок является результатом работы ребенка в его взаимодействии с миром, воплощающим его (совершенно разные) интересы.

Принимая рисунок как *знак научения*, мы предполагаем, что в результате процесса взаимодействия с частью мира ребенок создал для себя смыслы, внешние и видимые новые способы постижения мира, новые «концепции» и добавил их к своим внутренним концептуальным ресурсам. В этом процессе весь набор ресурсов ребенка трансформируется, ресурсы дополняются: происходит обучение. Ребенок достиг расширения своих возможностей репрезентации через производство новых смыслов. При таком подходе каждый рисунок, любая изобразительная форма, каждый созданный знак является инновацией; его создание – это творчество. Последовательный, непрерывный процесс *трансформативного взаимо-*

действия (transformative engagement), интеграции и внутренней трансформации вместе с приобретенным состоянием представляет собой обучение.

Этот тезис справедлив вне зависимости от того, выполнен ли был знак внешне – через рисунок, или речевой акт, или жест – или внутренне, в процессе взаимодействия, отбора или внутренней трансформации. Будь то в производстве смысла или в обучении, интерес является решающим. Он формирует основу выбора того, что берется в качестве определяющей характеристики сущности для его представления (колеса автомобиля); а что в качестве подходящего и уместного способа представления (например, рисунок вместо речи). Интерес также составляет основу для трансформации того, с чем обучающийся вступает во взаимодействие. В обучении интерес ученика придает форму его вниманию, подводя к выбору из наличествующего в мире. И интерес же определяет, что для ученика окажется в фокусе взаимодействия в процессе обучения.

Эти понятия – *признаки научения* и *трансформативное взаимодействие* – могут быть использованы для анализа рисунков в любом контексте. Например, в музейном кейсе, очерченном выше, исследователи пытались получить представление об опыте посетителей, предлагая им «переделать» смысл выставки в виде рисунка (вместо того чтобы просить их произвести некоторый нарратив). На рис. 4–5 показано творчество двух посетителей. Сначала рассмотрим рисунок двенадцатилетнего мальчика во время посещения музея с его матерью (рис. 4).

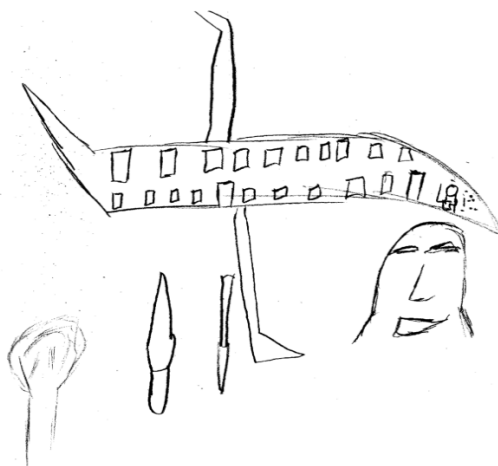


Рис. 4.

Рисунок двенадцатилетнего мальчика

Он решил сделать рисунок, который изображает самолет, дерево, копьё, инструмент и череп. Эти элементы «представляют» (stand for)

предметы, которые были особенно важны для этого посетителя. Его внимание было обращено – среди прочего – на небольшую модель самолета в диораме, которая поясняла, что современная территория аэропорта Хитроу имела археологическую значимость. На рисунке интерес ребенка показан четко. Его опыт посещения выставки был в большей степени сформирован вокруг модели самолета и того, что это пробудило в нем на выставке.

В другом примере (рис. 5) на рисунке, выполненном восемнадцатилетней девушкой, мы видим череп быка в верхнем левом углу изображения, в то время как все остальное представляет собой зарисовки сцены повседневной жизни поселения. Главной целью изображения черепа может быть указание на наличие именно такого большого черепа на входе в выставочный зал, который, вполне очевидно, являлся образцом для черепа, нарисованного девушкой в качестве ключевого объекта. Ее рисунок трансформирует ресурсы, выбранные ею, масштабным образом и перекодирует их с целью создания сообщения, объясняющего череп. В мультимодальном социально-семиотическом подходе это рассматривается как признаки того, что она «выучила», например, орудия, используемые людьми для охоты и собирания, то, каким образом они делают горошки для приготовления пищи и готовят еду.



Рис. 5.

Рисунок восемнадцатилетней посетительницы выставки

Примеры, демонстрирующие, какой выбор и какие изменения были сделаны посетителями для представления выставки в виде рисунка, с точ-

ки зрения мультимодального социального семиотического анализа указывают на (социально оформленные) интересы рисовавшего.

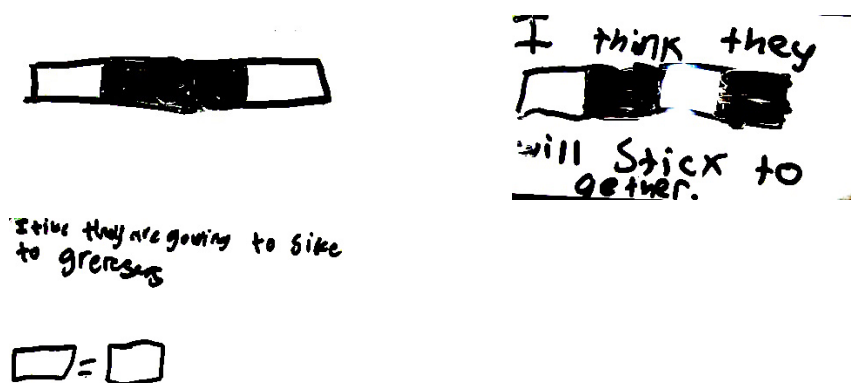


Рис. 6.

«Магниты»: гипотезы на доске.
Слева направо: Саафа, Лорен, Кишан

Аналогичный процесс трансформативного взаимодействия может наблюдаться в школьном классе. Изображение на рис. 6 демонстрирует несколько рисунков, сделанных учениками младших классов в качестве реакции на демонстрацию учителем сил, описанных выше. Класс, без исключений, нарисовал магнитный брусок, отображенный на экране, в виде прямоугольников, вытянутых в горизонтальном направлении. Таким образом ученики продемонстрировали усвоение условий эксперимента, которые требуются для последующих практических действий. Такая интерпретация была сконструирована их учителем, расположившим объекты. На данном этапе урока никаких упоминаний о двух полюсах магнита сделано не было. Ученики должны были решить сами, важен ли для данного эксперимента разный цвет на концах магнита. Разделение и объединение магнитов было основным средством демонстрации возможных результатов эксперимента.

В контексте урока наличие только одного рисунка было не единственным возможным ответом на инструкции учителя, но рисунок как нельзя лучше подходил к ситуации, когда общим было знание о том, что разделенный прямоугольник представляет магниты и что их расположение предполагает результаты эксперимента. Эта «ситуативная очевидность» не может быть такой устойчивой за пределами «общего знания» этого класса. Некоторые ученики, добавив письменные пометки, лексически объяснили зарисованные предположения результатов. Другие описывали условия эксперимента и его исход различающимися способами – в виде рисунка и в виде надписи. Четыре ученика добавили волнистые линии как способ теоретического описания магнитной силы.

Какими же были признаки научения в данных рисунках? Во-первых, задание требовало внимания к учебной теме «магнитная сила» в рамках конкретной педагогической ситуации. Были предусмотрены определенные экспериментальные условия, и полученные ранее знания были привлечены в процессе подготовительной активности и взаимодействия. Изобразительные возможности посредством демонстрации или лексикализации движения были достаточными для этого момента. (81% учеников класса предсказали притяжение, что неверно с научной точки зрения.) На этом этапе «понять правильно» не было обязательным, в отличие от конца урока. Во-вторых, задание предполагало переделку продемонстрированного учителем. В интервью ученики говорили о своем опыте столкновения с явлением магнитного притяжения в школе и дома (например, игры, магнитные буквы на холодильнике), но они не делали ранее такого рода гипотетических предположений. В графическом представлении их гипотез научение было в том, что они выбрали модуль рисования и написания того, что было для них новым. В-третьих, задание выдвижения гипотезы было только одним среди нескольких. Ученики также обсуждали и разыгрывали процессы притяжения и отталкивания, и в итоговой работе были предусмотрены стрелки как средство для отображения направления движения. По ходу урока – в процессе обучения – гипотетические предсказания на доске постепенно развивались.

3.2. Телесные действия

До сих пор мы идентифицировали и анализировали признаки научения в рисунках. Эти рисунки были выполнены в разное время и в разных местах. Посетители музея выполняли свои рисунки в отдельной комнате в течение часа после первого знакомства с экспозицией. Школьники выполняли свои рисунки в классе через несколько минут после того, как учитель в том же самом классе демонстрировал им то, что может случиться с двумя магнитами, приложенными друг к другу. Теперь же мы переходим к анализу знаков научения в движениях тела, выполняемых в качестве непосредственной реакции на движения тела других лиц. На самом деле мультимодальная социальная семиотика уделяет внимание самим взаимодействиям в той же степени, что и произведенным в таких взаимодействиях артефактам, наподобие обсуждавшихся выше рисунков. Кроме того, мультимодальный социально-семиотический подход рассматривает взаимодействия не только с позиции «педагога», но еще и с позиции обучаемого, о чем мы и хотим поговорить в данном разделе. В качестве примера мы рассмотрим процесс обучения студента-медика в операционной, но признаки научения в телесных действиях можно рассматривать и в классах, и в музеях, и в других контекстах.

В нашем примере мы фокусируемся на взаимодействиях между хирургом и студентом-медиком во время (относительно несложной) опера-

ции под общей анестезией. Задачей студента является фиксация ретракторов в нужном месте, что позволит хирургу иссечь небольшую опухоль чуть выше пупка пациента. Мы идентифицировали три способа, с помощью которых обучающий (хирург) и обучаемый (студент) правильным образом располагают ретракторы. Первый способ: сначала обучающий сам располагает ретракторы правильным образом, а затем передает их в руки обучаемого (табл. 1, пример 1); либо же обучающий перемещает не совсем правильно расположенные ретракторы, двигая руки обучаемого, попробовавшего самостоятельно расположить ретракторы. Второй способ: обучающий описывает то, как ретракторы должны быть расположены, например говоря обучаемому: «Сдвинь немного в сторону» и указывая на место нужного расположения ретракторов, находящихся в руках обучаемого (табл. 1, пример 2). Третий способ: обучаемый располагает ретракторы самостоятельно (табл. 1, пример 3).

В таблице 1 показано использование разных коммуникативных ресурсов в процессе руководства правильным расположением ретракторов. В примере 1 обучающий использует жесты для указания обучаемому того, где и как следует расположить ретракторы. При этом вербальный комментарий обучающего (он говорит: «Просто держи здесь») – понятен только в совокупности с его жестами. Во втором случае (пример 2) использование речи обучающим становится более точным, описывая движение и направление («Сдвинь немного в сторону»), тогда как по указывающим жестам можно определить, какой из двух ретракторов нужно подвинуть. В третьем случае (пример 3) речь не используется вовсе: обучаемый демонстрирует обучающему посредством самостоятельного правильного расположения ретракторов свою уверенность в том, что он этому научился. Обучающий выражает одобрение: «О, отлично!»

Таблица 1.

Три разных подхода к расположению ретракторов

Пример 1: Расположение обучающим	Пример 2: Обучающий говорит и указывает на место расположения	Пример 3: Расположение обучаемым
		
«Просто держи здесь»	«Сдвинь немного в сторону»	

Контроль правильного расположения ретракторов перешел от обучающего к обучаемому в течение 14 минут. Мы идентифицировали 22 примера (ре)позиционирования ретракторов. В первой части процесса контроль осуществлялся обучающим, в 13 случаях из 14 самостоятельно располагавшим ретракторы. Во второй части процесса контроль осуществлялся обучаемым и обучающим совместно: обучающий указывал вербально и жестами, где нужно расположить (или куда нужно переместить) ретракторы, бывшие в руках у обучаемого. Во второй части процесса обучаемый самостоятельно правильно расположил ретракторы (в двух случаях). Эти изменения можно рассматривать как знаки научения. Сначала обучающий своими действиями являет обучаемому модель того, как нужно правильно располагать ретракторы. Затем обучаемый располагает ретракторы самостоятельно, показывая обучающему факт своего усвоения того, что от него требуется. Таким образом, мы видим, как образовательные дизайны переплетаются в процессе взаимодействия со знаками научения: обучающий делает подсказки, используя разные модусы, и обучаемый демонстрирует свои ответы на эти подсказки.

4. Историческое сравнение мультимодальных образовательных дизайнов

До сих пор мы анализировали мультимодальные дизайны обучения, созданные отдельными учителями и учениками в определенных ситуациях. В этом же разделе в фокусе нашего внимания будут изменения в семиотическом, социальном и технологическом ландшафте. В рамках мультимодальной социальной семиотики зачастую проводятся исторические сравнения с целью исследования того, как новые технологии изменяют доступные для создателей смыслов источники. Например, ранние технологии книгопечатания ограничили вид, расположение и количество картинок в книгах, в то время как сейчас становится не просто больше изображений в печатных изданиях – они зачастую занимают основную часть страницы. Далее, замена классических меловых школьных досок на интерактивные привела к более активному использованию визуальных средств для научных и прочих презентаций. Были высказаны опасения насчет подобных изменений в семиотическом ландшафте, насчет повышения роли изображений в процессе обучения. Многие исследователи считают, что это угрожает письменным формам представления знания, приводит к общему «отуплению» и связано с вредными для экономики эффектами.

Менее известны, если вообще уверенно выражены, убеждения в том, что подобного рода изменения имеют усиливающий потенциал, поскольку предлагают новые пути к усвоению уже существующих тем учебных планов. Мультимодальная социальная семиотика может поспособствовать раз-

решению этих споров, определив, что может быть потеряно, а что приобретено от таких изменений в семиотическом ландшафте.

Примеры можно найти в классных комнатах английской средней школы на уроке английского языка. Мы рассмотрим два урока английской поэзии. Первый происходил в 2000 г., а второй – в 2006 г., в той же классной комнате. В более раннем случае учитель использовал подвесной проектор, в более новом – интерактивную доску. Темы обоих уроков были одинаковы: «поэзия и персуазивный язык». В то же время случились значительные перемены в ландшафте школьного английского в отношении педагогической организации классных комнат и ролей участников, отображения текстов и процесса текстуального анализа.

Можно заметить возникшие за период между 2000 и 2006 г. проявления риторики «демократизации», выразившейся через контраст в расположении текстов учеников на стенах учебной комнаты. Если на уроке 2000 г. канонические английские тексты и напечатанные учителем ламинированные тексты были вывешены на передней и боковых стенах классной комнаты, в то время как тексты учеников занимали лишь заднюю стену, то в 2006 г. ученические работы были оцифрованы и включены в активное учебное пространство классной комнаты. Учитель сканировал отзывы, данные учениками о поэме, а также их собственные сочинения и тут же отображал их на интерактивной доске. Тексты ученика, отображенные на интерактивной доске, стали объектами дискуссии, которые учитель и одноклассники автора подвергали манипуляциям и аннотировали. Так был создан обобществленный податливый текст, открывавший новые педагогические возможности, которые могли повлиять на конфигурацию авторства и авторитета в классной комнате. Учительские и ученические пометки на интерактивной доске изменили то, что обычно было скорее частным занятием, в полностью публичное. Таким образом, как критерии, так и процесс оценивания становятся явными.

За время, прошедшее между двумя уроками, изменилось понимание того, что может и должно отображаться, а также сменились технологии отображения. В 2000 г. на первом плане были письмо и речь; к 2006 г. – использование изображений, цветов и схем, наряду с письмом, стало основным средством преподавания в классе. Изменение семиотической концепции повлияло на разработку учебного плана и роль текста в преподавании: стало значимым, какие тексты представлены, как они представлены и как с ними можно работать. На уроке в 2000 г. проектор использовался для отображения стихотворения с номерами строк – как копия книги. К 2006 г. к стихотворению добавились изображения, загруженные из Интернета и отображенные на нескольких слайдах презентации, подготовленной учителем в программе «Пауэр-пойнт».

В целом сравнение двух этих наборов данных, относящихся к 2000 и 2006 г., а также наблюдения, проводимые в школах Англии в 2009 г., позволяют предположить, что изменение соотношения изображений, речи и

письма широко распространилось и закрепились в английском школьном образовании. Сейчас для английских преподавателей (хотя разные поколения в этом плане могут отличаться) привычно применение клипов и цифровых видео (часто с помощью сайта) или изображений, загруженных из Интернета, с целью «прокладки маршрута» к пониманию материала. Педагоги часто используют презентации, чтобы представить свои доводы, визуально аннотировать текст, или подключаются к какой-то странице в Интернете. В ученических работах также преобладает использование изображений, клип-арта, цифровых фотографий, сделанных самими учащимися или загруженных из Интернета, оформленных как презентации или проектные работы, которые выполняются как в классе, так и в качестве домашнего задания.

Подобные тенденции начали изменять формат работы учителей и учеников. «Современный учитель» вовлечен в оформление цифровых мультимодальных текстов в образовательных целях, что редко наблюдалось в 2000 г. Анализ учащимися стихотворной «образности» сейчас часто осуществляется с использованием настоящих изображений. Так, в представленном примере учитель начал обсуждение «концепций» с показа изображений, загруженных из Интернета. Мультимодальный потенциал цифровых технологий, используемых учителями и учениками, ведет к переосмыслению того, что и как должно быть изучено. Это незамедлительно вызывает вопрос: каков социальный и образовательный смысл происходящих изменений; и повлекут ли они за собой приобретения или потери в процессе обучения?

Одно из значительных различий в анализе текстов заключается в менявшемся подходе к знакомству с произведением и его непосредственному анализу. Такое различие подкреплено изменениями в использовании речи, письма и изображений в классе. На уроке 2000 г. анализ текста начинался после обсуждения всем классом заголовка и поиска в словаре незнакомых слов в названии (и во всем остальном стихотворении). Ссылка на словарь была неопровержимым, авторитетным доказательством и принималась как должное. В 2006 г. анализ начинался с обсуждения сопровождающей стихотворение картинки на экране и «мозгового штурма», в котором задействован весь класс. По отношению к 2000 г. роль словаря изменилась: он потерял свое центральное положение. В 2000 г. на каждом столе лежали по две-три копии Большого Оксфордского словаря, к 2006 г. не было ни одного словаря в классе. К 2006 г. значение слова определялось по изображению, загруженному из Интернета, которое учащиеся должны были соотнести со словами стихотворения, такими как «конгрегация».

Наше сравнение показывает широкое продвижение в направлении «фиксации» (capturing) и визуального отображения работ и мнений учащихся: продвижение от разговора на уроке как чего-то эфемерного к конкретизированным способам отображения такого рода выступлений. В 2000 г. граница между чтением и анализом стихотворения была более

четкой, чем в 2006 г. В 2000 г., прежде чем начать аналитическую работу, стихотворение читали вслух дважды, в 2006 г. анализ значения начинался с вовлечения в обсуждение изображений еще до того, как будет представлен текст стихотворения. Такие возможности были бы неосуществимы без изменения социально-технологической среды в классе. Эти изменения предоставляют довольно новые решения для учащихся и преподавателей, важные для учебного плана, педагогики и идентичности учащихся.

5. Последствия: «преподавание», «компетентность» и «каноничность»

В завершение этой статьи обсудим некоторые более широкие последствия применения мультимодального семиотического подхода к исследованиям в образовании. В центре внимания здесь находятся три темы: «обучение» (имеет отношение к разделу 2 о мультимодальном дизайне для обучения), «компетентность» (относится к разделу 3 о знаках научения) и «каноничность» (связана с разделом 4 об исторических изменениях).

Преподавание

Обучение (Teaching) часто определяется как экспликация – как «действие явным» «невывыказанного», «практического» экспертного знания. Примеры, приведенные в разделе 2, показывают, что объяснение может реализовываться не только с помощью модусов устной речи и письма. На самом деле во многих контекстах изображение или жест являются способами, которые лучше подходят, для того чтобы «сделать явным» что-либо; или даже единственно доступным способом, чтобы сделать что-либо явным вообще. Таким образом, мы видим, что педагоги используют различные способы в различных контекстах, чтобы сделать явным то, что должно быть изучено. Например, в письме и речи преподаватели могут выразить чрезвычайно хорошо процессы пищеварения, но когда принципы действия магнитной силы объясняются аудитории при помощи жестов и опытов, такой способ объяснения позволяет лучше понять материал. Мультимодальная социальная семиотика, в свою очередь, стремится документировать все эти формы объяснений, чтобы предоставить содержательную картину обучения различными способами. Историческое сравнение в разделе 4 также указало на влияние социальных и технологических изменений в конкретном месте (учебном классе) и последствия этого влияния для педагога. Если ранее имела место некоторая озабоченность тем, что цифровые технологии могут покончить с центральной ролью учителя в образовательном процессе, то результаты анализа в данной статье не подтверждают этого. Предполагается, что роль учителя далека от того,

чтобы стать не востребовавшей. Учитель становится ритором и дизайнером максимально эффективной для обучения среды.

Компетентность

Примеры, приведенные в разделе 3, предполагают, что мы можем потенциально признать наличие знаков научения в любом модусе или сочетании модусов в любом масштабе времени и в любом месте. В данный момент лишь небольшое количество модусов может быть распознано и оценено. Мы знаем, что различные культуры и общества в разной степени признают сигналы, отдавая предпочтение одному над другим или рассматривая один как «более полезный», «лучший», чем другой (например, в «более продвинутых» учебных планах на Западе навыки письма имеют приоритет над навыком рисования). Мультимодальная социальная семиотика предполагает, что властные отношения проявляются во всех формах признания тех или иных модусов, однако вместо того, чтобы устанавливать общую оценочную иерархию, необходимо исследовать, как люди используют и продолжают развивать модусы коммуникации в ответ на социальные и культурные вызовы. Таким образом, мультимодальный «взгляд» привлекает внимание к тому, что (пока) не зафиксировано в «учебном плане». Например, часть процесса обучения предполагает понимание имеющегося в распоряжении выбора ресурсов, чтобы в рамках текущего контекста создавать смысл, а затем его выражать: в одном случае предполагается вербальный ответ учителю, а в другом – ученики должны продемонстрировать свое участие невербальными способами, с помощью положения корпуса и пристального взгляда на преподавателя. Это относится ко всем участникам процесса производства смысла, которых мы рассматриваем: к учителям и ученикам в школах или к опытным педагогам-профессионалам, обучающим своих относительно неопытных коллег.

Видоизменение семиотического ландшафта также ставит новые вопросы о том, что уже стало известно к настоящему моменту. Например, два десятилетия назад компетенция только одного типа – письмо («грамотность») – считалась достаточной для выполнения задачи составления текста. Сегодня нам нужно осознать семиотический потенциал всех типов компетенций, вовлеченных в составление текста. Теперь, когда текст дуалистичен – состоит из образа (изображения) и письменного выражения текста, – возникают специфические формы текстового единства, связности и согласованности и теоретические средства, необходимые для придания смыслов тексту. Там, где раньше устоявшиеся практики соглашений могли служить в качестве надежного путеводителя для построения текста, в мультимодальном мире существует необходимость давать оценку каждому случаю создания текста по ряду критериев: как устроены социальные отношения с аудиторией, какие ресурсы имеются для создания текста, ка-

кие средства передачи (медиа) будут использоваться и как это соответствует тому, что будет сообщаться, и тому, кто будет выступать аудиторией (о характеристиках которой надо иметь ясное представление).

Каноничность

Одним из семиотических изменений, которые мы выделили в разделе 4, является переключение (сдвиг) взаимоотношений между изображением и письмом в построении образовательных занятий. Визуальное больше не является иллюстративным дополнением к слову (если, конечно, это когда-либо вообще было так). Образы используются в образовательных репрезентациях в полной мере, они интегрированы в мультимодальные ансамбли. Этот шаг говорит о необходимости сделать знания, полученные посредством освоения учебного плана, «релевантными», соединив их с «внешкольным» опытом учеников, о желании повысить «вовлеченность» студента через «интерактивность», а также о влиянии давления экзаменов и проверок и о надежде на «скорость» и «темп». В наше время изображения все чаще и чаще становятся отправной точкой для урока английского языка.

Это имеет далеко идущие последствия для обучения: интегрированные в методики преподавания тексты каким-то образом «мобилизованы», они как-то «циркулируют» и инкорпорированы в социальные взаимодействия. Это меняет место, функции и принцип использования изображения, письма и речи. Изменились границы между каноническими текстами и текстами для ежедневного, бытового прочтения, эстетически и исторически значимыми, светскими и каноническими. Эти изменения делают заметными социальные и политические границы английского языка, определяемые учителями, школами, органами местного образования в соответствии с политикой и различными социальными интересами, – границы, которые до сих пор жестко охраняются и регулируются в контексте чрезвычайно прескриптивной политики. Заимствование текстов из сети Интернет (например, из банков изображений или «Ютьюба») соединяет занятия английским с «внешкольными» опытом и технологиями таким образом, что ставит под сомнение границы канонического знания и того, что считается социально ценным. Это изменяет семиотический ландшафт уроков английского, даже если эти изменения различаются в зависимости от неравноностей социального ландшафта.

Благодарности

Эта статья была написана в рамках MODE – исследовательской и обучающей программы на базе Института образования Лондонского уни-

верситета, основанной Советом по экономическим и социальным исследованиям (ESRC). См. сайт: <http://mode.ioe.ac.uk>.

Пример про учебник основан на работе Джеффа Беземера и Гюнтера Кресса «Приобретения и потери» (Gains and Losses) об изменениях в способах представления информации в учебниках [см.: Bezemer, Kress, 2008]. Эта работа была профинансирована Советом по экономическим и социальным исследованиям (ESRC).

Пример «Магниты» основан на проекте Дайан Маверс по использованию цифровых визуализаторов в классе начальной школы [см.: Mavers, 2009; Mavers, 2011]. Эта работа финансировалась Центром передового опыта в области проектно-ориентированного обучения (WLE) Института образования Лондонского университета.

Пример «Музей» позаимствован из проекта, посвященного исследованию посетителей музея «Музей, выставки и посетители» Софии Диамантопулу, Гюнтера Кресса, Стаффана Селандера и др. [см.: Diamantopoulou, Kress, б. г.]. Эта работа финансировалась Шведским исследовательским советом.

Историческая перспектива кабинета английского была проиллюстрирована примерами из двух различных проектов. Первый пример взят из проекта «Школьный английский» (School English Project) Кэри Джюитт, Гюнтера Кресса и др. [см.: English... 2005]. Второй пример взят из проекта «Лондонский вызов» (London Challenge) Джеммы Мосс и Кэри Джюитт [см.: The interactive... 2007]. Оба проекта финансировались Советом по экономическим и социальным исследованиям (ESRC).

Хирургические примеры позаимствованы из проекта «Картирование образовательной деятельности в операционной» (Mapping Educational Activity in the Operating Theatre) Роджера Нибоуна, Гюнтера Кресса, Джеффа Беземера и Александры Коуп [см.: Learning... 2012]. Эта работа была профинансирована Королевской коллегией хирургов и Лондонским деканатом.

*Пер. с англ.: Т. Адильбаев, Д. Алексеев,
Е. Гильманова, Е. Иващенко, В. Кобляков, И. Кругляков,
Г. Остапенко, А. Садовская, И. Фомин; под ред. Т. Адильбаева*

Список литературы

- Bezemer J., Jewitt C. Multimodal analysis: Key issues // Research methods in linguistics / Liotosseliti L. (ed.). – L.: Continuum, 2010. – P. 180–197.*
- Bezemer J., Kress G. Writing in multimodal texts: a social semiotic account of designs for learning // Written communication. – Thousand Oaks, 2008. – Vol. 25, N 2. – P. 166–195.*
- Learning in the operating theatre: A social semiotic perspective / Bezemer J., Kress G., Cope A., Kneebone R. // Work-based learning in clinical settings: Insights from socio-cultural perspectives / Ed. by Cook V., Daly C., Newman. – M.; Abingdon: Radcliffe, 2012. – P. 125–141.*

- Diamantopoulou S., Kress G.* Museum visitors' designs and signs of learning: A multimodal approach // The museum, the exhibition and the visitor: Politics, design and learning / Diamantopoulou S., Insulander E., Lindstrand F. (eds). – Forthcoming.
- Hodge B., Kress G.* Social semiotics. – Ithaca, N.Y.: Cornell univ. press, 1988. – 280 p.
- Jewitt C.* Multimodal discourses across the curriculum // Encyclopedia of language and education. – 2nd ed. – N.Y.: Springer Science + Business Media LCC, 2008. – Vol. 3: Discourse and education / Martin-Jones M., de Mejia A.M., Hornberger N.H. (eds). – P. 357–367.
- Jewitt C.* An introduction to multimodality // The Routledge Handbook of multimodal analysis / Jewitt C. (ed). – L.: Routledge, 2009. – P. 14–27.
- Kress G.* Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. – L.: Routledge, 2010. – 212 p.
- English in urban classrooms: A multimodal perspective on teaching and learning / Kress G., Jewitt C., Bourne J., Franks A., Hardcastle J., Jones K., Reid E. – L.: RoutledgeFalmer, 2005. – 184 p.
- Kress G., van Leeuwen T.* Multimodal discourse: The modes and media of contemporary communication. – L.: Routledge, 2001. – 142 p.
- Mavers D.* Student Text-Making as Semiotic Work // Journal of Early Childhood Literacy. – Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2009. – Vol. 9(2). – P. 145–160.
- Mavers D.* Children's Drawing and Writing: The Remarkable in the Unremarkable. – N.Y.: Routledge, 2011. – 162 p.
- The interactive whiteboards, pedagogy and pupil performance evaluation: An evaluation of the Schools Whiteboard Expansion (SWE) Project: London Challenge / Moss G., Jewitt C., Levacic R., Armstrong V., Cardini A., Castle F. – L.: DfES Publications, 2007. – 162 p.
- Salters GCSE Science Y11. – Oxford: Heinemann, 2002. – 208 p.
- Van Leeuwen T.* Introducing Social Semiotics. – L.: Routledge, 2004. – 320 p.

ВЛАСТЬ УМА И ВЛАСТЬ ТЕЛА

М. Кеестра

«НЕЙРОНАУЧНЫЙ» И «НАРРАТИВНЫЙ» ПОВОРОТЫ В ОБЪЯСНЕНИИ БИОПОЛИТИЧЕСКИХ ПОРЯДКОВ: КАК НАРРАТИВЫ И МОЗГ ОБОЮДНО ВЛИЯЮТ ДРУГ НА ДРУГА?¹

Введение: Нейронаучный поворот в политической науке

Суждение о том, что головной мозг и политический порядок взаимосвязаны, является почти тривиальным². Очевидно, что принятие и осуществление политических распоряжений предполагает участие процессов головного мозга, так как именно такие процессы делают возможными действие и познание. Равным образом с тех самых пор, как Аристотель окрепчил человека «политическим животным по природе» [Aristotle. Politics... 1984, 1253 a 3; ср.: Aristotle. Nicomachean ethics... 1984, 1097 b 11], предполагается, что политическая включенность этого животного, вероятно, имеет воздействие на его естественное развитие, в том числе и на развитие его психических функций. Примечательно, что при этом достаточно широкая сфера *биополитики* стала привлекать внимание только с 1960-х годов, пусть поначалу и только в форме поведенческой политики [Alford,

¹ Доклад для семинара Амстердамской школы культурного анализа «Мозг, карты и ритмы: Знание и опыт в (био)политических порядках», 16–18 апреля 2014 г.

² Так называемая гипотеза макиавеллиевского интеллекта была предметом дискуссий, поскольку она вводила необходимость социальной компетенции в качестве объяснения эволюции мозга приматов [Bugne, Whiten, 1988]. Однако после ее модификации и уточнения в некоторых отношениях присущий этой гипотезе акцент на коэволюции социальных взаимодействий с усложнением социальных групп, развитием когнитивных процессов и ростом головного мозга все еще находит поддержку в разных дисциплинах [см.: McNally, Brown, Jackson, 2012].

Hibbing, 2008]¹. Интерес к биополитике с тех пор значительно вырос – настолько, что в ней можно наметить различные субдисциплины.

Так, согласно обзору 1998 г., в биополитике были определены уже пять «рубрик»: 1) «более биологически ориентированная политическая наука»; 2) касающиеся биологии вопросы публичной политики; 3) физиологические измерения политических позиций и политического поведения; 4) влияние физиологических факторов на политическое поведение и 5) эволюционно унаследованные людьми политические и социальные поведенческие склонности [Somit, Peterson, 1998]. Поразительно, в насколько одностороннем ключе подчеркивается здесь решающий приоритет биологии над политикой. Обратная связь никак отдельно не рассматривалась и не находила отображения в области биополитики, по крайней мере до недавнего времени.

Это отсутствие исследований, посвященных изучению влияния политики на нашу биологию, возможно, связано с трудностями в его анализе. Эмпирические исследования в биополитике, если говорить в общих чертах, имеют два фокуса. И эти фокусы – генетика и мозг, два сложных, динамически развивающихся феномена [Alford, Hibbing, 2008]. Однако исследования генетики и процессов, протекающих в мозге, привели к значительному прогрессу в последние несколько десятилетий благодаря развитию таких методов исследования, как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) головного мозга и транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) мозга, а также благодаря совершенствованию вычислительных средств для анализа данных и моделирования объяснительных моделей. Для биополитики особенно важно, что в рамках когнитивной нейронауки изучение социальных и политических вопросов стало привлекать в последнее время все больший интерес исследователей. В самом деле, после осознания роли мозга как активатора (*enabling*) и посредника в этих вопросах в социальных науках проявляется настоящий *нейронаучный поворот*. Подтверждением тому может служить, например, появление такой научной области, как *нейрополитика* [Connolly, 2002; Essays... 2012].

Развитие системной нейрополитики или биополитики в целом является сложной задачей по причине изобилия казуальных воздействий и

¹ Первое исследование, в котором в 1985 г. описывалась корреляция между политическим типом, в лассуэловском смысле, и «нейрохимическим профилем», было посвящено изучению уровня серотонина у испытуемых в соотнесении с большей или меньшей степенью стремления к власти. Автор признавал, что поскольку воздействие серотонина на мозг все еще неопределенно, сложно установить, какая причинно-следственная траектория задействована [Madsen, 1985]. Такую траекторию между тем можно объяснить подробнее, как это и было сделано в исследовании, посвященном изучению связи между генетически детерминированной восприимчивостью к дофамину у некоторых людей с их либеральными политическими взглядами при посреднической роли фактора социальных отношений [Friendships... 2010; Alford, Funk, 2005; Alford, Hibbing, 2008; Ebstein, 2006].

взаимодействий между биологическими, мозговыми, когнитивными и социально-политическими факторами¹. Данная статья, если взглянуть с несколько абстрактной точки зрения, посвящена преимущественно процессам возникновения сложности (complexity) в адаптивных системах, позволяющей этим системам осуществлять еще более сложные процессы. Но одновременно с таким развитием, как можно наблюдать, такие системы (или организмы) также способны к уменьшению сложности информации, которую они обрабатывают. Если такие системы и организмы способны к развитию и регулированию подобных сжатых и сложных способов представления (representations) информации, то могут обрабатывать большее количество информации более быстро, эффективно и адаптивно. Это дает организму важное преимущество для ориентирования в окружающей среде [Halford, Wilson, Phillips, 1998].

Прежде чем сфокусироваться на роли нарратива как такого рода когнитивной стратегии, позволяющей снижать информационную сложность, остановимся на вопросе о том, как происходят развитие и усложнение устойчивых структур в динамических системах. Рассмотрение этих более общих проблем подготовит нас к дискуссии о нарративах и политике как о такого рода структурах, а также поможет объяснить, как эти структуры взаимодействуют.

Системное развитие структур и представлений возрастающей сложности

В системах с адаптивной функцией наблюдается тенденция развития все более и более сложных и иерархических структур. Идет ли речь об организмах, социальных организациях или искусственных «агентах», все они отличаются повышенной гибкостью и эффективностью во взаимодействии со окружающей средой, будучи способны развивать так называемые *промежуточные устойчивые формы* [Simon, 1973] или *порождающие укорененности* (generative entrenchments) [Wimsatt, 1986]². Другими словами, такие системы развивают структуру, в которой некоторые компоненты становятся более стабильными, чем другие, и на них могут опираться последующие изменения, вместе содействуя даже более быстрому и более адаптивному взаимодействию с окружающей средой.

Когда некоторые функциональные компоненты и отношения между ними уже имеются, взаимодействие со средой получается более быстрым

¹ В результате этого существует каузальный и теоретический плюрализм в описании роли мозга в когнитивных и политических процессах [подробнее см.: Keestra, 2012]. Важно отметить, что когда существует такой плюрализм, каждая отдельная теория имеет лишь ограниченную «относительную значимость» для объяснения феномена [Beatty, 1997].

² Этот пример схож с тем, который Докинз использует, подкрепляя доводы о здоровом консерватизме и эволюционных процессах [Dawkins, 1996].

и более адаптивным по сравнению с тем, как если бы система каждый раз действовала, используя случайно сложившуюся внутреннюю конфигурацию или сохраняя всю структуру в том виде, в котором она однажды ранее оказалась эффективной в ситуации ответа на определенный вызов. Объясняя это, Уимсатт использует метафору о попытке найти правильную комбинацию цифр для двух кодовых замков: сохраняющего частично-успешное решение и позволяющего совершать только отдельные попытки без сохранения информации. Очевидно, что первый замок открывается намного быстрее, чем второй. В биологических терминах те организмы, которые способны к сохранению и передаче частично-успешного решения, будут иметь больший репродуктивный успех, чем те, которые на это не способны [Wimsatt, 1986].

Примечательно, что сохранение таких стабилизированных компонентов облегчает дальнейшее развитие, так как эти компоненты более высокого уровня становятся надежными составными частями новых компонентов или ступеньками на пути к ним. Даже когда эти устойчивые компоненты фактически «сколочены» из уже имеющихся, возникает эффект снежного кома, который приводит к формированию более иерархичных структур [Clark, 1987]. Это можно эмпирически наблюдать в естественных системах, а также на моделях в вычислительных исследованиях. В данном контексте уместно рассмотреть появление структур возрастающей сложности (*increasing complexity*) как в процессах головного мозга, так и в способах представления информации, которая им обрабатывается.

Хорошо известно, что процессы работы мозга фактически реализуются при взаимодействии огромного количества нейронов, которые сообща обрабатывают входящую и внутреннюю информацию, порождая когнитивную и поведенческую реакции. Реакции со временем меняются, на что указывают исследования развития человека и животных, которые демонстрируют возрастание скорости, гибкости и эффективности в широком диапазоне задач. С позиций так называемой *нейрокогнитивистской* теории развития и обучения, эти изменения лучше всего объясняются через допущение о том, что мозг конструирует структуры с возрастающей иерархией, включая в них вновь выработанные функциональные модули [Karmiloff-Smith, 1992; Mareschal, 2007]. Возникновение сложных структур именно таким способом было не только продемонстрировано на материале эмпирических исследований, но также получило новое подкрепление в виде результатов компьютерного моделирования [Meunier, Lambiotte, Bullmore, 2010]¹.

Исследования как животных, так и людей демонстрируют, что параллельно с развитием все более сложных структур в мозгу рост компе-

¹ На самом деле нелегко дать определение термину *сложность* (*complexity*). Удобно, однако, определить ее через количество элементов, отношений и типов отношений между ними [Halford, Wilson, Phillips, 1998].

тенции (expertise) связан с развитием все более сложных способов представления информации, связанной с этой компетенцией. То есть структуры знания, обрабатываемые в их мозге в процессе выполнения соответствующего задания, также показывают возрастание иерархической и модульной структур¹. Хорошо известные компоненты такого рода сложных представлений – это так называемые *информационные блоки-клише* (chunks of information), которые вырабатывает обладатель той или иной компетенции и в которых после повторяющегося использования некоторые смежно задействуемые единицы информации (co-occurring units of information) перекодируются, группируясь в единый блок, и таким образом первоначальное количество информации существенно сжимается. Благодаря этому компетентные эксперты могут обработать больше информации, чем новички [Miller, 1956]. Такое сблокирование информации (chunking of information) было исчерпывающе изучено на материале игроков в шахматы: благодаря процессу сблокирования гроссмейстеры оказываются способны запоминать до 50 тыс. различных шахматных позиций [Gobet, Simon, 1996]². Такое сжатие информации – важный феномен, который можно наблюдать как в когнитивных, так и в поведенческих исследованиях о компетенции.

При сжатии количества информации, которую необходимо обработать, мозгу требуется меньше когнитивных ресурсов для этого процесса, что открывает возможность в следующий раз выполнять даже более сложную задачу или выполнять задачу параллельно с другим действием. Это можно наблюдать в исследованиях компетенции, проводимых с помощью фМРТ. Они показывают две различные стадии обучения: первая – фаза возрастающей эффективности при снижающейся нейронной обработке (neural processing), вторая – фаза, в которой может происходить дополнительная активация в результате привлечения других нейронных и когнитивных процессов [The effects... 1998]. Действительно, две эти фазы сами по себе обеспечивают создание все более сложных процессов в мозге, которые задействованы в обработке все более сложных представлений (increasingly complex representations) [How chunks... 2012].

¹ Реальность иерархических представлений и процессов в головном мозге оспаривается. Некоторые авторы утверждают, что иерархические модели являются лишь концептуальными построениями. Представив обзор нескольких направлений доказательств такого рода теории, Коэн утверждает, что такие иерархические модели действительно реальны [Cohen, 2000]. Это совпадает с нашими доводами о системной тенденции к развитию иерархических структур.

² Исследования шахматистов привели к развитию «шаблонной» теории, которая предполагает существование еще более сложной иерархической структуры в этой структуре знаний. Шаблон может включать в себя несколько блоков и оставлять несколько открытых слотов, что обеспечивает большую гибкость в обработке незначительных вариаций [Gobet, Simon, 1996].

В силу возможности влияния такого рода процессов и на нейронные механизмы, лежащие в основе когнитивных процессов, и на задействованные представления люди обладают гораздо большими способностями к гибкому взаимодействию с их окружающей средой и ее преобразованию. Важную роль в такого рода взаимодействиях и преобразованиях играют нарративы – в особенности благодаря тому, как они позволяют представлять действия. Будучи представлены посредством нарративов, интраиндивидуальные и межиндивидуальные действия могут организовываться и координироваться.

Нарратив, понижение сложности и организация действий

Чем сложнее представления, которые может использовать агент, тем более гибким он (или она) оказывается при навигации в своей окружающей среде и при организации собственных действий, так как представления играют в этих процессах ключевую роль. Это особенно актуально в отношении таких действий, которые зачастую требуют тщательной организации и координации во времени и с другими агентами. Даже только для того чтобы избежать контрпродуктивной активности или неудачных совместных действий, агентам нужно развивать и распространять сложные иерархические представления, другими словами, они должны становиться «планирующими агентами» [Bratman, 2007]. В частности, для планирования действий в будущем они должны использовать такие представления, как «(воображаемая) драматическая репетиция различных соперничающих линий поведения» [Дьюи (Dewey), цит. по: Bratman, 2007, p. 150].

Особая форма представления, которую люди используют среди прочих для подобной воображаемой организации и координации действий, – это есть нарратив. Действительно, уже в «Поэтике» Аристотеля в центре внимания оказывается история (или *mythos*), рассматриваемая как действие человека: сюжет (*plot*) есть «воспроизведение действий» [Aristotle. Poetics... 1984, 1450 a 3]. Рикёр разработал это понятие в своей развернутой трактовке нарратива как промежуточного средства, благодаря которому агенты могут конфигурировать и переконфигурировать свои действия [Ricoeur, 1984; 1985; 1988]. Далее, нарратив определяется Рикёром как включающий в себя «синтез разнородных элементов», «сюжета, целей, причин и случайностей, сведенных вместе в темпоральное единство как целостное завершённое действие» [Ricoeur, 1984, ix]. С этой точки зрения нарратив выполняет важную роль в качестве особого типа представления, которое снижает информационную сложность (*informational complexity*), задействованную в индивидуальных и совместных действиях. Такое снижение возможно также благодаря тому, что нарратив предоставляет ресурсы для развития конфигураций на нескольких иерархических уровнях

сложности [Ricoeur, 1992]. И с помощью такой иерархической структуры вербальных представлений действий агенты могут улучшить свою производительность (performance), учить и учиться, участвовать в совместных действиях с другими и т.д.¹

Ввиду этой ярко очерченной функциональности и значимости нарратива неудивительно, что в последнее время в нескольких областях научного знания происходит «нарративный поворот». И одна из этих областей – когнитивная наука. В такого рода контексте нарратив изучается как «инструмент мышления» (tool for thinking) [Herman, 2003]. Он может выполнять роль такого инструмента, поскольку служит посредником для конфигурации представлений, что, в свою очередь, оказывает влияние «сверху вниз» на нейронные механизмы, ответственные за наши когнитивные и поведенческие реакции. Нарративы предоставляют агентам возможность «имитировать» (simulate) действия. Имитация при этом заключается в «повторном разыгрывании (re-enactment) перцептивных, моторных и интроспективных состояний, приобретенных в процессе опыта взаимодействия с миром, телом и разумом» [Barsalou, 2009]. Важно заметить, что такого рода имитации действия, или любого другого состояния, не включают в себя полной реактивации и точной передачи ранее испытанного состояния. Напротив, нарративная имитация по своей природе всегда созидательна. Она строится на основе множества заложенных в память характеристик, но интегрирует их в конфигурации, которые могут содержать новые элементы и отношения. По этой причине данный процесс еще называют «конструктивной эпизодической имитацией» [Schacter, Addis, 2007].

Благодаря своей конструктивной природе, способствующей снижению и структурированию сложности представления действий, нарративная имитация способствует развитию координации агентов, их подготовленности и производительности, а также способов оценки качества их индивидуальных и совместных действий.

Биополитика: И нейронаучный, и нарративный поворот

Давайте теперь сосредоточимся на нарративе, поставив вопрос о том, какое влияние тот или иной социально-политический порядок может оказать на нашу биологию, прежде всего на наш мозг и наши когнитивные процессы. Я отвечу на этот вопрос, обратившись к свидетельствам того, что различия в культурных и общественно-политических нарративах соот-

¹ Дополнительные подтверждения и детали приведены в: [Keestra, 2014], где обсуждается широкий спектр эмпирических материалов, которые демонстрируют взаимодействие между – имплицитным – использованием иерархически структурированных представлений действий и способностью делать эти представления эксплицитно доступными, например для целенаправленной тренировки какого-либо навыка.

ветствуют специфическим нейронным коррелятам. Определенный способ, которым тот или иной нарратив представляет отношение между элементами и сами эти элементы, может иметь продолжительный эффект на мозг и на задействованные когнитивные процессы. Этот факт делает культурную нейронауку (cultural neuroscience) важным, хоть отчасти и запоздалым направлением на богатом поле когнитивной нейронауки.

Нейрофизиологи начали включать идеи из антропологических и религиозных исследований в свои эксперименты, сравнивая ответы и модели активации мозга в группах испытуемых, принадлежащих к различным культурам и религиям, или в группах бикультурных испытуемых. В ряде исследований обсуждаются различия между культурами, которые продвигают независимость или индивидуализм, и теми, в которых поощряются взаимозависимость или коллективизм¹. Такие культурные различия передаются через различные практики и нарративы, влекущие за собой различные конфигурации отношений между индивидом и его социальным контекстом и различные интерпретации того, что такое быть индивидом и какие социальные контексты – семья, сверстники, профессиональное окружение и т.д. – могут быть значимы для человека. Помимо всего прочего нарративы помогают структурировать эти конфигурации и понизить их сложность, одновременно способствуя их передаче, даже при том, что они неизбежно при этом преобразуются и изменяются [Ricoeur, 1984; 1985; 1988; 1992].

Было замечено, например, что культуры отличаются по тому, как индивидом обрабатывается информация о его матери в сравнении обработкой информации о самом себе. Такого рода отличия можно наблюдать, когда сравнивают западных студентов со студентами из Восточной Азии. Студенты из Восточной Азии, как правило, демонстрируют большее совпадение их мозговой активности и реакции в этих двух случаях. Это, вероятно, является следствием сильной взаимной связи человека с матерью, принятой в этих культурах [Neural basis... 2007]. Примечательно, что есть сведения о том, что подобные культурные различия могут быть обнаружены даже в перцептивных процессах, которые долгое время считались неуязвимыми для подобных влияний. Как показывают исследования, американские испытуемые оказываются более чувствительны к изменениям объектов, находящихся в фокусе, а восточноазиатские – к изменению контекста

¹ Резкое различие между культурным индивидуализмом и коллективизмом было оспорено некоторыми авторами, выступающими за введение градаций в континууме между этими крайностями. По мнению этих исследователей, не только общества, но и отдельные индивиды могут отличаться и изменяться относительно этого континуума. Другие указывают на то, что по-прежнему вероятно, что индивиды могут порой использовать различные типы отношения или поведения [Killen, Wainryb, 2000]. Несмотря на все эти оговорки, различие все еще считается эмпирически убедительным.

[Masuda, Nisbett, 2006]¹. Обработка сложной информации, как правило, побуждает к развитию той или иной формы сокращения сложности. Но вот конфигурации, которые используются для такого сокращения, могут быть разными в различных обществах или в различные исторические периоды.

Исследования в области культурной нейронауки постоянно предоставляют новые доказательства функциональных и даже структурных изменений в мозге и когнитивных процессах, происходящих вследствие культурных различий [см. обзоры: Theory... 2010; Han, Northoff, 2008; Henrich, Heine, Norenzayan, 2010; Park, Huang, 2010]. В рассматриваемом здесь контексте биополитики это означает, что «биологически ориентированная политическая наука» должна также учитывать влияние социально-политических структур и их нарративов на процессы работы мозга. То есть мы должны принять и одновременно совершить и нейрофизиологический, и нарративный поворот. И не стоит считать, что они несовместимы друг с другом, заставляя исследователей выбрать между двумя этими направлениями. Существует взаимное влияние между сокращением информационной сложности, к которому стремится когнитивный процесс, и функцией социально-политических нарративов выступать в этом контексте в качестве «когнитивного инструмента»².

Пер. с англ.: И. Фомин, Р. Голуб.

Список литературы

- Alford J.R., Funk C.L., Hibbing J.R.* Are political orientations genetically transmitted? // *American political science review.* – Baltimore, 2005. – Vol. 99, N 2. – P. 153–167.
- Alford J.R., Hibbing J.R.* The new empirical biopolitics // *Annual review of political science.* – Palo Alto, 2008. – Vol. 11, N 1. – P. 183–203.
- Aristotle.* Politics // *Aristotle. The complete works of Aristotle: The revised Oxford translation.* – Princeton: Princeton univ. press, 1984. – Vol. 2. – P. 1986–2129.
- Aristotle.* Nicomachean ethics // *Aristotle. The complete works of Aristotle: The revised Oxford translation.* – Princeton: Princeton univ. press, 1984. – Vol. 2. – P. 1729–1867.
- Aristotle.* Poetics // *Aristotle. The complete works of Aristotle: The revised Oxford translation.* – Princeton: Princeton univ. press, 1984. – Vol. 2. – P. 2316–2340.

¹ В контексте Нидерландов результаты исследований предполагают, что даже различия между христианскими деноминациями, такими как католицизм и кальвинизм, оставляют свой след в нескольких процессах, включая такие как восприятие, распределение внимания и принятие решений [Colzato, van den Wildenberg, Hommel, 2008; Religion... 2011].

² В целом нарративы могут анализироваться, например, с точки зрения их полноты или когерентности. Исследования показывают, что использование испытуемыми конкретных индикаторов в их нарративах может быть соотнесено с конкретными состояниями мозга и когнитивного процесса [Script..., 2011; Cannizzaro, Coelho, 2012; Measuring..., 2011]. Такое особое внимание, которое сейчас уделяется нарративам в эмпирических и экспериментальных когнитивных нейронаучных исследованиях, является недавним явлением, которое стоит приветствовать.

- Barsalou L.W.* Simulation, situated conceptualization, and prediction // *Philosophical transactions of the Royal Society. B: Biological sciences.* – L., 2009. – Vol. 364, N 1521. – P. 1281–1289.
- Beatty J.* Why do biologists argue like they do? // *Philosophy of science.* – East Lansing, 1997. – Vol. 64, N 4. – P. 432–443.
- Script generation and the dysexecutive syndrome in patients with brain injury / *Boelen D.H., Alain P., Spikman J.M., Fasotti L.* // *Brain injury.* – L., 2011. – Vol. 25, N 11. – P. 1091–1100.
- Bratman M.E.* Structures of agency: essays. – Oxford; New York: Oxford univ. press, 2007. – 321 p.
- Byrne R.W., Whiten A.* Machiavellian intelligence: Social expertise and the evolution of intellect in monkeys, apes, and humans. – Oxford: Oxford univ. press, 1988. – 413 p.
- Cannizzaro M.S., Coelho C.A.* Analysis of narrative discourse structure as an ecologically relevant measure of executive function in adults // *Journal of psycholinguistic research.* – N.Y., 2013. – Vol. 42, N 6. – P. 527–549.
- Theory and methods in cultural neuroscience / *Chiao J.Y., Hariri A.R., Harada T., Mano Y., Sadato N., Parrish T.B., Iidaka T.* // *Social cognitive and affective neuroscience.* – Oxford, 2010. – Vol. 5, N 2–3. – P. 356–361.
- Clark A.* The kludge in the machine // *Mind & language.* – Oxford, 1987. – Vol. 2, N 4. – P. 277–300.
- Cohen G.* Hierarchical models in cognition: Do they have psychological reality? // *European journal of cognitive psychology.* – L., 2000. – Vol. 12, N 1. – P. 1–36.
- Colzato L.S., van den Wildenberg W.P.M., Hommel B.* Losing the big picture: How religion may control visual attention // *PLoS ONE.* – San Francisco, 2008. – Vol. 3, N 11. – e3679.
- Connolly W.E.* Neuropolitics: Thinking, culture, speed. – Minneapolis, MN: Univ. of Minnesota press, 2002. – 219 p.
- Dawkins R.* The blind watchmaker: Why the evidence of evolution reveals a universe without design. – N.Y.: Norton, 1996. – 468 p.
- Ebstein R.P.* The molecular genetic architecture of human personality: Beyond self-report questionnaires // *Molecular psychiatry.* – N.Y., 2006. – Vol. 11, N 5. – P. 427–445.
- Gobet F., Simon H.A.* Templates in chess memory: A mechanism for recalling several boards // *Cognitive psychology.* – San Diego, 1996. – Vol. 31, N 1. – P. 1–40.
- How chunks, long-term working memory and templates offer a cognitive explanation for neuroimaging data on expertise acquisition: a two-stage framework / *Guida A., Gobet F., Tardieu H., Nicolas S.* // *Brain and cognition.* – N.Y., 2012. – Vol. 79, N 3. – P. 221–244.
- Halford G.S., Wilson W.H., Phillips S.* Processing capacity defined by relational complexity: Implications for comparative, developmental, and cognitive psychology // *Behavioral and brain sciences.* – Cambridge, 1998. – Vol. 21, N 6. – P. 803–831.
- Han S.H., Northoff G.* Culture-sensitive neural substrates of human cognition: A transcultural neuroimaging approach // *Nature reviews neuroscience.* – L., 2008. – Vol. 9, N 8. – P. 646–654.
- Henrich J., Heine S.J., Norenzayan A.* The weirdest people in the world? // *Behavioral and brain sciences.* – Cambridge, 2010. – Vol. 33, N 2–3. – P. 61–83.
- Herman D.* Stories as a tool for thinking // *Narrative theory and the cognitive sciences.* – Stanford, CA: CSLI publications, 2003. – P. 163–192.
- Religion and action control: Faith-specific modulation of the Simon effect but not stop-signal performance / *Hommel B., Colzato L.S., Scorolli C., Borghi A.M., van den Wildenberg W.P.M.* // *Cognition.* – Amsterdam, 2011. – Vol. 120, N 2. – P. 177–185.
- Karmiloff-Smith A.* Beyond modularity. A developmental perspective on cognitive science. – Cambridge, M.A.: MIT press, 1992. – 234 p.
- Keestra M.* Bounded mirroring: Joint action and group membership in political theory and cognitive neuroscience // *Essays on neuroscience and political theory: thinking the body politic* / Ed. by Vander Valk F. – L.: Routledge, 2012. – P. 222–248.

- Keestra M.* Sculpting the space of actions: explaining human action by integrating intentions and mechanisms. – Amsterdam: Institute for logic, language and computation, 2014. – 440 p.
- Killen M., Wainryb C.* Independence and interdependence in diverse cultural contexts // *New directions for child and adolescent development.* – San Francisco, 2000. – Vol. 2000, N 87. – P. 5–21.
- Measuring goodness of story narratives / Lê K., Coelho C., Mozeiko J., Grafman J. // *Journal of speech, language, and hearing research.* – Rockville, 2011. – Vol. 54, N 1. – P. 118–126.
- Madsen D.* A biochemical property relating to power seeking in humans // *The American political science review.* – Baltimore, 1985. – Vol. 79, N 2. – P. 448–457.
- Neuroconstructivism: How the brain constructs cognition / Mareschal D., Johnson M.H., Sirois S., Spratling M., Thomas M.S.C., Westermann, G. Volume one. – Oxford: Oxford univ. press, 2007. – 274 p.
- Masuda T., Nisbett R.E.* Culture and change blindness // *Cognitive science.* – Norwood, 2006. – Vol. 30, N 2. – P. 381–399.
- McNally L., Brown S.P., Jackson A.L.* Cooperation and the evolution of intelligence // *Proceedings of the Royal Society: Series B, Biological sciences.* – L., 2012. – P. 3027–3034.
- Meunier D., Lambiotte R., Bullmore E.T.* Modular and hierarchically modular organization of brain networks // *Frontiers in neuroscience.* – 2010. – Vol. 4. – Article 200.
- Miller G.A.* The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information // *Psychological review.* – Indianapolis, 1956. – Vol. 63, N 2. – P. 81–97.
- Park D.C., Huang C.-M.* Culture wires the brain // *Perspectives on psychological science.* – Malden, 2010 – Vol. 5, N 4. – P. 391–400.
- The effects of practice on the functional anatomy of task performance / Petersen S.E., van Mier H., Fiez J.A., Raichle M.E. // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.* – Washington, D.C., 1998. – Vol. 95, N 3. – P. 853–860.
- Ricoeur P.* Oneself as another. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1992. – 363 p.
- Ricoeur P.* Time and narrative. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1984. – Vol. 1. – 274 p.
- Ricoeur P.* Time and narrative. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1985. – Vol. 2. – 208 p.
- Ricoeur P.* Time and narrative. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1988. – Vol. 3. – 362 p.
- Schacter D.L., Addis D.R.* On the constructive episodic simulation of past and future events // *Behavioral and brain sciences.* – N.Y., 2007 – Vol. 30, N 3. – P. 331–332.
- Friendships moderate an association between a dopamine gene variant and political ideology / Settle J.E., Dawes C.T., Christakis N.A., Fowler J.H. // *The journal of politics.* – N.Y., 2010. – Vol. 72, N 4. – P. 1189–1198.
- Simon H.A.* The organization of complex systems. Hierarchy theory: The Challenge of Complex Systems. – N.Y.: George Braziller, 1973. – P. 1–27
- Somit A., Peterson S.A.* Review article: Biopolitics after three decades – a balance sheet // *British journal of political science.* – L., 1998. – Vol. 28, N 3. – P. 559–571.
- Essays on neuroscience and political theory: thinking the body politic / Ed. by Vander Valk F. – L.: Routledge, 2012. – 294 p.
- Wimsatt W.C.* Developmental constraints, generative entrenchment, and the innate-acquired distinction // *Integrating scientific disciplines.* – Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1986. – P. 185–208.
- Neural basis of cultural influence on self-representation / Zhu Y., Zhang L., Fan J., Han S. // *NeuroImage.* – Orlando, 2007. – Vol. 34, Issue 3. – P. 1310–1316.

В.Ф. Петренко

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕНТАЛИТЕТА ОБЩЕСТВА

Политическая психология в России

В условиях колоссальной неоднородности общества и его крайней дифференциации не только по экономическому статусу, но и по мировоззрению и политическим, ценностным установкам (что, с одной стороны, чревато возможностью социального взрыва, но с другой – обеспечивает, исходя из «принципа необходимого разнообразия» Эшби, возможность динамических трансформаций), чрезвычайно важными становятся проблемы терпимости (толерантности), достижения консенсуса и доверия друг к другу отдельных социальных, национальных и религиозных групп, проблема доверия общества к институтам власти, к экономическим институтам и институтам суда и права. Как показали исследования лауреата Нобелевской премии по экономике, американского психолога Дэниела Канемана (2006), психологические установки, прогнозы и ожидания, а также доверие населения к экономическим институтам и органам власти влияют на состояние экономики не в меньшей мере, чем ее, собственно, «объективные» детерминанты.

Появление в нашей стране политической психологии как формы рефлексии обществом самого себя было обусловлено горбачевской перестройкой и «политикой гласности». Кардинальные экономические и политические изменения нашего общества и вызванная ими трансформация общественного сознания необходимо создали потребность в психологическом осмыслении и рефлексии происходящих на наших глазах глобальных социальных процессов и анализе изменений политического менталитета отдельного человека как субъекта этих процессов. Ответом на этот социальный запрос стало появление практически новой для отечественной психологической науки области – политической психологии [см.: Шестопад, 1988; Петренко, Митина, 1991; Юрьев 1992; Дубов, Пантелеев,

1992; Шмелев, 1992; Лебедева, 1993; Политиками... 1993; Дилигенский, 1996; Гозман, Шестопап, 1996; Назаретян, 1998; Ольшанский, 2001].

Предметом политической психологии, по мысли Е. Шестопап, выраженной в «Психологическом словаре» [Мещерякова, Зинченко, 2003], следует считать «двухсторонний процесс влияния психологических факторов на политическое поведение и политических действий – на психологические состояния» [Шестопап, Дилигенский, 2003, с. 392]. «Политическая психология, – продолжает она, – исследует широкий круг проблем как внешней политики (психология войны и мира, терроризм, принятие политических решений, этнические и межгосударственные конфликты, взаимное восприятие партнеров по переговорам), так и внутривнутриполитической жизни (мотивация политического участия в традиционных институтах и новых движениях, дискриминация меньшинств, психология формирования политической идентичности и т.д.)».

Объект «политической психологии» – «политика» – выступает как особая деятельность людей по реализации коллективных интересов одной, сколь угодно большой группы людей (вплоть до государства или группы государств), сотрудничающих между собой или противодействующих интересам другой социальной, этнической или профессиональной группы. Предмет науки, как мы знаем из социальной эпистемологии и науковедения, строится на базе объекта науки, в первую очередь исходя из особенностей метода и специфики языка данной области знания.

Методы политической психологии заимствуются из психологии личности и теории общения, рефлексивных игр и психотерапии, из синергетики и теории катастроф, психоллингвистики и теории дискурса, этнопсихологии и кросс-культурной психологии, теории личностных конструктов и психосемантики. Общим здесь является только размытое и плохо определенное поле «политической деятельности».

В этом плане ситуация в «политической психологии» напоминает положение в советской школе в 30-х годах прошлого века, когда практиковался так называемый «комплексный подход» в обучении. Комплексность заключалась в том, что на уроках давался последовательно комплекс знаний о некотором объекте. Например, изучается объект «корова». На одном уроке дети изучали, как пишется это слово, на другом – какой продукт она дает, на третьем – к какому биологическому классу она относится и т.д. То есть организация обучения шла по «объектному», а не дисциплинарному основанию.

Сходное положение мы наблюдаем и в интеграции проблематики политической психологии. В качестве ее проблематики рассматривается, например, ситуация политических переговоров; широко применяются методы дискурс- и интенс-анализа. Объектами рассмотрения и применения методов контент-анализа могут быть и сами политические декларации, манифесты, тексты соглашения и т.п. Объектами анализа могут быть «высокие переговоривающиеся стороны», особенности их характера,

стереотипы поведения и особенности принятия решения, и тогда могут использоваться биографический, психоаналитический методы, методы эмпатийного моделирования (вплоть до наведения гипнотической идентичности) личности другого человека, методы проективного анализа «живого» поведения или его видеозаписи. Идеи Г. Ласуэлла оказали значительное влияние на создание спецслужбами разных стран «психологических портретов» политических лидеров (от Мао Цзедун и Хрущева до Киссинджера и Жириновского).

Другая область политической психологии связана с анализом политических и социальных представлений как конкретных социальных, этнических, религиозных групп населения, участников или контрагентов неких общественных процессов, так и широких масс населения, являющихся электоратом в демократических обществах. Это – область изучения политического менталитета общества.

Политический менталитет включает картину мира субъекта, систему ценностей, его политические установки. Провести четкую грань между политическими и иными формами сознания вряд ли представляется возможным. Как выразился применительно к своему времени немецкий канцлер О. Бисмарк, «Франко-германскую войну выиграл прусский учитель», и уровень образования, когнитивная сложность населения могут выступать одним из значимых параметров политического сознания (или менталитета). Последние два термина для нас скорее синонимичны, и если в философской литературе о содержательном наполнении картины мира принято говорить в терминах сознания, то в психологии, в силу фрейдовского разведения сознательного и бессознательного, уместнее термин «менталитет», включающий как сознательные, так и бессознательные пласты картины мира, политические установки, настроения, стереотипы, имиджи и прочие плохо рефлекслируемые компоненты политического опыта.

Психосемантический подход в политической психологии

Психосемантический подход в своей основе восходит к методу семантического дифференциала Ч. Осгуда [Osgood, Susi, Tannenbaum, 1957], где методика семантического дифференциала являлась побочным продуктом исследования феноменов синестезии и теории личностных конструктов Дж. Келли [Kelly 1955], включающей метод репертуарных решеток [Келли, 2000; Франселла, Баннистер, 1987]. Конечным продуктом исследований обоих ученых являлось построение семантических пространств по тематике общей психологии (для Осгуда) и психотерапии (для Келли). Как пишет известный американский психолог М. Коул в предисловии к моей статье «Значение как образующая сознания», опубликованной в журнале «Психология в России и Восточной Европе»: «Петренко заимствует американский технологический инструментарий для решения тради-

ционных российских проблем в психологии, идущих от Л.С. Выготского». Методологической основой становления психосемантики, таким образом, выступает школа Выготского – Леонтьева – Лурии. С тех пор прошло достаточно времени, и я, и мои сотрудники (Митина, Кучеренко, Супрун, Гладких) значительно расширили области применения психосемантики (в области психологии личности, политической психологии, кросс-культурной антропологии и этнической психологии, исследований эффективности массовых коммуникаций, психологии искусства) и разработали множество новых психосемантических методов исследования. Среди них: психосемантический метод исследования мотивов, психосемантический метод анализа восприятия кинофильмов, литературных героев, имиджей политиков, построения семантических пространств политических партий, психосемантический метод определения объема электората той или иной партии, динамики политического менталитета населения, динамики качества жизни и осмысленности бытия, психосемантический анализ живописи, реконструкции личности человека по автопортрету и т.п. Они также применили новые формы обработки баз данных (факторный и кластерный анализ, многомерное шкалирование, структурное моделирование, детерминационный, дискриминантный анализ). В работах участника нашей творческой группы А.П. Супруна доказано, что преобразование Лоренса, лежащее в основе теории относительности А. Эйнштейна, работает и на семиотических системах, что позволило внести релятивистские поправки при построении семантических пространств для экстремальных психологических случаев.

В психосемантике операциональной моделью сознания, описывающей категориальную структуру сознания субъекта и личностные смыслы субъекта относительно некоторой содержательной области, выступают субъективные семантические пространства [Петренко, 1983, 1997, 2005]. Субъективные семантические пространства представляют собой обобщения исходного языка описания, присущего субъекту (респонденту), где первичные дескрипторы (термин лингвистики), шкалы (в терминах Ч. Осгуда) или конструкторы (в терминах Дж. Келли) группируются с помощью статистических процедур (факторного, кластерного анализа или методов структурного моделирования) в содержательно более емкие категории-факторы.

При геометрическом представлении категории-факторы выступают осями некоторого n -мерного семантического (как правило, декартового) пространства, а личностные смыслы субъекта по поводу анализируемых объектов задаются как координатные точки внутри этого пространства, создавая своеобразную «ориентировочную основу действия» (термин Гальперина) – в нашем случае эмпатического встраивания, вчувствования в сознание другого или других. В этом смысле психосемантический подход близок к проективным методам и, как и последние, чувствителен к проблемам интерпретации, но, в отличие от проективных методов, имеет

дело с компактно представленными данными, включающими такие параметры, как когнитивная сложность (число независимых категорий-факторов), перцептуальная сила признака, выражаемая во вкладе фактора в общую дисперсию и отражающая субъективную, связанную с мотивационной сферой, значимость данного основания категоризации категорий-факторов (как взаимосвязь различных оснований категоризации), и др.

Типовые задачи в области политической психологии, реализуемые методами психосемантики

1. Построение семантических пространств политических партий [см.: Петренко, Митина, 1991, 1992, 1997, 2005; Petrenko, Mitina, 1997, 1999].

Для решения этой задачи в качестве дескрипторов (суждений) мы используем декларации политических партий, фрагменты выступлений известных политических лидеров, выдержки из конституции, документов ООН, ЮНЕСКО и т.п. Респонденты (испытуемые), коими являются руководящие деятели различных партий, высказывают свое согласие или несогласие с каждым из суждений из списка или то, насколько каждое суждение (обычно несколько сотен дескрипторов) соответствует позиции представляемой ими партии.

Позиции каждой партии представляют не менее десяти респондентов из руководящего состава (как правило, несколько десятков респондентов, что зависит как от массовости партии, так и от меры открытости ее общественному мнению, прессе, социологическим исследованиям и т.п.), что позволяет оценить величину дисперсии в ответах как меру, обратную степени идеологического единства. Факторизация матрицы данных позволяет выделить будущие факторы сходства / различия политических партий, определить размерность политического пространства как показателя дифференцированности политической жизни общества и когнитивной сложности общественного сознания, а также (проинтерпретировав содержание каждого фактора) выделить ведущие линии социального напряжения. Позиции каждой партии в семантическом пространстве представлены как координатные точки внутри этого политического пространства, и можно определить (через проекцию позиции партии на оси категорий-факторов), насколько в позиции партии выражен тот или иной политический аспект, представленный содержанием фактора. Расстояния между координатами партий в семантическом пространстве обратно пропорциональны сходству их политических установок. И, используя кластерный анализ, можно построить дендограммы или кластер-структуры, отражающие группировку партий исходя из сходства их политических установок, и предсказать таким образом их возможные политические альянсы.

2. Семантическое пространство имиджей партий [см.: Петренко, Митина, 1997; Петренко, 2005]. В отличие от предыдущей задачи, где в

роли респондентов выступают сами члены (как правило, лидеры) той или иной партии, являющиеся носителями идеологии данных партий, в роли респондентов для построения имиджей политических партий выступают рядовые избиратели, наблюдающие политику партий, так сказать, с «внешних позиций». В задачу респондентов (испытуемых) входит оценка списка партий по широкому диапазону шкал-дескрипторов (например, «партия имеет широкую поддержку у населения», «партия отражает интересы мелкого и среднего бизнеса», «партия пользуется поддержкой президента», «партия – носитель левой идеологии» и т.п.). При такой процедуре оценка партий оказывается более субъективной (чем в первой задаче) и зависимой от политической пропаганды, средств массовой коммуникации, политической рекламы. В отличие от политически более однородных респондентов – членов партий, оценки партий населением («людьми улицы») более разнообразны, их дисперсия выше, и представляется разумным для решения ряда специфических задач (например, для оценки образа партий различными социальными группами) строить семантические пространства имиджей для однородного контингента респондентов.

3. Оценка электоральной мощности политических партий [см.: Петренко, Митина, 1992, 1997]. Оценка степени поддержки населением той или иной партии осуществляется нами с помощью процедуры проекции позиций избирателей на семантическое пространство партий. Каждый респондент отвечает на все пункты опросника, на которые уже отвечали представители политических партий. Проведя таким образом своеобразную политическую диагностику, можно определить координаты политической позиции данного субъекта в пространстве политических партий, определить, к какой партии он ближе по политическим установкам. Эта процедура, умноженная на число респондентов, дает своеобразное электоральное облако политических позиций населения, что, в свою очередь, позволяет определить, вокруг каких партий наиболее высока плотность избирателей, т.е. определить степень популярности каждой партии у населения, а используя детерминационный анализ [Чесноков, 1982] – выделять социально-демографический портрет избирателей данных партий. Как показали наши исследования [Петренко, Митина, 1994, 1997], электоральная плотность партий, определенная методами психосемантики, высоко коррелирует с непосредственными данными парламентских выборов.

4. Выделение типологии политического менталитета населения. Типовое построение семантического (в нашем случае политического) пространства подразумевает факторизацию (кластеризацию, применение метода многомерного шкалирования, структурного моделирования и т.п.) двухмерной матрицы данных. Полученное на основе групповых данных семантическое политическое пространство отражает позиции людей, стоящих на совершенно разных политических позициях. Построение таких общих групповых пространств (на основе репрезентативных выборов), отражая настроения в обществе, позволяет совершать эвристичный

прогноз парламентских или президентских выборов, но с методологической точки зрения они соответствуют «среднегрупповой температуре по больнице».

Этот же методологический упрек может быть отнесен и к социальной процедуре оценки рейтинга политических лидеров, учитывающей сторонников, но не учитывающей позицию людей, отвергающих этих лидеров. Процедура семантического многомерного рейтинга [Петренко, 2002, 2003, 2005; Петренко, Митина, 2004] дает, на наш взгляд, более адекватную оценку рейтинга лидеров.

Для широкого круга социально-психологических и социально-политологических исследований важно изучать не усредненное мнение населения, а политические идеи (идеологемы), политические конструкты, распространенные в обществе. Ставится задача построения политической типологии населения, выделения типов политической ментальности. Для решения этой задачи мы обращаемся ко всей базе данных (а не к двумерной матрице), образованной тремя переменными:

- шкалы-дескрипторы;
- объекты анализа;
- респонденты.

Такая база данных представляет собой куб (а вернее, параллелепипед) данных, и для решения ряда задач с использованием многомерной статистики можно проводить сечение этого куба по разным основаниям: по испытуемым, по объектам, по шкалам [см. подробнее: Петренко, 1997, 2005]. Для решения этой же задачи построения типологии политического менталитета нами [Петренко, Митина, 1997] разработан алгоритм, в котором политическая позиция респондента представлена единой атрибутивной матрицей, и последующая факторизация (по испытуемым) матрицы сходства матриц позволяет выделить группировки респондентов, имеющих сходные политические установки. Дальнейшее построение семантических пространств для политически однородных групп респондентов позволяет выделить когнитивную сложность политического сознания этих респондентов, а проведя содержательную интерпретацию факторов, описать политические идеологемы и конструкты, присущие этим людям. Использование основанного на теории множеств детерминационного анализа [Чесноков, 1982; Петренко, Митина, 1997; Петренко, 2002] позволяет составить социально-демографический портрет респондентов (электората) – носителей того или иного политического менталитета.

5. Анализ динамики политического менталитета необходим для предсказания развития политических процессов, происходящих в обществе; целенаправленного выбора «модели потребного будущего» (термин Н. Бернштейна) из сценарного веера возможного; осознанных действий по элиминации нежелательных сценариев развития. Тем не менее описание «живого движения», эволюции и развития системы – одна из наиболее сложных методологических проблем науки. Как полагает Анри Бергсон,

научные методы анализа динамических процессов способны дать только синхронические (фотографические, в терминах Бергсона) срезы процесса.

Для описания политической жизни общества методы психосемантики (как и любой лонгитюд в психологическом исследовании) позволяют получить серию синхронических срезов политического процесса (в нашем случае – в форме семантических пространств), и встает вопрос о том, как от синхронических срезов перейти к описанию динамики. Проблема усложняется еще и тем, что со временем меняется не только менталитет, но и самое общество. Меняется политический контекст (дискурс), на передний план выступают новые проблемы, и, строя семантические пространства, релевантные времени, исследователь использует новые дескрипторы, а подчас вводит в исследование новых политических субъектов (государства, политические партии, политические персоналии).

Задачу установления генетической взаимосвязи семантических пространств, отражающих менталитет общества в различные временные этапы, мы решаем, устанавливая коррекционно-факторные связи дескрипторов в предположении малой изменчивости идеологии партии (т.е. объектов) на достаточно малом интервале времени, а затем в объединенном пространстве дескрипторов описываем динамику самих объектов анализа с помощью аппарата разностных дифференциальных уравнений. Психосемантика нелинейных динамических процессов находится еще в стадии развития, и нами делаются попытки использования аппарата синергетики и теории диссипативных структур для описания динамики менталитета общества [см.: Митина, Петренко, 1996; Петренко, Митина, 1997, 2003; Abraham, Mitina, Petrenko, 2000; Petrenko, Mitina, 1999, 2003].

6. Анализ представлений населения о качестве жизни. Как говорил Ф. Ницше, «можно пережить любое как, если знаешь зачем». На восприятие качества жизни влияет не только наличие материальных благ, но и ощущение субъектности собственного бытия – ощущение того, что ты сам творец и автор своей жизни, а не того, что тобой, как марионеткой, управляют обстоятельства. Качество жизни зависит от качества общения в семье, рабочем коллективе, в обществе. Оно включает отсутствие военных угроз и природных катаклизмов, а также веру в счастливое будущее для себя и своих детей, возможность получить хорошее образование и квалифицированную медицинскую помощь. То есть качество жизни – это многомерное понятие, включающее различные аспекты человеческого бытия. В наших исследованиях [Петренко, Митина 1997, 2013], посвященных представлениям населения России о качестве жизни в различные периоды ее истории, в качестве ролевых позиций использовались образы правителей (от Ленина до Путина), а дескрипторами выступали несколько десятков суждений о различных аспектах качества жизни. Респондентов различного возраста просили оценить по градуальной шкале качество жизни населения при том или ином правительстве. Полученные матрицы данных подвергались процедуре факторного анализа и структурного моделирова-

ния с целью построения семантического пространства, описывающего динамику качества жизни россиян за весь период советской и постсоветской истории. Проведенный анализ выделил три независимых фактора, к которым сводятся многочисленные аспекты качества жизни. Это фактор «политических свобод», фактор «материального благополучия» и фактор «осмысленности бытия». Для первых двух факторов графики динамики качества жизни практически совпадали у различных возрастных групп. Для пожилых людей, изучавших историю СССР и помнящих правление Хрущева, и молодежи, родившейся в годы правления Ельцина, динамика качества жизни в диапазоне всей истории, начиная с 1917 г., была практически идентичной. То есть представления о политических свободах и материальном благополучии в различные периоды советской, а затем российской истории совпадали. Чего нельзя сказать о факторе «осмысленности бытия», где локальные вершины и спады для старшего и младшего поколения были противоположны. Исследование показывает, что знание истории государства, крайне необходимое для формирования гражданской позиции, тем не менее не определяет жестко характер отношения к этой истории. Видимо, существует какой-то возрастной инбридинг духовной атмосферы, присущей различным историческим этапам, некий духовный камертон, настраивающий пассионарность общества (термин Л. Гумилёва), относительно независимый от уровня материальных благ и политических свобод.

7. Анализ геополитических представлений населения позволяет увидеть (и оценить) внешнюю политику государства глазами его граждан. Вместе с советской идеологией ушло в прошлое (но осталось у старшего поколения на уровне установок) деление стран мира на социалистические, капиталистические и развивающиеся («страны третьего мира»). Российское общественное сознание мучительно ищет свою новую геополитическую идентичность, свое место в содружестве государств [см.: Солженицын 1994]. На смену идеологическому родству (подпитываемому многомиллиардными невозвратными займами и поставками оружия) пришли прагматические внешнеполитические отношения, согласно известному принципу Черчилля – «в политике нет постоянных друзей, а есть постоянные интересы». В этом контексте являются интересными, а для поддержки внешнеполитического курса – важными анализ представлений населения о геополитической карте мира; анализ образов (имиджей) различных стран; оценка степени дружелюбности по отношению к России и ее гражданам правительств и граждан различных стран; и, наконец, анализ аутостереотипов, т.е. анализ образов России и ее населения в восприятии самих российских граждан.

В психологической науке проблеме этнических ауто- и гетеростереотипов посвящено огромное количество исследований фаворитизма и этноцентризма [Дробужева, Аклаев, Солдатова, 1996; Лебедева, 1997; Berry, 1990; Taifel, Turner, 1986; Triandis, 1994]. Значительно меньше (по крайней мере, на материале российского менталитета) исследований стереотипов

восприятия стран – субъектов международной политики, так же как и исследований той системы категорий, через призму которой осуществляются восприятие и оценка этих стран. Эта задача решается путем построения семантических пространств [см.: Петренко, Митина, Бердников, Кравцова, Осипова, 2000; Петренко, 2005; Petrenko, Mitina, 2003], где объектами оценок по множеству дескрипторов (характеризующих уровень развития экономики, культуры, политических свобод и демократических принципов, состояние вооруженных сил, религиозность общества и т.п.) выступают имиджи стран (их авто- и гетеростереотипы). Специфика психосемантической картографии геополитического пространства (мира, Европы, СНГ и т.п.) заключается в том, что путем наложения субъективных семантических пространств на географические карты мы получаем визуальные геополитические пространства, где, раскрашивая эти карты по степени выраженности того или иного фактора, мы получаем визуально читаемый, целостный образ России в содружестве стран (по тем или иным экономическим и политическим аспектам), например карты толерантности, дружелюбности по отношению к России окружающих ее государств.

Список литературы

- Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. – Ростов н/Д.: Феникс, 1996. – 448 с.
- Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М.: Наука, 1996. – 304 с.
- Дубов И.Г., Пантелеев С.Р. Восприятие личности политического деятеля // Психологический журнал. – М., 1992. – № 6. – С. 25–33.
- Политиками не рождаются. Как стать и остаться эффективным политическим лидером / Абашкина Е., Водотынский Д., Егорова-Гартман Е., Косолапова Ю. и др.: В 2 кн. – М.: Антикава, 1993. – 1 кн. – 221 с.; 2 кн. – 423 с.
- Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. – М.: Экономика, 1993. – 156 с.
- Митина О.В., Петренко В.Ф. Синергетическая модель динамики политического сознания // Гуманитарная наука в России: соросовские лауреаты. – М., 1996. – С. 200–212.
- Митина О.В., Петренко В.Ф. Моделирование динамики общественного сознания // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. Ломоносова. – Т. 1. – М., 2002. – С. 236–257.
- Митина О.В., Петренко В.Ф. Использование систем дифференциальных уравнений малой размерности с нелинейной правой частью для изучения психологических процессов // Синергетика. По материалам круглого стола: Сложные системы: идеи, проблемы, перспективы. – М., 2003. – Т. 5. – С. 276–290.
- Митина О.В., Петренко В.Ф. Построение многомерного рейтинга политических лидеров // Моделирование в социально-политической сфере. – М., 2004. – С. 85–94.
- Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 496 с.
- Назаретян А.П. Политическая психология: предмет, концептуальные основания, задачи // Общественные науки и современность. – М., 1998. – № 1. – С. 154–162.
- Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 207 с.
- Петренко В.Ф. Основы психосемантики. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2005. – 480 с.

- Петренко В.Ф., Митина О.В. Семантическое пространство политических партий // Психологический журнал. – М., 1991. – № 6. – С. 55–77.
- Петренко В.Ф., Митина О.В., Шевчук И.В. Социально-политологическое исследование общественного сознания жителей Казахстана // Психологический журнал. – М., 1992. – № 1. – С. 53–88.
- Петренко В.Ф., Митина О.В. Психосемантическое исследование политического менталитета (Россия 1991–1993) // Общественные науки и современность. – М., 1994. – № 6. – С. 42–54.
- Петренко В.Ф., Митина О.В. Динамика политического сознания как процесс самоорганизации // Общественные науки и современность. – М., 1995. – № 5. – С. 103–115.
- Петренко В.Ф., Митина О.В. Психосемантический анализ динамики качества жизни россиян // Психологический журнал. – М., 1995. – № 6. – С. 17–31.
- Петренко В.Ф. Психосемантический подход к исследованию индивидуального и общественного сознания // Перспективы развития гуманитарных наук в Московском университете. – М., 1996. – С. 123–136.
- Петренко В.Ф., Митина О.В. Образ политической и экономической реформ в сознании россиян // Общественные науки и современность. – М., 1997. – № 4. – С. 92–105.
- Петренко В.Ф., Митина О.В. Психосемантический анализ динамики общественного сознания (на материале политического менталитета). – Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. – 214 с.
- Петренко В.Ф., Митина О.В. Отношение граждан России к реформе и типология политических установок // Психологический журнал. – М., 1997. – № 5. – С. 31–61.
- Петренко В.Ф. Психосемантика политического менталитета // Політична культура менталитета демократического суспільства: стан і перспективи в Україні. – Київ, 1998.
- Петренко В.Ф., Митина О.В., Бердников К.А. Психосемантический анализ геополитических представлений россиян / Психологический журнал. – М., 2000. – № 1. – С. 49–69.
- Петренко В.Ф. Язык метафоры в рейтинге политических лидеров // Социологический журнал. – М., 2002. – № 1. – С. 41–47.
- Петренко В.Ф. Метафора в многомерном рейтинге лидеров // Журналистика и культура русской речи. – М., 2002. – № 1. – С. 98–107.
- Петренко В.Ф., Митина О.В. Нелинейная модель в исследовании психосемантики мотивации: синергетическая парадигма // Синергетические исследования в области гуманитарных и естественных наук. – Белгород, 2003. – С. 291–314.
- Петренко В.Ф. Психология и политика: конструктивистская парадигма // Психология и современные направления в междисциплинарных исследованиях. – М., 2003. – С. 378–390.
- Петренко В.Ф. Основы психосемантики. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2005. – 480 с.
- Чесноков С.В. Детерминационный анализ социально-экономических данных. – М.: Наука, 1982. – 168 с.
- Шмелев А.Г. Психология политического противостояния: тест социального мировоззрения // Психологический журнал. – М., 1992. – № 5. – С. 26–36.
- Шестопап Е. Б., Дилигенский Г.Г. Политическая психология // Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. – М.: Олма-пресс, 2003. – С. 392–393.
- Юрьев А.И. Введение в политическую психологию. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1992. – 232 с.
- Abraham E.D., Mitina O., Petrenko V. Construction of system dynamics from multivariate data // Nonlinear dynamics in the life and social sciences / Eds. W. Sulis, I. Trofimova. – L.: IOS Press, 2000. – Vol. 320. – P. 325–332. – (NATO Science Series. Series A: Life Sciences).
- Abraham E.D., Mitina O., Petrenko V. Dynamical cognitive models of social issues in Russia // International Journal of Modern Physics. – Singapore; New Jersey, 2002. – Vol. 13, N 2. – P. 229–251.

- Kelly G.A.* The psychology of personal constructs. – N.Y.: Norton, 1955. – Vol. 1: A theory of personality. – XVIII + 556 p.
- Kelly G.A.* A theory of personality. The psychology of personal constructs. – N.Y.: Norton 1963. – 190 p.
- Osgood Ch., Susi C., Tannenbaum P.* The measurement of meaning. – Urbana: Univ. of Illinois press, 1957. – 342 p.
- Petrenko V., Mitina O., Braun R.* The semantic space of russian political parties on federal and regional level // *Europe-Asia Studies*. – L., 1995. – Vol. 47, N 5. – P. 835–857.
- Petrenko V., Mitina O.* The psychosemantic approach to political psychology // *States of mind. American and post-soviet perspectives on contemporary issues in psychology* / Ed. D. Halpern, A. Voicounsky. – N.Y.: Oxford univ. press, 1997. – P. 19–48.
- Petrenko V., Mitina O.* Attitudes toward political parties // *The Russian Transformation* / Eds. B. Glad, E. Shiraev. – N.Y.: St Martin's Press, 1999. – P. 179–198.
- Petrenko V., Mitina O.* A Psychosemantic analysis of the dynamic of russian life quality (1917–1998) // *European Psychologist*. – Kirkland, WA, 2001. – Vol. 6, N 1. – P. 1–14.
- Petrenko V., Mitina O.* Russian's representations of geopolitical space // *European Psychologist*. – Kirkland, WA, 2003. – Vol. 8, N 4. – P. 238–251.

М.Ю. Походай, А.В. Мячиков
РОЛЬ СИСТЕМЫ ВНИМАНИЯ
В ПОРОЖДЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Введение

Окружающий мир, воспринимаемый и описываемый человеком, находится в постоянном движении. Если мы хотим, чтобы предложения, которыми мы описываем мир, соответствовали действительности, мы обязаны учитывать и отражать в структуре предложений постоянно изменяющуюся природу мира. В таком случае всеобъемлющая система порождения речи должна моделировать производство предложений с учетом данного базового предположения. Слова, их линейное позиционирование, и структуры, в которые они объединяются, должны отражать соответствующие параметры увиденного и описываемого события. Данная система должна учитывать: выделенность референта как интегральный компонент, который приводит к взаимодействию; постоянное автоматическое картирование между элементами видимой сцены (их различаемой выделенностью); структурное расположение компонентов предложения и грамматических взаимоотношений между ними. В данном взаимодействии перцептивный ввод закладывает основу этого картирования, предоставляя информацию для последующего концептуального и лингвистического кодирования. Важно помнить, что данная информация не обрабатывается спонтанно: наоборот, она систематически фильтруется, выбирается и ретранслируется, основываясь на постоянном интерфейсе между аспектами внимания и их соответствующими производными в концептуальных лингвистических структурах. К восходящим и нисходящим чертам данного интерфейса относятся заметность, важность или релевантность. В результате порожденная речь обычно отражает концептуальную организацию события, включая состояние внимания говорящего. Данное картирование фокуса внимания на структуру предложения является частью гораздо более сложного механизма картирования, который мы в дальнейшем будем называть «*интерфейс сознание – язык*» (ИСЯ). Конкретнее в этой обзорной статье

обратимся к эмпирическому и теоретическому знанию о сложном взаимодействии между *состоянием внимания* говорящего и *структурным выбором*, который он совершает в процессе порождения предложений.

Прежде чем мы продолжим, мы должны рассмотреть, как в общепринятых теоретических рамках порождения предложений внимание отражается в концептуализации описываемого события. Одна из самых широко используемых моделей [Levelt, 1989] начинается со стадии концептуализации события, которая позволяет картировать концептуальные репрезентации на превербальной стадии *message* (*сообщение*). На данной стадии говорящий выстраивает лингвистический *message*, который служит отправной точкой для следующей стадии – *utterance formulator* (*составитель высказываний*). Данный *message* несет в себе концептуальную информацию с перцептивной картой, отражающей выделенность всех компонентов и воспринятое событие в целом. *Utterance formulator* на основе этой карты выбирает *lemmas* (*леммы*) для объединения их в слова и с учетом их грамматических свойств производит *structural assembly* (*структурную сборку*) – назначение структурной конфигурации и порядка слов в зависимости от грамматики языка говорящего. Результатом всех вышеперечисленных ступеней является обработка поступившей информации и передача ее в артикулятор для последующего порождения письменной или устной речи. Ступени, следующие за пониманием сообщения, называются *лингвистическими*, потому что происходящие процессы имеют доступ к лексическим, морфологическим, синтаксическим и фонологическим ресурсам. Модель Левелта особенно хороша с точки зрения детализации того, как эти лингвистические ступени работают. В то же время модель достаточно поверхностно описывает структуру *message* (если таковая имеется вообще) и механизмы картирования содержания *message* на соответствующие лингвистические категории. С целью краткого описания того, как содержание и организация *message* могут повлиять на содержание и структуру предложения, нам нужно принять во внимание два важных теоретических контраста, к которым мы вернемся в процессе обсуждения данных. Для рассмотрения этих контрастов в контексте представьте себе событие, в котором полицейский преследует грабителя. В английском языке данное событие может быть описано несколькими вариантами предложений, включая:

- (a) *The policeman is chasing a burglar.*
- (b) *The burglar is chased by the policeman.*
- (c) *It's the burglar that the policeman is chasing.*

Хотя эти высказывания не исчерпывают все возможные варианты доступного структурного инвентаря, они позволяют нам определить три отдельных структурных сценария:

(a) Активный залог, где *the policeman* выступает в роли подлежащего и стартовой точки в предложении, а *the burglar* – сказуемого в финальной позиции.

(b) Пассивный залог, где *the burglar* выступает в роли подлежащего и стартовой точки в предложении, а *the policeman* – наречие в финальной позиции.

(c) Предложение, где *the burglar* является комплиментарным сказуемым главной фразы, а *the policeman* – подлежащее, часть изложенного изъяснительного придаточного.

Что же подталкивает говорящего к выбору одной из данных альтернатив при описании происходящего события? Конечно же, нулевой гипотезой о роли внимания в выборе одной из этих одинаково эстетичных формулировок будет отсутствие этой роли как таковой. В первой секции нашего обзора мы сначала примем эту гипотезу, а затем опровергнем ее на основе наших эмпирических данных. Отвергая эту гипотезу в процессе выбора, мы, однако разделим основной вопрос на две составляющие: что мотивирует говорящего выстраивать предложение таким образом, который (1) предполагает определенный линейный порядок референтов и (2) мотивирует того же говорящего назначать конкретные структурные роли (подлежащее, сказуемое и т.д.) внутри конкретной синтаксической структуры (например, внутри активной и пассивной структуры в английском языке)? Эти два вопроса отражают два соответствующих процесса при порождении предложения – выбор порядка слов и назначение грамматических ролей.

Первый вопрос важен, потому что есть вероятность, что роль внимания заключается в том, чтобы (1) смещать назначение приоритетных структурных ролей в сторону более «выделенных» референтов и / или (2) мотивировать линейный порядок предложения, где более «выделенный» референт кодируется раньше в процессе инкрементального порождения предложения. Важность стартовой точки предложения была описана Мак-Винни [MacWhinney, 1977], который предположил, что выделяющиеся референты имеют тенденцию занимать стартовую позицию в предложении, тем самым определяя структуру предложения. Однако если в каких-то языках (английский) порядок слов и структура предложения объединяются, то в других языках (малагаси) этого не происходит. В результате стартовая точка предложения не всегда совпадает с самой выделенной грамматической ролью. В противовес этому позиционному подходу [Irwin, Bock, and Davidson, 2004] Томлин [Tomlin, 1995; 1997] предположил, что языки могут использовать различные грамматические стратегии для донесения говорящим до слушателя информации о наиболее выделенном референте. Например, в английском языке результатом этого процесса может стать назначение роли подлежащего самому выделенному референту происходящего события. Данный взгляд предполагает гипотезу о роли грамматики в перцептивно-вызванном структурном выборе. Во второй части нашего обзора эмпирических данных мы обратимся к результатам исследований из других языков с целью разделить влияния фокуса внима-

ния на процесс назначения грамматических ролей и порядок составных частей предложений.

Второй теоретический контраст ставит вопрос о том, как порожденное предложение отражает конфигурацию описываемого события. Картирование события на предложение может (1) требовать от синтаксической формы кодирования *связи* между взаимодействующими референтами (так называемый «хорлистический» принцип) или (2) использовать синтаксическую форму, которая содержит информацию о концептуальной и / или перцептивной роли или статусе взаимодействующих референтов [Bock, Ferreira, 2014]. В то время как вышесказанное дает возможность определить контрастирующие экспериментальные прогнозы, стоит принимать во внимание, что взаимосвязи между референтами в событии и их статусы / роли не конфликтуют, они лишь определяют приоритет лингвистического кодирования различными аспектами концептуальной организации одного и того же события. Другими словами, то, о чем предложение (кто-делает-что-с-кем или взаимоотношение референтов), и выделенность референтов (кто больше / ярче / одушевлен / более важен) являются частью одной и той же концептуальной структуры и, таким образом, могут, в принципе, одновременно кодироваться определенными параметрами предложения. К сожалению, есть серьезный недостаток эмпирических данных, которые помогли бы разделить относительные и ролевые факторы, влияющие на порождение предложения. Однако ряд исследований все же обнаружил, что в то время как определенные варианты описания событий основываются на выделенности референтов, другие фокусируются на том, насколько просто концептуализировать относительную структуру события [Kuchinsky, Bock, 2010; Копорка, 2012]. Обратите внимание, что априори ни выделенность, ни суть предложения не имеют никакого влияния на то, как, например, строение пассива отличается от строения актива, или на различия в любых других структурных категориях. Все, что данные факторы показывают, – это то, что различные нелингвистические параметры могут повлиять на итоговый структурный выбор. И говорящие полагаются на внимание, в других случаях – на структуру самого события. Фактически значительное количество других перцептивных и концептуальных параметров события определяют структурный выбор. Среди этих параметров – одушевленность референтов [Prat-Sala and Branigan, 2000], референтная сложность события [Griffin, Weinstein-Tull, 2003], определенность референтов [Grieve, Wales, 1973], возможность представить событие [Bock, Warren, 1985], данность события [Heaviness... 2000; Bock, 1977] и прототипичность события [Kelly, Bock, Keil, 1986].

Гораздо осмысленнее и теоретически оправданно разделять принципы структурного выбора на принципы, определяемые языком и определяемые сообщением. Это значит, что теоретическая контрпозиция должна быть между предположениями о том, что идет первым, – намерение ис-

пользовать определенную лингвистическую форму или концептуализация события (*message*), которая мотивирует выбор лингвистической формы, категорий и единиц. Решить данную задачу с точки зрения методологии просто. Если верны структурные теории, внимание и другие факторы, воздействующие на говорящего на уровне концептуализации события, могут предсказывать лингвистический (например, структурный) выбор только при отсутствии сопутствующих лингвистических детерминантов или только в те моменты, когда влияние этих детерминантов незначительно. Если же верны теории, в которых структура определяется сообщением, то факторы, влияющие на уровне концептуализации события и смещающие лингвистический и структурный выбор, должны «выживать» даже в присутствии структурных детерминантов. Далее мы разберем существующие эмпирические доказательства, опровергающие эти теоретические сценарии.

Для начала будет описано общее влияние внимания на язык и конкретно на структурный выбор. Затем мы рассмотрим доказательства из исследований референтного и перцептивного прайминга, которые демонстрируют, что (1) особый статус доступности референта и (2) его относительная выделенность могут успешно предсказать структурный выбор через отражение состояния внимания говорящего. Затем мы сфокусируемся на исследованиях перцептивного прайминга в других языках. Это позволит нам лучше понять, как выбор структуры, определяемой вниманием, проявляется в назначении грамматических ролей и линейном упорядочивании составных частей в предложении. В заключении мы разберем доказательства, демонстрирующие прочность теории о внимании, в которой структурный выбор в присутствии лингвистических детерминантов зависит непосредственно от внимания, и предполагающие, что говорящий постоянно задействует выделенность референтов в определении структуры предложения независимо от других детерминантов и подсказок.

Внимание и выбор структуры

Существующая литература приводит ряд (1) структурных, (2) связанных с развитием и (3) поведенческих причин, позволяющих заключить, что работа механизма порождения речи опирается на распределение ресурсов системы внимания. Исследования назначения областей мозга кроме прочего доказывают, что мозг обладает определенной гибкостью, которая позволяет различным процессам задействовать одни и те же области коры. Например, результаты исследований чтения с помощью методов нейровизуализации показали наличие областей мозга, отвечающих за группирование визуальных репрезентаций букв в слова, ассоциирование букв со звуками и за реализацию ввода данных в семантический лексикон. Группирование визуальных репрезентаций букв в слова происходит в левой веретенообразной извилине, в задней ее части, отвечающей за зри-

тельную информацию [McCandlis, Cohen, Dehaene, 2003]. В правом полушарии те же области задействованы в процессе восприятия и распознавания лиц [A locus... 1997]. Раньше считалось, что эти области отвечают сугубо за лица и слова, однако современные концепции предполагают, что эти области отвечают в целом за группирование визуальных элементов или индивидуализацию сложных форм и могут обрабатывать и другие вводные данные [Activation... 1999]. Этим же принципом можно объяснить, почему зона Брока играет важную роль в формах неречевой моторной активности [Pulvermuller, Fadiga 2010]. Например, исследования структурных вызванных потенциалов показали большую зону активации в передней поясной извилине во время лексического поиска [Abdullaev, Posner 1998; Practice-related... 1994]. Известно, что эта же область используется при разрешении конфликтов и при использовании исполнительного внимания [Testing... 2002; Posner and Petersen 1990; Petersen, Posner 2012]. Результаты исследования с использованием фМРТ [An event-related... 2001] показали, что синтаксические нарушения вызывают значительно более сильную активацию в верхних частях лобных долей – областях, наиболее задействованных в контроле внимания. Исследования вызванных потенциалов при синтаксических нарушениях подтверждают существование двух электрофизиологических мозговых сигнатур синтаксической обработки: ранняя левая передняя негативность (left anterior negativity – LAN) и / или поздняя позитивная волна с пиком на 600 мс (P600) [Hagoort, Brown, Groothusen, 1993]. Хане и Фридеричи [Hahne, Friederici, 1999] проверяли гипотезу о том, что LAN – это сильно автоматичный процесс, в то время как P600 требует использования внимания. Они провели исследование, в котором манипулировали количеством предъявлений правильных предложений и предложений со структурными нарушениями. Синтаксически неверные предложения предъявлялись либо с низкой (20% предъявлений), либо с высокой (80%) частотой. Оба типа предложений показали наличие LAN, однако только при условии низкой частоты ошибочных предложений активировался P600. Данные результаты показывают, что LAN – это действительно автоматический процесс, в то время как компонент P600 является повтором синтаксического анализа и требует целенаправленного применения исполнительного внимания. Данные результаты демонстрируют, что мозг локализует мыслительные процессы, а не конкретные репрезентации (лингвистические или нелингвистические). Разделение обрабатываемых областей может также вести к разделению ресурсов между областно-специфичными и областно-обобщенными операциями, обрабатываемыми в одной и той же области.

Дополнительные причины выдвигать гипотезы о связи между вниманием и языком обнаруживаются в результатах исследований детского развития [Matthews, Krajewski, 2015]. Несколько исследований предположили, что усиление зрительного ввода вниманием активно используется родителями и нянями в период раннего языкового развития ребенка. По-

стоянная привязка фокуса внимания к называемым объектам и событиям помогает младенцам выстраивать крепкие ассоциации между воспринимаемым миром и связанным с ним языком. Эксперименты показывают, что как индивидуальные, так и совместные взгляды младенцев и взаимодействующих с ними взрослых могут служить индикатором происходящего процесса обучения (например, соотношения названий с объектами) [Baldwin, 1995; Social cognition... 1998; Dominey, Dodane, 2004; Estigarribia, Clark, 2007]. Становление интерфейса внимание – язык является отправной точкой в развитии более сложной системы объединения, картирующей семантику на структуру предложения. Удивительно, но основы этой системы закладываются уже в двух-трехлетнем возрасте. Исследования показали, что дети постоянно сканируют видимых референтов происходящих событий в соответствии с последовательностью их предъявления в процессе звукового восприятия предложения [Arunachalam, Waxman 2010; Yuan, Fisher 2009]. В данном процессе обучения ассоциации между семантикой события и синтаксисом регулируются путем направления внимания ребенка на структурно релевантные элементы описываемого события. Недавнее исследование [Ibbotson, Lieven, Tomasello, 2013] показало, что умение успешно описывать воспринятые детали через структуру предложения встречается у детей начиная с трех-четырёх лет. Некоторые теоретики, например [Mandler, 1992], предполагали, что после начального визуального анализа полученная информация в мозге ребенка становится репрезентацией в виде схематичного изображения, помогающего развитию более абстрактных концептуальных репрезентаций и тематических и структурных взаимосвязей. В целом роль контроля внимания в развитии языка предполагает раннюю и потенциально сильную взаимосвязь между распределением внимания по окружающей среде и структурированием языка, описывающим эту среду.

Связь между направлением внимания на объекты и последующими действиями с этими объектами остается сильной и у взрослых людей. Люди в основном смотрят на объект, с которым взаимодействуют, независимо от того, описывают ли они действие, используя речь, или нет [Ballard, 1997]. Понимание лингвистической обработки как подсистемы других поведенческих задач предполагает, что такая же связь может существовать между направлением внимания на объекты и описанием их в предложении. Некоторые теории полагают, что закономерности восприятия имеют репрезентации в синтаксической системе. Например, Ландау и Джекендофф [Landau, Jackendoff, 1993; Jackendoff, 1996] предполагали, что репрезентация объектов в человеческом разуме (что) и в пространстве (где) напрямую картируется при помощи различия между существительными и предлогами.

В экспериментах внимание чаще всего манипулируется с помощью парадигмы маркирования [Posner, 1980]. Маркер в этом контексте – это объект, который тем или иным образом изменяет выделенность объекта.

Это может быть независимый маркер, указывающий на объект (стрелка), или какая-нибудь черта самого объекта (размер, цвет). Маркеры могут быть экзогенными и эндогенными, а также имплицитными или эксплицитными – их наличие может влиять на явное или скрытое смещение фокуса внимания [Posner, Raichle, 1994]. Экзогенное маркирование происходит из внешней среды, в то время как эндогенное является результатом работы разума и внутренне созданных планов или намерений. Эксплицитный маркер видим и, соответственно, осознается (например, стрелка, указывающая направление и предъявляемая в течение достаточного количества времени). Имплицитный маркер, в свою очередь, манипулирует вниманием не так явно и предъявляется на период времени, недостаточный для осознанного восприятия маркера (например, 50 мс). Имплицитный маркер обычно не воспринимается сознательно, но его предъявление успешно привлекает внимание и направляет фокус внимания и взгляд (в случае явного смещения) в зону маркирования. Важно понимать, что смещение взгляда не является обязательным при смещении фокуса внимания, однако взгляд обычно следует в точку нахождения внимания [Fischer, 1998]. Эта особенность лежит в основе разницы между явным и скрытым смещением внимания. Явное смещение внимания происходит, когда глаза смещаются в сторону фокуса внимания. Скрытое смещение внимания подразумевает фокусирование внимания на объекте, находящемся вне визуального фокуса, что ведет к разделению фокуса внимания и взгляда [Posner, 1980].

Одним из аспектов внимания, который часто рассматривают в психолингвистике, – это степень избирательности внимания [Langacker, 2015; Bock and Ferreira, 2014]. Мир вокруг нас предоставляет огромный объем информации, доступный для обработки в любой момент. Внимание управляет выбором информации, которая в данный момент наиболее важна для реализации поставленной задачи [см., напр.: Chun, Wolfe, 2001]. Данная избирательность (или «фильтрация») информации является центральной во многих определениях термина «внимание». По Corbetta [Corbetta, 1998, p. 831]: *«Внимание определяет ментальную способность выбирать стимулы, реакции, воспоминания или мысли, которые в конкретной ситуации поведенчески верны среди множества поведенчески неверных»*. Выбор между различными стимулами ведет к выбору между различными соперничающими реакциями [Testing... 2002]. И лингвистическое поведение в данном случае не является исключением. Говорящему приходится выбирать между различными именами с целью обращения к одной и той же единице и, соответственно, выбирать среди множества возможных подходящих синтаксических структур при описании одного и того же события.

Референтный прайминг

Многие ранние психолингвистические исследования роли внимания при порождении речи использовали различные варианты парадигмы референтного прайминга. В типичном эксперименте участнику до стимула предъявлялся один из видимых референтов на короткий промежуток времени. Задачи делились на подтверждение предложения и на описание стимула предложением. В обоих случаях предполагалось, что информация о референте, полученная во время превью, увеличит вероятность использования его имени в порождаемых предложениях. Во многих случаях превью референта вело к выбору его для начальной точки предложения, описывающего стимульное событие. Так же в экспериментах на подтверждение предложения участник может быстрее подтвердить предложение, в случае если данное предложение начинается с праймированного референта или находится в позиции подлежащего.

В одном из своих исследований Прентис [Prentice, 1967] рассматривал, как превью референта смещает внимание и влияет на выбор между активной и пассивной грамматическими структурами в предложениях в английском языке. Участники описывали картинки простых переходных действий между двумя персонажами – Агенсом (действующий) и Пациенсом (объект действия) (например, *a fireman kicks a cat* (пожарник пинает кота)) – после превью одного из них. В половине случаев участники видели Агенса, в другой половине – Пациенса. Зависимой переменной было количество порожденных предложений с пассивной структурой. Когда участники во время превью видели Агенса, в большинстве случаев они порождали активную структуру (например, *a fireman kicks a cat*). После превью Пациенса участники порождали предложение с пассивной структурой (например, *a cat is being kicked by a fireman*). Прентис заключил, что в результате превью референт назначается говорящим в позицию подлежащего и ставится в начало предложения. Однако эффект не был одинаково сильным. В случае превью Агенса участники порождали практически 100% активных структур, в случае превью Пациенса – 40–50%. Данные результаты объясняются каноничностью активной структуры в английском языке, накладывающей определенные ограничения на эффективность, с которой перцептивные процессы влияют на лингвистические.

В исследовании Тернера и Ромменвейта [Turner, Rommetveit, 1968] дети запоминали активные и пассивные предложения с целью дальнейшего воспроизведения по памяти. Предложения сопровождалась картинкой Агенса, Пациенса, всего события или пустым экраном. Во время воспроизведения по памяти предъявлялись те же самые картинки. Порожденные предложения сравнивались со стимульными и анализировались как правильные или неправильные. Результаты показали, что кроме прочего дети запоминали активные предложения лучше, если с ними предъявлялась кар-

тинка Агенса. Та же тенденция проявилась с пассивными предложениями и предъявлением картинки Пациенса.

Олсон и Филби [Olson, Filby, 1972] анализировали лингвистические способности взрослых. Участники подтверждали соответствие между картинками переходных действий между неодушевленными единицами (например, *the car hits the truck*) и предложениями после превью Агенса или Пациенса. Анализ времени подтверждения предложений показал, что после превью Агенса участники быстрее подтверждали предложения с активной структурой и, соответственно, после превью Пациенса быстрее подтверждали предложения с пассивной структурой. В экспериментах с использованием других структур были получены схожие результаты. Так, например, в [Clark, Chase, 1972] (эксперимент 3) использовался вариант задачи на подтверждение предложения, в котором участники решали, совпадают ли локативные предложения (например, звезда расположена над крестом) с соответствующими картинками. Перед каждым предъявлением участников просили сместить фокус внимания либо вверх, либо вниз от центра монитора. Результаты показали, что участники быстрее и более точно подтверждали предложения, которые начинались с референта (которому, соответственно, назначалась роль подлежащего), который находился в позиции фокуса внимания.

Наконец, недавнее исследование [Myachukov, Garrod, Scheepers, 2012] рассматривало влияние фактора информативности визуального маркера на структурный выбор при порождении английских предложений, описывающих переходное действие. Использовались два типа маркеров: информативные – превью референта на месте данного референта – и неинформативные – указатель на позицию референта. Важно учитывать, что если указатель не несет в себе никакой семантической информации о самом референте, а содержит сведения только о его предположительном месте появления, то превью идентифицирует данного референта. Результаты дали основание полагать, что маркирование Агенса или Пациенса до предъявления целевого события надежно предсказывает вероятность выбора референта на роль подлежащего и соответственной грамматической структуры. Однако сила эффекта маркирования в информативном и неинформативном варианте не отличалась. Эти данные дают возможность заключить, что выбор структуры, вызванный вниманием, опирается на прямой и автоматический механизм картирования из внимания на предложение и что этот механизм не зависит от уровня концептуальной доступности, имеющейся в условии превью референта.

Подводя итог, можно заключить, что исследования с использованием парадигмы превью референта предоставляют реплицируемые доказательства того, что маркирование внимания при помощи превью воздействует на выбор референта и назначение его на позицию подлежащего в процессе структурирования предложения. Однако важно заметить, что превью не только манипулирует вниманием, но и предоставляет в процессе участнику

семантическую и перцептивную информацию о референте. Соответственно, структура предложения может также зависеть от концептуальной доступности референта, от эндогенного смещения фокуса внимания или от комбинации этих факторов. Вследствие этого вопрос о специфической роли фокуса визуального внимания на принятие синтаксических решений остается без определенного ответа. Для решения этой проблемы мы далее опишем исследования с использованием парадигмы перцептивного прайминга.

Перцептивный прайминг

Эксперименты с использованием превью референта привели к развитию новых теорий о взаимосвязи процессов внимания и структуры предложений. Например, Осгуд и Бок [Osgood, Bock, 1977] предположили, что выделенность (или одушевленность) референта может предсказывать его позиционирование в предложении, где наиболее выделенный референт занимает наиболее важную позицию. Но какая позиция является наиболее важной?

Изначально эту идею проверял Томлин [Tomlin, 1995], используя очень сильную парадигму перцептивного прайминга в так называемом FishFilm эксперименте. В типичном эксперименте с использованием перцептивного прайминга участники описывают события, предъявляемые визуально, в то время как их внимание направлено на одного из референтов путем предъявления неинформативного маркера. По своей сути парадигма перцептивного прайминга – это психолингвистический вариант парадигмы визуального маркирования [Posner, 1980]. В своем эксперименте Томлин показывал участникам короткий мультипликационный фильм, в котором всегда происходило взаимодействие между двумя референтами (рыбками) – одна рыбка съедала другую. На протяжении фильма над одной из рыбок (50% над Агенсом, 50% над Пациенсом) находился эксплицитный маркер – указывающая на рыбку стрелка. Задачей участников было описать происходящее в фильме. Результаты показали, что в 100% случаев, когда маркер указывал на Агенса, участники порождали предложение в активном залоге (например, *The red fish ate the blue fish*) и практически в 100% случаев, когда маркер указывал на Пациенса, – в пассивном залоге (например, *The blue fish was eaten by the red fish*). Томлин предположил, что маркирование внимания промотивирует назначение роли подлежащего (Агенсу или Пациенсу) в английском языке, тем самым влияя на выбор активного или пассивного залога.

Эти убедительные результаты подверглись серьезной методологической критике [напр.: Bock, Irwin, Davidson, 2004]. Основными причинами являлись (1) повторяющееся использование одного и того же стимульного материала без заполняющего материала, (2) эксплицитный маркер и экспериментальные инструкции, (3) одновременная презентация маркера и

референта. В реальности визуальная выделенность не так очевидна; и, соответственно, требовалась скрытная манипуляция фокусом внимания для более четкого понимания роли перцептивного прайминга в выборе структуры предложения. Глейман и коллеги [On the give... 2007] поставили эксперимент, в котором постарались избежать всех методологических проблем парадигмы Томлина. В этом эксперименте участникам предъявлялись статичные картинки переходных действий между двумя референтами. Внимание участника смещалось посредством визуального маркера (черного квадрата). Маркер предъявлялся до предъявления стимула на месте маркируемого референта в течение 65 мс. Участники не знали о происходящем маркировании. Тем не менее имплицитное маркирование успешно смещало фокус внимания в сторону маркированной области (по результатам анализа глазодвигательных данных) и, соответственно, одного из референтов. Заполняющий материал позволил избежать использования лингвистических стратегий. В дополнение к альтерации между пассивной и активной структурами эксперимент включал картинки, позволяющие порождать разнообразные по структуре предложения, включая предикативные (например, *X встречается Y / Y встречается X / X и Y встречаются*), предложения с возможностью разной перспективы (например, *X преследует Y / Y убегает от X*) и предложения, подразумевающие предложение с объединенными существительными (например, *X и Y... / Y и X...*). Результаты синтаксических альтераций в целом поддержали выводы Томлина, однако эффект был значительно слабее вследствие скрытой манипуляции вниманием. Говорящие на 10% чаще порождали пассивную структуру при условии маркирования Пациенса. В остальных 90% случаев они порождали активную структуру.

Результаты Глейтмана, так же как и результаты Томлина, однако, экспериментально не разделяли позиционную и грамматическую теорию об эффектах перцептивного маркирования. В основном это происходило по причине того, что в английских переходных предложениях синтаксическое подлежащее всегда совпадает со стартовой точкой предложения. Однако данные [Gleitman, 2007] о симметричных предикатах позволяют сделать интересные заключения по этой проблеме. Описывая симметричное событие, говорящие выбирают среди нескольких канонических структур с активным залогом, например: (1) *the man kissed the woman*; (2) *the woman kissed the man*; (3) *the man and woman kissed* и (4) *the woman and the man kissed*. Варианты 1 и 2 полагаются на каноничную структуру (подлежащее – глагол – сказуемое), и выбор референта говорящим в результате может отражать как стартовую позицию в предложении (позиционная теория), так и предпочтению в назначении подлежащего (грамматическая теория). Выбор между 3 и 4 включает в себя только позиционное картирование, так как два референта являются частью одной фразы с объединенными существительными в позиции подлежащего. Участники эксперимента [Gleitman, 2007] порождали все четыре варианта конструкций. Более того, участники име-

ли тенденцию назначать маркированного референта на раннюю позицию в предложении – на позицию подлежащего (в случае 1 и 2); первым элементом (в случае 3 и 4). Самым интересным является тот факт, что в случаях 1 и 2 эффект перцептивного маркирования был сильнее, чем в случаях 3 и 4 (31% против 23%). Исходя из этого можно предположить наличие гибридной системы структурного выбора, в которой главная роль при грамматическом назначении компонентов отводится вниманию, либо системы, в которой эффект перцептивного прайминга в равной мере влияет на линейное позиционирование и назначение синтаксических ролей. Исследования перцептивного прайминга с использованием других структур пришли к похожим заключениям. Например, Форрест в: [Forrest, 1996] исследовал визуально маркированное производство локативных предложений в английском языке. Так же как и в: [Gleitman, 2007], внимание участников маркировалось не на самом референте, а на его будущей позиции. Материалами были простые рисунки локативных событий, например рисунок звезды слева от квадрата. Эксплицитный маркер появлялся на предполагаемом месте звезды или квадрата. В результате участники порождали с определенной частотой предложения: *«Звезда находится слева от квадрата»* в случае маркирования звезды и *«Квадрат находится справа от звезды»* в случае маркирования квадрата.

Наконец, недавнее исследование Походая, Штырова и Мячинова ставит вопрос о роли модальности системы внимания на мотивированный вниманием синтаксический выбор. Существуют две возможности: (1) влияние на структурный выбор оказывает только зрительное внимание; (2) система внимания, определяющая структурный выбор, является более универсальной и обобщенной. Некоторые современные исследования подталкивают к предположению об универсальности системы [Spence, 2010; Kostov and Janyan, 2012]. Например, в исследовании возможностей манипуляции (manipulation affordances) с предметами [Kostov, Janyan, 2012] авторы обнаружили, что использование латерального звукового маркера ведет к появлению латерального эффекта возможностей, который обычно наблюдается в исследованиях возможностей манипуляции с использованием визуальных маркеров. Похожие результаты показали эксперименты Спенса [Spence, 2010], в которых рассматривались унимодальные и бимодальные визуальные, аудиторные и моторные маркеры. Спенс заключил, что визуальные, аудиторные и моторные маркеры успешно смещают внимание в область маркирования. В работе [Pokhoday, Shtyrov, and Myachukov, 2016] визуальный маркер был заменен латеральным аудиторным (звуковой сигнал) или моторным маркером (нажатие кнопки, соответствующей маркированному референту). Результаты показали, что в соответствии с результатами исследований визуального перцептивного прайминга аудиторные и моторные маркеры приводили к смещению внимания, тем самым влияя на выбор синтаксической структуры. Участники

порождали больше пассивных синтаксических структур, когда маркер направлял внимание на Пациенса события.

Исследования перцептивного прайминга, рассмотренные выше, демонстрируют, что структура английских предложений частично отражает фокус внимания говорящего. Это значит, что выделенность референта в какой-то мере предсказывает структурный выбор говорящего. Эксплицитность маркера и сила ассоциации маркера и референта усиливают эффект перцептивного прайминга. Наконец, наиболее свежие данные позволяют предположить, что интерфейс между выделенностью референта и структурным выбором может быть относительно универсальным и не ограничиваться только событиями визуального мира и, соответственно, визуальным вниманием. Однако эти данные не говорят ничего конкретного о возможных механизмах взаимодействия внимания и структуры – они только подтверждают, что внимание играет роль при синтаксическом выборе. Результаты из: [Gleitman, 2007] намекают на существование гибридной системы синтаксического выбора под влиянием перцептивного прайминга, где прайминг влияет как на назначение грамматических ролей в предложении, так и на линейный порядок референтов. Данный вопрос позволят более глубоко рассмотреть результаты исследований языков со свободным порядком слов.

Позиционная и грамматическая гипотезы

В исследованиях, описанных ранее, использовался английский язык – язык с порядком подлежащее – глагол – сказуемое и с ограниченным порядком слов. Например, при описании переходного события англоговорящий в большинстве случаев выбирает между активным и пассивным залогом. Из-за этого подлежащее в английском языке обычно совпадает со стартовой точкой предложения. Этот факт усложняет процесс отделения позиционного взгляда от грамматического. Другие языки имеют свободный порядок слов. Три недавних исследования изучали влияние перцептивного прайминга в русском [Myachukov and Tomlin, 2008], финском [Visual attention... 2011] и корейском [Hwang and Kaiser, 2009] языках на структуру предложений. В отличие от английского эти три языка обладают свободным порядком слов, и определенные вариации позиций подлежащего, глагола и сказуемого остаются грамматическими. Русский и финский, так же как и английский, обладают порядком подлежащее – глагол – сказуемое, но в отличие от английского предложения могут начинаться с глагола или со сказуемого, что предполагает большой выбор возможных тематизированных конструкций. Корейский язык использует форму подлежащее – сказуемое – глагол, где есть вариативность в позициях подлежащего и сказуемого, а глагол всегда идет в конце. И в этих языках возможна тематизация, хотя она не всегда допустима. Например, факторы,

относящиеся к контексту дискурса (такие как контраст между доступной и новой информацией), предсказывают порядок составляющих предложений в русском [Comrie, 1989, 2009; Yokoyama, 1986], финском [Kaiser, Trueswell, 2004; Vilkuna, 1989] и корейском [Choi, 1996; Jackson, 2008]. То же самое верно и для английского языка [напр.: Chafe, 1976; Downing and Noonan, 1995; Givón, 1992; Halliday, 1967]. Важно, что роль факторов на уровне дискурса не мешает возможности говорящих использовать выделенность референта при структурном выборе. Данный факт делает исследования с использованием перцептивного прайминга в языках со свободным порядком слов очень полезными. Важно отметить, что в этих языках также существует возможность альтерации залога, однако эта возможность практически не используется и не так распространена [напр.: Siewierska, 1988; Vilkuna, 1989; Zemskaja, 1979], как в английском языке [напр.: Svartvik, 1966]. Это дает возможность говорящим назначать референта на стартовую позицию в предложении независимо от назначения грамматических ролей, что открывает огромное поле для тестирования позиционной и грамматической гипотезы отдельно.

Мячников и Томлин [Myachukov, Tomlin, 2008] провели анализ переходных событий в русском языке, используя парадигму FishFilm [Tomlin, 1997]. Их гипотеза предполагала, что визуально маркированный референт будет назначаться на позицию подлежащего и тем самым подталкивать русскоговорящих, как и англоговорящих участников, чередовать активную и пассивную структуры в процессе описания. Альтернативная гипотеза предполагала использование русскоговорящими тематизации, что при условии маркирования Пациенса должно привести к увеличению количества предложений, начинающихся со сказуемого. В таком случае будут поддержаны позиционная гипотеза и линейное назначение референтов вследствие перцептивного прайминга. Результаты свидетельствуют в пользу последнего варианта: русскоговорящие производили на 20% больше активных структур, начинающихся со сказуемого (плюс порядка 2% пассивных структур), когда маркировался Пациенс. Этот эффект значительно слабее, чем эффект в исследовании [Tomlin, 1995], в котором англоговорящие участники порождали пассивную структуру практически в 100% случаев. Это особенно важно с учетом того, что в [Myachukov, Tomlin, 2008] авторы полностью реплицировали исследование Томлина [Tomlin, 1995].

В 2011 г. Мячиков с соавторами сравнивали эффекты перцептивного прайминга в английском и финском языках. Экспериментальная процедура была заимствована у [Gleitman, 2007], где внимание участников смещалось имплицитным (70 мс) визуальным маркером. Результаты эксперимента в целом соответствовали результатам из [Gleitman, 2007]: был обнаружен основной эффект позиции маркера – участники порождали 94% активных структур, когда маркер направлял внимание на Агенса, и 74% – при маркировании Пациенса. Основным различием пассивных структур в финском и русском является тот факт, что в финском пассивный залог не только ред-

ко употребляется, но и порождается без эксплицитного структурного аналога *бу*-фразы из английского языка [Kaiser, Vihman, 2006]. Таким образом, очень сложно вызвать пассивизацию в исследовании, где события всегда представляют взаимодействие двух протагонистов. Тематизация в то же время одинаково вероятна в русском и в финском языках. Таким образом, можно предполагать обнаружения эффекта перцептивного прайминга в финском языке через тематизацию. Однако достоверного эффекта не было обнаружено, притом что маркирование успешно смещало фокус внимания (как показал анализ саккад в направлении маркированных областей). Практически идентичные результаты были получены в исследовании корейского языка [Hwang, Kaiser, 2009], в котором также использовалось имплицитное маркирование. Маркирование эффективно ориентировало внимание в сторону маркируемого референта, однако это не дало эффекта перцептивного прайминга и влияния его на структурный выбор.

Вместе эти результаты предполагают существование специфических языковых различий в том, как визуальное внимание воздействует на структурный выбор. До сих пор не ясна природа этих различий. Возможно, редкое использование пассива в таких языках, как русский и финский, создает сложность в назначении выделяющегося Пациенса на роль подлежащего и порождении соответствующей грамматической структуры. Данное предположение также выдвигают Хван и Кайзер о корейском языке, в котором, по их мнению, существует сильная канонизация активного залога, а пассив гораздо более выделен, чем в английском языке [Hwang, Kaiser, 2009]. Однако важно помнить, что снижение «силы» маркера приводит к уменьшению праймингового эффекта, что наблюдалось в работе [Gleitman, 2007] по сравнению с работой [Tomlin, 1995]. В то же время Мячинов и Томлин [Myachukov, Tomlin, 2008] обнаруживают этот эффект в русском языке, хотя он не так ярко выражен. Объединяя вышесказанное, можно предположить, что в языках со свободным порядком слов эффект перцептивного прайминга постоянно слабее, чем в языках со строгим порядком слов. Возникает вопрос: почему? Мы полагаем, что механизм назначения грамматической роли из грамматической теории берет на себя основную работу по отражению фокуса внимания говорящего, в то время как линейное назначение референтов происходит в случае, когда вышеописанный механизм по каким-то причинам недоступен. В английском языке данные два механизма работают в унисон, усиливая общий эффект перцептивного прайминга. В таких языках, как русский и финский, доступен только путь линейного назначения референтов (вследствие редкости использования пассивных структур). Соответственно, мы видим слабый эффект в русском [Myachukov, Tomlin, 2008] и отсутствие эффекта в финском [Myachukov, Garrod, Scheepers, 2009] и корейском [Hwang and Kaiser, 2009] языках. В поддержку грамматической гипотезы выступает недавнее исследование языка малагаси [Rasolofo, 2006]. Малагаси – язык со структурой глагол – сказуемое – подлежащее, и, значит, маркируемый референт

гипотетически должен занимать финальную позицию в предложении. Используя парадигму FishFilm, Расолофо [Rasolof, 2006] показал, что маркируемый референт занимал финальную позицию в предложении, тем самым в очередной раз получила поддержку грамматическая гипотеза и было подтверждено, что наличие структуры, напрямую картирующей выделенного референта на позицию подлежащего, делает роль линейного назначения несущественной.

Интерактивные особенности перцептивного прайминга

Назначение грамматических ролей в порождаемом предложении и результирующий выбор структуры не зависят только от характеристик выделенности события. Другие факторы, такие как преактивация лексических и синтаксических единиц, также влияют на вероятность выбора одной структуры, а не другой. Это позволяет заключить, что финальный структурный выбор является результатом взаимодействия большого количества взаимодействующих факторов. На данном этапе практически ничего не известно о том, как перцептивный прайминг взаимодействует с другими типами прайминга, включая лексический [Vock, Irwin, 1980] и синтаксический прайминг [Vock, 1986]. Более того, многие существующие теоретические предположения [например, Vock, Ferreira, 2014; Kuchinsky, Vock, 2010] утверждают, что выбор структуры при порождении предложения в целом не реагирует на детали описываемой сцены и в основном мотивирован решением говорящего описать событие в определенном виде. Данное решение, по мнению авторов, произрастает скорее из сути события, нежели из мелких деталей самого события и его конкретных частей (напр.: выделенности референтов). Процесс структурного выбора, соответственно, становится результатом очень грубого, но тем не менее концептуального анализа. Из-за этого процесс сохраняет тенденцию игнорировать параметры выделенности события и репрезентацию состояния внимания говорящего. До этого мы называли эту теорию лингвистически или структурно вызванной гипотезой. Среди альтернативных гипотез есть (1) гипотеза о роли сообщения и (2) интерактивная гипотеза. Интересно, что существует диагностический контекст тестирования данных гипотез, подводящий нас ближе к реалистичному порождению предложений. Важно заметить, что реалистичное порождение предложений происходит при наличии богатого контекста, где различные маркеры доступны одновременно. Некоторые из них являются лингвистическими, другие нет. По теории (1) маркеры внимания должны влиять на структурный выбор независимо от наличия или отсутствия других смещающих маркеров. По теории (2) множество маркеров взаимодействуют со структурой и итоговый порядок слов отражает комбинацию процессов – лингвистических и нелингвистических.

Существует еще множество исследований, подтверждающих сильный эффект лингвистических маркеров на структурный выбор. Лексический прайминг (например, предъявление слова, определенным образом связанного с референтом) по результатам исследований приводил к назначению маркированного референта на роль подлежащего и / или на стартовую позицию предложения. Данные результаты были получены вследствие маркирования существительными, связанными с референтом [Bates, Devescovi, 1989; Bock, Irwin, 1980; Ferreira, Yoshita, 2003; Flores D'Arcais, 1975; Osgood, Bock, 1977; Prat-Sala, Branigan, 2000] или глаголами, относящимися к событию [Melinger and Dobel, 2005]. В дополнение синтаксический прайминг подразумевает тенденцию говорящего повторять целые синтаксические конфигурации, прежде встреченные или порожденные им [Branigan, 2007; Ferreira, Bock, 2006; Pickering, Ferreira, 2008]. По мнению некоторых специалистов, тенденция повторять синтаксис из предложения в предложение обладает сильным лексическим компонентом [напр.: Pickering, Branigan, 1998]; по мнению других специалистов, синтаксис воспроизводится без отсылок к концептуальной или лексической информации [напр.: Bock, Loebell, 1990; Bock, Loebell, Morey, 1992; Desmet, Declercq, 2006; Scheepers, 2003].

Независимо от этих теоретических различий интерактивные особенности прайминговых эффектов, проявляющихся на разных стадиях порождения предложений, остаются во многом неизвестны. Данная проблема послужила поводом для серии экспериментов, результаты которых описаны в [Myachukov, Garrod, Scheepers 2012]. Эти эксперименты рассматривали структурный выбор в английском языке при описании переходных событий, комбинируя различные виды прайминга как на лингвистическом уровне, так и на нелингвистическом. В каждом из трех описанных экспериментов участники описывали визуальное событие после: (1) перцептивного прайминга; (2) лексического (предъявление глагола) прайминга и (3) синтаксического (предъявление структуры) прайминга. На протяжении всех трех экспериментов проявлялся очевидный и стабильный эффект перцептивного прайминга, даже в случаях конкурирующих лингвистических и синтаксических маркеров. Эти данные позволяют утверждать, что перцептивная информация о референте (например, о его выделенности) играет важную роль в процессе назначения синтаксических ролей при доступности лексической и синтаксической информации. Эти данные, таким образом, усложняют существование структурных теорий [Bock, Irwin, Davidson, 2004; Kuchinsky, Bock, 2010]. Важно, что эффект синтаксического прайминга, присутствующий параллельно с перцептивным, с ним не взаимодействовал. Из этого можно предположить, что прайминговые эффекты взаимодействуют по принципу «соседства», по которому взаимодействуют только те стадии порождения предложения, которые располагаются рядом друг с другом (например, message и lemma; lemma и syntax), а стадии message и syntax взаимодействовать не могут. Постоянное при-

существование и примерно одинаковые по силе эффекты перцептивного и синтаксического прайминга намекают на существование механизма с двумя путями картирования информации, сходны описываемому в [Chang, 2002]. При наличии такого механизма лингвистические и нелингвистические эффекты влияют на назначение грамматических ролей как независимо, так и параллельно, каждый, в свою очередь, со своим индивидуальным воздействием. Однако до сих пор остается непонятным, как работает механизм интеграции нелингвистической и лингвистической информации при порождении предложения. Мы предполагаем, что порождение предложения начинается с создания сообщения (message) – концептуальной репрезентации события, впоследствии кодирующейся лингвистически [Bock, Levelt, 1994]. Доступность лингвистической информации о референтах события на данной стадии может колоссально различаться [Bock, Warren, 1985]. Следовательно, на данном этапе эта информация может подтолкнуть говорящего к тому, чтобы обрабатывать более выделенные референты ранее, чем менее выделенные. Таким образом, выделенный референт кодируется в структуру предложения раньше, если такая приоритетная обработка продолжается на последующих стадиях. В английском языке результатом становится картирование референта на роль подлежащего. Данное утверждение следует из результатов наших исследований. С наибольшей вероятностью участники назначали на роль подлежащего Агенса в случае маркирования последнего; и, наоборот, Пациенса в случае его маркирования. Стоит также отметить, что визуальное маркирование в экспериментах не несло никакой информации о самих референтах, тем самым избегая увеличения семантической доступности для говорящего. Принимая во внимание все вышесказанное, можно с уверенностью говорить, что просто ориентируя внимание на будущую позицию референта, можно повлиять на вероятность порождения активного или пассивного залога в английском языке (в соответствии с результатами: [On the give... 2007; Myachykov, Garrod, Scheepers, 2012; Tomlin, 1995, 1997]).

Заключение

В этом ревью мы собрали доказательства существования регулярно-интерфейса между визуальным, аудиторным и моторным вниманием и синтаксическим структурированием предложения. Ряд описанных исследований показывают, как говорящие постоянно выбирают между несколькими вариантами описания события в результате смещения фокуса внимания на одного из референтов. Присутствие постоянного назначения синтаксических ролей в результате воздействия внимания в английском языке подтверждает, что референт, на которого обращено внимание, картируется в структуре предложения на роль подлежащего. Однако точных данных о механизмах картирования в разных языках пока нет. Вследствие

этого существует возможность, что в разных языках существуют разные механизмы грамматического кодирования перцептивных особенностей описываемого мира [Tomlin, 1997]. Другая возможность предполагает, что связь между фокусом внимания и выбором синтаксиса в языках относительно универсальна и говорящие всегда стараются назначить выделенного референта на роль подлежащего.

Однако когда прямое картирование менее доступно (как, например, пассив в русском языке), попытка картировать референта в фокусе внимания на позицию подлежащего не реализуется. В этом случае, возможно, включается механизм картирования, который синтаксически не запрограммирован в грамматике языка. Одним из примеров такого механизма является использование тематизации русскоговорящими вместо использования пассива для помещения приоритетного референта на выделенную позицию. Данный механизм является второстепенным по отношению к более автоматизированному механизму прямого картирования, что отражается в замедлении времени порождения предложений и в появлении изменений в глазодвигательных данных, например в увеличении промежутка времени между движением глаз и порождаемой речью [Myachukov, 2007]. Мы считаем, что механизм назначения грамматических ролей и позиционный механизм формируют двойную иерархичную систему, которая отражает выделенность референта в предложении.

Иерархия в этой системе проявляется в двух видах. Первый: механизм назначения грамматических ролей встречается часто, но картирование в языках зависит от синтаксического кодирования, соответственно, позиционный механизм назначения ролей может быть доступен независимо от существования грамматического механизма. Второй: данные два механизма картирования обладают определенной иерархией по отношению друг к другу, например в английском языке грамматический механизм доминирует над позиционным. Говорящие активируют порождение альтернативных структур, которые позволяют картировать фокус внимания напрямую, до того как они (1) оставляют попытки в пользу доминантной структуры, которая требует повторного картирования (активный залог при выделенном референте) или (2) используют тематизацию как следующий по эффективности механизм.

Все это, однако, не означает, что назначение подлежащего отражает только фокус внимания на референте. Это только значит, что когда требуется показать положение фокуса внимания, говорящий старается это реализовать с помощью назначения роли подлежащего наиболее выделенному референту. Проблема заключается в том, что контрастная структура не всегда доступна, как в русском и финском языках, где пассивный залог практически отсутствует. Когда грамматический механизм отражения фокуса внимания недоступен, говорящий обращается к другим механизмам. В языках со свободным порядком слов этой альтернативой является тематизация. В результате порядковый механизм активируется и показывает

референтную выделенность через порядок слов, и эта активация влияет на скорость порождения предложения и общую силу эффекта перцептивного прайминга.

Список литературы

- Abdullaev Y.G., Posner M.I.* Event-related brain potential imaging of semantic encoding during processing single words // *Neuroimage*. – Amsterdam, 1998. – 7.1. – P. 1–13.
- Heaviness vs. newness: The effects of structural complexity and discourse status on constituent ordering / Arnold J.E., Wasow T., Losongco A., Ginstrom R. // *Language*. – Washington, 2000. – V. 76, N 1. – P. 28–55.
- Arunachalam S., Waxman S.R.* Meaning from syntax: Evidence from 2-year-olds // *Cognition*. – Amsterdam, 2010. – 114.3. – P. 442–446.
- Ballard D.H., Hayhoe M.M., Pook P.K.* Deictic codes for the embodiment of cognition // *Behavioral and Brain Sciences*. – Wuhan, 1997.–20.04. – P. 723–742.
- Baldwin D.A., Dare A.* Understanding the link between joint attention and language // *Joint attention: Its origins and role in development*. – Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1995. – P. 131–158.
- Bates E., Devescovi A.* Crosslinguistic studies of sentence production // *The Crosslinguistic study of sentence processing*. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1989. – P. 225–253.
- Bock J.K.* Syntactic persistence in language production // *Cognitive psychology*. – Amsterdam, 1986. – N 18.3. – P. 355–387,
- Bock J.K., Ferreira V.* Syntactically speaking / Goldrick M.A., Ferreira V., Miozzo M. (Ed.) // *The Oxford handbook of language production*. – Oxford: Oxford univ. press, 2014. – DOI:10.1093/oxfordhb/9780199735471.013.008.
- Bock J.K., Irwin D.E.* Syntactic effects of information availability in sentence production // *Journal of verbal learning and verbal behavior*. – Amsterdam, 1980. – 19.4. – P. 467–484.
- Bock J.K., Irwin D.E., Davidson D.J.* Putting first things first (2004) / Henderson J, Ferreira F. (Ed.) // *The interface of language, vision, and action: Eye movements and the visual world*. – Abingdon: Psychology Press, 2013. – P. 249–278.
- Bock J.K., Levelt W.J.M.* Language production: grammatical encoding / Morton Gernsbacher (ed) // *Handbook of Psycholinguistic*. – N.Y.: Academic Press, 1994. – P. 945–984.
- Bock J.K., Loebell H.* Framing sentences // *Cognition*. – Amsterdam, 1990. – 35.1. – P. 1–39.
- Bock J.K., Loebell H., Morey R.* From conceptual roles to structural relations: bridging the syntactic cleft // *Psychological review*. – Washington, 1992. – 99.1. – P. 150.
- Bock J.K., Warren R.K.* Conceptual accessibility and syntactic structure in sentence formulation // *Cognition*. – Amsterdam, 1985. – 21.1. – P. 47–67.
- Branigan H.* Syntactic priming // *Language and linguistics compass*. – Hoboken, 2007. – 1.12. – P. 1–16.
- Social cognition, joint attention, and communicative competence from 9 to 15 months of age / Carpenter M., Nagell K., Tomasello M., Butterworth G., Moore C. // *Monographs of the society for research in child development*. – Chicago, IL.: Univ. of Chicago press, 1998. – Vol. 63, N 4. – P. i-174.
- Chang F.* Symbolically speaking: A connectionist model of sentence production // *Cognitive science*. – Hoboken, 2002. – 26.5. – P. 609–651.
- Choi H.-W.* Optimizing structure in context: Scrambling and information structure: Diss. – Stanford: Stanford univ., 1996.
- Chun M., Wolfe J.* Visual attention / E. Bruce Goldstein (ed.) // *Blackwell Handbook of Perception*. – Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 2001. – P. 272–310.

- Clark H.H., Chase W.G. On the process of comparing sentences against pictures // *Cognitive psychology*. – Amsterdam, 1972. – 3.3. – P. 472–517.
- Comrie B. Language universals and linguistic typology: Syntax and morphology. – 2. Ed. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1989. – 264 p.
- The world's major languages / Ed. by Comrie B. – Sec. ed. – L: Routledge, 2009. – 910 p.
- Corbetta M. Frontoparietal cortical networks for directing attention and the eye to visual locations: Identical, independent, or overlapping neural systems? // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. – Washington, 1998. – 95(3). – P. 831–838.
- Desmet T., Declercq M. Cross-linguistic priming of syntactic hierarchical configuration information // *Journal of Memory and Language*. – Amsterdam, 2006. – 54. – P. 610–632.
- Dominey P., Dodane Ch. Indeterminacy in language acquisition: the role of child-directed speech and joint attention // *Journal of Neurolinguistics*. – Amsterdam, 2004. – 17. – P. 121–145.
- Word order in discourse / Downing P.A., Noonan M. (Eds.) – Amsterdam: John Benjamins Publishing, 1995. – Vol. 30. – 595 p.
- Estigarrribia B., Clark E.V. Getting and maintaining attention in talk to young children // *Journal of child language*. – Cambridge, 2007. – 34.04. – P. 799–814.
- Testing the efficiency and independence of attentional networks / Fan J., McCandliss B.D., Sommer T., Raz A., Posner M.I. // *Journal of cognitive neuroscience*. – Cambridge, 2002. – 14.3. – P. 340–347.
- Ferreira V.S., Bock J.K. The functions of structural priming // *Language and cognitive processes*. – Abingdon, 2006. – 21.7–8. – P. 1011–1029.
- Ferreira V.S., Yoshita H. Given-new ordering effects on the production of scrambled sentences in Japanese // *Journal of psycholinguistic research*. – Berlin, 2003. – 32.6. – P. 669–692.
- Fischer B. Attention in saccades / R.D. Wright (ed.) // *Visual Attention*. – N.Y.: Oxford univ. press, 1998. – P. 289–305.
- Flores d'Arcais G.B. Some perceptual determinants of sentence construction / Giovanni B., Flores d'Arcais (ed.) // *Studies in Perception: Festschrift for Fabio Metelli* – Milano: Aldo Martello-Giunti, 1975. – P. 344–373.
- Forrest L.B. Discourse goals and attentional processes in sentence production: The dynamic construal of events // *Conceptual structure, discourse and language*. – Stanford: CSLI Publications, 1996. – P. 149–161.
- Activation of the middle fusiform'face area'increases with expertise in recognizing novel objects / Gauthier I. Tarr M.J.; Anderson A.W.; Skudlarski P.; Gore, J.C. // *Nature neuroscience*. – L., 1999. – 2.6. – P. 568–573.
- Givón T. The grammar of referential coherence as mental processing instructions // *Linguistics*. – Berlin, 1992. – 30.1. – P. 5–56.
- On the give and take between event apprehension and utterance formulation / Gleitman L.R., January D., Rebecca Nappa R., Trueswell J.C. // *Journal of memory and language*. – Amsterdam, 2007. – 57.4. – P. 544–569.
- Grieve R., Wales R.J. Passives and topicalization // *British Journal of Psychology*. – Hoboken, 1973. – 64.2. – P. 173–182.
- Griffin Z.M., Weinstein-Tull J. Conceptual structure modulates structural priming in the production of complex sentences // *Journal of Memory and Language*. – Amsterdam, 2003. – 49.4. – P. 537–555.
- Hagoort P., Brown C., Groothusen J. The syntactic positive shift (SPS) as an ERP measure of syntactic processing // *Language and cognitive processes* – Abingdon, 1993. – 8.4. – P. 439–483.
- Hahne A., Friederici A.D. Electrophysiological evidence for two steps in syntactic analysis: Early automatic and late controlled processes // *Journal of Cognitive Neuroscience*. – Cambridge, 1999. – 11.2. – P. 194–205.
- Halliday M.A.K. Notes on transitivity and theme in English: Part 2 // *Journal of linguistics*. – Cambridge, 1967. – 3.02. – P. 199–244.

- Hwang H, Kaiser E. The effects of lexical vs. perceptual primes on sentence production in Korean: An on-line investigation of event apprehension and sentence formulation // 22 nd CUNY Conference on Human Sentence Processing. – Davis, 2009. – P. 190–204.
- Ibbotson P., Lieven E.V.M., Tomasello M. The attention-grammar interface: eye-gaze cues structural choice in children and adults // *Cognitive Linguistics*. – Berlin, 2013.–24.3. – P. 457–481.
- Jackendoff R. The architecture of the linguistic-spatial interface / Paul Bloom, Mary Peterson, Lynn Nadel, Merrill Garrett (eds.) // *Language and Space*. – Cambridge, MA: MIT Press, 1996. – P. 1–30.
- Jackson K.H. The effect of information structure on Korean scrambling: Diss. – Honolulu, HI: Univ. of Hawai'i, 2008.
- Kaiser E., Trueswell J.C. The role of discourse context in the processing of a flexible word-order language // *Cognition*. – Amsterdam, 2004. – 94.2. – P. 113–147.
- Kaiser E., Vihman V.-A. Invisible arguments: Effects of demotion in Estonian and Finnish / Torgrim Solstad, Benjamin Lyngfelt (eds.) // *Demoting the agent: Passive and other voice-related phenomena*. – Amsterdam: John Benjamins, 2006. – P. 111–141.
- Kelly M.H., Bock J.K., Keil F.C. Prototypicality in a linguistic context: Effects on sentence structure // *Journal of Memory and Language*. – Amsterdam, 1986. – 25.1. – P. 59–74.
- Konopka A.E. Planning ahead: How recent experience with structures and words changes the scope of linguistic planning // *Journal of Memory and Language*. – Amsterdam, 2012. – 66.1. – P. 143–162.
- Kostov K., Janyan A. The role of attention in the affordance effect: can we afford to ignore it? // *Cognitive processing*. – N.Y., 2012. – 13.1. – P. 215–218.
- Kuchinsky S., Bock K. From seeing to saying: Perceiving, planning, producing // 23 d CUNY Sentence Processing Conference. New York. – N.Y., 2010.
- Landau B., Jackendoff R. Whence and whither in spatial language and spatial cognition? // *Behavioral and brain sciences*. – Wuhan, 1993. – 16.02 – P. 255–265.
- Langacker R.W. Descriptive and discursive organization in cognitive grammar // *Change of Paradigms–New Paradoxes: Recontextualizing Language and Linguistics*. – Berlin: De Gruyter Mouton, 2015. – 31. – P. 205–236.
- Levelt W.J.M. *Speaking*. – Cambridge: MIT Press, 1989. – 563 p.
- MacWhinney B. Starting points // *Language*. – Washington, 1977. – N 53. – P. 152–168.
- Mandler J.M. How to build a baby: II. Conceptual primitives // *Psychological review*. – Washington, 1992. – 99.4. – P. 587.
- Mathews D., Krajewski G. Early child development / Dabrowska Ewa, Dagmar Divjak (eds.) // *Handbook of cognitive linguistics*. – Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2015. – Vol. 39. – 640 p.
- McCandliss B.D., Cohen L., Dehaene S. The visual word form area: expertise for reading in the fusiform gyrus // *Trends in cognitive sciences*. – Cambridge, 2003. – 7.7. – P. 293–299.
- Melinger A., Dobel C. Lexically-driven syntactic priming // *Cognition*. – Amsterdam, 2005. – 98.1. – P. 11–20.
- Myachykov A. Integrating perceptual, semantic and syntactic information in sentence production. – Glasgow: Diss. univ. of Glasgow, 2007. – 340 p.
- Myachykov A., Garrod S., Scheepers C. Determinants of structural choice in visually situated sentence production // *Acta psychologica*. – Amsterdam, 2012. – N 141 (3). – P. 304–315.
- Myachykov A., Garrod S., Scheepers C. Attention and syntax in sentence production: A critical review // *Discours. Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique*. – Mountrouge, 2009. – N 4. – DOI: 10.4000/discours.7594. – Mode of access: <https://discours.revues.org/7594>
- Myachykov A., Tomlin. S. Perceptual priming and structural choice in Russian sentence production // *Journal of Cognitive Science*. – Seoul, 2008. – N 6.1. – P. 31–48.
- Visual attention and structural choice in sentence production across languages / Myachykov A., Thompson D., Scheepers C., Garrod S. // *Language and Linguistics Compass*. – Hoboken, 2011. – N 5 (2). – P. 95–107.

- A locus in human extrastriate cortex for visual shape analysis / Kanwisher N., Woods R.P., Lacoboni M., Mazziotta J.C. // *Journal of Cognitive Neuroscience*. – Cambridge, 1997. – N 9 (1). – P. 133–142.
- An event-related fMRI study of syntactic and semantic violations / Newman A.J., Pancheva R., Ozawa K., Neville H.J., Ullman M.T. // *Journal of psycholinguistic research*. – Berlin, 2001. – 30.3. – P. 339–364.
- Olson D.R., Filby N. On the comprehension of active and passive sentences // *Cognitive Psychology*. – Amsterdam, 1972. – 3.3. – P. 361–381.
- Osgood C., Bock J.K. Saliency and sentencings: Some production principles / Sheldon Rosenberg (ed.) // *Sentence Production: Developments in Research and Theory*. – Hillsdale; N.J.: Erlbaum, 1977. – P. 89–140.
- Petersen S.E., Posner M.I. The attention system of the human brain: 20 years after // *Annual review of neuroscience*. – Palo Alto, 2012. – 35. – P. 73.
- Pickering M.J., Branigan H.P. The representation of verbs: Evidence from syntactic priming in language production // *Journal of Memory and Language*. – Amsterdam 1998. – 39.4. – P. 633–651.
- Pickering M.J., Ferreira V.S. Structural priming: a critical review // *Psychological bulletin*. – Washington, 2008. – 134.3. – P. 427.
- Pokhoday M., Shtyrov Y., Myachikov A. The role of attention in sentence production: Beyond the visual modality: Poster accepted for the 22 nd AMLaP conference. – Bilbao, Spain, 2016.
- Posner M.I. Orienting of attention // *Quarterly journal of experimental psychology*. – Abingdon, 1980. – 32.1. – P. 3–25.
- Posner M., Petersen S. The attention system of the human brain // *Annual Review of Neuroscience*. – Palo Alto, 1990. – 13. – P. 25–42.
- Posner M.I., Raichle M.E., Goldman-Rakic P. Images of mind. – N.Y.: Scientific American Library, 1994. – 257 p.
- Prat-Sala M., Branigan H.P. Discourse constraints on syntactic processing in language production: A cross-linguistic study in English and Spanish // *Journal of Memory and Language*. – Amsterdam, 2000. – 42.2. – P. 168–182.
- Prentice J.L. Effects of cuing actor vs cuing object on word order in sentence production // *Psychonomic science*. – Berlin, 1967. – 8.4. – P. 163–164.
- Pulvermüller F., Fadiga L. Active perception: sensorimotor circuits as a cortical basis for language // *Nature Reviews Neuroscience*. – L., 2010. – 11.5. – P. 351–360.
- Practice-related changes in human brain functional anatomy during nonmotor learning / Raichle M.E., Fiez J.A., Videen T.O., MacLeod A.M., Pardo J.V., Fox P.T., Petersen S.E. // *Cerebral cortex*. – Oxford, 1994. – 4.1. – P. 8–26.
- Andoveloniaina R. Malagasy transitive clause types and their functions. – Ann Arbor: ProQuest, 2006. – 307 p.
- Scheepers Ch. Syntactic priming of relative clause attachments: Persistence of structural configuration in sentence production // *Cognition*. – Amsterdam, 2003. – 89.3. – P. 179–205.
- Siewierska A. The passive in Slavic / Masayoshi Shibatani (ed.) // *Passive and Voice*. – Amsterdam: John Benjamins, 1988 – P. 243–289.
- Spence C. Crossmodal spatial attention // *Annals of the New York Academy of Sciences*. – Hoboken, 2010. – 1191.1. – P. 182–200.
- Svartvik J. On Voice in the English Verb. – The Hague; Paris: Mouton and Co., 1966–200 p.
- Tomlin R.S. Focal attention, voice, and word order: an experimental, cross-linguistic study // *Word order in discourse*. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1995. – P. 517–554.
- Tomlin R. Mapping conceptual representations into linguistic representations: The role of attention in grammar / Jan Nuyts, Eric Pederson (eds.) // *Language and Conceptualization*. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1997. – P. 162–189.
- Discourse semantics / Tomlin R., Forrest L., Ming Ming Pu, Myung Hee Kim; Teun A. van Dijk (ed.) // *Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction*. – L.: Sage, 2010. – P. 78–137.

- Turner E.A., Rommetveit R.* Focus of attention in recall of active and passive sentences // *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*. – Amsterdam, 1968. – 7.2. – P. 543–548.
- Vilkuna M.* Free word order in Finnish. – Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1989. – 280 p.
- Yokoyama O.T.* Discourse and World Order. – Amsterdam: John Benjamins, 1986. – 361 p. – *Pragmatics and Beyond Companion, Series, 6.*
- Yuan S., Fisher C.* «Really? She blicked the baby?» Two-year-olds learn combinatorial facts about verbs by listening // *Psychological Science*. – Washington, 2009. – 20.5. – P. 619–626.
- Zemskaja E.* Russkaja razgovornaja reč: lingvističeskij analiz i problemy obučenija. – M.: Flinta, 1979. – 240 p.

**К НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ
И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯЗЫКА
(Сводный реферат)**

Adornetti I., Ferretti F.

The pragmatic foundations of communication: An action-oriented model of the origin of language // Theoria et historia scientiarum. – Toruń, 2014. – P. 63–80.

Ferretti F.

The social mind // Cartographies of the mind / Ed. by Marraffa M., De Caro M., Ferretti F. – Dordrecht, 2007. – P. 295–308.

Ferretti F.

The social brain is not enough: On the Importance of the ecological brain for the origin of language // Frontiers in psychology. – Pully, 2016. – Vol. 7. – P. 1138. – DOI: 10.3389/fpsyg.2016.01138

В науке и философии есть ряд вопросов о природе человека, о его отличии или сходстве с животными, о природе социального взаимодействия, на которые до сих пор не получено убедительного ответа. Однако в последние годы с развитием эмпирических когнитивных исследований мы приближаемся к решению некоторых из этих проблем. Итальянские исследователи Инес Адорнетти (Ines Adornetti) и Франческо Ферретти (Francesco Ferretti) обращаются к последним исследованиям в когнитивной науке, чтобы ответить в своих статьях на два вопроса – как у людей появился язык и как возможно совместить социальное и биологическое при исследовании природы человека и общества.

В обоих случаях важную роль играют зеркальные нейроны. Когда человек смотрит на действие другого человека, это действие посредством зеркальных нейронов отражается в определенной зоне моторного кортекса.

То есть созерцания этого действия ведет к его пониманию. Из работы зеркальных нейронов, а также из жестов, которые ее сопровождают, и рождается человеческий язык.

Франческо Ферретти утверждает, что ментализация, или способность представлять себе действие и замыслы других, в том числе ошибочно, предшествует появлению языка. Ментализация при этом обладает двойственной природой – биологической, основанной на действии нейронов, и социальной, возникающей вследствие развития языка и его обратного влияния на ментализацию. Ферретти также рассматривает значение экологического мозга для эволюции человека и появления речи.

Прагматические основания коммуникации

В статье «Прагматические основания коммуникации: модель происхождения языка, ориентированная на действие» [Adornetti, Ferretti, 2014] И. Адорнетти и Ф. Ферретти предлагается натуралистическая модель языка, которая учитывает эволюционную перспективу его появления и развития. Авторы начинают с критики до сих пор господствующей универсальной грамматики Хомского (картезианской по своему существу), в которой язык возникает «как бы внезапно» и в дальнейшем не эволюционирует. Язык при этом не имеет внешних референтов (*external references*). Подобная позиция вызывает целый ряд вопросов. В соответствии с картезианскими допущениями в этой модели действует постулат об уникальности человека как вида и о превосходстве сознания над телесностью (*mental superiority*), который отнюдь не так очевиден.

Главный тезис критики состоит в том, что глубинная структура языка, по Хомскому, находится внутри мозга и совершенно не зависит от внешней среды. Отталкиваясь от компьютерной метафоры, Хомский в своей модели утверждает, что мысль – это ментальное предложение, основной характеристикой которого является формальность (*formality*). Потому для Хомского важно, как символы комбинируются друг с другом, а не со средой. Такая бестелесная и отстраненная модель языка, как указывают авторы, не подходит для решения вопроса о происхождении человеческого языка.

Затем авторы переходят к критике кодовой модели коммуникации (*code model of communication*). Согласно этой модели коммуникация возможна потому, что говорящий переводит логическую форму в абсолютно идентичные слова, а слушающий благодаря этому может их декодировать и воспринять. Но в кодовой модели, по мнению Адорнетти и Ферретти, совершенно не учитывается прагматический аспект языка, который имеет огромный вес. Эксперименты с больными аутизмом ясно доказывают данное положение. Важно не само сообщение, а общее для конкретного процесса коммуникации понимание того, что сообщение может служить сви-

детельством (evidence) для подразумеваемого заключения. Вопрос об интенциях говорящего предшествует вопросу о том, что именно он говорит. При этом важен сам контекст, в котором происходит коммуникация.

Укоренение языка в контексте является частью более общего вопроса – укоренения (grounding) организма в среде. Здесь авторы отталкиваются от теории воплощенного сознания (embodied cognition). Они полагают, что человек познает не только разумом, но и всем телом. Вторая часть их аргумента гласит, что воплощенное сознание не противоречит жестикуляционной модели появления языка.

Теория воплощенного познания предполагает, что познание осуществляется всем телом. При этом перцепция и познание являются действиями сами по себе. Познание укорено в действии. Оно активно в том смысле, что оно отбирает, категоризирует, превосхищает. Знать что-то означает иметь возможность задействовать сенсомоторные навыки и использовать объект. Здесь авторы утверждают, что важнейшей проблемой является проблема укоренения символа: как значение символа может быть укорено в чем-то, кроме другого бессмысленного символа?

К ответу на этот вопрос Адорнетти и Ферретти подходят с точки зрения когнитивно-прагматического понимания укоренения. Они утверждают, что непосредственное окружение индивида является ключевым элементом, определяющим его поведение. Среда служит не только источником сдержек и возможностей, но также и контекстом, который придает действиям смысл.

Исходя из этого, они приходят к объяснению источников происхождения языка. Сначала они устанавливают связь между действием и языком. Моторная система (motor system) производит действие, соответствующее контексту и функционально организованное как направленные на цель моторные акты. (goal-directed motor acts). Нейроисследования показали связь некоторых аспектов обработки языка с организацией и активностью человеческого моторного кортекса. Например, когда люди читают слова, обозначающие какое-то действие, соответствующие зоны моторного кортекса активируются. И наоборот, если нейроны в левом внутреннем фронтальном кортексе повреждены, это ведет к трудностям понимания действия.

Показав отношения между языком и действием, авторы переходят к соединению ориентированных на действие моделей языка с жестикуляционными моделями. Моторная система играет важную роль не только в высших когнитивных функциях, таких как понимание языка или говорение. Моторная система также играла важную роль в развитии человеческого языка из основанной на жестах системы коммуникации.

В связи с этим особую ценность для исследователей имеют зеркальные нейроны. Их называют зеркальными, потому что они создают некую зеркальную связь между перцепцией и действием. Нейроны как бы набрасывают картину внешней реальности (mapping of external reality) на наши внутренние репрезентации. Их функциональная роль имеет большое зна-

чение для объяснения происхождения языка, потому что в первую очередь они ответственны за имплицитное, прагматическое и нерелексивное понимание. Когда человек видит действие другого, эти нейроны активизируются и представляют это действие через симуляцию в премоторном кортексе. Таким образом наблюдатель получает представление о предмете (objective), связанном с этим действием. То есть коммуникативный жест отправителя воспроизводит (retrieve) в получателе нейронные сети, которые запускают моторную репрезентацию того же действия и таким образом позволяют понять сообщение отправителя.

Эта гипотеза подтверждается исследованиями обезьян и приматов. В ходе исследований обнаружилось, что вокальная коммуникация скорее предзадана природой и сильно ограничена, а жестикоуляционная коммуникация вариативна и развивается в течение жизни.

Таким образом, авторы, установив связь между языком и действием, показали появление языка из жестов через развитие моторной системы.

Унитарный разум

В статье «Социальный разум» [Ferretti, 2007] Франческо Ферретти предлагает унитарную концепцию человеческого разума в противовес дуалистической, до сих пор господствовавшей в социальных науках. Главный его тезис состоит в том, что разум – это продукт двухстороннего конститутивного процесса (two-way constitutive process), т.е. продукт одновременно и внутренних, и внешних по отношению к индивиду факторов. В качестве аргументов автор прибегает к исследованиям когнитивистики и нейронауки.

Автор начинает с критики разделения наук на естественные и социальные (постулирующие автономию социальной реальности) и примата внешнего над внутренним, из-за которых биологическая часть оказывается в природе человека маргинальной. Далее он развивает критику, обращаясь к фигуре Дюркгейма и его последователей. У них индивидуальная природа становится неопределенным материалом, который социальная реальность определяет и трансформирует. Эта идея выражается в теориях лингвистического детерминизма, согласно которым язык определяет мышление. В таких теориях пластичный и неопределенный разум остается базовой посылкой. Автор, вслед за Туби и Космидесом (Tooby and Cosmides), утверждает, что необходимо преодолеть дуальное рассмотрение социального в отрыве от биологического.

Вторая часть его критики направлена против современного развития идей Выготского. Для Выготского особенность человеческого существования гарантируется через приобретение речи. Речь выступает как внешний по отношению к индивиду инструмент, продукт социально-исторических изменений. Все высшие психологические функции являются результатом

интериоризации социальных отношений. Сюда включаются даже психологические факторы внутри индивида.

Развивая идеи Выготского о первичности внешних факторов, Деннет и Кларк вводят термин «внешние подмости» (external scaffolding), который означает общественный язык (public language), систему символов, которую индивиды получают с рождением и которая *вторгается* в их разум. Но эксперименты в области когнитивной науки показывают, что «научение языку» (language acquisition) наталкивается на серьезные внутренние ограничения. Приобретение новой лексики требует сложно структурированного разума. Так что попытка Выготского и последователей остается на позициях дуализма и, соответственно, страдает от тех же недостатков. Потому нужна другая, унитарная концепция разума. Необходимо рассматривать двухсторонний конститутивный процесс, чтобы ответить на вопрос об отношениях разума и общества.

Биокогнитивные основания общества

Ферретти утверждает, что нельзя понять человеческое общество, если абстрагироваться от биопсихологических характеристик индивида. То есть число индивидов в группе и тип отношений, который они формируют, на самом деле ограничен биокогнитивной системой, характерной для социальных животных. Для поддержания социальных отношений нужна сложная нервная система. Мозг при этом выступает как биологическая машина предсказания и предвидения действия других. Чем сложнее вид, тем сложнее система предвидения. Таким образом, наличие социального интеллекта – это наличие системы понимания (comprehension) и предвидения (prediction) поведения, т.е. система интерпретации.

Последовательная континуистская, натуралистическая точка зрения утверждает, что ментализация (способность понимать и предсказывать чужое поведение через атрибуцию ментальных состояний) должна включать и биологическую природу человека. Ответом на этот теоретический вызов является изучение зеркальных нейронов, которые впервые нашли в премоторном кортексе макака. Он активизируется, когда обезьяна совершает *направленные* действия. Цель здесь является ключевым деноминатором поведения. У человека эта система начинает работать, не только когда он совершает действие, но и когда он смотрит на то, как действует кто-то другой. То есть в этой симуляционной модели стирается различие между действующим и смотрящим.

Подтверждением этой модели являются два важных когнитивных умения: имитация и эмпатия. Уже в возрасте 12–21 дней дети могут имитировать речь (открывать рот, показывать язык), хотя субъективной репрезентации у них еще нет и быть не может. Тем не менее примитивные отношения я – другой (self – other) уже устанавливаются. Ребенок разделяет

это мы-центричное (we-centric) пространство с другими индивидами, населяющими мир.

Далее Ферретти рассматривает теорию Галлеза (Gallese) о том, что те же механизмы лежат и в основе эмпатии. Наблюдение за действиями других также ведет к тому, что возникают эмоции и чувства, выходящие за пределы концептуальной классификации действия. То есть понимание аффективных выражений поведения происходит автоматически и без посредничества высших когнитивных функций. Воплощенная симуляция (embodied simulation) дает нам ответ на вопрос о том, как это происходит. Разум здесь предстает как резонансный механизм, как система, которая внутри себя симулирует то, что происходит снаружи. Но в этой теории остается неясной роль теории разума¹. Хотя симуляционная теория дает важные указания о когнитивных компонентах, лежащих в основе способностей выстраивать отношения (relation-building capacities), ясно, что эти построения не дают исчерпывающего объяснения способа взаимодействия людей. Во-вторых, резонансный механизм Галлеза вступает в противоречие с представлением о разуме как о репрезентативно-символической системе. Ферретти же полагает, что обе эти позиции могут быть взаимодополняемы. В-третьих, автор статьи утверждает, что возможно совместить филогенез метарепрезентаций с континуистской концепцией.

Настоящая дорога к объяснению отношения между разумом и обществом – это путь концепции коэволюции внутренних и внешних факторов. Теория разума выступает как ментализационная система, свойственная и людям, и животным.

Исследования филогенеза ментализации показывают, что отношения между метарепрезентацией и первичной репрезентацией являются разными уровнями и разными формами метарепрезентации. Метарепрезентация понимается в двух смыслах: 1) как репрезентация репрезентации; 2) как репрезентация репрезентации в качестве репрезентации.

Животные не обладают метарепрезентацией во втором смысле, но обладают способностью к репрезентации репрезентации. Средним уровнем метарепрезентации является вторичная репрезентация. Она характеризуется таким важным свойством, как способность к приостановке (suspend) через процесс расщепления (decoupling) в ролевой игре. То есть подобная приостановка позволяет вторичным репрезентациям предстать как гипотетические или виртуальные ситуации, в которых возможна многовариантная картина. Причем эта картина даже может быть противоречивой. К примеру, представление банана в качестве пистолета.

Здесь автор вводит, вслед за Зюддендорфом и Витеном (Suddendorf and Whiten), понятие сортировочного разума (collating mind), который спо-

¹ Теория разума (theory of mind) – способность приписывать ментальные состояния себе и другим.

способен на сложную концептуальную активность. Он способен на понимание устойчивости предмета, эмпатию, имитацию, интерпретацию внешних репрезентаций как узнавания себя в зеркале. Эти способности присутствуют как у двухлетнего ребенка, так и у больших обезьян. И эти способности находятся во вторичных репрезентациях, которые предстают как фундаментальный мост от первичных репрезентаций к метарепрезентациям в полном смысле. Остается вопрос о том, как именно происходит этот переход.

Козволюция языка и ментализации

Ферретти указывает, что особенностью теории разума является способность интерпретировать чужое поведение даже тогда, когда это поведение расходится с нашим представлением о правильности. Для понимания подобного поведения весьма важными являются пропозициональные отношения (*propositional attitude ascription*), потому что они связаны с особым классом лингвистических конструкций – комплементными структурами (*complement structure*), к которым относятся структуры предложений, в которых объект главного глагола, выражающего ментальное состояние (думать, верить и т.п.), вводит подчиненные предложения. То есть язык и теория разума связываются через возможности синтаксиса по конструированию сложных комплементных структур. Только язык дает необходимые инструменты репрезентации, которые позволяют когнитивной системе приписывать себе и другим ментальные состояния, наделенные пропозициональным содержанием.

Затем автор снова ставит вопрос: что было раньше – ментализация или язык? Какой из факторов конституирует другой? Автор утверждает, что вербальная коммуникация основывается на механизме, функциональная задача которого – интерпретация поведения. То есть сначала есть этот механизм, который делает возможным появление языка и влияние языка на теорию разума.

Утверждение, что ментализация первична по отношению к языку, не исключает того факта, что язык после своего появления имеет обратный эффект на способность к ментализации. Таким образом, автор утверждает, что уходит от теорий, утверждающих первичность внешних факторов по отношению к внутренним. Ферретти утверждает, что отношения между языком и ментализацией надо рассматривать как коэволюционный процесс.

О значении экологического разума

В статье «Социального мозга недостаточно» Франческо Ферретти [Ferretti, 2016] утверждает, что отличительной чертой человеческого языка является способность конструировать нарративы, а не возможность соци-

альной коммуникации; т.е. так называемого социального мозга (social brain) недостаточно для появления человеческого языка. Автор утверждает, что помимо социального мозга человечеству был необходим экологический мозг (ecological brain), подразумевающий пространственно-временное мышление.

Значимость экологического мозга проявляется, по мнению Ферретти, в способности к конструированию нарратива. Соглашаясь с такими авторами, как Томпсон, Корбаллис и Макбрайд, автор утверждает, что нарративность является специфической чертой человеческого языка. Главная функция нарратива – доступ к опыту, полученному другими, что играет важную адаптивную роль. Ферретти приводит пример из статьи Готшалла, сравнивающего нарратив с симулятором полета. Точно так же, как симулятор полета позволяет пилоту развить свое мастерство, оставаясь в безопасности, нарратив позволяет получить знание о ситуациях, в которых человек непосредственно не находился. Для подтверждения своей гипотезы Ферретти требуется доказать два тезиса: то, что способность рассказывать истории первична по отношению к языку, и то, что язык является как средство более эффективно рассказывать истории.

Перед тем как приступить к доказательству Ферретти рассматривает противоположную гипотезу – гипотезу о достаточности социального мозга для возникновения языка. Основным тезисом сторонников этой теории является идея того, что эволюция мозга высших приматов была обусловлена вызовами не экологического, а социального характера. Одним из основных свойств социального мозга является способность воспринимать как произвольные, так и непроизвольные коммуникативные сигналы. Однако самым интересным объектом изучения являются именно произвольные сигналы, и это подводит автора к теме остенсивного характера коммуникации и теории соответствия (Relevance Theory), предложенной Спербером и Уилсоном. Теория соответствия исходит из того, что содержание сообщения и стоящие за ним намерения не всегда совпадают. Таким образом, для успешной коммуникации человечеству требуется способность к «считыванию мыслей» (mind-reading device). Так, например, когда мы хотим попросить официанта принести нам новую бутылку вина, нам достаточно установить с ним визуальный контакт, так как мы предполагаем, что он способен считать это намерение. В этой ситуации мы имеем дело с двумя видами интенции: информативной – мы хотим, чтобы официант принес нам новую бутылку, и коммуникативной – мы хотим, чтобы он узнал о нашем желании. Эти два вида интенции лежат в основе остенсивной коммуникации.

Итак, одним из основных свойств социального мозга является способность к остенсивной коммуникации, которая, в свою очередь, подразумевает способность к «считыванию мыслей». Но для того чтобы понять, являются ли эти способности достаточными для появления человеческого языка, автор предлагает рассмотреть способы животной коммуникации у

высших приматов и выяснить, свойственна ли остенсивная коммуникация им. Афористически этот вопрос был выражен в названии статьи Премак и Вудруф «Есть ли у шимпанзе теория сознания?». Некоторые исследователи утверждают, что, хотя мы и можем говорить о существовании такой «теории», она гораздо слабее, чем у человека. Шимпанзе, например, способны приписывать другим приматам желания и ощущения, но не намерения. Однако Ферретти считает, что для того чтобы судить о наличии остенсивной коммуникации у животных, нам требуется обратить внимание на способность привлекать внимание к намерению совершить акт коммуникации. Критерием наличия такой способности, по мнению автора, является визуальный контакт. Он утверждает, что высшие приматы вполне способны на общение посредством визуального контакта. Таким образом, остенсивная коммуникация не является исключительно человеческой чертой, а следовательно теории социального мозга недостаточно для объяснения происхождения человеческого языка.

Ферретти признает, что язык появляется как результат кооперации между людьми и что это положение полностью соответствует теории социального мозга. Однако, по его мнению, экологический мозг также необходим для успешной кооперации и именно он является залогом существования способности к созданию нарратива. Далее Ферретти приступает к обсуждению экологического мозга и нарратива. Две основные характеристики последнего, по мнению автора, – темпоральность и возможность установления причинно-следственных связей. Но для темпоральности недостаточно считывания мыслей, социальной способности, о которой ранее шла речь. Требуется нечто вроде способности к «путешествию во времени», т.е. к возможности мысленно переживать события прошлого и будущего (Mental Time Travel, МТТ). Эта способность развивается в олдувайскую эпоху благодаря значительным затратам времени, которые требовались для производства орудий и преодоления больших расстояний между местами изготовления инструментов и охотничьими угодьями. Ферретти полагает, что именно из-за такого расширения пространства и времени возникает навык создания историй.

Для подтверждения своей гипотезы автор провел ряд экспериментов на детях с аутизмом. Целью исследования было установление связи между отсутствием нарративных навыков, характерным для детей-аутистов, и неспособностью осуществлять мысленные путешествия во времени. Результаты исследования подтвердили наличие этой связи. Однако для возникновения нарративных способностей важны не только «путешествия во времени», но и навигация в пространстве. Как и навигация, рассказ предполагает наличие определенной цели и оптимального пути ее достижения. Таким образом, связный дискурс во многом похож на правильно построенную траекторию пути.

Ферретти высказывает мнение, что трудности с возможностью рассказывать истории, испытываемые больными синдромом Уильямса, связа-

ны с невозможностью ориентации в пространстве и времени. Хотя автор и не предоставляет экспериментальные доказательства, он указывает на ключевую роль гиппокампа в формировании представлений как о пространстве, так и о времени, а значит, и в формировании нарративных способностей. Если, как утверждает Ферретти, язык возникает из способности к созданию нарратива, значит, эта способность должна была предшествовать его появлению. Но каким образом возможен нарратив без языка? Автор считает, что до изобретения языка для рассказывания историй использовалась пантомима. Однако у этого способа существовали определенные недостатки – в первую очередь ограниченность понятийного аппарата, невозможность передавать абстрактные понятия.

Итак, как заключает автор, социальный мозг является необходимым, но не достаточным условием для возникновения языка. По его мнению, язык возник как способ создания нарратива. Возможность рассказывать истории, в свою очередь, была сформирована благодаря экологическому мозгу, т.е. навигационным способностям.

И.Е. Кочедыков

Д.А. Федосеева

КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ МЕТАФОРЫ И ОБЗОР ИМБОДИМЕНТ-ПОДХОДА К ПОЗНАНИЮ (Обзор)

Одной из центральных тем исследований когнитивной лингвистики и нейронаук является значение языка в таких процессах познания, как категоризация и концептуализация. В этом обзоре мы рассмотрим теорию когнитивной метафоры и ее развитие в современных исследованиях в рамках *теории воплощенного познания* или *имбодимент-подхода к познанию* (*embodied cognition*)¹. Именно в этом современном подходе большое внимание уделяется тому, как когнитивные процессы опираются на телесный опыт, помогая формировать сложные абстрактные модели и понятия. Такой взгляд на проблемы познания характерен для эмпирического подхода. Он базируется на опыте взаимодействия человека с окружающим миром, здесь много внимания уделяется роли метафоры как основной ментальной операции, делающей познание возможным, отвечающей за категоризацию, концептуализацию, объяснение и оценку мира. Яркими представителями этого подхода являются Джордж Лакофф (George Lakoff) и Марк Джонсон (Mark Johnson), авторы вышедшей в 1980 г. книги «Метафоры, которыми мы живем» [Лакофф, Джонсон, 2004], в которой они суммировали опыт предыдущих исследователей (Дж. Джейнс, М. Осборн, М. Блэк и др.) в когнитивной теории метафоры.

¹ В русскоязычных источниках пока нет устоявшегося перевода для этого термина, несмотря на то что он используется почти 30 лет в лингвистике и психологии. Достаточно распространены варианты «*воплощенное познание*» или «*воплощенное сознание*». Существуют и менее популярные и менее удачные вариации, например *теория воплощенного значения* [Щербакова, Ледовая, 2001, с. 54–59]. Английское слово *embodiment* часто передают по-русски как *эмбодимент*, что не вполне корректно: более точным с точки зрения адекватной передачи английского звучания [ɪmˈbɒdɪmənt] представляется вариант *имбодимент*.

Теория метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона

Согласно концепции Лакоффа и Джонсона, метафора не ограничивается сферой языка, но является способом мышления и познания окружающей действительности, который проявляется также в действии. «Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична» [Лакофф, Джонсон, 2004].

В работе 1980 г. Лакофф и Джонсон раскрывают основные положения своей теории метафоры, описывают теоретические основания своего метода и взгляда на эпистемологию, которые соединяют философию и лингвистику. Они подробно раскрывают свой эмпирический подход к познанию в противовес объективизму и субъективизму. Истина, по мнению авторов, основывается на понимании и всегда связана с понятийной системой, а любая понятийная система по природе своей метафорична. При этом миф об абсолютной истине классического научного подхода и миф субъективизма рассматриваются как неверные, одновременно взаимозависимые и взаимоисключающие подходы. Приоритет объективизма в западной культуре является основой напряженности между истиной с научными методами ее познания и искусством с художественными методами. Такое положение вещей долго не позволяло серьезно относиться к образной речи, роли метафоры и риторики, так как обращение к ним рассматривалось исключительно в духе субъективизма, т.е. как обращение к эмоциям и воображению, оторванным от реальности. Лакофф и Джонсон видят выход из этой ловушки в синтезе на основе эмпиризма. Они избирают срединный путь между разумом и воображением. Метафора рассматривается как механизм, объединяющий разум и воображение через восприятие сущности одного вида в терминах другого вида с помощью воображения. Согласно Лакоффу, неметафорическая мысль возможна только тогда, когда мы говорим о физической реальности. Эмпирическая теория истины включает некоторые центральные идеи феноменологической традиции, подразумевает отказ от эпистемологического фундаментализма, подчеркивает центральную роль тела в структурировании опыта, соответствует ключевым элементам поздней философии Витгенштейна [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 206]. В более поздней работе «Женщины, огонь и опасные вещи» (1987) Дж. Лакофф развивает теорию метафоры, еще более детально описывая подход, в котором мышление имеет телесную основу. Эта книга является одним из фундаментальных трудов, развивающих когнитивное направление в лингвистике и имбодимент-подход в когнитивных науках. В ней критикуется классическая теория, т.е. уже означенный ранее объективизм, который опирается на философию с центральным понятием *категории*, упускающий эмпирические данные вследствие своей традиционности, богатой истории и инертности. В этой работе Лакофф называет свой подход экспериенциализмом, который отражает идею о том, что мышление вырастает из материального воплощения. С этой точки зрения само существова-

ние мышления возможно только благодаря телу, при этом абстрактное мышление не сводится лишь к отражению физических объектов или к механическим логическим операциям (наподобие компьютерных вычислений). Лакофф представляет мышление одновременно как воплощенное (телесное) и образное, опираясь на современные работы исследования [Лакофф, 2004].

Следующая совместная работа Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Философия во плоти» выходит в 1999 г. и развивает заявленные идеи, предлагая диалог уже между философией и когнитивными науками. Авторы предлагают отдать предпочтение эмпирически ответственной философии – философии, формируемой критическим поиском, опирающимся на наилучшие доступные эмпирические данные. Основными эмпирически обоснованными открытиями в когнитивной науке, на которые опираются авторы, стали три ключевых вывода. Ум в своей основе опирается на телесный опыт. Мышление по большей части бессознательно. Абстрактные концепции в значительной степени метафоричны. [Lakoff, Johnson, 1999, p. 3]. На этом основании авторы представляют свою *концепцию воплощенной личности*, которая рассматривает воплощенный разум, воплощенное сознание, воплощенную нравственность, воплощенные понятия и т.д. Согласно этой теории наша концептуальная система основана на работе нейронов и принципиально сформирована через сенсомоторные системы, мы можем формулировать понятия только благодаря телу, главные формы рациональной индукции являются частным случаем сенсомоторной индукции, истина и знание зависимы от воплощенного познания, сознание не является отдельным или независимым от тела [Lakoff, Johnson, 1999, p. 551–568]. Эти положения уже впрямую формируют теорию воплощенного познания, или имбодимент-подход, который успешно применяется в когнитивной науке по сей день и будет рассмотрен ниже на основании нескольких исследований, раскрывающих разные направления подхода и их эмпирическую обоснованность.

Процесс метафоризации и его роль в познании

Для дальнейшего обзора имбодимент-подхода уместно коротко обсудить, как происходит процесс метафоризации, как мышление опирается на телесный опыт и как из телесного опыта возникают абстрактные концепции. Согласно когнитивной теории метафоры в основе процессов метафоризации лежат процедуры обработки структур знаний, или фреймов. Фреймы являются обобщенными знаниями об опыте взаимодействия человека с окружающим миром, важную роль играет взаимодействие и с материальной и с социальной реальностью. В основе метафоризации лежит

взаимодействие между фреймами двух концептуальных доменов – *сферы источника* (source, base domain) и *сферы мишени* (target domain)¹. Сфера источника при этом описывает более конкретную концепцию – знание, происходящее от непосредственного взаимодействия с действительностью; а сфера мишени описывает менее ясное и определенное знание, «знание по определению», по классификации Б. Рассела. В сфере источнике знания организованы в виде *схем образов* (image schemas) – относительно простых структур, которые постоянно воспроизводятся в процессе физического взаимодействия с окружающим миром.

В ходе *метафорической проекции* (metaphorical mapping)² определенные области сферы мишени структурируются по образу сферы источника, что позволяет использовать опыт конкретного познания в познании абстрактных понятий. Этот процесс также принято называть *когнитивным отображением* (cognitive mapping), и ведутся споры о том, является ли он однонаправленным. Этот процесс возможен не только между двумя элементами когнитивных структур, но и между целыми структурами доменов. Существует гипотеза инвариантности, которая предполагает, что в ходе метафорической проекции частично сохраняется структура сферы источника в сфере мишени. Следы этого процесса обнаруживаются в тексте и предложении в виде *метафорических следствий* (entailments). Таким образом, концептуальные метафоры – это устойчивые соответствия между сферой источника и сферой мишени, фиксированные в языковой и культурной традиции данного общества.

Существуют различные типологии когнитивных метафор. Лакофф и Джонсон, например, выделяют три их типа: структурные, онтологические и ориентационные метафоры. В структурных метафорах сфера источника используется для осмысления сферы мишени («спор – это война»), онтологические метафоры категоризируют абстрактные сущности с помощью персонификации или их локализации в пространстве, ориентационные метафоры отражают наш опыт пространственного ориентирования в более абстрактных репрезентациях («быть в приподнятом настроении», «упасть на дно»). Именно телесный опыт является основой ориентационных и онтологических метафор, сфера источника всегда относится к более конкретному, воплощенному опыту и позволяет нам структурировать более расплывчатую концепцию, не имеющую отражения во взаимодействии с окружающим материальным миром. Подробнее этот процесс будет рассмотрен далее.

¹ В дальнейшем разные подходы предлагают свои варианты названий – например, «области отправления» и «области прибытия» в дескриптивной теории метафоры или просто «источник и цель» в имбодимент-подходе.

² Здесь и далее в этом разделе перевод дается по русскоязычному изданию книги «Метафоры, которыми мы живем» 2004 г. в переводе А.Н. Баранова [Лакофф, Джонсон, 2004].

Альтернативные подходы и дальнейшее развитие когнитивной теории метафоры в предметных областях

Сегодня существует большое количество направлений, развивающих и уточняющих когнитивную теорию метафоры. Еще в работе 1980 г. Лакофф и Джонсон намечают путь к исследованиям в сфере политической коммуникации, в России распространено изучение политического дискурса. Основой для таких исследований служит метод инвентаризации метафор, берущий начало в дескриптивной теории метафоры. *Дескриптивная теория метафоры* является попыткой формализовать теорию Лакоффа и Джонсона для описания большого корпуса контекстов, а не отдельных метафор. Здесь источник называется *областью отправления*, а мишень – *областью прибытия*, метафорическая проекция представляется как функция отображения элементов сферы источника в сфере мишени, между ними формируется соответствие с разной степенью стабильности. Метафорой здесь является множество кортежей сигнификативных и денонативных дескрипторов, представляющих собой, соответственно, сферу источника и сферу мишени. Такое понимание отличается от понимания метафорической модели в когнитивной теории метафоры, где модель составляет пара – источник и мишень. Использование такого подхода позволяет единообразно описывать контексты употребляемых метафор с помощью баз данных. Тематически связанные поля сигнификативных дескрипторов формируют метафорические модели, или *М-модели*. Чем больше стабильных пар сигнификативных и денонативных дескрипторов в М-модели, тем больше ее денонативная стабильность, которая поддается количественному анализу. Количественно измерить можно также денонативное разнообразие М-модели – параметр, означающий, насколько *когнитивно нагруженным* является сигнификативный дескриптор М-модели. Чем выше денонативное разнообразие, тем выше потенциал данной М-модели в этом дискурсе. Совокупность М-моделей, используемых в дискурсе образует *метафорику* дискурса [Баранов, 2004, с. 11–13].

В рамках этого подхода А.Н. Баранов, например, с помощью метафорического анализа показал, что, хотя существует внешняя система неодобрения коррупции и взяточничества, политики и предприниматели предпочитают в основном использовать органическую метафору на этот счет, т.е. воспринимают явление как естественное [Баранов, 2004]. В Институте русского языка РАН с помощью методики инвентаризации метафор создана база данных русской политической метафоры эпохи перестройки. Это база легла в основу словаря политических метафор [Баранов, Караулов, 1994] и использовалась в дальнейшем в проекте сопоставления метафор эпохи перестройки и периода объединения ГДР и ФРГ. Теория когнитивной метафоры во многом развивается и подвергается уточнению; так, Й. Цинкен [Zinken, 2003, р. 507–523] анализирует в своей статье подход Люблинской этнолингвистической школы. Обсуждается возможность

создания лингвокогнитивной теории метафоры, объединяющей когнитивные и антропологические взгляды в изучении языка, что включает анализ социальных стереотипов, широкого культурного контекста.

Как отмечалось ранее, тезис об однонаправленности метафорической проекции не является однозначным, часто подвергается исследованиям и пересмотру. Исследователи из Бирменгемского университета обнаружили, что при анализе *междоменных корреляций* (inter-domain influences) в концептуальной метафоре необходимо иметь в виду и *обратное влияние* (reverse influence) мишени на сферу источника [Будаев, 2007, с. 28]. А.Н. Баранов также отмечает, что не всегда сфера источника более конкретна, чем сфера мишени [Баранов, 2004].

Существует альтернативный взгляд на теорию когнитивной метафоры, развиваемой в концепции, известной как *теория концептуального смешения* или *концептуальной интеграции* (Conceptual Blending Theory). Основатели ее – М. Тернер и Ж. Фоконье – рассматривают метафору как частный случай концептуальной интеграции, и приходят к выводу о том, что метафоризация практически всегда выходит за пределы проекции из источника в сферу мишени, но представляет собой сложные динамические процессы. В ходе этих процессов происходит интеграция и создаются новые ментальные пространства, способные в самом процессе концептуальной интеграции создавать структуру значения. Они предлагают вместо двухдоменной модели модель множественных пространств. Однонаправленная метафорическая проекция является лишь частным случаем целого комплекса процессов. Для описания этих процессов вводятся четыре пространства. Выделяют два *исходных пространства* (input spaces), *смешанное пространство* (blended space, или blend) и *общее пространство* (generic space), где исходные пространства соответствуют сфере мишени (сфере источника), но их количество не ограничено двумя единицами. Ментальное пространство заимствует из концептуального домена только часть структуры и применяется для понимания конкретной ситуации или действия. Общее пространство содержит наиболее абстрактные составляющие, которые разделяют оба исходных пространства. Это основа для абстрактной составляющей метафоризации. В бленде сплавляются части исходных пространств, образуя новую концептуальную структуру, независимую от исходных структур [Будаев, 2007, с. 30–31; Глебкин, 2013, с. 161–172].

Теория воплощенного познания (имбодимент-подход)

Подход «теории воплощенного познания» (имбодимент-подход) часто представляется по отношению к стандартному подходу в когнитивной науке как альтернативный или эволюционно ее развивающий. Скорее можно назвать его программой исследования, чем хорошо определенной теорией. Идеи этого подхода проникли в психолингвистику и когнитив-

ные науки благодаря работам психологов, философов и лингвистов, среди которых были Д. Лакофф и М. Джонсон, М. Тернер, А. Дамасио, Э. Кларк, П. Карпентер и др. [см.: *Metaphor...* 2016; *Coming of age...* 2016].

Теория воплощенного познания говорит о новом толковании концептов – как основанных на сенсомоторной репрезентации в соответствующих зонах головного мозга. Так, концепты «яблоки» и «дождь» содержат больше сенсомоторной информации, чем отвлеченные концепты.

Согласно теории перцептивных символов Барслоу, предложенной им в 1999 г. [см.: Сазонова, 2012, с. 32–36], концептуальное знание об объектах формируется на основе опыта взаимодействия тела человека с окружающей средой обитания посредством различных модальностей. При этом моторная, проприоцептивная и кинестетическая модальности будут играть главную роль в формировании важных признаков объекта, которые затем отображаются в лексико-семантическую систему.

Метафора, ее когнитивная функция и телесное обоснование также породили широкое поле для различных исследований в русле этого подхода. Как уже отмечалось, Лакофф и Джонсон в своих последних работах склоняются именно к имбодимент-подходу и широко используют данные исследований, относящихся преимущественно к этому подходу, для обоснования своей теории.

Теория воплощенного познания, укрепленная открытием зеркальных нейронов у макак и системы зеркальных нейронов у человека, стала доминирующим подходом в когнитивных науках. Несмотря на это существует много вопросов к этой теории. Например, если концепции фундаментально опираются на сенсорный и моторный опыт и представлены через сенсорные и моторные зоны мозга, то как человек может мыслить абстрактно?

А. Ямбросик и ее коллеги полагают, что метафора возникает как неопределенный плейсхолдер («заглушка»), репрезентация которого впоследствии выстраивается среди прочего через метафорическую проекцию. Если домены источника опираются на разные области сенсомоторного опыта, то когнитивная структура в сфере мишени будет довольно рассеянной в плане конкретных составляющих свойств, но богата в плане большого количества связей взаимоотношений, что является основной чертой абстрактного понятия [*Metaphor...* 2016].

Имбодимент-подход имеет различные разновидности, выделяемые в зависимости от ответа на вопрос о роли, которую играют сенсомоторные системы в познании абстрактных концепций.

В статье [*Coming of age...* 2012] Л. Меттьярд и коллеги рассматривают весь континуум подходов к воплощенному познанию – от полностью оторванных от телесности до строго основанных на телесности. Они вы-

деляют (1) *не-воплощенный*¹ (Unembodied) подход, в котором семантические области не имеют временных или пространственных пересечений с сенсорной или моторной областью, т.е. полностью независимы друг от друга, а содержание репрезентаций *амодально*² и символично. В подходе (2) *вторичного имбодимента* (Secondary embodiment) семантическое содержание амодально, существуют области мозга, отвечающие за это содержание, с сенсомоторной областью они ассоциированы, но независимы друг от друга. Далее следует (3) *нестрогий имбодимент-подход* (weak embodied), который говорит о кросс-модальной интеграции семантического содержания. В нейронной структуре представлена сеть областей, которые структурируют модальную информацию приближенно к первичным сенсорным и моторным областям. Наконец, завершает континуум (4) *строгий имбодимент-подход* (strong embodiment), где семантическое содержание рассматривается как аналоговое и мультимодальное, а распределенная в нейронной архитектуре система областей внутри первичной моторной и сенсорной систем полностью зависима от них.

Большее количество исследований на данный момент поддерживают взгляды имбодимент-подхода в его менее строгой версии, согласно которой считается, что задействование для понимания сенсомоторных систем может быть в результате частого применения понятий преодолено и для абстрактных понятий используются уже прилежащие области, опирающиеся на сенсомоторные системы.

Список литературы

- Баранов А.Н. Предисловие редактора. Когнитивная теория метафоры почти 20 лет спустя // Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. – М.: Едиториал УРСС, 2004 – С. 7–21.
- Баранов А.Н. Метафорические грани феномена коррупции // Общественные науки и современность. – М., 2004. – № 2. – С. 70–79.
- Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. – М., А. / РАН. Ин-т русского языка; – М.: Помовский и партнеры, 1994. – 330 с.
- Будаев Э.В. Становление когнитивной метафоры // Лингвокультурология. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 1. – С. 16–32.
- Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2001. – 123 [110] с.
- Глебкин В.В. Теория концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера: Опыт системного анализа // Вопросы философии. – М., 2013. – № 9. – С. 161–174.
- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Под ред. и с предисловием А.Н. Баранова. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.

¹ Здесь и далее перевод автора.

² Модальность – канал сенсорного восприятия. Модальность может быть кинестетической, аудиальной и т.д. [The Cambridge dictionary of psychology, 2009]. Амодальность в данном подходе говорит о том, что познание не опирается на какой-либо сенсорный канал.

- Лакофф Дж.* Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении / Пер. с англ. И.Б. Шатуновского. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 792 с.
- Попова Л.В.* Становление и развитие когнитивной лингвистики за рубежом // Вестник Челябинского гос. ун-та. – Челябинск, 2013. – № 35 (326). – С. 92–95.
- Сазонова Т.Ю.* Сенсомоторное знание в структуре семантической репрезентации // Теория языка и межкультурная коммуникация. – Курск, 2012. – С. 32–36.
- Varieties and directions of inter-domain influence in metaphor / Barnden J.A., Glasbey S.R., Lee M.G., Wallington A.M. // *Metaphor and Symbol*. – Mahwah, N.J., 2004. – Vol. 19, № 1. – P. 1–30.
- Bowlde B., Gentner D.* The career of metaphor // *Psychological Review*. – Washington, 2005. – Vol. 112, N 1. – P. 193–216.
- Gentner D., Clement C.* Evidence for relational selectivity in the interpretation of analogy and metaphor / G.H. Bower (Ed.) // *The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory*. – N.Y.: Academic Press, 1988. – Vol. 22. – P. 307–358.
- Metaphor: Bridging embodiment to abstraction / Jamrozik A., McQuire M., Cardillo E.R., Chatterjee A. // *Psychonomic bulletin and review*. – Austin, 2016. – Vol. 23, N 4. – P. 1080–1089.
- Lakoff G., Johnson M.* Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to western thought. – N.Y.: Basic books, 1999. – 640 p.
- Shapiro L.A.* Embodied cognition. – L.; N.Y.: Routledge, 2010. – 255 p.
- Coming of age: A review of embodiment and the neuroscience of semantics / Meteyard L., Cuadrado S.R., Bahrami B., Vigliocco G. // *Cortex*. – Milan, 2012. – Vol. 48, N 7. – P. 788–804.
- Thibodeau P.H., Boroditsky L.* Metaphors we think with: The role of metaphor in reasoning // *PLoS ONE*. – 2011. – 6(2). – e16782. – Doi:10.1371/journal.pone.0016782. – Mode of access: <http://lera.ucsd.edu/papers/crime-metaphors.pdf> (Дата посещения: 21.11.2016.)
- Thompson-Schill S.L.* Neuroimaging studies of semantic memory: Inferring «how» from «where» // *Neuropsychologia*. – Oxford, 2003. – N 41. – P. 280–292.
- The Cambridge dictionary of psychology* / Ed. by Matsumoto D.R. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2009. – P. 609.
- Motion verb sentences activate left posterior middle temporal cortex despite static context / Wallentin M., Ellegaard T., Ostergaard S., Ostergaard L., Roepstorff A. // *NeuroReport*. – L., 2005. – N 16(6). – P. 649–652.
- Action concepts in the brain: An activation likelihood estimation meta-analysis / Watson C.E., Cardillo E.R., Ianni G.R., Chatterjee A. // *Journal of Cognitive Neuroscience*. – Cambridge, Mass., 2013. – N 25. – P. 1191–1205.
- Zinken J.* Ideological imagination: Intertextual and correlational metaphors in political discourse // *Discourse and society*. – L., 2003. – Vol. 14, N 4. – P. 507–523.

**ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ ПОЗНАНИЯ:
ВЫЗОВЫ КОГНИТИВНОЙ НАУКИ.
БЕСЕДА В.Ф. ПЕТРЕНКО И В.З. ДЕМЬЯНКОВЫМ**

Введение

Владимир Авдонин (В.А.): Мы планируем включить материал нашей беседы в ежегодник МЕТОД. Это будет один из материалов этого сборника, который посвящен трансдисциплинарности в науке. Вообще у трансдисциплинарности выделяются два аспекта. Первый – трансдисциплинарность в науке, т.е. взаимодействие дисциплин на основе разных синтетических методов, подходов. И второй – трансдисциплинарность как транснаука, т.е. то, что выходит за пределы науки, как взаимодействие науки с околонучной сферой, с так называемой паранаукой, или с любительской наукой, как сейчас ее называют. Недавно у нас в отделе науковедения в сборнике была статья о «гаражной науке», когда любители занимаются наукой в гаражах и т.д.

Иван Фомин (И.Ф.): Нас больше первый интересует.

В.А.: Да. Нас интересует первый, поэтому этот выпуск будет посвящен именно трансдисциплинарности в науке.

Михаил Ильин (М.И.): Вообще мы начали с того, что смотрели, какие нетривиальные вещи можно методологически сделать. В результате вырुлили на проблематику трансдисциплинарности. Сейчас нас больше всего занимают потенциальные трансдисциплинарные методологии – органоны-интеграторы, так мы их назвали. Нас интересует даже не просто наука, нас интересует в ней только то, что касается метода. Сначала у нас было немало претендентов на статус таких органонов. Примерно полтора десятка. В том числе, кстати, очень долго среди них была когнитивная наука. И она в каком-то смысле остается. Но когнитивная наука сама по себе создана соединением разных наук и традиций, разных подходов и методов. Она не едина. В ней сосуществуют принципиально разнородные версии. В конце концов мы остановились на трех других претендентах. Это математика, морфология и семиотика. Но это не значит, что вопрос

закрыт. Тут многое нужно подвергнуть сомнению и не раз проверить. Но самое-то интересное – почему мы вас хотим попытать – у нас такое есть предположение, что эти методы вырастают на базе каких-то фундаментальных, первичных человеческих особенностей, интеллектуальных, естественно. И найти следы этих способностей и установить связь между этими способностями и методами в современной науке без экспертизы со стороны психологов и лингвистов совершенно невозможно, потому что именно вы соприкасаетесь с этими фундаментальными вещами. У нас есть фантазии, которыми мы готовы поделиться в ходе беседы, но для начала...

В.А.: Вы сейчас здесь находитесь в статусе представителей когнитивной науки. Хотя она и междисциплинарная и дробная, но тем не менее крайне созвучна всему пафосу деятельности нашего центра.

О передаче смыслов и состояний

Виктор Петренко (В.П.) Могу рассказать, чем сам занимаюсь, обо всей когнитивной науке говорить не берусь. В числе подготовленных к беседе был вопрос про Келли и Рубинштейна...

И.Ф. Да, мы его сформулировали так: можно ли эволюцию познавательных способностей человека связать с принципом единства сознания и деятельности (по Рубинштейну) или принципом Келли («поведение субъекта канализируется по руслам тех конструктов, в рамках которых происходит антиципация событий»)?

В.П. Это как раз имеет отношение к тому, чем я занимаюсь, к психосемантике. Ее истоками можно считать работы Чарльза Осгуда, Джорджа Келли и вообще разработку известного метода семантического дифференциала. Сам по себе он довольно прост, даже примитивен. Он возник как побочный продукт исследования синестезии. Синестезия – это феномен кросс-модальных соотношений, когда какая-нибудь стимуляция, например зрительная, поступает не только туда, куда и должна попасть, – в проекционные зоны мозга, например в 17-е и 18-е поля Родмана в затылочной части, – но и в другие зоны. Она также стимулирует запахи, зрение, звуки, тактильные переживания. Отсюда возникают такие словосочетания, как «бархатный голос» или «кислая физиономия», хотя мы ее на вкус не пробуем. Происходит описание качества одной модальности в категориях другой. Мозг как бы стремится на основе восприятия одного качества реконструировать целостный парамодальный мир.

Когда Осгуд начал свои исследования, он брал бинарные шкалы, например «тяжелый – легкий», «большой – маленький». Несколько сот шкал использовалось. Да и объекты у него были самые разные. Скажем, камешек падает в воду, издает звук «буль», этот «буль» фиксируется на шкале. Или звук быстрый или медленный, приятный или неприятный, активный

или пассивный и т.д. Потом берется, например, какое-нибудь ощущение от прикосновения к какой-то поверхности. Это ощущение тоже шкалируется. Дается красный цвет, тоже шкалируется. Соединяются разные переживания по множеству шкал – получается матрица. Затем анализ выделял три базовых фактора: оценка, сила, активность.

Похоже, но иначе выстроена теория эмоций Вильгельда Вундта. Он тоже выделял три фактора из самонаблюдений: удовольствие – неудовольствие, возбуждение – успокоение, напряжение – расслабление. Очень похоже. Получается самая простая категоризация мира... Ползет какой-то такой червячок, столкнулся с преградой – переживание: больно, не больно, можно ли съесть... Самые простые категории эмоционального переживания. Но это универсально в разных языках выделяется. Я думаю, что эти три базовых фактора выделились бы и на животных.

В.П. Мы, например, брали оппозицию рисунков Чюрлениса, у него есть «Времена года». И вот даешь какой-то стимул: он ближе к этому рисунку или к тому? Можно невербальный стимул задать, можно тогда создать, например, музыкальный дифференциал. Все что хотите, самое разное. Не обязательно слово. Так вот, Осгуд брал объекты не только широкого класса – запах, вкус, цвет, поверхности, звук, – но и узкие классы, например абстрактные картины. Потом индивидуальные матрицы факторизовались. И если у людей с улицы, случайных людей получалось один-два фактора всего, фактически «нравится – не нравится», то у профессиональных художников выявлялось семь-восемь факторов. Получается, что размерность семантического пространства зависит от сложности психики, от знания субъектом данной содержательной области. Уточню, что в принципе три фактора отнюдь не универсальны. Они могут и склеиваться, и распадаться. Это уже зависит от содержательной области.

М.И. Это уже дальше. А при упрощении именно три получается?

В.П. Можно при упрощении вообще один даже получить. Приятно – неприятно. Но, в принципе, когда объекты достаточно различные, получаются три фактора. Джордж Келли фактически использовал ту же самую процедуру шкалирования и факторный анализ, но уже для других задач. Любопытно, что последователи Осгуда никак не ссылаются на Келли, а последовали Келли никак не ссылаются на Осгуда. Как бы разные реальности, хотя методики практически близки.

Келли занимался рациональной психотерапией. Ему было важно исследовать, что меняется в картине мира пациента в ходе психотерапии. Он пошел дальше. В каком смысле? Он не брал шкалы из антонимов английского языка, а вначале придумал процедуру триадического выбора. Вот сидим мы все здесь, можно составить тройки: Миша, Валера, я. Надо по какому-то качеству объединить двух из трех и притом исключить третьего. То есть шкалы не задаются априори, а вытаскиваются из менталитета. И таких триадических выборов множество, та же матрица, та же фактори-

зация. Это лучше, чем у Осгуда, тем, что основано на языке самих пациентов, испытуемых.

Но это все истоки, классика. Отталкиваясь от нее, я строил и невербальные дифференциалы, основанные на графических оппозициях. Таким образом удалось представить, например, сематическое пространство политических партий. В 1990–1991 гг. мы брали для этого не антонимы, а высказывания политических лидеров, фрагменты Конституции, декларации и т.д. Получалось несколько сот выражений. Испытуемых оценивали по принципу «согласны – не согласны». Суждения были самые разные. Выводить войска из Европы или не выводить? Можно ли обладать каким-то производством, где работают не только члены семьи? Должны ли республики обладать своими армиями? Это было тогда актуально. Несколько сот суждений. И мы получали матрицы и обрабатывали их.

Мы начали исследование политических партий в 1990 г. Тогда впервые стало возможно такой тематикой заниматься. Раньше можно было бы заработать большие неприятности. Но тут уже не до нас было. И вот у нас получились, в частности, четыре фактора. Если в 1990 г. самым мощным фактором было принятие коммунистических движений, коммунистической идеологии, то уже в 1991 г. это ушло на второй план, а на первое место вышел фактор интеграции / дезинтеграции Советского Союза. Пространство стало уже четырехмерным. В 1993 г. оно стало шестимерным, произошло дальнейшее усложнение. Сейчас же произошло колоссальное уплощение политического менталитета.

Можно построить и иное семантическое пространство – качество жизни при разных правительствах. Тут тоже возникает интересная динамика. Или то же самое сделать в плане искусства, восприятия фильмов, картин. У меня цикл работы есть по картинам, по фильмам. Например, после просмотра фильма выделяешь на испытуемых конструкт, который они оценивают, и сами пространства.

Отчасти это похоже на изучение физиками двух частиц. Если ты узнаешь характеристики одной частицы, ты автоматически узнаешь и о другой тоже... А узнаешь – в каком смысле? По Гейзенбергу, они не существуют как реальные признаки, они появляются только в процессе измерения, но одновременно. При этом невозможно передать информацию мгновенно. Через миллионы километров. Тут какая-то другая форма, даже не знаю, что это, не информация, а иная форма устройства мира, связанная с нелокальностью бытия. Получается, что любое воздействие в любом конце Вселенной имеет отзвук во всей системе. Все представляется сплетенным в колоссальный клубок. Нелокальность бытия – это одна из таких базовых идей квантовой физики. И она очень близка к устройству коллективного бессознательного, со всеми телепатическими переживаниями состояний. Когда мать вдруг хватается за сердце: ребенок, на несколько тысяч километров от нее отделенный, в опасности. Проводились простые исследования, когда, например, мышат одного помета (это фи-

зиологи проводили), отвозят на большое расстояние, начинают уничтожать часть их собратьев, а другие чувствуют... Тут какая-то иная форма связи...

О природе когнитивной связи

В.А. Получается, это не информационная связь.

В.П. Не информационная. Другая.

В.А. Или это превращенная какая-то форма информации?

И.Ф. В случае с частицами одно из объяснений, как я понимаю, состоит в том, что информация движется в противоположном направлении во времени. То есть когда мы зафиксировали определенное состояние одной и разделенных частиц, единая еще частица в прошлом узнает, каким будет будущее состояние ее частей. К ней информация поступает из будущего.

В.П. Непонятно. Во-первых, информация предполагает дискретную череду элементов, знаков, битов. Тут же передается целое состояние. Сразу и во времени, и в пространстве.

Налимов выделял жесткие и мягкие языки. То есть какие-то математические преобразования – в жестких языках. А для работы с символами, сновидения, всякими аналогиями, метафорическими переносами – мягкие языки. Они ближе к инициальному бессознательному, которое изучает психоанализ... Кстати, влияние психоанализа по крайней мере на ту школу, к которой я принадлежу, на школу Выгодского – Леонтьева, очень велико. Первая работа Лурии называлась «Психоанализ как марксизм психологии», а Леонтьев начинал с опыта цепных ассоциативных рядов. Влияние Фрейда было огромно, но просто не принято было это афишировать.

М.И. Да, официально считалось, что общественная культурная сфера, сознание, деятельность детерминированы трудом.

В.П. Все это демагогия, надо сказать. И не так давно у нас был круглый стол по вопросам философии, посвященный Выготскому. И там Саша Асмолов вспомнил, что Леонтьев в частной беседе рассказывал, как он летел на самолете во время войны. Их атаковал какой-то немецкий истребитель. И тут у него произошел выход сознания из тела. Он себя увидел со стороны. На лекциях он ничего такого не рассказывал.

Так вот, я знаю нескольких людей, которые переживали выход из тела. Один из них созерцал собственное тело со шкафа и увидел запыленную книжку на шкафу. Прочел название, а после того как вернулся в тело, быстро побежал и проверил. Оказалась та самая книжка. Вещи, конечно, единичные. И, кстати, вот тут начинается проблема, интересная для осмысления. Вся наука касается повторяющихся событий. Отсюда возможны законы. В психологии изучается неповторимое. Тут нет законов. Есть психофизические законы, но это уже на уровне организма. И то плюс-

минус. А вот единичные события, которые для нас тоже очень важны, сами себе закон. Фрейд не открывал каких-то новых законов – типа сверхтекучности, как в физике, или радиоактивного распада. Он брал хорошо знакомые вещи: сексуальность, сны и т.д. – и давал иную интерпретацию. А каково влияние Фрейда на культуру? Чем больше мы работаем в мягких языках, тем больше акцент падает на какую-то герменевтику, на интерпретацию, в этом смысле даже и семиотику.

И еще одну тему затрону. Возьмем буддизм. Человек приходит к какому-то учителю, он там пару лет дрова колет, воду носит. Со стороны можно подумать, что это некая форма эксплуатации учителем ученика. На самом деле идет интерфиксация с образом, с личностью учителя. И это не есть прямая передача знаний, но передача некоторых состояний, которые ты отлавливаешь у непосредственно учителя или учителей, ты настраиваешься на определенное состояние. Вот коллективное бессознательное – это не передача конкретных понятийных знаний, а скорее передача некоторых состояний.

Валерий Демьянков (В.Д.) Состояний эмоциональных или интеллектуальных?

В.П. На этом уровне нет уже... Знание уже состояние, а не объект, которым человек обладает.

В.А. Сознание, как философы говорят, всегда ориентировано на какие-то предметные формы.

В.П. На уровне бессознательного нет предметности. Там некоторые целостные состояния. И передача целостных состояний, под которые нет еще теории формации целостных состояний. Это примерно так же, как в конце коридора кто-то прошел, мелькнул плащ. Я по части идентифицирую целое.

М.И. Это состояние можно назвать? То есть передача образов.

В.П. Образ – скорее на уровне индивидуального. Но еще глубже – коллективное бессознательное уже беспредметно, но обладает состояниями какими-то.

М.И. В шаолиньской традиции это называется «от сердца к сердцу». Так взаимодействуют учитель и ученик – от сердца к сердцу. То есть твое состояние и состояние учителя должны соотноситься.

В.П. Я завел этот разговор к тому, что мы обычно в науке рассматриваем человека как психофизический, психофизиологический объект. Изучаются социальная психология, включенность в коллектив, в общество. Но человек же еще включен, по всей видимости, в какой-то космический эволюционный процесс. Начинать тогда стоит с русских космистов, с Чижевского...

Чижевский, правда, немножко другое... Я вот был в Бухаре недавно, написал маленькую статью «Ковер-самолет как возможность полета в ментальное пространство». Человеческие альфа-, бета-, гамма-ритмы ведь соответствуют фактически биоритмам ионосферы. И в любой религии

есть формы динамической медитации: раскачивание, молитвенные барабаны, зикр. Фактически через динамические структурыходишь в некоторые эмоциональные состояния, соответствующие этим ритмам. Но ковер – тоже повторяющие узоры; плюс некоторые символы, которые настраивают на определенные состояния. То есть целая гамма таких настраивающих вещей, которые исподволь, но уже заданы в человеческой культуре. Я не буду развивать эту идею сейчас. Мысль в том, что человек не только вот эти уровни индивидуальные, коллективные и т.д. Возможно, уже настало время выходить на тематику космической эволюции и рассматривать преобразования и в биосфере, и в социуме, в первую очередь в социуме, потому что человек находится на острие космической эволюции. И пора рассматривать его влияние на космос и влияние космоса на него. И в этом плане не выйдем ли мы на контакт с космическим сознанием? Но не в той форме, что космонавты прилетят на ракете и мы с ними общаться будем... Не включены ли мы уже в такой контакт?

В.Д. В суперразум.

В.П. По крайней мере наша ускоренная эволюция за последние 10 тыс. лет – просто фантастическая. Миллионы лет эволюция шла, но шла в форме биологических катастроф. Медленно-медленно-медленно миллионы лет проходила, а потом какая-то очередная катастрофа, 90% видов вымирают, появляются новые. Но ментальная революция – просто фантастически быстрая... Пушкин – почти наш современник.

М.И. Это да, есть такие временные шкалы.

В.Д. При нем не то что Интернета не было, компьютера даже не было.

В.П. В нашем детстве не было.

В.А. Мы все пережили компьютерную революцию.

В.П. Конечно! И есть немало хороших работ Назаретяна или Панова...

В.А. Гипотеза технологической сингулярности? Была дискуссия о технологической сингулярности. О том, когда будет создан искусственный разум, то мы перейдем в другое состояние.

В.П. Про разум я очень сомневаюсь, но вот эти кривые показывают, что 2045 год...

В.А. Точка сингулярности?

В.П. А причину связывают с искусственным интеллектом. Я так не считаю.

В.А. Много сторонников этой технологической сингулярности.

В.П. Большинство.

В.А. Большинство, согласен. Но в одной статье на этот счет, которую я читал, приводится критика такой позиции со стороны Андрея Коротаева, нашего коллеги, который и у нас публиковался. Он считает, что не будет точки этой технологической сингулярности. Как он объясняет, эта технологическая сингулярность предсказывается логарифмической кривой, которая идет к точке; а он считает, что процесс идет в форме синусоиды.

соиды. То есть она идет в виде волн: сначала ускорение, а потом замедление пойдет.

В.П. В любом случае есть ощущение перелома и фантастических ускорений эволюционных процессов, чего мы не можем отрицать. Я для себя вижу, например, что в течение трех столетий мы выйдем на контакт – не с иной цивилизацией, как представляют, а с формой космического сознания.

В.А. С Богом?

В.П. Называйте это Богом.

М.И. Мы вернемся в прошлое, вперед в прошлое.

В.П. Можно еще два слова? Я не объяснил суть психосемантики. У того же Келли каждый человек – наивный экономист. Приходит в магазин с калькулятором – можно купить или нет? Не слишком ли дорого, осмысленна ли покупка. Мы – наивные житейские политологи, потому что голосуем, кто-то нам нравится из политиков. Мы наивные искусствоведы, потому что ходим в музеи, там какие-то картины нам нравятся или нет. То есть у нас есть какие-то категоризации, которые мы не осознаем. Маленький ребенок может прекрасно говорить на своем родном языке, но не создавать синтаксис, грамматику языка. А мы начинаем через осознание и т.д. Так вот, эти методы психосемантики связаны с тем, что человек оценивает, сортирует, классифицирует в своих частных суждениях. Если есть там Маша, Оля, Петя, то Петя поумнее, чем Маша, а Таня поглупее, чем Оля. Это он в состоянии делать. На основе чего делают систему категорий? Мы вытаскиваем уже из матрицы множество частных суждений. То есть математический инструментарий, факторный анализ, кластерный анализ, шкалирование, структурное моделирование позволяют найти закономерность некоторую для множества частных суждений.

В.Д. Сейчас все осознают, что это множество огромно и безгранично. Возникают необходимость и возможность обработки огромных, беспредельных массивов эмпирического материала.

В.П. С другой стороны, тематика бессознательного и т.д. требует уже каких-то герменевтических, интерпретативных методов, совершенно не статистических.

В.А. Это еще неокантианское деление на идеографические и номотетические методы?

В.П. Фактически похоже. Это какая-то более современная терминология старых идей. В общем, да, вы правы.

О трансфере знаний и методическом / методологическом этапе в науке

В.Д. Кант был в значительной степени именно методологом. Он творил в тот период, когда накопилось действительно огромное количество

во эмпирических материалов и человек задавал себе вопросы: «А можно ли это вообще когда-нибудь осознать? Доступно ли в принципе построить какой-либо метод, с помощью которого можно постичь и объяснить все это?» Кант предложил пути для решения этой задачи. Мы сегодня находимся в очень похожей ситуации. Отличие только в том, что у нас огромное количество материалов, которые мы даже не можем пощупать руками. Нам кажется при этом, что мы далеко продвинулись, только потому, что провели массу экспериментов и накопили много данных: «О, это я знаю! Это у меня есть в компьютере». Но это как если бы маленькая девочка сказала: «Я уже почти знаю китайский язык: мне вчера купили учебник».

В.А. Ну у нас есть искусственный интеллект, которого не было еще во времена Канта.

В.Д. Наше поколение пережило в свое время эйфорию по поводу искусственного интеллекта. Мы с Виктором были даже на первом семинаре «Диалог» об этом, в Таллине.

В.П. Но у нас эйфории не было.

В.Д. У нас не было эйфории. У нас было счастье, что мы можем найти общий язык с очень симпатичной публикой. Там были математики, компьютерщики.

В.А. Это значит, что была такая тенденция – к интеграции науки.

В.Д. Она всегда была.

В.П. Тогда-то мы это чувствовали. Те годы были как-то научно продуктивнее, чем сейчас. Сейчас регресс, падение.

М.И. Мы тогда были моложе.

В.П. Мне кажется, что были и старше нас люди. Я смотрю, кто нас учил в свое время, – это были очень яркие личности. Я склонен интерпретировать это как последствия военного стресса. Эти люди, пережившие какие-то очень экзистенциальные состояния, ярче и высокой направленности. А сейчас происходит, мне кажется, некоторая деградация общего духовного уровня общества.

В.А. Ну да, человек, переживший страх, может быть, более обостренно воспринимает все остальное.

В.П. Не только страх. Тут были и другие чувства.

В.А. Пограничные состояния?

В.Д. Но сейчас у нас состояние, тоже близкое к пограничному. Что делать с огромными данными, которые у нас есть? Мы на них сидим. Мне кажется, что понятие трансдисциплинарности – это такая надежда воспарить над методом собственной дисциплины, которой каждый занимается профессионально, найти источник вдохновения в других дисциплинах и, скажу я за скобками, убедиться в том, что у нас уже были те же самые идеи. Так же как мы с Виктором окончили школу математико-программистскую в свое время.

В.А. Тогда было много поисков. Были разные математические школы, которые создавали для таких одаренных детей.

В.Д. Но в ту эпоху самым главным было поставить задачу, как в математике, и решить ее. Это то, что в нашей школе ценилось. Правда, мы стали оба гуманитариями, не сговариваясь, после такого столкновения с математическими методами, но на всю жизнь. На наше с Виктором поколение гуманитариев наложило отпечаток вот это отношение к занятию наукой как к решению каких-то более или менее локальных задач с формулированием результатов и с обоснованием, близким к доказательству. Недаром, например, у нас очень модны были с 60-х годов лингвистические олимпиады. Даже в литературоведении можно придумать задачу для школьника. Например: «Почему Татьяна полюбила Евгения Онегина?» Это гениальная задача. Правильный ответ следующий: «Пора пришла, она влюбилась». То есть наступил тот биологический период в жизни девочки, который неминуемо ведет к влюбленности. Приучали вот к такому стилю мышления, который приводит к парадоксальным решениям, к тому, что называется «красивое решение задач». Постановка такой задачи заставляет проследить ход мыслей и прийти к логичному ответу. При таком методе, при таком пути даже пятилетний ребенок мог бы ответить на поставленный вопрос. Но чтобы сконструировать такой метод, нужно как-то воспарить над предметом.

В.П. Приведу пару смешных примеров. Мы сделали сказочный семантический дифференциал. Дети оценивают сказочных персонажей. Мы определяем просто по компьютерному мониторингу когнитивную сложность, характер, личностный конструктор. И вот пример. Маленький ребенок шести лет оценивает Айболита: «Айболит не очень умный. Он со зверюшек денежек не брал. Но он хороший».

М.И. Валера, может быть, ты сейчас такой же экзерсис проделаешь? Расскажешь немного о своих занятиях в связи с вопросами, которые мы сформулировали.

В.Д. Я не претендую на обстоятельность, потому что Виктор действительно выполнил двойную задачу, очертил контуры обсуждения, предоставил интересный эмпирический материал из истории психологических методов, методик, это датируется XIX в., потом 1920–1930-е годы, и вплоть до когнитивной психологии последних лет. Для нас это именно эмпирический этап, в том смысле, что для нас в данном случае материалом служат наработанные методы в разных науках, особенно в психологии, в физике и т.д. По наблюдениям старших товарищей, науки претерпевают циклы из трех периодов. Первый период – это накопление материала. Второй период – когда возникает вопрос о методах получения и обработки материала, а особенно – о том, что делать с этим материалом. И третий – воспарение над методами и эмпирическим материалом в попытке создания объясняющих теорий. Иногда эти три периода совпадают по времени. Сейчас мы переживаем тот самый методический этап, когда накоплено огромное, просто зашкаливающее количество эмпирического материала и иногда у исследователей просто опускаются руки: что с этим делать? Но

еще на нашей с вами памяти 1960-е, 1970-е годы, когда был взрыв интереса к теоретическим построениям на основе тогдашнего, значительно более скромного, чем сейчас, эмпирического материала. Сейчас же возникает оптимистическая гипотеза, что если мы установим какие-то принципы создания и применения методов обработки этого материала, то на следующем этапе, обработав этот материал и воспарив над ним, мы сможем построить дальнейшие теории.

И вот эта трансдисциплинарность породила очень много размышлений на тему: «А что нам эта трансдисциплинарность даст?» Так вот, если взять по номиналу, то тогда же родилась и идея «трансфера знаний» – сейчас одно из ходовых понятий в философии науки, – то, что под этим понимается. Это перенесение знаний из одной предметной области в другую – по аналогии или буквально. Получение на этой основе новых значимых, не вспомогательных или эвристических, а именно значимых результатов. В теории перевода такое понятие трансфера давно существовало, но не трансфера знания, а трансфера значения, когда слово одного языка невозможно перевести на другой язык. «Совесть» перевести на английский язык так, чтобы это не совпадало со словом «сознание», очень тяжело, но тем ни менее можно, просто нужно потрудиться.

В.П. Карамзин ввел эти понятия – «сознание» и «совесть». Вещь чисто русская, надо сказать. Прекрасный философ недавно умер, который не был даже кандидатом наук, но прекрасный, Померанц. Он пишет, что в русской культуре, в России легче найти святого, чем просто порядочного человека. То есть вот она совесть, ориентация на духовное, а что там какой-то закон, честность перед законом и т.д. Вот непереваемость особенностей ментальности.

В.Д. Возвращаясь к проблеме переводимости и понятию *трансфера*. Что кроется за этой фигурой речи: *трансфер знания*? Это значит, знание как предмет какой-то существует, и этот предмет перемещается в другое место. Ведь чисто этимологически трансфер – это «перемещение, перевоз» по-латыни. Говоря о трансфере знания, мы имеем дело с метафорой перевоза того, что уже существует. Можно посмотреть на это с точки зрения других метафор – того, как мы воспринимаем знание и храним знание, скажем, на жестких дисках, на современных носителях информации. Однако специалисты в области информатики нас учат: там такого буквального переноса информации нет. Там есть строки символов или то, что записывается с помощью этих строк. Эти строки меняют свое состояние: нули заменяются на единицы в некоторых позициях, в некоторых остается то же самое. Но там этого перемещения в пространстве не происходит. Если перевести образ переноса в ту плоскость, с которой мы стартовали с Виктором, когда занимались еще большими электронными машинами, когда в машинах просто лампочки мигали: мигнула лампочка – возникла новая информация. Там, где она не мигнула, эта информация осталась на прежнем месте. Этот вот трансфер, или перенос, – очень интересная, продук-

тивная идея, на которой основано большое количество исследований по методологии знаний, по методологии науки и т.д.

Но можно пойти и дальше, взяв на вооружение немножко другую метафору, другое образное представление о возникновении нового знания, – не обязательно рассматривать этот процесс как перенос этого в пространстве. Тем более что пространство и время, скажем, в философской теории иногда представляются и воспринимаются как фикция, а вот знание можно представить как состояние предмета – по аналогии с состоянием носителя информации в компьютере. Итак, *знание как наше состояние, а не объект, которым мы обладаем*. Вопреки тому, как мы привыкли говорить в обыденной речи. Например: «У меня нет достаточных знаний». Или когда говорим о деятельности преподавателя как о передаче своих знаний ученикам. Только очень редко мы говорим, что преподаватель приводит ментальность своих учеников в новое состояние. Все на той же пространственной фигуре речи основан и такой фантастический проект, как таблетки знаний. Вы выпиваете таблетку и сразу же начинаете говорить на неизвестном языке. Потом вас хлопают по плечу и говорят: «С чего это ты вдруг заговорил по-японски?»; вы отвечаете: «Нахватался» (та же пространственная метафора). Или приходим, допустим, в нейробиологическую лабораторию и смотрим, как там мышам делают инъекцию из одного мозга в другой. Вводят инъекцию из мозга другой мыши, которая научилась стучать в барабан или бегать по лабиринту после инъекции куска мозга обученной до этого мыши.

В.П. И другая тоже начинает стучать в барабан.

В.Д. Она тоже начинает стучать. Или этот же самый лабиринт проходит в 10 раз быстрее, чем мышь-донор. Если это воспринять как эмпирическую базу, то это действительно кажется потрясающе интересным. Но опять-таки это, может быть, то, что, по предположению, происходит в пространстве и называется буквально переносом знаний. Может быть, этот перенос, действительно существует, но нас далеко не всегда в науке удовлетворяют наши же метафоры, да и видим наиболее удачные мы не всегда.

О знании и знаках

В.П. Эта методология подразумевает, что знание – это вещь, что можно ее передать, и т.д.?

В.Д. Да-да-да.

В.П. Другая позиция...

В.Д. Другая позиция: знание – это состояние.

М.И. А еще есть третья: что мы конструируем модели мира и могут быть совершенно разные модели по поводу одного и того же фрагмента реальности.

В.Д. А ведь возможен и такой взгляд, что знание в одних случаях – предмет, а в других – состояние. Сравните взгляд на одни и те же частицы – то как на волны, то как на мелкие предметы.

В.П. Я сейчас про то, что знание – это не фрагмент объективной реальности, а некоторая модель, которую нельзя вычленишь вне самого субъекта познания. Единственное, с чем мы, видимо, все согласимся, – это то, что знание – не субъект. Ведь это было бы равносильно предположению, что флешка, лежащая на дне моря, и есть субъект знания.

В.Д. Можно так сказать. Факт тот, что знание – что бы мы о нем ни говорили – не передается. Может, у мышей можно как-то субстрат передать, но мы знание все время конструируем. В знании наша личная позиция, наша система ценностей, наша мотивация. В физике это менее заметно, в гуманитарных науках – просто очевидно.

М.И. Мне очень понравилось то, что вы сейчас сказали, но у меня сразу возникли в связи с этим свои семиотические ассоциации. В основе знания вообще-то лежит знак, если по-русски говорить. Когда Валера стал говорить о трансфере знаний, у меня такой образ сразу возник. Получается очень интересно. Если мы возьмем знак, то у знака есть две стороны и знак действительно передает... Что он передает? Знак переделывает значение в смысл, а смысл – в значение. Это посредник между смыслом и значением. В результате того, что смысл становится значением, переделывается в значение, а значение переделывается в смысл, мы и получаем знание. Потому что знание – это есть то, что крутится на знаке. И в этом смысле трансфер знания – это как бы тавтологично получается. Знание есть транслятор

В.П. То есть знание – есть транс, состояние, а это именно процесс? Знание как процесс.

М.И. Это третье – не состояние и не процесс. А знание, перевод из одной формы, от значения к смыслу, а от смысла – к значению. Значение и смысл.

В.Д. То есть если я что-то знаю, то в тот момент, когда я это знаю, я претерпеваю некоторые изменения?

М.И. Да.

В.Д. Об этом я не думал, но мне это нравится, это интересно. Ну вот чем подход лингвистов отличается от подхода психолога? Казалось бы, исследуем то же самое: и употребление языка, и семантику разных знаков, слов и т.д., но лингвисты в этом смысле «бегают со связанными ногами». Мы в минимальной степени допускаем в качестве филологического метода вмешательство с помощью психофизиологических методик. Это уж скорее достояние психологов. Вообще филологический метод основан на том, чтобы наблюдать за тем, что уже существует, внимательно смотреть на это, пытаться любовно проинтерпретировать и получить выводы о том, каковы правила употребления тех или иных знаков, которые допускают

определенные цепочки слов и выражений и которые, наоборот, не допускают другие цепочки.

О знании и запрете

М.И. Я помню, после первого курса вы ездили в экспедицию изучать шугнанский язык на Памире. И ты с удовольствием рассказывал, как, наблюдая то, как народ там общается, вы обнаруживали грамматику...

В.Д. Да-да-да.

В.П. В филологии же запрещен эксперимент...

В.Д. Нет, он есть, но он другой. Мы задаем информанту вопрос: можно ли так сказать? Это в некоторой степени имеет отношение к поведенческой реакции. Но опять-таки, по неписанным законам филологического метода, грубого давления на информанта по таким вопросам допускать нельзя.

В.П. А вот в психологии есть такой метод – метод сопряженных моторных реакций и метод не семантического дифференциала. А точнее, «семантического радикала» – так «обозвал». Если упрощать, то суть метода в том, что когда даешь какие-то аффективно заряженные слова, характер ассоциирования меняется. У меня курсовая работа четвертого курса была об этом: формировали искусственные понятия, объекты, входящие в объем понятий, – и подкрепляли слабым ударом электрического тока. В качестве испытуемых использовали своих приятелей. И в плане оборонительной реакции (ее можно засечь по сопротивлению кожи или по расширению-сужению капилляров) идет перенос на семантические связанные объекты. Таким образом можно восстановить семантические поля, через чисто физиологические реакции. В дальнейшем вот в детекторе лжи придумали, как это использовать. Но фактически уже у этих методик они могли засечь аффективные области через семантические связи...

Мы еще в гипнозе, например, давали запрещение видеть сигареты. И человек тогда не видит не только сигареты, он не видит пепельницу, он не видит зажигалку, или зажигалку видит, но крутит ее, как какой-то цилиндр, говорит: «Наверное, из-под валидола», – т.е. оттормаживает ее предметную функцию. То есть выпадают не только запрещенные объекты, но и семантические связи – как будто в картине мира образуются определенные пустоты.

Такое случается не только в экспериментах с гипнозом. Бывает, что, например, если девушку изнасиловали, у нее могут выпадать из картины мира (а могут и не выпадать) все вещи, связанные с этим аффективным переживанием.

Мы вообще осознаем то, что можем выразить в слове, в понятии. Если мы блокировали каким-то образом вот эти понятия, мы не осознаем. То есть если даешь в гипнозе запрещение видеть какие-то вещи, на-

пример лыжи. Лыжи лежат перед человеком, но он не называет их, когда перечисляет предметы. Хотя он обходит эти лыжи, когда передвигается по комнате. То есть не идет напролом – он же их видит, он обходит, но не осознает эти лыжи. Осознание связано с актуализацией понятия.

В.Д. Алкогольное кодирование на том же построено?

В.П. Да, иногда при кодировании у алкоголиков специально вырабатывают очень сильный страх перед алкоголем. Они видят, как разлагается их тело... Но если просто вызвать страх перед алкоголем, человек будет клей нюхать или найдет какой-то другой заменитель. Важно не только вызвать страх перед алкоголем. В гипнотерапии, например, пациенты еще «летают в космос», созерцают Землю, оборачиваются демонами... Чтобы самооценка возрастала и т.д. И вот после такого курса из 10–15 сеансов у людей появляется не только страх перед алкоголем, но и какие-то новые желания – поступить на другую работу, что-то сменить, может, даже жену поменять. Возрастает самооценка. Хочется изменить стиль жизни совсем. Это другое, более эффективное лечение, чем просто вызвать страх. Это система мотивации и ценностей перестраивается. Но это более сложно.

В.Д. В связи с этим хочу сказать, что мы тоже находимся, когда занимаемся наукой, во власти вот этих самых императивов – увидеть что-то, или не видеть чего-то.

В.П. Конечно!

В.Д. Итак, метод основан на том, что ты видишь лыжи в рамках своего метода, ты их ощущаешь, но ты их интерпретируешь не как лыжи, не адекватно тому, для чего эти лыжи были созданы и поставлены в твоей прихожей. То есть в нашей науке мы действуем так, как если бы мы были загипнотизированы каким-то высшим существом, которое заставляет нас все воспринимать именно данным способом, но не другим. Например, когда объясняют феномен постоянного значения, того, что знак имеет какое-то устойчивое «лексическое» значение. Скажем, слово *стол*. Задай вопрос любому носителю русского языка, он вам скажет – это на четырех ножках. Но почему слово *стол* означает именно предмет на четырех ножках? Вслед за Соссюром язык нам говорит: «Ты этому слову можешь приписать любое значение, но не это, не это, не это». А в результате остается то значение, которое равносильно предмету на четырех ножках. То же самое с этими лыжами. Мы все находимся в этом самом состоянии своеобразного группового гипноза, если угодно, когда вы видите одно и то же в одних и тех же предметах. То есть мы интерпретируем мир и речь о нем только в рамках заранее предначертанного в нашем обществе образа.

И.Ф. То, подо что есть понятие в определенной сфере.

В.Д. Совершенно верно. В связи с этим всплывает разграничение понятий культуры и цивилизации. А именно, в рамках определенной этнической культуры мы употребляем разные слова. Когда же мы рассматриваем методические приемы наук за пределами одной конкретной культуры, в «надкультурном» пространстве, речь идет о факторе научной

цивилизации. Здесь могут быть не только положительные эффекты, но могут быть дополнительные ограничения и запреты, аналогичные эффекту лыж, о котором мы уже говорили. Вот в этом смысле наука в не меньшей степени подвержена коллективному гипнозу. Я вообще с восхищением воспринимаю работы Виктора, связанные с гипнозом. Под этим углом можно сформулировать и подход к проблеме понимания. Если мы кого-то понимаем, значит, в этот момент мы находимся в своеобразном гипнотическом состоянии, хотя бы секунду. Например, я говорю: «По небу бегут белые облака». И если в этот момент вы не увидели чего-нибудь белого, синего, голубого, значит, вы не носитель русского языка. То есть адекватное владение уже самим языком происходит в некотором состоянии, близком к гипнозу, в который мы приводим себя добровольно. И в науке тоже, при восприятии чужих теорий и концепций.

М.И. Это интересно. У нас есть такая система запретов, которую в каждой из наших дисциплин ввели не мы лично, а наши учителя, есть традиции. Довели до какой-то изысканности запретов и разрешений. И вот мы эту изысканную игрушку как метод используем. Виктор ток измеряет, ты алломорфы различаешь, мы политические корреляции выявляем. Мы все этим занимаемся. А что если попробовать из этих изысканных вещей взять и сделать наиболее изысканную. Посмотреть, какие два-три базовых запрета там есть. И вот если мы такую штуку сделаем, нельзя ли тогда не трансфер знаний осуществить, а трансфер инструмента, запрещающего?

В.П. У Витгенштейна есть высказывание, что язык ограничивает, дает границы нашего осознания мира.

В.Д. «Границы моего языка – это границы моего мира».

В.П. Да.

В.Д. Это «ранний» Витгенштейн.

В.П. Неважно. Я это вспомнил к тому, что язык позволяет осознать мир и одновременно задает рамки этого осознания. Очень, на мой взгляд, вредное понятие, которое дает ограничение в гуманитарных науках, а взято оно, собственно, из естественных. Это понятие – объективная действительность, истина. Что есть нечто, не зависящее ни от культуры, ни от языка, оно существует. И что вот оно способно транслироваться.

В.А. Но эти термины употребляются, вот что интересно.

В.П. Но они очень мешают. Ведь любой язык базируется на системе каких-то базовых метафор.

М.И. Это Джордж Лакофф и Марк Джонсон.

В.П. И вот эти базовые установки, типа такой механистической философии, очень мешают дальнейшему развитию и естественных наук, и в первую очередь гуманитарных, в которых роль культуры, языка, субъекта гораздо более заметна. Вот у меня, например, дискуссия с одним американским коллегой была о том, есть ли эмоциональная наука. Вот с точки зрения теоремы Пифагора наука интернациональна, в любой стране теорема одинакова. В общем-то даже в естественных науках роль культуры

все равно сказывается. Возьмем логику, какая-нибудь логика английского позитивизма и буддистская логика – это достаточно разные реалии.

В.А. Ну историки философии находят общий язык.

М.И. Естественно, что-то общее есть.

В.Д. В рамках каждой культуры можно говорить о научных принципах (какими бы примитивными или, наоборот, продвинутыми они ни были), они обусловлены культурой. Но когда возникает цивилизация как надкультурное образование, тогда можно говорить о том, что некоторые культурно обусловленные научные принципы приобретают статус надкультурных, цивилизационных научных принципов.

М.И. Если не культурой обусловлены, то чем?

В.Д. Пожалуй, научные принципы все обусловлены культурно. Но есть возможность перехода от культурной обусловленности в цивилизационную обусловленность. Вот мы живем в мире, где аксиомы Эвклида и правила логического вывода цивилизационно обусловлены. В иной культуре (например, в культуре папуасов Новой Гвинеи, описанной этнографами), где не учат математике в школе, принципы математического исследования тоже, наверное, есть: ведь умеют же они считать хотя бы до двух и могут поделить землю. Но эти принципы не являются частью нашей цивилизации или другой какой-либо цивилизации.

М.И. Я вас прерву. Просто с этой стороны сидят три человека, которые сталкиваются в своей жизни с ситуациями, в которых ряд некоторых наших коллег (назовем их так) говорят: «Нет, ребята, ваша политическая наука – это фигня. Надо создать русскую, практическую, отечественную, настоящую». Так что тут палку нельзя перегнуть. Научи богу молиться, так он лоб расшибет. Поддай мне русскую науку политическую!

В.П. И здесь еще такой вопрос: если ограничения снять, то тогда где гарантия, что не произойдет наплыва аутического и просто бессмысленного на мысленные конструкции?

В.Д. Да, но это расплата за то, что мы пользуемся в нашей науке цивилизационно обусловленными понятиями типа «истина» и «объективность». В то же время ясно, что, например, историческая наука создана для того, чтобы обслуживать интересы существующих классов. Может быть, мы не все называем это классами. Сейчас общество сильно изменилось по сравнению с тем, что было в XIX в. Все не так просто. Но тем не менее что тут говорить – история науки нас учит тому, что, во всяком случае, социальные и гуманитарные науки обслуживают в том числе и интересы общества, каким бы оно ни было.

В.П. Но правд может быть много. И они конкурируют.

В.Д. Побеждает сильнейший.

М.И. В этом смысле то, о чем вы говорите, верно по отношению к разным научным дисциплинам и к разным научным направлениям внутри одной дисциплины со своими методами. Они все как бы занимаются вот этим взаимным исключением.

В.Д. И взаимным дополнением.

М.И. И взаимным дополнением.

В.Д. Так что это не безнадежный релятивизм.

М.И. Но такой релятивизм ведет нас к расширению – к увеличению количества не только данных (об этом Валера говорил), но и методов.

В.Д. И теорий.

М.И. Так вот – нельзя ли осуществлять не только расширение, но и сведение?

В.П. Можно провести аналогию с генетикой. Когда уж очень высокая изменчивость, вид пропадает. Но и если консервативный очень, он тоже пропадает.

Об эмпирическом и теоретическом

В.А. По поводу того, что, мол, науки обслуживают, я помню, читал статью Валлерстайна. Он пишет о социальных науках – как они возникли и для чего они. Что они возникли как бы в противовес, для ограничения консервативных тенденций в политике. То есть в XIX в. после Французской революции победила реакция, к середине XIX в. установился реставрационный консервативный режим в Европе. И именно в этот период появляется идея социальных наук...

В.П. Под знаком объективизма.

В.А. Да-да. То есть социальные науки возникли как средство скорее не сопротивления режимам, а подталкивания в реформаторское русло вот этих консервативных режимов. Да, под знаком объективности...

В.Д. Путем их перевоспитания.

В.А. Да, стимулировать эти консервативные режимы к реформам. И этим Валлерстайн объясняет появление идеи и метода социальных наук. Они появились как форма знания, ориентированного на естествознание, где главный критерий – объективность. Они взяли оттуда эту идею и предъявляли ее консервативным политическим кругам как аргумент в пользу того, чтобы те проводили реформы в направлении, которое указывает наука. И отсюда линия на просвещение чиновничества – чтобы были реформы и т.д. И реформы действительно пошли. Вот с этим может быть связано появление социальных наук с их установкой на объективность в XIX в.

В.Д. Но тогда же родилась идея о том, что естественные науки держатся на других принципах, чем науки о человеке.

В.П. Ну она чуть позже родилась. Потому что сначала они должны копировать...

В.Д. Когда речь идет о математических законах, интегралах, дифференциалах, то вне зависимости от того, к какой партии мы принадлежим, будут одни и те же результаты. Вот здесь как раз тот случай. Вы помните, мы начали с положения о том, что в наше время уже давно существует по-

нятие задачи, которая решается с помощью того или иного метода? Есть такие методы, которые решают одни и те же задачи и дают одни и те же решения, а есть и такие методы, которые дают разные результаты. Если не ошибаюсь, во времена нашей молодости Андрей Николаевич Колмогоров издал книжку, в которой рассказывалось о том, как одни и те же задачи при решении разными методами, особенно в теории вероятности, дают разные ответы. Мораль была такая: ребята, хоть метод теории вероятности объективен, но есть те случаи, когда даже не различия в интерпретации дают разные результаты, а само решение задачи, причем абсолютно логичное, может дать в одном случае дважды два – четыре, а в другом случае – 4,4.

В.П. И из этого вывод?

В.Д. Вопрос остается открытым. Но тем не менее, есть такие задачи, на которые эксперты в одной и той же области при решении разными методами могут дать разные ответы. Раз уж в математике это так, где объективность у нас зашкаливать должна, то...

М.И. Вопрос: а точно ли это одна и та же задача?

В.Д. Это очень хороший вопрос.

М.И. Может быть, это чуть-чуть другая задача.

В.Д. Может быть, да. Ну это такой оптимистический способ ответа на вопрос. Потому что если признать, что задача та же, то мы должны отказаться от разграничений точных и полуточных наук. А в принципе, если следовать когнитивистам, есть шкалы такие, как объективность, точность и т.д., где на одном полюсе что-то приближенное к математике, а посередине где-нибудь – другие науки. Вот мы с вами и сидим посередине.

М.И. Валера, вот как раз мы-то, собственно, вокруг этого, о чем ты сейчас говоришь, и вертимся. В одной из статей, которую недавно мы с Ваней написали, он с этого начинает, с разграничения качественных и количественных методов. А потом идет дальше: что количественные и качественные – не совсем точное название и т.д. Это – Ваня, я ему там в статье только подыгрывал. Посмотрите, что у нас получается. Можно работать с мерой, числом и т.д. Все равно где. Это не обязательно касается физических объектов. Можно и слова измерять, можно и количество картин, мазков и т.д. Только если будешь измерять количество мазков на картине, ты не получишь адекватного знания про эту картину.

В.Д. Еще зависит от того, каким маслом написана картина.

М.И. Каким маслом, да. Совсем другое – когда мы хотим заметить качество... По поводу качества здесь мы с вами выкруливаем на смыслы, на семиотику и т.д. Однако, оказывается, есть еще смешанные методы, которые ни туда ни сюда не попадают. Что это такое? Мы решили рискнуть и назвать это морфологией – то, что с формами связано.

И.Ф. Тут проблема в том, что термин «смешанные методы» – вообще термин не очень удачный, потому что, по сути, люди с его помощью пытаются сказать, что можно смешивать методы качественные и количе-

ственные. Но само по себе разграничение методов на количественные и качественные оказывается не очень содержательным. Особенно это касается качественных. В чем их суть? Может быть, стоит вместо количественных и качественных методов говорить о семиотических методах, о математических методах и о методах, как Михаил Васильевич предлагает, морфологических – конфигуративных, таких как QCA. И это более содержательное разграничение будет.

М.И. Да, например, такой смешанный метод, который называется QCA, качественный сравнительный анализ. В чем он заключается? Он заключается в том, что мы выявляем некий набор условий политических или социальных, не важно, может быть, даже житейских свойств или показателей. Их мы считаем условиями. Потом мы составляем набор каких-то явлений, которые являются откликом. Мы смотрим, какие связи обнаруживаются между комбинациями условий и откликов. Мы смотрим, с какой вероятностью у нас появляются определенные комбинации... Вот это фон. Это не смысл.

И.Ф. Смысла – а значит, семиотики – здесь нет никакого. Это конфигурация, т.е. морфология.

В.Д. Вот это есть в палеонтологии – когда вы видите форму резцов и заключаете, что у мужика не было хвоста.

М.И. Да, типа этого.

В.Д. Это пафос палеонтологического исследования еще в XIX в. Хотелось бы (это было пределом мечтаний для нас, со времен еще объективизма в социальных и гуманитарных науках), чтобы можно было по образцу, в парадигме (как сейчас принято говорить) палеонтологии, восстанавливать недостающие части или их реконструировать. Более того, лингвисты до сих пор так делают. Например, когда на основании 100–200 корней, которые совпадают полностью или частично в совсем разных языках и между которыми существуют регулярные соответствия, делают выводы о том, что, скажем, китайский тоже входит в ту общую «прасемью» или «сверхсемью», в которую входят индоевропейские и урало-алтайские языки. Но вот такой опасливый индоевропеист начала XX в., как Антуан Мейе, так далеко не заходит. Для него материал должен быть сверхбольшим, если не исчерпывающим, чтобы обладать доказательностью. И здесь мы приходим как раз к тому самому положению, от которого стартовали. Чем больше эмпирическая база, на которой делаются научные выводы, тем надежнее эти выводы. Вывод тривиальный с точки зрения статистики. Чем больше эмпирическая база, тем более обоснованы выводы, которые мы можем сделать. Эти выводы должны относиться со стопроцентным успехом к этой эмпирической базе. Но ведь есть и другая опасность: чем больше эмпирическая база, тем труднее сделать какие-либо обобщения. Когда эта база сверхвелика и необозрима, то сформулировать гипотезу бывает сверхтрудно и даже невозможно. То есть тогда возникает вопрос: зачем нам такие большие базы данных создавать огром-

ными трудами, не мартышкин ли это труд, если в итоге мы это освоить не можем? Тут возникает понятие освоения знаний, опять-таки как эта объективация знаний или отношений. Однако, как всякий оптимист, я не считаю, что это мартышкин труд. Я считаю, что мы все занимаемся нужным делом. Высказанные сомнения означают, что во мне как бы говорит «адвокат дьявола».

М.И. Ну понятно. Надо всегда, как Кант нас учил, с критикой по своим самым любимым мнениям.

В.А. Ну да. Здесь вот возможен эксперимент как выход. То есть экспериментируют в некоторых искусственных условиях, которые позволяют обобщить сразу очень большой массив материала.

В.Д. Так, Кеплер вывел свой закон почти эмпирически. Только потом под него подвели математическую подоплеку, но первично были большие таблицы движения звездных тел. Но это тот самый случай, когда данных было по сегодняшним масштабам не так много на фоне того, что мы имеем сегодня. Даже протоколы наблюдений за мышами в разных лабораториях мира: эти протоколы обработать, наверное, можно, но один человек этого сделать не сможет, конечно. Или это будет тривиально, когда тысячный эксперимент делать будет уже бесполезно.

В.П. Мне кажется, там будет такой альтернативный, что ли, ход, это не много-много эмпирии, и потом статистическая обработка, а построение...

В.А. Искусственной эмпирии? Создать искусственную эмпирию?

В.П. Нет-нет. Альтернатива – когда мы строим некоторую целостную модель... Целостную «фантазийную» модель философы создают, например. Конечно, не на основе какой-либо кропотливо измеримой фактуры, а априорно.

И если, например, мы поставим задачу построить модель, объясняющую мгновенную нелокальную передачу состояний, то ее можно создать не сбором статистики, а как теоретическую модель, у которой есть разные следствия, в том числе включающие и вот этот редкий феномен. Если теоретическая модель хорошо работает на разных следствиях, значит, она должна быть правильной и по отношению к единичным редким случаям. То есть модель не снизу, а общая – через целостную картину.

В.Д. Как таблица Менделеева?

В.А. Дедуктивный метод?

В.Д. В случае Менделеева – не совсем дедуктивный. Скорее гипотетико-дедуктивный. Скажем, в зародыше понятие гомологического ряда можно найти даже в XVII в., кто его знает. Но главным достижением модели Менделеева было обобщение большого числа эмпирических данных.

В.П. А потом эта модель находит подтверждение в открытии какого-то нового феномена, да?

В.Д. Причем подтверждение не замедлило возникнуть при жизни Менделеева. А в социальных науках, вот запрос к политическим наукам, – сделать так, чтобы была достигнута та или иная политическая задача, ка-

кой бы абсурдной или бесчеловечной она ни казалась. Вот такой запрос к этой науке, которая должна, по идее, быть над моралью. Или, скажем, в психологии – как вызвать состояние гнева или какой-либо другой аффект; или как можно затормозить или увеличить привязанность к тем или иным состояниям. То есть система понятий этой задачи может быть очень частной, может быть аморальной, может быть наоборот. Это сейчас как-то тоже витает.

В.П. Когда мы проводим исследования в физике, к примеру, мы пытаемся описать, грубо говоря, то, что (я не люблю это выражение) «есть на самом деле». То есть отсыл все-таки к построению моделей и исследованию следствий, вытекающих из этой модели. Как только мы переходим в гуманитарную сферу, для нас оказывается важным не только описание моделей и следствий, но видение мотивов и целей. То есть любая гуманитарная концепция ценностно ориентированная. Мы закладываем в нее свою ценностную картину, т.е. в этом смысле конкурирующие модели – это конкурирующие идеологии.

В.Д. Да, но есть такие идеологии, которые человек не осознает, пока не поймет, что теория, которой он придерживается, действует против его интересов. Он попадает в состояние когнитивного диссонанса, когда это обнаруживает.

М.И. Понятно, но в нашей традиции тоже существует представление о том, что не должно быть ничего абсолютно безграничного. Великий Макс Вебер говорит, что знание нужно сделать максимально *vertfrei*, ценностно нейтральным. Не в том, конечно, смысле, что оно становится полностью независимым от ценностей и оценок, свободным. Этого он никогда и не утверждал. В своем стремлении быть ценностно-нейтральными мы контролируем и свое познание, и его результаты. Ты просто не даешь ценностной составляющей превысить некий предел, который может оказаться критически фатальным для твоего дела. Точно так же – если это зеркально развернуть к естественным наукам. Отказываясь от ценностей, ты тоже можешь уйти в такой предел, объективистский.

Органоны и сенсорiums

М.И. Это очень хорошо, что мы в такие глубины опустились. Дело в том, что мы в процессе прояснения характера органов пытаемся идти к истокам мышления, к поиску когнитивных примитивов. Это одно из направлений, которое нам кажется перспективным. Вот я и хочу задать несколько вопросов, касающихся всяких примитивов. Я позволю себе некую игру в триады. Это не утверждение, будто все в мире четко триадично, как у Пирса. Давайте посмотрим на некие триады, с которыми мы играли. Отчасти я уже говорил об этом, когда вспоминал Ванино различение количе-

ственных, качественных и смешанных методов. Вот в чем штука. Смотрите, у Канта есть чистый разум, практический разум и способность суждения. У него же три разных критики, три разных способности человека, и он их доводит до какой-то очень высокой степени, крайне обобщенной. Если попробовать с чем эти способности и эти критики связать, что может получиться? Вот чистый разум. Надо сказать, что он работает с мерой, с числом. Он с какими-то мерными и закономерными отношениями связан. А вот практический разум связан с формами. Если то, что я объяснял, понятно, двинемся дальше. Если непонятно, можно сказать еще. И способность суждения, соответственно, имеет дело со смыслом, с качеством. А вот дальше, Витя, – это то, что, собственно, ваши люди открыли. Сила, активность, оценка. Можем ли мы с кантовскими категориями сопоставить? Можем ли мы сказать, что, например, сила связана с чистым разумом и, соответственно, с мерой; практический разум, форма – с активностью; и способность суждения, смысл – с оценкой?

В.П. Сказать можно, но я не вижу особого смысла.

М.И. А смысл единственный. Мы играем в эти игры, чтобы искать основания примитивов. Потому что пока мы говорим о «способности суждения», это всеми воспринимается как чисто философская абстракция, а вот смысл в том, чтобы пощупать ее, способность суждения, довести ее до чего-то совсем простого, до самого предельно примитивного. В самом простом виде сенсориумы – это чувства, пять основных чувств. А можно сделать три «суперсенсориума»: это, соответственно, глаза (основной поток информации идет у нас через глаза); рука – орган тактильного чувства, ощупывания (хоть вся кожа тоже чувствует, но рука-то по-настоящему); и ухо – слух.

Понятно, что этими тремя категориями мы не можем ничего исчерпать, потому что есть какие-то дополнительные сенсориумы. И вкус, и запахи, и чувство времени, и т.д. Но эти три чаще всего и наиболее активно используются с точки зрения того, чем мы занимаемся в нашей деятельности, – больше 90% сюда попадает. Наверное, то, что из этих примитивов выросло в научной деятельности, тоже, наверное, занимает те самые 90%. Может быть, есть какие-то изысканные науки, которые обращаются к каким-то ответвлениям. Такая вот фантазия. Насколько она – бесперспективная игра ума; или, может быть, в ней все-таки что-то есть?

В.Д.: Можно я приведу следующее соображение. Есть такая теория (Пола Грайса) касательно того, как, например, мы интерпретируем высказывания, когда чувствуем, что нам сообщают слишком много или «мимо кассы». Например, вы приходите в школу и спрашиваете: «Как учится мой сын?», а вам говорят: «Вы знаете, замечательный товарищ». Я спрашиваю: «А по математике?» – «Вы знаете, он играет в футбол лучше всех!» То, что я узнаю, то, что я домысливаю, получается в результате следующих соображений: мне должны были ответить про математику, а мне говорят про футбол и сообщают информации больше, чем я хотел получить. Какой вы-

вод отсюда следует? Видимо, они что-то неприятное не хотят мне сказать. Вот такие случаи называются импликатурами смысла. То есть выход за пределы буквально сообщенного и даже метафорически сообщенного «коммуникативного» смысла, который не обязательно прямо мне вручается. То, что ты, Миша, сказал, относится к получению или «вычислению» этих самых импликатур смысла по Полу Грайсу.

М.И. Да. Понимаешь, вот это разделение отчетливо видно «наверху», когда у нас большая специализация. Вот в науке появляется большая специализация, по дисциплинам, по школам и т.д. Тогда это видно. А когда мы идем вниз, к истокам того, где примитивы сидят, первые способности, исконные способности, они-то оказываются неспециализированными. На том уровне оказывается, что одна способность без другой не в состоянии ничего сделать.

Мы-то сейчас уверены, что, например, с помощью математики можем решать математические задачи и всё. А когда мы берем эти примитивы, то сам по себе глаз или сама по себе рука недостаточны. Они взаимодействуют.

В.П. Ну конечно.

М.И. Они в связке. Вот на этом базовом уровне разделение невозможно. Оно возможно только тогда, когда мы смотрим сверху. Но мы этого можем не замечать.

В.П. Не случайно глаз называют щупом. То есть если человек не будет двигаться, он не научится зреть.

М.И. Да. Вот это, кстати, очень интересно. Примитивы – как у ребенка. У него вот эти все наши пять сенсориумов (или 25) сплетены.

В.Д.: Но с другой стороны, в науке, так же как и у детей, действует деструктивный инстинкт, инстинкт разрушения: для того чтобы убедиться, что ты существуешь, тебе нужно ударить по столу или лягнуть стекло в автомате. Для маленького ребенка или даже для взрослого ребенка это способ убедиться, что он существует, раз он что-то может изменить в этой жизни. В научной деятельности мы уничтожаем, скажем, противоположные мнения фразами типа: «Ах, какая чепуха!» Тем самым мы пытаемся убедить себя в том, что мы существуем как мыслящие сущности. Но попутно мы уничтожаем, возможно, более адекватные суждения о том, что нас окружает.

М.И. То есть методологически, если мы свой метод оттачиваем, да?

В.Д.: То и значит, что мы нечто уничтожаем.

М.И. Мы отбрасываем другой метод, объявляем его неподходящим.

В.Д.: В итоге, как в случае с этой несчастной генетикой, на долгие годы мы отказываемся от еще одного взгляда. И примеры такие были не только в биологии.

В.П.: Тогда критерий успешности заключается в том, насколько ты смог закабалить всех остальных.

М.И.: Лысенко тогда был гениальный.

В.П.: Ну и Павлов.

О непосредственном знании

И.Ф. Это интересно продолжает сюжет со знанием как запретом, ограничением. Если мы тогда вернемся к вопросу о примитивах, то можно подумать о каких то фундаментальных ограничениях. И что получается? Вероятно, первое ограничение – это разделение на субъект и объект. Ведь фундаментальный запрет состоит в том, чтобы запретить себе обращать внимание на отсутствие такого разделения. Или не обращать внимания на то, что это разделение – это нечто, что мы сами производим. И тогда возникает знание – когда проблематизируется эта нами самими созданная граница между субъектом и объектом. И когда есть граница – появляются и какие-то каналы между субъектом и объектом. Каналы, через которые субъект познает объект и его конструирует. И какими конкретными способами это конструирование происходит – это как раз и есть вопрос о сенсориумах и органах. Какие у нас есть фундаментальные каналы и способы связывать субъект и объект, которые мы сначала разделили?

М.И. Ванечка, меня тут знаете что настораживает? Что мы берем очень позднее, на самом деле, различие на субъекты и объекты, потому что исходно «примитивные люди» воспринимают мир как такой же субъект. Так сказать, дерево там – такой же субъект. И где переход от объекта к субъекту? Если я – такое же дерево. Ну и так далее.

И.Ф. Да, соглашусь. Но это как раз та ситуация, в которой это фундаментальное разделение-ограничение еще только нарождается. Субъекта и объекта еще нет, но есть уже что-то Другое, пусть и похожее на меня, – такое, которому я могу сопереживать. Граница уже появляется, но она еще очень проницаема. Уже нет полного слияния с окружающим миром, но еще очень сильно эмпатическое ему сопереживание, которое, наверное, и можно считать первичным непосредственным каналом знания, который предшествует развитию других органов и делает их возможными.

У нас один из вопросов к дискуссии был, кстати, как раз про это. Он был навеян вашими, Виктор Федорович, рассуждениями про то, что помимо опосредованного языка канала мировосприятия у человека существует также канал (или каналы) прямого, непосредственного знания. Вы как раз писали про горизонтальный канал – эмпатию и вертикальный канал – интуицию.

В.П. В медитации, например, мы снимаем субъектно-объектную позицию. То есть мы интегрируемся с миром. Тогда уже не от субъекта. Ты можешь побыть капелькой росы на листочке.

И.Ф. Да, в расширенных состояниях сознания усиливается и способность к сопереживанию. Так может быть, это и есть основание наших познавательных способностей? Эмпатия, как фундаментальная познавательная способность, как способность увидеть другого через себя и себя в другом.

В.П. Это канал...

И.Ф. Канал для «мягкого языка»?

В.П. Это канал передачи состояний.

И.Ф. Кстати, на мой взгляд, здесь очень трудно не использовать понятия, не связанные с языком. Но в то же время, мне кажется, самое интересное в этом разговоре: а что есть *до* языка?

В.А. А язык – это все-таки то, где есть расчленение. То есть язык – это жесткое.

В.П. Да, даже «мягкие языки» – это уже достаточно жесткое. Но в иной степени жесткое. Язык музыки, например.

В.Д. Нет, «язык музыки» – это, конечно, метафора, так же как и язык поэзии. Сказать, что там есть система именно языкового свойства, – это большое обобщение. Там есть еще что-то не только языкового характера.

В.П. Но есть еще более глубокий уровень, когда вообще нет выделения субъекта-объекта. Хотя в неглубоких медитативных состояниях все-таки что-то есть. Какие-то образы.

М.И. Вить, расскажи о состояниях? Они более простые? Или это что-то параллельное? Или, может быть, по-своему более сложное?

В.П. Мне кажется, что это снятие субъектно-объектной оппозиции ведет, так сказать, к полной эмпатии с миром. И ты переживаешь состояние другого человека и т.д. Нет противопоставления «ты объект – я субъект».

И.Ф. Думаю, чтобы понять что-то о фундаментальных свойствах познания и механизмах «сборки» мира, стоит обратить внимание на некоторые духовные традиции. На те, в которых есть развитые созерцательные практики и работа с недвойственными состояниями. В этих традициях довольно развитая система категорий для описания такого рода универсалий. Например, в тибетских учениях. В дзогчене, скажем, ведут речь о трех самопроявляющихся из ясной пустоты потенциальностях. Это – *звук, свет и лучи*. И есть специальные практики, которые позволяют эти потенциальности обнаружить.

М.И. Лучи?

И.Ф. Да. В этой системе лучи и свет – это разное. Свет еще не подразумевает цвета. Цвета из него еще не развиты. Они как раз появляются, когда есть лучи.

В.П. Про эти стадии очень трудно говорить, потому что они не понятийные, как только мы переходим к системе понятий, их описывающих, мы неизбежно уже выходим в другую сферу.

М.И. Да. Мы их разрушаем. Это физический эксперимент, который разрушает объект.

В.П. Но я полагаю, что существуют иные каналы или канал вне, так сказать, языка. Языка разной степени жесткости.

И.Ф. Там непонятно, какой это канал. Если нет ничего, что этот канал соединяет... В общем-то метафора канала тут уже перестает работать. Поскольку исчезает то, что надо соединять.

В.П. Да, канал предусматривает, опять же, образ чего-то, что связывает пространство и время.

И.Ф. Там скорее уже метафора порождения начинает работать. Когда есть пустота, которая порождает из себя мир.

В.П. Это как на одной конференции в Дубне Андрей Кураев «попер» на буддизм, так сказать. Ему не нравится буддизм – что люди, поклоняются пустоте.

М.И. Так пустота – это в чань-буддизме центральное понятие.

В.П. Он никогда не переживал, очевидно, каких-то таких измененных состояний сознания. У него пустота – это пустота.

И.Ф. Уже есть такая традиция перевода – использовать русское слово *пустота*. Может, не самое удачное.

В.П. Но то, что ты чувствуешь под этим термином, – это совершенно не пустота...

И.Ф. Опять же в дзогчене говорится, что у природы ума есть два неделимых аспекта. И пустота – только один из них, а второй – ясность. Вместе эти два термина, мне кажется, более точно работают. Они позволяют передать, что наша истинная природа пуста, но обладает бесконечными возможностями для проявления.

М.И. Пустота, на самом деле, – это очищенность. По-китайски кон. Это слово и так можно перевести, однако и это тоже будет не совсем точный перевод. Я просто имею какое-то отношение к практикам очищения. У меня есть опыт, полученный в шаолинской школе в Москве. Да и в самом Шаолине я уже трижды побывал. И там, в горах над монастырем, есть пещера, в которой сидел Дамо, основатель чань-буддизма. У нас его обычно дзен-буддизмом называют. По легенде он девять лет сидел в пещере – тоже кон – и в стенку смотрел, чтобы постичь пустоту-кон и добиться очищения. Это потрясающе!

В.П. У меня такой наивный вопрос, когда он сидел, у него взгляд упирался в стенку в течение девяти лет, приобретал он в это время какие-то знания?

М.И. Естественно.

В.П. С моей точки зрения, да. Но это знания совершенно не понятийного рода.

М.И. Не понятийного. Они как раз инструментальны. Отсюда медитация и возникла в чаньской традиции. Хотя медитация и до этого существовала.

В.П. Она везде, в любых религиях существует.

М.И. Да, да. Это понятно. Однако в чаньской традиции ее попытались довести до предела. Ты после подготовки, настроя занимаешь позу медитирующего и начинаешь как бы поэтапно, шаг за шагом исключать то, на что твое внимание в данный момент падает. Ты чувствуешь, у тебя коленка болит, значит, ты должен так дальше дышать через коленку, чтобы перестать ощущать и боль, и неудобство. Страдание исключается шаг

за шагом, как Будда учил. Потом ты еще что-то исключаешь, и еще, пока не приблизишься к пустоте.

В.П. Есть разные техники вхождения в такие состояния. Но вот самое простое – например, помню, я плясал с кришнаитами часа три-четыре. Повторяя одну мантру.

В.Д. «Харе Кришна»?

В.П. Ну да. Интересно, просто я на себе пережил: если очень долго повторять какую-то мантру, происходит остановка вербального сознания. Вдруг начинается мощный выброс каких-то образов. Совершенно другой тип медитации – зикр или когда молящиеся иудеи раскачиваются. Ритмические движения и со сменой дыхания – тожеходишь в трансное состояние. В любом случае происходит остановка вербального сознания. Потом – мощный выброс образов.

В.Д. Это галлюцинации? Или как это называется?

В.П. Что?

В.Д. Эти выбросы.

В.П. Можно сказать, галлюцинации. Но в галлюцинациях обычно есть какой-то негативный компонент. Это что-то, что у психически больных возникает. А это скорее просто мощные какие-то образы, связанные с твоей культурой. Если ты в исихазме повторяешь иисусову молитву, то у тебя будет что-то связанное с христианством. Если ты буддийские какие-то медитативные практики делаешь – Будду увидишь, и т.д.

В.Д. То есть остаешься в том же регистре. Не выходишь. Не так, что ты, допустим, молчишь и думаешь о Христе, а при этом выскакивают буддийские образы. Или может быть?

В.П. Я такого не наблюдал. Я говорю про то, что я сам наблюдал. Еще более глубокая медитация, в которой у меня мало опыта, связана уже с непредметными какими-то состояниями. Наверное, великие святые выходили туда.

В.Д. Ты туда не ходил?

В.П. Может быть, чуть-чуть приближался. Но, мне кажется, что касается языка, когда идет блокирование вербального сознания, начинается какая-то образная сфера, а еще глубже – это чисто какое-то целостностное состояние интегрированности в мир.

В.А. То есть это погружение с каких-то верхних слоев сознания все глубже, глубже, глубже, глубже уход туда.

В.П. Да. Туда, и со снятием субъектности.

В.А. То есть это эволюция наоборот. Прделанное эволюцией мы как бы элиминируем и движемся назад, в противоположном направлении.

В.П. Я бы так не считал. Тогда получается примитивные организмы, они целостностные, и мы движемся к ним. Не знаю.

В.А. Если представить сознание слоями, то, можно сказать, мы снимаем верхние слои, идем в нижние.

М.И. Володь, это не совсем так. Безусловно, здесь постоянно идет игра с какими-то очень простыми навыками и способностями. Базовыми. «Простыми» – не в смысле «примитивными».

В.А. А в смысле?

М.И. Основными. Но они тоже разные. Они тоже дают разные эффекты. Вот я практикую еще в другой школе, в даосской. Там мы тоже занимаемся медитацией. Там в чем-то еще интереснее, но там это целая гирлянда, целая последовательность разных ухищрений. Но вот одно из них связано просто с дыханием. Ты контролируешь свое дыхание, только по-разному. Одно из них связано вот с какой вещью, о которой Ваня говорил, на счет субъектов и объектов. Ты там должен дышать таким образом, что когда ты делаешь выдох, ты говоришь, что вселенная делает вдох. И наоборот. Ты вдыхаешь и говоришь – вселенная выдыхает. То есть ты становишься как бы неким дополнением вселенной, она дышит насосом, а ты делаешь ровно противоположное в своем дыхании.

В.П. И вот ответ на реплику Владимира о том, что эти техники снятия слоев как бы оказываются регрессом. А я скорее интерпретировал бы так, что с помощью снятия этих слоев, обусловленных культурой и т.д., мы не регрессируем, а скорее интегрируемся с космическим сознанием, с более высокими уровнями, которые нами еще очень плохо отрефлексированы, изучены, но которые мы интуитивно чувствуем; и на их базе возникают разные религии. Но ощущение чего-то трансцендентального присутствует человеческой природе.

В.А. Оно присуще, но ей ведь присуща и логико-вербальная, так сказать, форма. Почему мы ее стремимся снять? То есть она мешает, как мы здесь выясняли?

В.П. Она очень ценна для осознания, но она расчленяет мир на какие-то фрагменты, которые мы интерпретируем как предметы, и т.д.

И.Ф. Для меня это вопрос о том, где появляется наш ум. Чтобы понять, откуда он появляется, мы должны прийти на тот уровень, где его еще нет. Именно для этого мы должны сначала от него оторваться.

В.А. Да. Отсюда, возможно, получается, что есть два направления движения. В эволюционную глубину – вниз и вверх – на те уровни, которые угадываются, но находятся пока для нас за пределами...

М.И. Володь, ну погоди. Почему ты хочешь обрезать, чтобы все было по одной линейке выстроено? Оно же может быть замкнуто. Ты идешь, идешь, идешь и возвращаешься. Идешь, идешь, идешь, возвращаешься.

И.Ф. Кстати, в копилку практик, которые имеют отношение к нашему разговору. Есть в тибетских созерцательных традициях такая практика, связанная с сенсорной деривацией. Темный ретрит это называют. Когда человека запирают в темном помещении со звукоизоляцией и он наблюдает, как из пустоты и ясности ума возникает мир. Но сначала мы

должны все отрубить, тогда мы можем увидеть, как это все возникает, – как раз как звук, свет и лучи.

В.П. Вот, кстати, одна из практик динамической медитации. Человек в течение недели, двух недель непрерывно с утра до вечера ходит по ограниченному пространству, садику, рефлексирюя. То есть фиксирует внимание на том, как он поднимает ногу, переносит центр тяжести, вдыхает, выдыхает и т.д. И так изо дня в день. Идет колоссальное сужение сознания.

Одному человеку, австралийцу во время такой практики позвонили с просьбой срочно принять решение. Жутко болезненное было опять расширение – вспомнить про мир и т.д. Кстати, там начинает жутко чесаться тело: когда сознание сужено, пороги восприятия понижаются, и ты, например, уже чувствуешь движение одежды, трущейся о волоски на коже. В общем, множество неприятных переживаний, которые связаны с сверхвысокой чувствительностью. А потом вдруг через некоторое время, индивидуально у каждого, идет прорыв в образную сферу. И человек, как в кино, видит какие-то сюжеты. Из глубин, с глубоким моральным содержанием. Притчи фактически. То есть через сужение сознания у тебя открывается доступ к какой-то картине мира, более ориентированной не на суету этого мира, а на какие-то ценностные вопросы. Дальше я не знаю.

Ограничения и возможности

М.И. Понятно. Вот смотри, ты добиваешься того, что ты осуществляешь ограничения, все время ограничиваешь, ограничиваешь. Вот мы только что говорили про ограничение возможности. И в результате в какой-то момент, когда ты достигаешь некоего предела, эти ограничения становятся для тебя уже такими устойчивыми, что возможность открывается. И ты начинаешь видеть притчи и т.д. В результате того, то все твое лишнее было удалено. И что-то открылось. В этом трюк, как ограничения могут породить возможности. Методологически это очень ценно. Все наши возможности, включая познавательные, вытекают из ограничений. Это то, о чем Валера только что говорил, – что каждая дисциплина, каждый язык, что угодно, – это набор ограничений. Чем четче эти ограничения, тем...

В.Д. Да. Это был тезис, между прочим, Чомского (или, в более принятой у нас транскрипции, Хомского). Где-то в 1960–1970-е годы он ставил вопрос так: в принципе, любое описание языка не ограничено ничем, вы можете разными способами ограничить описание всех правильных выражений одного и того же языка. И цель лингвистической теории заключается в том, чтобы ввести дисциплину этого описания, чтобы для каждого конкретного языка можно было выбрать минимальное количество вариантов описания. Потом он, правда, от этого отказался, когда перешел к программе минимализма. Во всяком случае, вопрос этот был снят. Но вообще это он заимствовал из современных ему теорий познания, главная цель

которых – найти фильтры для теорий, объясняющих факты, чтобы было минимальное количество описаний. И, грубо говоря, чем удачнее это происходит, тем лучше для этой теории. Иначе говоря: количественная оценка теории состоит в установлении того, какое число альтернатив возникает по ходу описания того или иного явления с помощью метода, на этой теории основанного.

М.И. Вот, Валера, ты прекрасно все описал. Спасибо тебе за это. Надо будет еще проговорить. Это пример того, что мы хотим сделать с методом. То есть мы хотим взять некий метод, условно говоря, лингвистическую морфологию, морфологию биологическую, геологическую и т.д. А дальше попытаться их критически описать и очистить от частных, например от предметных и контекстных.

В.Д. Ограничить.

М.И. Максимально, максимально экономно. Похоже на Хомского?

В.Д. Потом этот проект закрылся, вопрос был снят с повестки, к сожалению или к счастью, не знаю. Но это не значит, что к этой идее нельзя вернуться. Просто интересы были потом обращены на другое.

М.И. А почему? Значит, был изъян?

В.Д. Нет, появились более увлекательные области. Такой квалификативный подход к изменению адекватности теории интересен. Но, кстати сказать, никто не запрещает задать следующий вопрос: а почему вы думаете, что наличие большого количества теорий одного и того же предмета плохо? Обычно считают так: множество теорий может быть бесконечным, но оно счетно («перечислимо», в соответствии с некоторым алгоритмом), а не континуально, поскольку эти теории создаются человеком. Но после Чомского в 80-е годы Джеймс Мак-Коли поставил такой вопрос: с какой стати вы считаете, что множество лингвистических теорий одного и того же предмета конечно или даже счетно? Оно может быть и континуальным. В общем, этот вопрос так и завис. Но это была эпоха, опять-таки, когда от теоретического подъема 60-х, 70-х и начала 80-х годов перешли опять к накоплению эмпирических данных. Тогда же появились огромные возможности по накоплению данных. И при всем спортивном интересе, в хорошем смысле, к накоплению данных были быстро исчерпаны возможности существующих методов даже для обработки данных. Вот где мы сейчас находимся. Еле-еле добрались до возобновления методологического интереса. Мы в самом деле не знаем, а надо ли дальше множить количество этих самых эмпирических материалов. Конечно, нужно, чтобы это не пропало, но что с этим делать? Не исключено, что накопленное не будет востребованным. Роберт Бернс сказал про обладателя прекрасной библиотеки: «Так евнух знает свое гарем, не зная наслаждений» (пер. С.Я. Маршака); так и мы. Мы накопили огромное количество книг, которые мы даже, может, не сможем пролистать.

В.П. Я просто восхищаюсь Бернсом. Вот чтобы такую фразу породить, да.

В.А. Ну это поэзия.

В.Д. Да, ни одно стадо обезьян случайно не сможет повторить это, шмякая по клавиатуре. Да, так, может быть, и здесь получится. Чтобы хотя бы получить удовольствие, нужно сделать количество объектов конечным. Бесконечность доставляет не то же удовольствие, что конечность.

М.И. Ребята, я должен сказать, что получил огромное удовольствие от общения сегодня. Нашего конечного общения. Я столько всяких замечательных удовольствий испытал – интеллектуальных и не только интеллектуальных... состояний. Какие-то вещи, которые или были мне непонятны, или я о них никогда не задумывался. Они как-то увиделись, услышались, ощутились, состоялись...

В.П. Вот насчет состояний – буквально два слова. Мой приятель остеопат лечит людей. Нормальный остеопат, знает, куда нажать. Он чувствует, когда начинается поток откуда-то, и он переносит свое состояние на пациента. Другой мой друг – гипнотизер – у меня писал диплом, а потом кандидатскую. Он читает студентам лекцию, нудит, нудит. Он вообще плохо тексты пишет. Но вдруг – он прекрасно работает с гипнозом. Что-то происходит, звучит прекрасный язык, проявляются прекрасные образы.

В.Д. Накатило.

В.П. ...к чему-то подключился. У китайцев человек не подписывает нарисованную картину, полагая, что произведение искусства выше творца. То есть не ты создал, а кто-то иной. Это феномены подключения к другому уровню, более высокому. Они очень плохо и осмыслены, и описаны. Это совершенно какой-то иной канал и познания, и обучения.

М.И. Мы никакие идеи компрометировать не собираемся. В лучшем случае хотим критически проверять. Давайте этот разговор продолжим в ходе новых встреч и в ежегоднике МЕТОД.

ВЛАСТЬ ФОРМЫ: БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛОЦИЯ

Б.В. Межуев

OPUS MAGNUS ВАДИМА ЦЫМБУРСКОГО

**Об издании материалов докторской диссертации
В.Л. Цымбурского¹**

Роман филолога-классика В.Л. Цымбурского с политологией начался в 1986 г., когда его взял на работу в Лабораторию анализа и моделирования политических и управленческих решений Института США и Канады РАН один из ее создателей – Виктор Михайлович Сергеев. Впоследствии, в течение примерно четырех лет, под началом В.М. Сергеева и Андрея Афанасьевича Кокошина Цымбурский занимался изучением советских военных доктрин, и в частности – анализом смысловых вариаций используемых в них понятий «угроза» и «победа». В ходе этого исследования Цымбурский заметил, что авторы советских военных доктрин, в отличие от их более проницательных американских коллег, исходят в своем восприятии «угроз» и «побед» из опыта прошедшей, т.е. Второй мировой войны, тогда как этот опыт в ряде случаев не может стать руководящей основой для понимания тех «угроз», с которыми реально может столкнуться Советский Союз в ближайшее время. В эпоху ядерного патата тотальное столкновение двух сверхдержав оказывается невозможным, и по этой причине нельзя представлять себе будущую войну как нападение врага с целью оккупации всей территории страны, а будущую возможную победу – как безоговорочную капитуляцию противника.

Исследуя эталоны «угрозы» и «победы» в различные эпохи военной мысли, Цымбурский пришел к заключению, что в рамках нынешней фазы милитаризма нельзя ставить войне далеко идущие цели и видеть в ней некое общенациональное дело, что было характерно для военных теоретиков со времен Клаузевица. Прошедшая фаза, начавшаяся наполеоновскими войнами и завершившаяся Хиросимой, характеризовалась преобладанием способов мобилизации населения над средствами уничтожения. В эту эпоху

¹ Цымбурский В.Л. Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX веков. – М.: Книжный мир, 2016. – 496 с.

можно было делать расчет на войну до победного конца. Так что дело отнюдь не в «номосе земли», т.е. не в особых принципах ведения континентальных войн (как полагал Карл Шмитт, к авторитету которого Цымбурский всегда относился довольно скептически), не допускающих криминализации военного противника и использования жестких насильственных действий против нонкомбатантов, а просто в той логике превосходства мобилизационного потенциала над возможностями уничтожения живой силы, которая позволила революционной Франции, а затем уже и двум Рейхам вести войну на нескольких фронтах, тем самым добиваясь гегемонии в Европе. Цымбурский обнаруживает близкие ему идеи о 150-летних циклах различных милитаристских стилей на европейском континенте у американского ученого Куинси Райта, и теория Райта стала концептуальной основой дальнейших исследований Цымбурского в области политической науки.

В 1990 г. ученый покидает Институт США и Канады и на какое-то время переходит на работу в Институт востоковедения. В это время он продолжает писать тексты, которые можно отнести как к теоретической политологии, так и к геополитической публицистике. В частности, в соавторстве с филологами Денисом Драгунским и Гасаном Гусейновым он публикует в журнале «Век XX и мир» целую серию статей, посвященных теоретической экспликации понятия «империя», где предпринимается робкая попытка освободить это – в тот момент заряженное негативными коннотациями слово – от однозначно антилиберального контекста. С 1991 г. Цымбурский активно печатается в созданном в том же году журнале «Полис» («Политические исследования»), где в октябре 1993 г. выходит в свет его знаменитая статья «Остров Россия. Перспективы российской геополитики». В 1995 г. в альманахе «Иное», собранном Сергеем Чернышевым, появляется и развернутое приложение к «Острову» – статья «Циклы похищения Европы». В этой работе Цымбурский рассматривает имперскую активность России в Европе как процесс, характеризующийся последовательными стадиями: а) вхождением в европейскую игру в качестве союзника одной из основных конкурирующих сил на континенте; б) перенесением континентального раздора на территорию самой России; в) резким натиском империи на Европу с перспективой утверждения в ней в роли гегемона; г) отбрасыванием России из Европы объединенными силами Запада; и, наконец, д) попыткой России выстроить суверенное от Запада пространство с помощью геополитической активности на южных или восточных рубежах.

Уже тогда, в статье 1995 г. Цымбурский делает вывод, впоследствии ставший центральным тезисом его докторской диссертации, – что для каждой фазы этого цикла характерен свой особый тип геополитического проектирования. Когда Россия надеется на полноценное участие в европейской игре, она оказывается не склонна видеть свое пространство отделившимся от пространства Европы – и под тезис о слитности этих про-

странств подгоняются соответствующие реалии и факты. А вот как только Россия из Европы изгоняется, русские геополитики довольно быстро вспоминают или про наличие туранской крови в жилах значительной части населения империи, или про значение степных районов в истории Древней Руси и пр. Конъюнктуры времени начинают преобладать над конъюнктурами земли. Время диктует геополитическому воображению свою образную логику. Как увидит читатель диссертации Цымбурского, геополитики могут в ряде случаев действовать вопреки этой логике, но (как правило) это создает для них определенное политическое напряжение. Гораздо приятнее, когда ветер истории дует тебе в спину, когда геополитическое воображение открывается всем тем соблазнам, которые предоставляет проектировщику конъюнктура, т.е., по этимологии этого слова, связность текущих событий¹.

1995 год стал во многом переломным в судьбе Цымбурского. В любопытном документе, который нам еще предстоит не раз цитировать в настоящей статье, – Ходатайстве о замене предоставления полного текста диссертации научным докладом и возможности присуждения научной степени по совокупности работ ученого, поданном в ВАК от имени Диссертационного совета при Институте философии, – говорится, что он «с конца 1980-х годов публикует, самостоятельно и в соавторстве, ряд работ по анализу геополитических проблем, по идеологии геополитики, а с 1995 г. полностью сосредоточил свои научные интересы в области теории и истории геополитики, как старший научный сотрудник сектора истории политической философии Института философии РАН». Здесь важно не только биографическое указание на переход Цымбурского в Институт философии на должность старшего научного сотрудника, совершившийся в 1995 г., но и разделение его геополитического творчества на две части: *до 1995 г.* (когда автор «Острова Россия» преимущественно писал об «*идеологии геополитики*») и *после 1995 г.*, когда он углубился в «*теорию и историю геополитики*». Очевидно, что это разделение, явно позаимствованное авторами Ходатайства И.К. Пантиным и Е.А. Самарской у самого диссер-

¹ Как писал автор во введении «Speak, memo!» к составленному им самим незадолго до кончины сборнику: «Внесенное в заглавие слово конъюнктура происходит от латинского глагола *conjungo*, “вступать в связь, в том числе в брачный союз, образовывать сочетание с чем-либо”, – парадоксальным образом оно отсутствовало в античной латыни. Лишь новоевропейские языки вырабатывают идею конъюнктуры как сцепления факторов и обстоятельств, составляющих специфику того или иного качественно выделенного отрезка времени. <...> Влияние французской исторической науки XX века (школы “Анналов”) утвердило понятие о конъюнктурах разной длительности как посредствующем звене между структурой и событием: конъюнктуры предстают как сцепляющиеся тенденции в истории ментальностей, а также социальных, политических и хозяйственных структур, которые, в частности, делают определенную эпоху “плохим” или “хорошим” временем для тех или иных проектов и решений» [Цымбурский, 2011, с. 7].

танта, отражает специфику восприятия самим мыслителем характера его собственной научной деятельности.

В 1993 – начале 1995 г. Цымбурский воспринимает себя еще немного как политического игрока, потенциально способного своей концепцией «Острова Россия» повлиять на судьбы Отечества. Он надеялся (и не раз в 1994 г. открыто высказывал подобные надежды) на то, что его «островная» теория станет идеологией постсоветской России и сможет примирить умных либералов и продвинутых консерваторов некоей не реваншистско-имперской, но вместе с тем и не западной программой. Он ловил признаки внимания к своей концепции со стороны различных политических сил страны, радуясь всем одобрительным словам в адрес «Острова Россия». Вообще, 1994 г. Цымбурский прожил на явном подъеме, исполненный надежд, которые, увы, так и не осуществились. В 1995 г. к нему обратился с предложением о сотрудничестве в то время известный политик Василий Липицкий. Он проводил свою избирательную кампанию в Госдуму РФ по Новосибирску и по этой причине поддержал идею Цымбурского о «переносе столицы» в этот город, ближе к реальному географическому центру России, в место пересечения речных и железнодорожных коммуникаций Сибири. Цымбурский составил и подготовил к изданию летом 1995 г. любопытный сборник материалов «Россия, Москва и альтернативная столица», посвященный дискуссиям о «перемене столицы», однако на этом не имевшем никакого продолжения в плане взаимодействия с Липицким эпизоде завершился для автора «Острова Россия» период политических ожиданий в целом. После разочарования в текущей политике Цымбурский решает сделать на основе своего, как он сам считал, еще вполне публицистического опуса 1993 г. полноценную научную теорию и тем самым закрепить свое место в российской политологии.

Вот именно с этим переломом в судьбе Цымбурского и стоит связывать его переход в Институт философии РАН и начало работы над будущей докторской диссертацией, которая впоследствии получила название «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX веков». Первым камнем в архитектуру будущей работы стала вышедшая в июньском номере журнала «Общественные науки и современность» за 1995 г. статья «Тютчев как геополитик», впоследствии в несколько измененном виде вошедшая в четвертую главу диссертации, посвященную «искусам Священного союза». Цымбурский, комментируя в частной беседе замысел этой статьи, высказывал мысль о том, что хочет отнестись ко всей истории русской геополитики подобно тому, как психоаналитик относится к неврозам больного. Согласно его мнению, практически вся русская геополитика трех прошедших веков была заражена своеобразным обсессивным неврозом «похищения Европы», острой потребностью с помощью имперской экспансии устранить преграды между двумя цивилизациями. Статья о Тютчеве была отмечена обращением к глубинным психологическим мотивам геополитического воображения русских внешнеполитических тео-

ретиков, их вытесняемым страхам перед изолированным существованием России.

Однако из основного текста диссертации, куда в переработанном виде вошла статья о Тютчеве, автор, приглушая публицистические акценты, устранил все моралистические, философские и историсофские претензии к мировоззрению своих героев, и в том числе дезавуировал серьезными оговорками свои прежние представления о том, что натиск России на Европу и стремление закрепиться в ней в качестве одной из опор силового баланса были произвольной исторической ошибкой, и ее, если бы она была тем или иным образом осознана, можно было бы исправить. Цымбурский отказывался от всей традиционной для отечественной публицистики и свойственной ему самому ранее критики установок русских политиков как ошибочных и не соответствующих национальным интересам страны. Например, мы не услышим от него, что если бы Александр I, или же Николай I, отказался от дальнейшего «похищения Европы» и не искал союза с Австрией, то Россия не потерпела бы поражения в Крымской войне.

Подобных упреков геополитикам по должности и по призванию Цымбурский уже не делает, оставляя все свои прежние – геостратегические, равно как и квазипсихоаналитические – претензии к русской геополитике, считая их, вероятно, чуждыми строго научному подходу, требующему от историка снижения роли субъективного фактора до предельного минимума.

Вместо набора упреков в адрес имперской геополитики России за ее открытую или подспудную приверженность идее «похищения Европы», от которой она так и не могла освободиться, в диссертации Цымбурского представлена картина динамической системы Россия – Европа, образовавшейся в эпоху, когда совместными усилиями России и германских монархий была ликвидирована Балто-Черноморская конфликтная система (БЧС). БЧС одновременно и препятствовала вхождению империи Романовых в континентальный концерт великих держав, и вместе с тем своей собственной логикой функционирования втягивала Россию в европейскую игру. Желая разрешить свои конфликты в отношениях с другими членами БЧС – Польшей, Швецией и Турцией, – Россия искала поддержку в Вене и Берлине, гарантируя своим новым союзникам опору на Востоке против возвысившегося в XVIII в. Парижа. В итоге, как следует из выводов «Морфологии», Россия прорубала себе «окно в Европу» не столько в силу иррациональной любви к ней, сколько в поисках союзников против своих региональных соперников. Однако, возникнув в XVIII в., система Россия – Европа обретала свою особую динамику, свою логику функционирования и, главное, свое фундаментальное внутреннее напряжение, избавление от которого могло прийти только с разрушением самой системы. В европейскую игру на правах ключевого ее участника включалась неевропейская по своему происхождению держава, в силу своих масштабов неспособная к полной интеграции с Европой, а в силу больших амбиций не готовая

стать сателлитом какого-то одного центра силы на Западе. При этом раскол континентальной Европы на два полюса, французский и германский, ее фундаментальная биполярность гарантировали России временную востребованность в европейском раскладе сил в качестве державы, «вспомогательной» по отношению к более слабой стороне: к Австрии в XVIII – начале XIX в., Франции в конце XIX – начале XX в. и англо-французскому альянсу в канун и в период Первой мировой войны.

Русская геополитическая мысль в период существования системы Россия – Европа играет двоякую роль – она отражает конъюнктуры конкретной фазы цикла развития системы, вбирая в себя все иллюзии и, как правило, ложные ожидания этого времени, и с другой стороны, – схватывает в той или иной конкретной геополитической концепции определенную черту этой системы, соответствующую ее онтологии. Так, скажем, теория Николая Данилевского, возникнув в эпоху первой «евразийской интермедии», впервые смогла выразить адекватное объективной реальности представление о России как «противовесе Европе», а взгляды теоретиков фазы (а), русских неославянофилов типа Владимира Эрна или Николая Бердяева, с их антигерманскими и пророманскими настроениями эпохи Первой мировой войны, выявляли адекватно факт внутренней расколотости Европы как конфликтной системы, который ускользал от взгляда как Данилевского, так и евразийцев.

В итоге, однако, «моментом истины» системы становится период ее деструкции, связанный с распадом советской империи, а теоретическим выражением этого «момента истины» оказывается сама авторская концепция «Острова Россия». Этот изящный финал «Морфологии российской геополитики» выдает философскую зависимость автора от гегелевского или даже, точнее, марксистского хода мысли – понять некую динамическую реальность системы можно, только достигнув предельной точки ее развития или же покинув эту систему. По Цымбурскому, распад СССР и эмансипация народов Великого Лимитрофа от российской гегемонии позволили увидеть, что представляла собой вся наша трехсотлетняя имперская история, какую по существу изначально нерешаемую задачу ставила перед собой вся русская геополитика, пытаясь тем или иным путем избыть фундаментальное для бытия России противоречие – ее существование как европейской и в то же время контревропейской державы. В «Морфологии российской геополитики» мы словно знакомимся с феноменами «ложного», но при этом фундаментально укорененного в социальном бытии сознания, от которого Россия получила возможность освободиться лишь с концом «имперского проекта», лишь после исчезновения системы Европа – Россия.

Кстати, в этом смысле Цымбурский в своей докторской диссертации выступает не столько как геополитик, сколько в качестве радикального критика геополитики как способа «мировидения», но критика, понимающего всю историческую обусловленность постижения реальности сквозь призму политически заряженных пространственных образов.

Я бы сравнил замысел диссертации Цымбурского с книгой, оставившей заметный след в истории русской мысли, – с «Путиями русского богословия» прот. Георгия Флоровского. Как и Флоровский, Цымбурский не отказывает своим героям в таланте, уме и проницательности, но, как и знаменитый богослов русского Зарубежья, он не видит в их творчестве приближения к истине, если только она вообще возможна в рамках геополитики или же философствующего богословия. Книгу Цымбурского, перифразируя знаменитое выражение Бердяева, с равным основанием можно было бы озаглавить «Беспутья российской геополитики» – как увлекательное описание интеллектуальных ходов и развязок в заведомо проигранной партии. Три века Россия была рабом системы, из которой была не способна выйти, и только в конце XX столетия она получила шанс на свободу. Насколько этот шанс был реальным, а не очередной иллюзией, – этот вопрос может быть сейчас с полным основанием обращен к автору «Острова России», и у меня нет уверенности в полной весомости положительного на него ответа. Однако здесь мне не хотелось бы вступать в какую-либо полемику с автором, который только сейчас, после выхода в свет рукописи его политологического *opus magnum*, может быть оценен в полной мере как теоретик международных отношений и вместе с тем – как историк русской политической мысли.

Вадим Цымбурский работал над написанием докторской диссертации в течение 1995–2003 гг., за это время он освоил колоссальный массив данных по истории русской геополитики, поражаясь интереснейшим находкам в этой области. Он не только обнаруживает новые фигуры, о которых мало известно широкому читателю, но оказывается способен рассмотреть в совершенно новом контексте фигуры первостепенные: Чаадаева, Тютчева или же Достоевского, геополитические взгляды которого Цымбурский, по-моему, раскрыл впервые в отечественной литературе. Он не скрывает своего восторга перед открывшейся ему сокровищницей русской геополитической мысли, которая еще не получила своей исчерпывающей каталогизации. «Ныне мы сознаем, – писал он впоследствии, – что в России имперской эпохи существовала, не называя себя, блистательная геополитика. <...> Мы открываем нашу геополитику, как некий русский граф узнавал из “Истории” Карамзина, что, оказывается, у него, графа, есть Отечество...» [Цымбурский, 2007, с. 388–389].

Однако в 1996 г. Цымбурский впервые почувствовал признаки той болезни, которая только спустя 10 лет будет диагностирована с трагической точностью. Силы ученого постепенно убывают. Диссертация, текст которой он, так и не овладевший навыками пользования компьютером, пишет на бумаге, разрастается до гигантских масштабов. В конце концов определяется структура из 15 глав. Из них ему удастся написать – набело или вчерне – восемь. Семь глав так и остались ненаписанными. За рамками рукописи остался, как можно предположить, рассказ о русской Дальневосточной эпопее 1890–1905 гг. и ее идеологах, о воззрениях народника

С.Н. Южакова и славянофила В.И. Ламанского, о проектах Л.Д. Троцкого и других апологетов мировой революции, о геополитическом мировоззрении И.В. Сталина, наконец, о криптогеополитике советских военных теоретиков хрущевской и брежневской эпох. Отдельных глав, безусловно, должны были удостоиться чрезвычайно ценный ученым военный теоретик генерал Н.Н. Головин, прославившийся свои трудами в русской эмиграции, а также многие наши современники вроде А.Г. Дугина или Е.Ф. Морозова, чьих взглядов Цымбурский не разделял, но вместе с тем отводил им важное место в истории русской геополитической мысли. Обо всем этом ученому написать не удалось, и, по-видимому, примерно в 2002–2003 гг. он пришел к выводу, что завершить начатый труд ему не хватит жизненных сил.

Ряд фрагментов рукописи к этому времени уже публиковался в качестве отдельных статей в тех или иных научных журналах. В четвертом номере за 1999 г. журнала «Полис» появилась статья «Геополитика как мировидение и род занятий» – ранний вариант первой главы диссертации. В этом тексте автор раскрывает свое понимание геополитики, решительно отказывая этой дисциплине в статусе науки: это позволяет ему анализировать взгляды не только политгеографов В.П. Семенова-Тянь-Шанского и П.Н. Савицкого или такого представителя наукообразной политической публицистики, как Н.Я. Данилевский, но и писателей, философов и даже святых, как св. Серафим Саровский.

Но уже в 2001–2002 гг. увлеченной работе над диссертацией, много часовому пребыванию в Ленинке нередко препятствовали болезнь и накопившаяся усталость. 9 декабря 2003 г., по просьбе Цымбурского руководителя Диссертационного совета при ИФ РАН И.К. Пантин и Е.А. Самарская обращаются в ВАК с ходатайством о разрешении ему заменить полный текст диссертации научным докладом объемом около 4 п. л., вынесеня на защиту «разделы работы, имеющие непосредственно политологический характер: во-первых, раздел методологический, содержащий описание циклов системы “Европа – Россия” и волн западного милитаризма, с обоснованием геостратегического двоеритмия России XVIII–XX вв.; во-вторых, раздел, демонстрирующий результаты применения этой концепции к материалу российской геополитики, а также формы и аспекты политологического анализа, проистекающие из такого применения и основывающиеся на нем».

24 декабря 2003 г. из ВАКа за подписью начальника отдела гуманитарных и общественных наук Н.И. Загузова пришел ответ следующего содержания: «Экспертный совет ВАК Минобразования России по политологии, рассмотрев ходатайство Вашего совета о возможности защиты в виде научного доклада диссертации В.Л. Цымбурского “Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX вв.”, принял решение вернуться к обсуждению этого вопроса после опубликования основной монографии автора по теме исследования “Морфология россий-

ской политики”». Четыре небольших монографических исследования Цымбурского и целая серия его статей, список которых был приложен к ходатайству, не были сочтены основанием для замены диссертации научным докладом.

Цымбурский, по всей видимости, рассчитывал на иной ответ. В 2004 г. он не просто отказывается продолжать работу над докторской, но и фактически уходит из политологического цеха, разрывает со многими коллегами, оставшимися в нем, не только деловые, но и личные отношения. Он продолжает работать в Институте философии, в секторе политической философии, которым руководит И.К. Пантин, но его явно начинает тянуть в сторону других, посторонних геополитике научных интересов. Он возвращается к изысканиям в области классической филологии, дорабатывает целый ряд этюдов в разных областях гуманитарного знания, наконец, открывает для себя новую область интеллектуальной деятельности на грани историософии и философии – хронополитику, для чего выбирает в качестве настольной книги мало ценимый академическими учеными второй том «Заката Европы» Шпенглера [см. об этом подробно: Межуев, 2012, с. 141–185].

Рукопись «Морфологии российской политики» так и продолжает лежать в бумагах автора в его однокомнатной квартире в орехово-зубовской пятиэтажке, хотя он периодически обращается к этому тексту для написания – по случайному заказу – какого-либо нового геополитического очерка. Так, в эссе 2005 г. об Александре Солженицыне и его изоляционистских мечтаниях входит значительная часть материала четвертой главы диссертации, где речь идет, в частности, о декабристах [Цымбурский, 2007, с. 464–475]. Однако, насколько мне известно, вплоть до своей кончины в марте 2009 г. Цымбурский не высказывает намерения вернуться к тексту диссертации, чтобы издать его в качестве монографического исследования. В апреле 2006 г., когда Институт национальной стратегии присуждает ему премию «Солдат империи» (статуэтка с отлитыми в бронзе римскими фасциями до сих пор хранится у меня дома) и выделяет небольшие средства на издание его книги по политологии, ученый решает выпустить в свет сборник своих основных геополитических статей, который и появляется весной 2007 г. в издательстве РОССПЭН, в серии «Политологи России» под заглавием «Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006». Вдохновленный успехом и популярностью этого сборника в широкой читательской аудитории, Цымбурский в конце 2008 г. задумывает опубликовать отдельной книгой другие свои труды в области политической науки в издательстве «Европа», воспользовавшись любезным предложением его фактического руководителя – Глеба Павловского. Цымбурский специально написал для своего второго политологического сборника мемуарный очерк «Speak, Memory!». Этот сборник (автор успел дать ему заглавие «Конъюнктуры Земли и Времени: Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследо-

вания») увидел свет спустя два года после кончины автора – в конце зимы 2011 г. Важно отметить, что ни в первый, ни во второй сборники не была помещена автором статья «Геополитика как мировидение и род занятий», т.е. первая глава из рукописи не завершённой им диссертации. В моем личном разговоре с Цымбурским на эту тему проявилось его болезненное отношение к этой статье, очевидное нежелание воскрешать ее для читателя. Но надо отметить, что при этом у нас нет ни малейших оснований считать, что теоретические выводы, в ней изложенные, автором были когда-либо отвергнуты. Можно сделать вывод, что причиной игнорирования Цымбурским статьи, предназначавшейся для введения в его диссертационный труд, было подспудное стремление когда-либо в будущем увидеть его целиком напечатанным, нежелание вырывать этот текст из общего контекста работы, для которой «Геополитика как мировидение и род занятий» служила общетеоретическим введением.

Мама Вадима Леонидовича Адель Тимофеевна Цымбурская после кончины своего сына передала мне сохранившиеся в их квартире черновые рукописи диссертации. Она высказывала явное желание увидеть их опубликованными – косвенное подтверждение того, что автор, для которого его мама была самым близким и постоянным собеседником, не разочаровался в идеях диссертации и рассчитывал вернуться к работе над ней в том случае, если бы судьба отпустила ему еще несколько лет жизни. К сожалению, от выполнения просьбы Адели Тимофеевны меня отвлекла на несколько лет другая работа, и я смог вместе с коллегами приступить к дешифровке рукописи лишь в ноябре 2013 г., почти сразу после кончины мамы ученого.

Здесь мне хочется поблагодарить за финансовую поддержку нашей работы фонд ИСЭПИ и лично председателя Совета директоров этой организации Дмитрия Бадовского, который сразу откликнулся на мою просьбу о помощи. Коллектив из трех человек, включая филологов Н.М. Йова и Г.Б. Кремнева, а также автора этих строк, в течение 2013–2016 гг. напряженно трудился над рукописями покойного ученого, над той горой разрозненных листков в клеточку, которую предстояло разделить по главам и представить в виде последовательного и связного текста. Что было делом нелегким, учитывая состояние этих рукописей и почерк автора.

Многие страницы рукописи отсутствовали, и теперь, после того как квартира Цымбурских в Орехово-Зуеве была продана другим жильцам, можно сделать неутешительный вывод о том, что эти страницы, скорее всего, навсегда пропали для исследователей. Если архив с филологическими работами Цымбурского сохранился и ждет своей публикации, то, полагаю, его рукописное политологическое наследие с выходом этой книги опубликовано полностью, и едва ли мы обнаружим еще какие-то неизвестные бумаги ученого с размышлениями на тему геополитики. Безусловно, требуется собрать и представить отдельным изданием две его относительно небольшие монографии, 1994 и 1997 гг., выпущенные в виде

научных докладов и потому мало доступные для читательской аудитории: «Военная доктрина СССР и России: осмысления понятий “угрозы” и “победы” во второй половине XX века» (М.: Российский научный фонд, Московское отделение, 1994. 6,25 п. л.) и «Открытое общество: От метафоры к ее рационализации» (в соавторстве с М.В. Ильиным; М.: Московский научный фонд, 1997. 9 п. л.). И планируя в будущем пятитомник нефилологических работ Цымбурского, мы предполагаем завершить его собранием всех публицистических сочинений автора «Острова Россия», не вошедших в предыдущие издания, среди которых есть подлинные шедевры этого не слишком ценимого самим ученым жанра.

Между тем именно политологический *opus magnum* Цымбурского, его незавершенная докторская диссертация «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX веков», должен стать главным аргументом в пользу того тезиса, что покойный ученый был не только выдающимся гомероведом, этрусковедом и хеттологом своего времени (как о том прямо говорят его коллеги-филологи), но и крупнейшим русским политологом своей эпохи. Что его творчество, каким бы экстравагантным в ряде аспектов оно ни было, выдерживало все требования, предъявляемые сухой методологией к политической науке. Что роман филолога с политологией должен был бы по справедливости завершиться законным браком в виде присуждения ему степени доктора наук, а рожденный от этого союза ребенок – его труды в этой области – получить должное научное признание.

Мы не поменяли авторскую нумерацию глав, и потому в этой книге за пятой главой будет идти восьмая, восьмую сменять десятая, а за десятой последует финальная – пятнадцатая. Если когда-нибудь нам удастся обнаружить рукописи семи отсутствующих глав, мы будем считать это величайшим подарком судьбы, но пока мы имеем дело только с тем, что осталось нам в наследство от Адели Тимофеевны Цымбурской, завещавшей нам побыстрее завершить эту работу. Следуя тому же призыву, мы ограничились приведением (и уточнением после проверки *de visu*) только тех библиографических сносок, на которые имеется указание в тексте рукописи внутри квадратных скобок. Разумеется, в том случае, если книга Цымбурского выйдет академическим изданием, его составителям придется поработать над тем, чтобы привести все нужные сноски, атрибутировать цитаты и прокомментировать все упоминаемые реалии. Пока же мы выполнили минимально необходимую работу, чтобы познакомить российского читателя с главным политологическим трудом выдающегося ученого. Следует также сообщить, что пятая глава диссертации (рассказывающая о первой евразийской интермедии) уже публиковалась – в первом номере за 2015 г. «Тетрадей по консерватизму» [Цымбурский, 2015], целиком посвященном творчеству Вадима Цымбурского. Однако в ту публикацию были внесены редакцией существенные поправки, так что именно текст

главы, помещенный в настоящем томе, отныне можно считать каноническим.

Мы надеемся, что наша работа не пропадет даром для отечественной науки и что теория Цымбурского, представленная в его незавершенном диссертационном сочинении, станет концептуальной и методологической основой будущих исследований динамики системы Россия – Европа, равно как и даст стимул к обращению следующих поколений историографов к сокровищнице русской мысли для «новых открытий чудных» в области геополитического мировидения и того рода занятий, который, вероятно, будет находить адептов до тех пор, пока существует Россия. Загадочная страна, которая вечно будет искать попеременно и «объединения с Европой», и «отъединения» от нее. Если не в «конъюнктурах Земли», то в «конъюнктурах Времени», в течениях Духа, Жизни и Творчества.

Список литературы

- Межуев Б.В.* Политическая критика Вадима Цымбурского. – М.: Европа, 2012. – 160 с.
- Цымбурский В.Л.* Хэлфорд Маккиндер: Трилогия хартленда и призвание геополитика // Цымбурский В.Л. Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. – М.: РОССПЭН, 2007. – С. 388–418.
- Цымбурский В.Л.* Конъюнктуры Земли и Времени: Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования. – М.: Издательство «Европа», 2011. – 370 с.
- Цымбурский В.Л.* Александр Солженицын и русская контрреформация // Цымбурский В.Л. Остров Россия: Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. – М.: РОССПЭН, 2007. – С. 475–485.
- Цымбурский В.Л.* Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX вв. Фрагмент книги. Глава пятая. Первая евразийская эпоха России: от Севастополя до Порт-Артура // Тетради по консерватизму. – М., 2015. – № 1. – С. 50–109.

АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ М.С. АРЧЕР ПО ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО МОРФОГЕНЕЗА И РЕФЛЕКСИВНОСТИ

М.С. Арчер (Archer Margaret Scotford) – социолог, работавшая в университетах Уорвика, Лозанны, ныне работает в университете Рэдинг. Начиная свою деятельность с изучения образовательных систем, далее углубилась в теорию и в процессе изучения образовательных систем создала теорию морфогенеза и разрабатывала теорию рефлексивности. Сейчас занимается реляционной социологией. Принадлежит к школе критического реализма, член Международной ассоциации критического реализма, была президентом Международной социологической ассоциации в 1986–1990 гг.

Ранее был опубликован реферат, отражающий содержание первых четырех основных книг по теории морфогенеза и теории рефлексивности [Кучинов, 2014], в дальнейшем предполагается также дать статью по социологии М.С. Арчер.

Archer M.S.

Culture and agency: The place of culture in social theory: revisited edition. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – XXIX+ 351 p.

В данной книге, впервые изданой в 1988 г., М.С. Арчер пишет о возможностях унификации структуры с агентностью (agency) и культуры с агентностью (agency), в связи с тем что культура может быть рассмотрена как структура и структура имеет соответствия в сфере культуры¹. Здесь автор преодолевает так называемый «миф о культурной интеграции», воспринимая культуру как некий лишенный конфликта интегратор, где все упорядочено. Автор сопротивляется конфляционизму (элизиионизму) –

¹ Агентность (англ. agency) – понятие, отсутствующее в русском языке. В связи с тем что общепринятого перевода на русский язык нет, мы здесь оставляем слово непереуведенным. О том, что это такое, см.: [Кучинов, 2015].

явлению, означающему, что в теории культура (или структура) и агентность не разделяются. Существуют три вида конфликации – «вверх» – структура представляется инертной при активных акторах; «вниз» – акторы инертны при «всемогущих» структурах; и «центральная», где они нераздельно связаны. Предлагаемый М.С. Арчер подход под названием «аналитический дуализм» означает, что при исследовании те явления, которые она называет «части» и «люди», разделяются; только с помощью такого разделения можно изучить их взаимодействие. М.С. Арчер также разделяет системный и несистемный уровни в культуре, создает теорию их взаимодействия, в результате которого происходит либо морфостазис – культура сохраняется неизменной, – либо морфогенез – культура меняется.

Archer M.S.

Realist social theory: The morphogenetic approach. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1995. – VII+354 p.

По мнению М.С. Арчер, перевод на русский язык именно этой книги наиболее желателен в первую очередь. Небольшая часть книги переведена в 1990-е годы [Арчер, 1994; Арчер, 1999].

В данной книге автор кратко обобщает мысли из предыдущей, однако пишет как о морфогенезе культуры, так и о морфогенезе структуры, а также о тройном морфогенезе – морфогенезе агентности. В первой части М.С. Арчер аргументирует необходимость избегать крайностей индивидуализма и коллективизма, предлагает реалистский (в социологическом смысле – как противоположность номиналистскому) взгляд на общество совместить с морфогенетическим подходом. Версия социологического реализма М.С. Арчер происходит из школы критического реализма Р. Бхаскара и У. Аутвейта. По сути, учение Р. Бхаскара является философским основанием социальной теории М.С. Арчер.

Archer M.S.

Being human: The problem of agency. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2000. – X+323 p.

В этой книге М.С. Арчер рассуждает об агентности как о свойстве, присущем человеку. Во вступительной главе «Человек модернити» автор пишет о том, как в современной философской (особенно – в постмодернистской) социологической теории «исчезает» человек. Тому обстоятельству, что общество не существует без людей и производится человеческими повседневными практиками, по мнению Арчер, уделяется мало внимания. Он считает, что общество не может создаваться ничем, кроме деятельности людей, которые в своей практике преобразуют природу и общество;

практика первична в формировании общества. Некоторые положения здесь взяты из социологии эмоций. Автор также пишет о морфогенезе идентичности; в этой книге начинает разработку теории рефлексивности как внутреннего разговора (inner conversation) subject-self и object-self. М.С. Арчер изучает здесь индивидов, акторов, первичных и корпоративных агентов, самости, объясняет, как эти явления связаны.

Archer M.S.

Structure, agency and the internal conversation. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2003. – X+370 p.

Эта книга уже специально посвящена рефлексивности как внутреннему разговору. М.С. Арчер более подробно рассматривает теоретический аспект рефлексивности, уделяя внимание предшественникам своих идей. Здесь рефлексивность рассматривается весьма детально, с учетом разных этапов развития. В книге описаны и типы рефлексивности: коммуникативная, автономная, метарефлексивность и сломанная.

Archer M.S.

Making our way through the world: Human reflexivity and social mobility. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2007. – VII+343 p.

В этой книге автор продолжает рассуждать о рефлексивности, дает ее определение, критикует теории современного общества и в особенности теорию рефлексивной модернизации Э. Гидденса, У. Бека, С. Лэша. М.С. Арчер считает, что каждой исторической эпохе, каждому типу общества присуща своя превалирующая рефлексивность; в порядке от самой древней к самой современной – коммуникативная, автономная, метарефлексивность. Автор больше изучает рефлексивность эмпирически – обнаруживая диалоги ego и alter в интервью; а также создает опросник ICONI (Internal CONversation Indicator) [Archer, 2012].

Conversations about reflexivity / Ed. by M.S. Archer. –

L.; New York: Routledg: Taylor&Francis, 2010. XII+265 p.

В сборнике 2010 г. «Разговоры о рефлексивности» М.С. Арчер с коллегами развивает изучение рефлексивности. Соавторы здесь – Н. Уилли (Norbert Wiley), В. Колапьерто (Vincent Colapietro), Ф. Ванденберг (Frédéric Vandenberghe), А.М. Маккарини (Andrea M. Maccarini), Р. Прандини (Riccardo Prandini), Э. Сойер (Andrew Sayer), П. Донати (Pierpaolo Donati), А. Мрозовицки (Adam Mrozowicki), Е. Флэм (Helena Flam), Д.В. Порпора

(Douglas V. Porpora), У. Шумар (Wesley Shumar), П. Гарсия-Руйц (Pablo garcia-ruiz), К. Родригес-Льюэсма (carlos rodriguez-lluesma), А. Матч (Alistair Mutch). Помимо теоретического исследования явления рефлексивности здесь также рассматривается рефлексивность польских рабочих конца эпохи социализма, влияние эмоций на рефлексивность, влияние информационных технологий на рефлексивность.

Archer M.S.
The reflexive imperative in late modernity. – Cambridge:
Cambridge univ. press, 2012. – XII+340 p.

Исследование рефлексивности в позднем модерне продолжается в книге 2012 г. Автор обнаруживает взаимосвязь между типом рефлексивности того или иного человека с его семейными благами и селективностью. Рефлексивность приобретает в ходе социализации. Социализация не рассматривается как пассивное усвоение норм (это – конфляция вниз), а, в соответствии с методологией аналитического дуализма, рациональный выбор в теории заменяется на осмысленный (meaningful)¹. В этой книге автор исследует то, какие у представителей разных типов рефлексивности отношения: с послеродовым фоном; с домашними и друзьями; какие у них основания для заведения дружбы, зачем и где у них востребована карьера, каковы их ответы на ситуационную логику возможности. Кратко выводы книги см. в таблице [Archer, 2012, p. 293].

Social Morphogenesis / Ed. M.S. Archer. –
N.Y.: Springer, 2013. – VI+231 p.

В сборнике 2013 г. «Социальный морфогенез» авторы пытаются строить теоретические размышления о «**Морфогенетическом обществе**» – типе общества, которому свойственны изменения, который сменяет поздний модерн (late modern). Теории М.С. Арчер классифицирует от абстрактных к конкретным – социальная онтология (Social Ontology), программы объяснения (Explanatory programme) и практические социальные теории (Practical Social Theory). Теория морфогенеза – это программа объяснения, а ее исследование об образовательных системах – практическая социальная теория [Social, 2013, p. 9]. Авторами сборника помимо самой М.С. Арчер являются Д. Порпора (Douglas V. Porpora), А.М. Маккарини (Andrea M. Maccarini), Т. Лоусон (Tony Lawson), К. Уайт (Colin Wight), К. Форбс-Питт (Kate Forbes-Pitt), В. Хорхкифнер (Wolfgang Hofkirchner),

¹ Ранее мы переводили «означенный» неправильно.

И. Лазега (Emmanuel Lazega), И. Аль-Амуди (Ismael Al-Amoudi), П. Донати (Pierpaolo Donati). Последний создает весьма интересную, по нашему мнению, классификацию разных типов морфогенеза. Помимо исследования самого морфогенетического подхода авторы изучают социальные изменения, международную политическую систему, самоорганизацию, социальные системы, сети, власть (authority).

Есть также более новые научные издания с участием М.С. Арчер, которые здесь не рассматриваются. Это книги «The relational subject» [Cambridge, 2015] издательства Кембриджского университета и «Conceptualizing relational sociology» [Springer (Conceptualizing Relational Sociology), 2013] издательства Springer по реляционной социологии, «Engaging with the world» [Routledge – Taylor & Francis Group, 2013] издательства «Routledge – Taylor & Francis Group», а также серия «Social morphogenesis» (2014–2016) издательства Springer Springer (Social morphogenesis). Книги серии посвящены кризису нормативности, генеративным механизмам трансформации социального порядка, позднему модерну.

Список источников

- Арчер М.С. Реализм и морфогенез / Пер. с англ. О.А. Оберемко // Теория общества: Сборник / Пер. с нем., англ.; Вступ. статья, сост. и общ. ред. А.Ф. Филиппова. – М.: «КАНОН-Пресс-Ц»: «Кучково поле», 1999. – С. 157–195.
- Арчер М.С. Реализм и морфогенез / Пер. с англ. О.А. Оберемко; науч. ред. перевода Филиппов А.Ф. // Социологический журнал. – М.: ИС РАН, 1994. – № 4. – С. 50–68.
- Кучинов А.М. Современные теории structure-agency и русская социология // Гуманитарные научные исследования. – М.: Международный научно-инновационный центр, 2015. – № 4 [Электронный ресурс]. – Mode of access: <http://human.snauka.ru/2015/04/9598> (Дата обращения: 26.04.2015.)
- Кучинов А.М. Теория морфогенеза М.С. Арчер (сводный реферат) // Политический вектор = Political vector. – М.; Челябинск: ЮУрГУ: НОЦ «Комплексные проблемы современной политики», 2014. – № 2. – С. 70–91.
- Archer M.S. Being human: The problem of agency. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2000. – X+323 p.
- Archer M.S. Culture and agency: The place of culture in social theory: revisited edition. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – XXIX+ 351 p.
- Archer M.S. The Internal Conversation: Mediating Between Structure and Agency, RES-000-23-0349. – Swindon: ESRC, 2008. – Mode of access: http://www.criticalrealism.com/archive/iacr_conference_2001/marcher_rpmsa.pdf
- Archer M.S. Making our way through the world: Human reflexivity and social mobility. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2007. – VII+343 p.
- Archer M.S. Realist social theory: The morphogenetic approach. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1995. – VII+354 p.
- Archer M.S. The reflexive imperative in late modernity. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2012. – XII+340 p.
- Archer M.S. Structure, agency and the internal conversation. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2003. – X+370 p.

- Cambridge university press. – Mode of access: <http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/sociology/social-theory/relational-subject?format=PB&isbn=9781107513952>
- Conversations about reflexivity / Ed. by M.S. Archer. – L.: N.Y.: Routledge: Taylor&Francis Group, 2010. – XII+265 p.
- Routledge – Taylor & Francis Group. – Mode of access: <https://www.routledge.com/products/9780415687102>
- Social Morphogenesis / Ed. M.S. Archer. – N.Y.: Springer, 2013. – VI+231 p.
- Springer (Conceptualizing Relational Sociology). – Mode of access: <http://www.springer.com/jp/book/9781137379900>
- Springer (Social morphogenesis). – Mode of access: <http://www.springer.com/jp/series/11959>
- Сост. А.М. Кучинов*

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО МОРФОГЕНЕЗА И РЕФЛЕКСИВНОСТИ МАРГАРЕТ АРЧЕР (Сводный реферат)

Одним из крупнейших достижений социальной теории стала концепция социального морфогенеза и рефлексивности М. Арчер¹. Выдающийся британский социолог сконцентрировала свои усилия на том, чтобы дать динамическую (морфогенетическую) трактовку взаимодействию агентности² и структуры, а также агентности и культуры. В ее понимании как культура, так и структура могут рассматриваться на системном и социальном (для культуры – социокультурном) уровнях [Archer, 2004, р. XI–XIII, XXVII–XXIX, 274–287]. По мнению автора, методологический коллективизм недостаточно учитывает агенсу, а индивидуализм – структуру. Ни индивидуализм, ни коллективизм не позволяют исследовать их взаимосвязь. Эмпирицизм (empiricism) объясняет их противостояние [Archer, 1995, р. 33]. При одностороннем исследовании получается конфляция: индивидуалисты выводят структуру из индивидов, коллективисты же преувеличивают роль контекста и используют холистический подход, имеющий ограничения. Реалистский подход Маргарет Арчер отличается от других реалистских подходов ввиду отказа от конфляции. Общество не сводится к сумме индивидов, оно создается и изменяется деятельностью людей [Archer, 1995, р. 1–5].

Маргарет Арчер критикует современные теории, которые сводят на нет человеческий фактор в пользу каких-либо общественных структур. Автор критикует постмодернизм и структурализм – Ж. Бодрийяра, М. Фуко, С. Холла (Hall Stuart), Ж.Ф. Лиотара, Р. Рорти, К. Леви-Стросса, Э. Геллнера (Gellner Ernst), Ж. Лакана, Л. Альтюссера и др. – и волюнтаристские теории эпохи Просвещения и после нее, например представления об «экономическом человеке», «социологическом человеке» и др. теории,

¹ Данный материал является переработанной версией реферата [Кучинов, 2014].

² Агентность (англ. agency) – понятие, отсутствующее в русском языке. В связи с тем, что общепринятого перевода на русский язык нет, мы здесь оставляем слово непереведенным. О том, что это такое, см. на русских примерах: [Кучинов, 2015].

заявляющие о предопределенности тех или иных действий людей в «современных обществах», приписывающие ему рациональность и т.д., критикует теорию дискурса, систему AGIL Т. Парсонса, структурализм, лингвистический поворот [Archer, 2000, p. 17–117].

В отличие от Р. Харре Маргарет Арчер рассматривает «бытие общества», выводя его из личности [Archer, 2000, p. 115] (рис. 1).

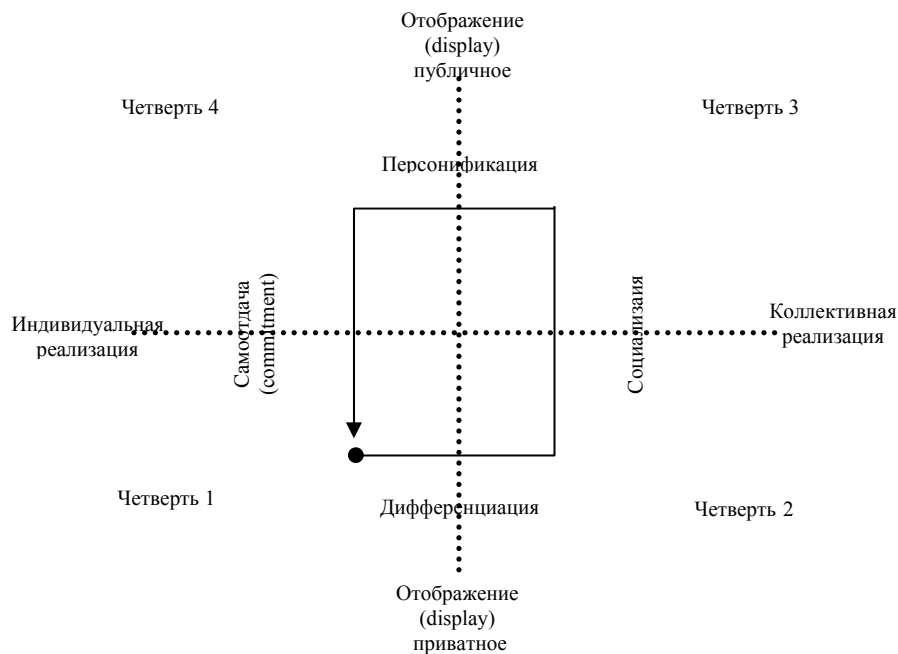


Рис. 1.
Схема «Бытие общества» по М. Арчер

В эмерджентных свойствах самости (self) практика первична, она появляется только через социальные отношения, важную часть в ее становлении играют природные (natural) отношения, осознать себя человек может только через свое тело [Archer, 2000, p. 121–153]. По мнению Маргарет Арчер, существует природный (natural) и социальный порядки, и человек своей деятельностью обеспечивает их взаимодействие в практическом порядке. С существованием трех порядков связаны отношения между знанием, видами культуры и связями между порядками. Схематически изображается это так [Archer, 2000, p. 162] (рис. 2–3).



Рис. 2.
Три порядка и типы знания

Отношения между воплощенным (embodied), практическим и дискурсивным знаниями показана так [Archer, 2000, p. 179].



Рис. 3.
Отношение между воплощенным, практическим и дискурсивным знаниями

Отказ от конфляции и аналитический дуализм – принципы методологии Маргарет Арчер

Маргарет Арчер предлагает различать «части» (parts), под чем подразумевает социальные образования, и «людей» (people), которые в них встроены, под чем подразумевает индивидов. Предлагает различать структуру и агенсу, различать культуру и агенсу. При их сращении теряется автономность друг от друга: «„Части” и „люди” не сосуществуют во времени, если их соединить, то не будет возможно проанализировать взаимодействие между ними во времени». Маргарет Арчер приводит пример брака как правового установления и повседневной практики. Взаимодействие между «частями» и «людьми» составляет основу культурной динамики. Случай, когда «части» и «люди» не различаются, Маргарет Арчер называет **конфляцией (conflation)**, или **элизией (elision)**. Маргарет Арчер рассматривает несколько направлений конфляционизма. В первом случае либо «части», либо «люди» рассматривают как эпифеномен друг друга: отличия только в том, что считать эпифеноменом. В конфляции вниз эпифеномен – «части», в конфляции вверх – «люди». В остальных случаях «некоторый культурный код или центральная система ценностей накладывает свою хореографию на культурную жизнь, и агенты (agents) сводятся к носителям ее свойств, либо через пересоциализацию (oversocialization), либо через мистификацию». Это центральная конфляция, элизия посередине, когда не различаются свойства культурных систем (cultural systems) и свойства культурного взаимодействия (cultural interaction). Маргарет Арчер приводит пример, согласно которому при таком сращении не будет возможно проанализировать качество пения: все сводилось бы или к сложности песни, или к мастерству певца [Archer, 2004, р. XIV–XVI].

Маргарет Арчер критикует исследователей-конфляционистов [Archer, 2004, р. 46–71]: «конфляция вниз» свойственна таким авторам, как П.А. Сорокин, Т. Парсонс, А.У. Гоулднер и структуралистам; «конфляция вверх» – это «неомарксизм», Д. Дидро, Р. Роллан, Л.-Р.К. де Лашалотэ (La Chalotais Louis-René Caradeuc), М.Ж. А.Н. Кондорсе, Э.-Ж. Сийес (Sièyes Emmanuel-Joseph), О. Конт, К. Мангейм, Л. Альтюссер, К. Маркс, Ф. Энгельс, «ленинизм», «инструменталисты» (А. Грамши, Р. Милибанд), «технократическое сознание» (франкфуртская школа, Г. Маркузе, критическая теория Ю. Хабермаса); «центральная конфляция» – З. Бауман, Э. Гидденс, которые «не создали теорию культурной стабильности или изменения» [Archer, 2004, р. 94] и Л. Витгенштейн.

По мнению М.С. Арчер, «для центрального конфляционизма характерен концепт культуры, где всякий и каждый актер – активный участник, никогда не пассивный реципиент или насильственный потребитель» [Archer, 2004, р. 73], «язык не может быть моделью культуры в целом» [Archer, 2004, р. 74]. Маргарет Арчер критикует позицию Э. Гидденса, согласно которой власть (power) необходима для любого действия. «Способность изменять

независима от власти агентов (agents)». Автор говорит о трех возможных альтернативах: «иногда действия не могут капитализироваться, чтобы власть имела место»; «изменение не обязательно подразумевает власть, когда власть – не гарантия изменения»; «власть может развертываться, не производя никакой трансформации» [Archer, 2004, p. 92–93]. Маргарет Арчер критикует центральную конфляцию, в том числе положение о дуальности структуры в теории структуриации Э. Гидденса – за то, что в ней исчезает разнообразие понятий «агент» (agent), «актор» (actor) и «персона» (person) [Archer, 1995, p. 117].

На основании этапов морфогенеза и морфостаза автор соотносит морфогенез с разными видами конфляции по схеме: [Archer, 1995, p. 82] (рис. 4).

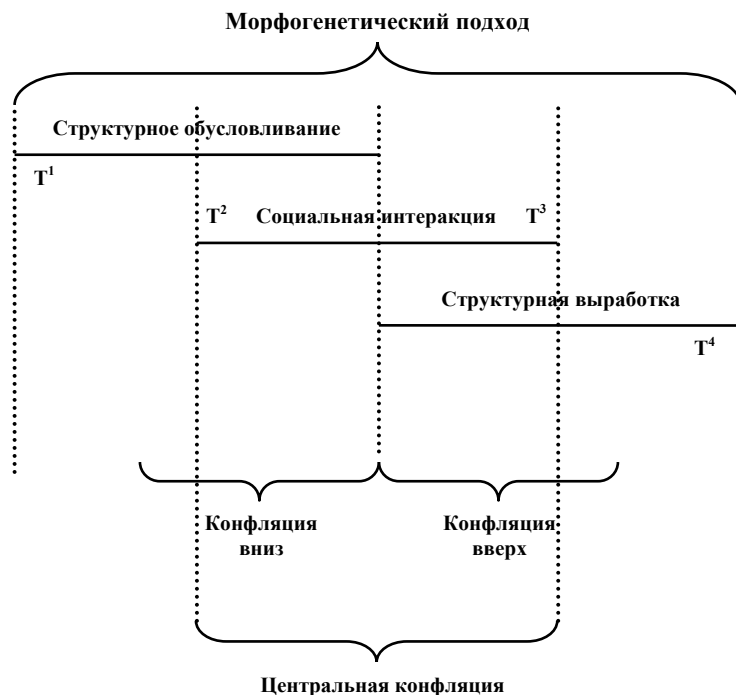


Рис. 4.

Соответствие типов конфляции этапам морфогенеза

Аналитический дуализм – подход, не тождественный философскому дуализму: исследователь имеет дело не с отдельными сущностями, они разделяются только аналитически и должны разделяться в теории. Аналитическое разделение «частей» и «людей» аналогично разграничению системной интеграции (system integration) и социальной интеграции (social integration) у Д. Локвуда [Lockwood, 1976]. Маргарет Арчер указы-

вает на достоинства Э. Дюркгейма, который, рассматривая эволюцию образовательной мысли, говорил о культурных несоглованностях (cultural contradictions) и культурной взаимодополняемости (cultural complementarities). Маргарет Арчер с целью разграничения вводит термины. Логическая согласованность (logical consistency) – «степень согласованности между “частями” культуры». Случайный консенсус (casual consensus) – «степень культурного однообразия, полученного в результате наложения идей одними людьми на других – через целую гамму знакомых техник – манипуляция, мистификация, легитимация, ассимиляция (naturalization), убеждение или соглашение», что предлагает использование власти и влияния. Подобно разграничению, произведенному Д. Локвудом, степень логической согласованности (logical consistency) Маргарет Арчер называет интеграцией культурной системы (cultural system integration, CS), а меру случайной сплоченности – социокультурной интеграцией (socio-cultural integration, S-C). «Первая предусматривает отношения между компонентами культуры, последняя – отношения между культурными агентами (cultural agents)». «Это разделение, следовательно, лежит между культурой без знающего субъекта и культурой со знающим субъектом». «Очевидно, мы не живем только пропозициями (propositions) [...], мы генерируем мифы в мистериях, символах и манипуляциях, это все – социокультурное взаимодействие (socio-cultural interaction, S-C)». Это – непропозиционные элементы (non-propositional things) – материал межперсонального влияния (interpersonal influence), они тоже влиятельны, они нелогичны, их знает часть акторов, но не знает реципиент [Archer, 2004, p. XVI–XIX].

Взаимодействие «частей и людей» – морфогенез и морфостазис.

Встает вопрос о том, как описать взаимодействие (interplay) между «частями» и «людьми» в культуре. Именно оно составляет основу культурной динамики. В качестве исследователя, который писал о подобном, Маргарет Арчер называет М. Фуко с его теорией дискурса, однако в ней гипертрофирована роль власти и знания («частей»), недостаточно учитывается роль «людей» [Archer, 2004, p. XIX–XXV].

Для исследования взаимосвязи вышеописанных вещей во времени Маргарет Арчер предлагает морфогенетический подход. Структура и культура изменяются или сохраняются через следующие циклы (табл. 1).

Автор, ссылаясь на Михайло Марковича (Marković Mihailo), пишет о том, что настоящее состоит из прошлого и будущего, будущее – это не только то, что будет, это еще и современные идеи в нас, которые его формируют. «Верования, теории и идеи» настоящего влияют на будущее. Маргарет Арчер пишет о способности людей сопротивляться условиям, ссылаясь по этому поводу на К. Маркса и его подход, в рамках которого считается, что сам человек – творец своей истории. Маргарет Арчер прямо пишет о волюнтаризме в своей теории и допускает: «Если наша рефлексия оригинально кажется теологией, пусть будет так» [Archer, 2004, p. XXIV–XXVII; Archer, 1995, p. 76].

Таблица 1

Этапы морфогенеза, структуры и культуры

	Этап 1	Этап 2	Этап 3
Структура	Структурное обусловление / Structural conditioning	Социальное взаимодействие / Social interaction	Социальная выработка / Social elaboration
Культура	Культурное обусловление / Cultural conditioning	Социокультурное взаимодействие / Socio-cultural interaction	Выработка культуры / Cultural elaboration
Agency	Социокультурное обусловливание групп / Socio-cultural conditioning of groups	Групповое взаимодействие / Group interaction	Групповая выработка / Group elaboration
Эмоции в натуральном порядке	Обусловление ожидания / Conditioning anticipation	Взаимодействие с окружающей средой / Environmental interaction	Эмоциональная выработка / Emotional elaboration
Эмоций второго порядка	Предварительные условия опыта эмоций первого порядка / Prior experience conditions first-order emotions	Артикуляции и повторная артикуляция / Articulation and re-articulation	Разработка эмоций второго порядка / Elaboration of second-order emotions
Персональная и социальная идентичность	Обусловленное «me» – первичный агент	Взаимодействующее «we» – корпоративный агент	Выработанное «you» – персональная + социальная идентичности
Персона в ходе «внутреннего разговора»	Обуславливающее «me» / The conditioning 'me'	Разговорное «I» / The conversational 'I'	Выработанное «you» / The elaborated 'you'

Определения морфогенеза и морфостаза: «**Морфогенез** – процесс социального структурирования; “морфо” значит форма, а “генез” указывает, что это – продукт социальных отношений. Таким образом, “морфогенез” значит “те процессы, которые создают тенденцию к выработке или изменению данной формы системы, государства или структуры” (Walter Buckley). Наоборот, “**морфостазис**” означает те процессы в комплексе обмена системы и ее окружения, которые создают тенденцию к сохранению поддерживаемой формы системы, организации или государства» [Archer, 1995, p. 166].

Культурная система (CS) логически предшествует социокультурным действиям (S-C), которые ее трансформируют, и выработка культуры (cultural elaboration) логически последует этому взаимодействию. Аналогичная закономерность в структуре [Archer, 2004, p. XXIV–XXVII].

Положения о культурном морфогенезе [Archer, 2004, p. 106, Archer, 1995, p. 169].

1. «Есть логическое отношение между компонентами культурной системы (CS)».

2. «Есть случайные влияния, оказываемые культурной системой (CS) на социокультурный уровень (S-C)».

3. «Есть случайные отношения между группами и индивидами на социокультурном уровне (S-C)».

4. «Есть культурная система (CS) благодаря социокультурному уровню (S-C), модифицирующему текущие логические связи и внедряющему новые».

Помимо них автор вводит аналогичные положения для структурного морфогенез [Archer, 1995, p. 168–169].

1. «Есть внутренние и необходимые отношения внутри и между социальными структурами (SS)».

2. «Социальная(ые) структура(ы) (SS) оказывают случайное влияние на социальное взаимодействие (SI)».

3. «Есть случайные отношения между группами и индивидами на уровне социального взаимодействия (SI)».

4. «Социальное взаимодействие (SI) вырабатывает композицию социальной(ых) структуры (структур) (SS), модифицируя текущие внутренние и необходимые отношения и внедряя новые, если произошел морфогенез. В противном случае социальное взаимодействие (SI) воспроизводит существующие внутренние и необходимые структурные отношения, тогда имеет место морфостазис».

Автор пишет о структурных эмерджентных свойствах (Structure Emergent Properties, SEP), культурных (Culture Emergent Properties, CEP) и эмерджентных свойствах людей (People Emergent Properties, PEP). Автор вводит термин «двойной морфогенез» / «морфостазис» – структуры и agency – и выводит схему взаимодействия между системным и социальным уровнем, предусматривающую взаимодействие общественных явлений на двух уровнях (они также не совпадают во времени) [Archer, 1995, p. 190] (табл. 2).

Таблица 2

Системная и социальная интеграция

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ	СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Систематический	Популяции
Институциональный	Организованные группы (корпоративная agency (corporate agency))
Роли	Индивидуальные акторы
Позиции	Коллективы (первичная agency (primary agency))

Миф о культурной интеграции. По мнению Маргарет Арчер, разные теоретики определяли культуру по-разному, но все объединения можно сгруппировать в две основные совокупности. На описательном уровне культура представляется как что-то подобное структуре; на объяснительном уровне культура оказывается колеблющейся от высшей независимой всеопределяющей переменной до переменной, зависимой от других социальных институтов. При этом в большинстве теорий присутствует миф о том, что в культуре все сводится к интегрированной системе, где все элементы взаимозависимы. Разные теоретики вмещали этот миф в свои тео-

рии, «даже те, кто отвергал структурную интеграцию, верили в культурную интеграцию». Миф создали антропологи, однако позже он проник в немецкий историцизм, в теории Б.К. Малиновски (Malinowski Bronisław Kasper), Р. Бенедикта (Ruth Benedict), М. Шапиро (Meyer Shapiro), А.Л. Кребера (Kroeber Alfred Louis), М. Дуглас (Mary Douglas), функционализм, «переданный» (transmitted by) П.А. Сорокиным, занимает центральное место в системе AGIL Т. Парсонса, присутствует в лингвистическом структурализме и неомарксизме (western humanistic marxism). Культура в антропологическом подходе связывается с понятием культурного образца, который обеспечивает единство и согласованность с «понятием равномерного действия, отождествленным с чем-то свыше и вытекающей из него социальной однородности». Получается сращение (eliding) сообщества (community) со значениями (meanings). В мифе о культурной интеграции логическая согласованность (logical consistency) и случайный консенсус (casual consensus) остаются неразрывно соединены. На самом же деле их следует различать, чтобы исследовать культурную динамику. Бывают случаи, когда в том или ином обществе логическая согласованность (logical consistency) оказывается высокой, а случайный консенсус (casual consensus) – низким, или наоборот. Итог преобладания мифа следующий: «Отказ от признания или приращение большего значения несоответствиям в системе культуры, невнимание к наличию или отсутствию альтернатив на системном уровне, нежелание принять какую-либо дифференциацию населения, отказ от любых условий, способных к разрушению социально-культурной интеграции» [Archer, 2004, p. 1–21].

Автор говорит о **мифе о структурной интеграции**, аналогичном мифу о культурной интеграции [Archer, 2004, p. 214].

Системный и несистемный уровни. Маргарет Арчер разграничивает **уровень культурной системы (CS)** и **социокультурный уровень (S-C)** [Archer, 2004, p. 103–142]. По ее мнению, культурную систему можно считать примерно тем же, что К.Р. Поппер [Поппер, 2002] подразумевал под «Третьей системой знаний» (Third World Knowledge). «В любой момент времени культурная система состоит из корпуса существующих понятных вещей (лат. intelligibilia) – всех вещей, которые можно захватить, расшифровать, понять, или известных кому-либо. (Включение компонентов зависит от одной диспозиционной возможности, и не от того, готовы или способны текущие социальные акторы (actors) схватить, узнать или понимать их. Последние составляют непредвиденные случаи для социокультурного уровня (S-C).) По определению культурные intelligibilia образуют систему, ибо все детали должны быть выражены в общем языке (или быть переводимыми в принципе), так как это является необходимым условием, чтобы они были понятными. Другими словами, они имеют по крайней мере одну общую характеристику с одним другим компонентом (языком), который является также предпосылкой системы». Система из-

меняется во времени, она не является чем-то раз и навсегда заданным [Archer, 2004, p. 104].

Подход автора к культурной динамике состоит из следующих базовых положений [Archer, 2004, p. 106].

1. «Есть логическое отношение между компонентами культурной системы (CS)».

2. «Есть случайные влияния, оказываемые культурной системой (CS) на социокультурный уровень (S-C)».

3. «Есть случайные отношения между группами и индивидами на социокультурном уровне (S-C)».

4. «Есть культурная система (CS) благодаря социокультурному уровню (S-C), модифицирующему текущие логические связи и внедряющему новые».

В культурной системе (CS) существуют противоречия (contradictions) и взаимодополняемости (complementaries) [Archer, 2004, p. 106].

Маргарет Арчер называет свойства культурной системы (CS). «Онтологически утверждается, что существуют объективные отношения противоречия, существование которых не зависит от осведомленности людей о них. Гносеологически утверждается, что это может быть познано посредством указания на инвариантные логические принципы применимости, которые не относятся к времени и месту. Методологически утверждается, что проблемы, относящиеся к их межкультурной идентификации, не являются неразрешимыми». Культурная система (CS) обладает «эмерджентными» (emergent) свойствами, т.е. результатом взаимодействия, не сводящимся к его исходным составляющим [Archer, 2004, p. 107].

Исследовать культуру следует с применением релятивистских подходов, подобных «сильной программе» Д. Блура и Б. Барнса [Bloor, 1976], однако их нужно дополнить положениями, которые «сильная программа» отвергает [Archer, 2004, p. 112–113].

1. «Подразумевается существование некоторого нетрадиционного и трансконтекстуального критерия, по отношению к которому противоречия и последовательности могут быть отнесены к взаимосвязи между элементами культурной системы (CS). Закон противоречия используется в качестве критерия в настоящей работе именно из-за инвариантности этого логического принципа. Однако его универсальность категорически отрицается “сильной программой” и в самом деле несовместима с сильным релятивизмом».

2. «Подразумевается способность приписывать убеждения социальным группам во времени и пространстве успешно. Таким образом, предполагается и необходимость, и возможность определенного перевода, ибо они являются предпосылками применения логических принципов, определяющих противоречия или согласованности среди или между чужеродными убеждениями. Однако переводимость также усиленно отвергается сто-

ронниками “сильной программы”: она нечто большее, чем грубый перевод для грубых целей, и согласуется с релятивизмом».

Маргарет Арчер пишет о зависимости того или иного культурного уровня от контекста, показывает, какой уровень зависит от какого контекста и какие между элементами отношения [Archer, 2004, p. 134] (табл. 3.)

Таблица 3

Контексты культурной системы и социокультурного уровня

Культурный уровень	Контекст, от которого зависит	Отношения между элементами
Культурная система (CS)	другие идеи	логические
Социокультурный (S-C)	другие люди	случайные

Маргарет Арчер пишет о наличии в культурной системе (CS) **сдерживаемых противоречий и сопутствующей взаимодополняемости** [Archer, 2004, p. 143–184].

Культурная система (CS) не совпадает во времени с людьми (S-C), которые произвели ранее ее компоненты. Она – результат предшествующей деятельности людей. Автор условно обозначает взаимодействия буквами А и В, выражая ими логические отношения в системе, или между двумя эмпирически раздельными системами, или между двумя подсистемами, или между подсистемой и ее идеациональным окружением [Archer, 2004, p. 147]. Противоречия и взаимодополняемости существуют в соответствии с определенной ситуационной логикой. Ситуационная логика сдерживания противоречия состоит в том, что противостояние А и В сохраняется. Чтобы оно состоялось, А и В должны заниматься разными вещами, не пересекаться, не отрицать друг друга. Они должны бороться за то, чтобы извлечь нужное из противной стороны, избегая сомнений и не вовлекаясь в возражения от противной стороны [Archer, 2004, p. 154–155]. Ситуационная логика взаимодополняемости, наоборот, требует от вовлеченных акторов отсутствия ограничений на любые обмены [Archer, 2004, p. 157]. Взаимодействие культурных систем А и В при противоречиях возможно в соответствии с некоторыми моделями: $A \leftarrow B$ (изменение А так, чтобы оно пришло в соответствие с В), $A \leftrightarrow B$ (одновременное изменение А и В так, чтобы они стали взаимно соответствующими), $A \rightarrow B$ (изменение В так, чтобы оно пришло в соответствие с А) [Archer, 2004, p. 159]. При взаимодополняемости же обе системы пытаются защищать их согласованность и стремятся к идеациональной совместимости исходных компонентов [Archer, 2004, p. 171].

Маргарет Арчер пишет о том, что **социокультурные взаимодействия** (S-C) всегда обусловлены контекстом, который задается культурной системой (CS) [Archer, 2004, p. 185–226]. Социокультурными (S-C) факторами определяется, «какие ответы получаются под давлением ситуационной логики, исходящей от культурной системы (CS); какие из них могут

быть сделаны, чтобы оставаться на социокультурном уровне (S-C); или то, что проходит в стороне от социокультурного уровня (S-C) в культурной системе (CS) и начинает новый цикл или ведет к повторению старого» [Archer, 2004, p. 187].

При исследовании социокультурного взаимодействия необходимо учитывать отношения между культурной системой (CS) и социальной структурой, с тем чтобы принять во внимание как материальные, так и идеальные интересы. «Проблема в том, как разглядеть в отдельности взаимодействие интересов, власти и идей между собой и объяснить их связанность. Мне кажется, что ключ к объяснению социокультурной (S-C) вариации лежит в том, как социальное (или секционное) распределение интересов и власти фактически увязывается с ситуационной логикой культурной системы (CS) (или подсистемы) в какое-либо определенное время». Отталкиваясь от того, что та или иная группа является носителем тех или иных идей и соответствующей им власти, автор формулирует следующие положения [Archer, 2004, p. 188].

1. «[...] использование культурной власти действительно отвечает за длительные периоды упорядоченности на социокультурном уровне (S-C), когда оно эффективно благодаря тем, кто ищет культурный квиетизм, даже если культурная система (CS) разрывается ввиду непоследовательности. Это ее короткая или кратковременная завершенность».

2. «[...] применение культурной власти является активным процессом, который в конечном итоге приводит как к противостоянию оппозиционных интересов, так и к их фактическому созиданию. В течение длительного периода, таким образом, социальное взаимодействие имеет далеко идущие последствия, непреднамеренные для обоих уровней – социокультурного уровня (S-C) и уровня культурной системы (CS) – даже при том аналитическом предположении, что власть изначально принадлежит группам, стремящимся к сдерживанию противоречия или поддержанию взаимодополняемости».

Маргарет Арчер объясняет это тем, что люди не будут хотеть ставить свои интересы под контроль, а культурная власть не будет согласовываться с социальными отношениями и скоро будет разоблачена [Archer, 2004, p. 188–189]. На противоречия в культурной системе (CS) социокультурный уровень (S-C) в случаях, когда он более упорядочен, отвечает «авторитарным сдерживанием», культурная система (CS) препятствует выходу противоречия на социокультурный уровень (S-C) [Archer, 2004, 189–190]. В случаях же, когда более упорядочена культурная система (CS), социокультурный уровень (S-C) в ответ выдает такие варианты развития, как дезертирство, схизматизм и сектантство [Archer, 2004, p. 198–199]. А когда в культурной системе (CS) преобладает сопутствующая взаимодополняемость, Маргарет Арчер отмечает наличие в ней «плотности», а на социокультурном уровне (S-C) – иерархичности, вызывающей разнообразие в интересах и вступающей в конфликт с плотностью. Культурная система

(CS) будет изменяться. В итоге возможны три варианта: кристаллизация социоинтеллектуальной элиты в силу особого доступа к логике культурной системы (CS); снижение системности культурного разнообразия, часть из которого станет просто украшением, а другая – носителями формирования элиты в следующем поколении; культурная система (CS) прекратит интегрировать носителей идей, и неполная социокультурная индукция (S-C) сформирует новую культурную систему (CS). Или будет применена культурная власть [Archer, 2004, p. 212–213].

Далее автор приводит схему соответствия между степенями интеграции двух уровней и их взаимодействием [Archer, 2004, p. 226] (табл. 4).

Таблица 4

Взаимодействие культурной системы и социокультурного уровня в зависимости от их интеграции

		Интеграция культурной системы (CS)			
		Высокая	Низкая		
Интеграция социокультурного уровня (S-C)	Высокая	Сопутствующая взаимодополняемость	Сдерживающие противоречия	Морфостазис	Время →
	Низкая	Сдерживающая взаимодополняемость	Конкуренционные противоречия	Морфогенез	

Маргарет Арчер пишет о **выработке культурной системы** [Archer, 2004, p. 227–273] и о том, как соотносится поведение каждого уровня по отдельности с той или иной ситуационной логикой культурной системы (CS) [Archer, 2004, p. 270] (табл. 5).

Таблица 5

Поведение культурной системы и социокультурного уровня в зависимости от ситуационной логики

		Культурная система			
		<i>Типы логических отношений</i>			
		Противоречия		Взаимодополняемость	
Условие →		<i>Сдерживающие</i>	<i>Конкуренционные</i>	<i>Сопутствующие</i>	<i>Условные</i>
Ситуационная логика →		Коррекция	Элиминация	Защита	Оппортунизм
Культурная система (CS) →		Синкретизм	Плюрализм	Систематизация	Специализация
Социокультурный уровень (S-C) →		Унификация	Расщепление	Репродукция	Сектанство

Медиация между системным и социальным уровнем. Маргарет Арчер считает, что связь двух уровней происходит посредством медиации их agency: «Все структурные влияния (т.е. порождающие силу (generative powers) структурных эмергентных свойств (SEP) и культурных эмер-

джентных свойств (СЕР)) медируются людьми через распределение (и формирование) ситуаций, в которых они себя находят» [Archer, 1995, p. 196, 201].

Это происходит под действием законных (vested) интересов, которые внедрены во все социальные позиции [Archer, 1995, p. 203]. Маргарет Арчер предлагает таблицу структурного обусловливания стратегического действия [Archer, 1995, p. 218] (табл. 6).

Таблица 6

Структурное обусловливание стратегического действия

Эмерджентные свойства второго порядка (результат результата взаимодействия)	Ситуационная логика
Необходимые взаимодополняемости	Защита
Необходимые несовместимости	Компромисс
Условные несовместимости	Устранение
Условные совместимости	Оппортунизм

Автор пишет о четырех культурных конфигурациях и их ситуационных логиках: сдерживание противоречий (необходимые несовместимости), что приводит к идеациональной унификации; сопутствующие взаимодополняемости (необходимые взаимодополняемости), при которых две системы сосуществуют одновременно и у людей нет выбора; конкурентные противоречия (условные несовместимости), предполагающие антагонизм между идеями и активацию социокультурного (S-C) уровня; конкурентные взаимодополняемости, создающие логику возможностей и, в отличие от необходимых взаимодополняемостей, оставляющие людям возможность выбора между идеями [Archer, 1995, p. 229–245].

Разные agency. Маргарет Арчер развивает идею о том, что agency хоть и способствует изменению структуры и культуры, но и сами проходят изменения по таким же стадиям, т.е. подвергается морфогенезу [Archer, 195, p. 247–293]. В ходе морфогенеза agency становится возможно разграничить человеческое бытие (human being), социального агента (social agent) и социального актора (social actor). Автор предлагает тройную стратификацию «людей» – на персону (person), агента (agent) и актора (actor). «Таким образом, переписчикам важно знать, кого посчитать за персону (Person), в то время, как те, кто проводят опросы, вынуждены знать об отношениях персоны (Persons) к разным социальным распределениям (ресурсов, жизненных шансов, демографических особенностей и т.д.) для того, чтобы сказать, что выборка репрезентативна, или по каким свойствам она расслаивается. Наконец, кадровые службы должны рассмотреть пригодность кандидатов для занятия конкретных должностей, что влечет за собой отсылку к социальным акторам (Actors) [...]». У этих трех измерений человека разные параметры, позволяющие различать власть, ин-

тересы и причины. Эмерджентность agency – конечный продукт двойного морфогенеза (между структурой и agency), который ведет к тому, что люди группируются для изменения культуры и структуры общества. Автор говорит также о тройном морфогенезе, в ходе которого возникают эмерджентные свойства акторов (Actors). «В этом процессе, конкретные социальные идентичности отдельных социальных акторов получаются из действенных коллективов (agential collectivities) в связи с множеством организационных ролей, которые имеются в обществе в определенный момент времени» [Archer, 1995, p. 255–256]. Маргарет Арчер разграничивает первичную (primary agency) и корпоративную agency (corporate agency). Вторая, в отличие от первой, является организованной agency групп, а не отдельных людей [Archer, 1995, p. 260–261]. Автор приводит схему механизма морфогенеза agency: на этапе социокультурного обусловливания групп (Socio-cultural conditioning of groups) первичная agency (primary agency) развивается на фоне корпоративной (corporate agency), на этапе группового взаимодействия (group interaction) эти две agencies взаимодействуют, на этапе групповой выработки (group elaboration), когда происходит усиление корпоративных агентов (corporate agents) [Archer, 1995, p. 264].

Автор приводит следующие комментарии к этой схеме (первые три относятся к первой стадии, последние три – к последней, остальные – ко второй) [Archer, 1995, p. 264–265].

1. «Все агенты не равны: начальные распределения структурных и культурных свойств указывают корпоративных агентов (Corporate Agents) и отличают их от первичных агентов (Primary Agents) в начале каждого цикла».

2. «Корпоративные агенты (Corporate Agents) воспроизводят / изменяют социокультурную систему и ее институциональные части: первичные агенты (Primary Agents) работают в их пределах».

3. «Все агенты не равны по знаниям из-за эффекта первичного взаимодействия».

4. «Все изменения медируются посредством чередования ситуаций агентов (agents): корпоративные агенты (Corporate Agents) изменяют контекст, в котором первичные агенты (Primary Agents) живут, и первичные агенты (Primary Agents) изменяют контекст, в котором корпоративные агенты (Corporate Agents) работают».

5. «Категории корпоративных (Corporate Agents) и первичных (Primary Agents) агентов переопределяются с течением времени посредством взаимодействия в достижении социальной стабильности или изменения».

6. «Действия корпоративных (Corporate Agents) и первичных (Primary Agents) агентов сдерживают друг друга».

7. «Действия первичных агентов (Primary Agents) являются атомическими реакциями, несогласованными совместными действиями или ассоциативными взаимодействиями, в зависимости от степени их участия в том или ином институциональном контексте».

8. «Взаимодействия корпоративных агентов (Corporate Agents) создают эмерджентные свойства: действия первичных агентов (Primary Agents) создают совокупные эффекты».

9. «Выработка социального агента (Social Agency) (социетального или секционного) состоит в сокращении категорий первичных агентов (Primary Agents), которые становятся включенными или преобразованными в корпоративных агентов (Corporate Agents), таким образом увеличивая эту категорию».

10. «Социальное изменение – это результат совокупного эффекта, вызванного первичными агентами (Primary Agents) при соединении с эмерджентными свойствами, вырабатываемыми корпоративными агентами (Corporate Agents) [...]».

Автор приводит схему двойного морфогенеза agency [Archer, 1995, p. 275] (рис. 5).

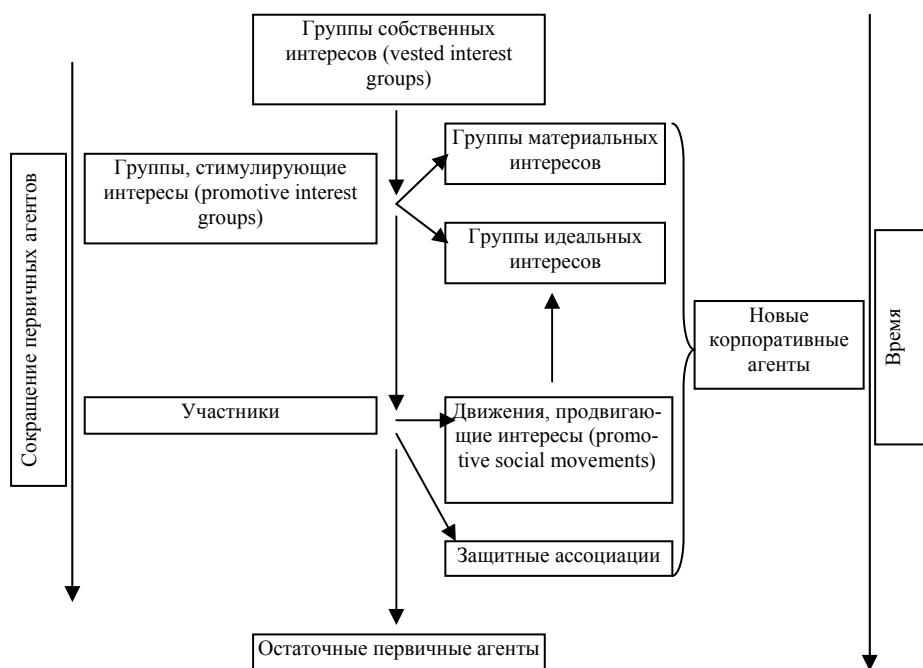


Рис. 5.
Двойной морфогенез Agency

Агентность морфогенетически порождает роли и акторов.

Автор пишет о том, как происходит **социальное становление** [Archer, 1995, p. 294–344]. Маргарет Арчер предлагает следующую схему соответствия между степенями интеграции двух уровней и их взаимодействием [Archer, 1995, p. 295] (табл. 7).

Таблица 7

**Взаимодействие системного и социального уровней
в зависимости от их интеграции**

Системная интеграция (структурная или культурная)				
Высокая			Низкая	
Социальная интеграция	Высокая	Необходимая взаимодополняемость	Необходимое противоречие	Морфостазис
	Низкая	Условная взаимодополняемость	Условное противоречие	Морфогенез

«Условия, связывающие Фазу I и Фазу II, состояли в распределении законных (vested) интересов и работали с помощью сталкивания агентов (agents) с разными ситуационными логиками для их достижения. Параллельно этому, соединительный механизм между Фазой II и Фазой III работает через обмен и власть». При этом они не рассматриваются в качестве посредников, как в функционализме, а обладают эмерджентными свойствами [Archer, 1995, p. 296]. Обмен и власть действуют в три этапа: накопление власти (образуется неравенство); «переговоры» (negotiating strength, определяющие ее распределение); и затем действуют трансформационная и репродуктивная власть.

Маргарет Арчер пишет о том, как соотносится поведение каждого уровня по отдельности с той или иной ситуационной логикой культурной системы (CS) и социальной системы (SS) [Archer, 1995, p. 303] (табл. 8).

Таблица 8

Поведение культурной системы и социокультурного, системного, социального уровней в зависимости от ситуационной логики

	Противоречия		Взаимодополняемость	
	Необходимые	Условные	Необходимые	Условные
(Ситуационная логика) →	(Коррекция)	(Ликвидация)	(Защита)	(Оппортунизм)
Поведение культурных эмерджентных свойств (SEP's)				
Культурной системы (CS)	Синкретизм	Плюрализм	Систематизация	Специализация
Социокультурного уровня (S-C)	Унификация	Расщепление	Репродукция	Сектантство
Поведение структурных эмерджентных свойств (SEP's)				
Социальной системы (SS)	Компромисс	Соревнование	Интеграция	Дифференциация
Социальной интеграции (SI)	Сдерживание	Поляризация	Солидарность	Диверсификация

Далее автор пишет о различиях морфогенеза и морфостаза: первый из них приводит к изменениям системы (выработке), второй – к воспроизведению имеющихся процессов и отношений. Автор иллюстрирует это так [Archer, 1995, p. 309, 323] (рис. 6 и 7).

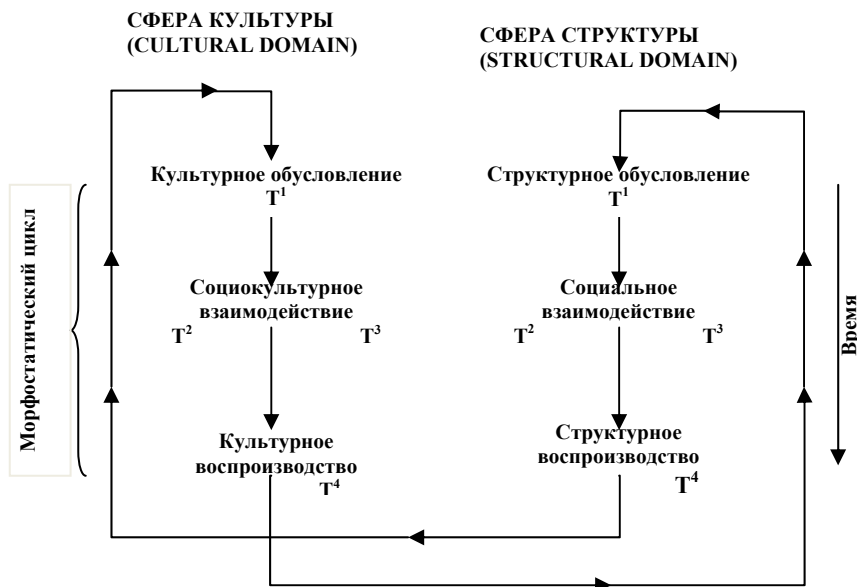


Рис. 6.
Схема морфостаза

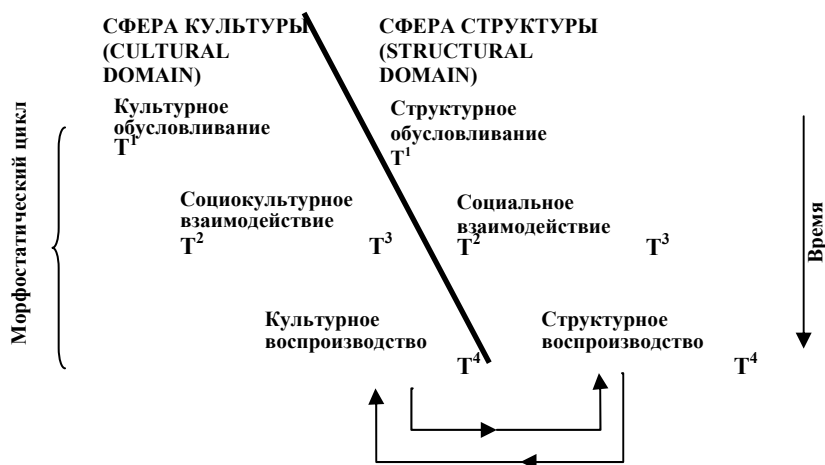


Рис. 7.
Схема морфогенеза

Маргарет Арчер пишет о **роли эмоций в человеческой жизни**, воздействии на них рефлексивности, что уподобляет «внутреннему разговору» (inner conversation). Автор пишет об «эмерджентных свойствах людей», возникающих благодаря эмоциям [Archer, 2000, p. 193–221]. Каждый вид упорядочивания / порядка отвечает за свой кластер эмоций [Archer, 2000, p. 199] (табл. 9).

Таблица 9

Возникновение эмоций

ОБЪЕКТ ЭМОЦИЙ	ЗНАЧЕНИЕ	ИМПОРТЫ	ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ ИЗ
Натуральный порядок	Физическое благополучие	Внутренний (visceral)	Отношения между телом и окружающей средой
Практический порядок	Перформативное достижение	Компетентностные	Субъектно-объектные отношения
Дискурсивный порядок	Самоуважение	Нормативные	Субъектно-субъектные отношения

Автор приводит соответствия между внешними стимулами, эмоциями и поведением [Archer, 2000, p. 205] (табл. 10).

Таблица 10

Значение эмоций

Импорт из окружающей среды в тело	Эмоция	Тенденции к эффектам по отношению к окружающей среде
Вред	Страх	Побег / сокрытие
Нападки	Гнев	Сопrotивление
Всполохиение (startle)	Удивление	Задержание / внимание
Потеря	Печаль	Попытка взять назад
Выгода	Радость	Столкновение (encounter)
Восстание	Отвращение (disgust)	Распространение (emission)
Обогащение (enrich)	Надежда	Ожидание
Расслабление	Облегчение	Отдых

Маргарет Арчер развивает идею о первичных и вторичных эмоциях на базе теории Й. Эльстера (Elster John) [Archer, 2000, p. 222–249].

В восьмой главе «Агенты: активные и пассивные» [Archer, 2000, p. 253–282] автор предлагает вместо моделей «человека модернизи» и «бытия общества» стратифицированную модель человека как самости (self), персоны (person), агента (agent) и актора (actor). Самость в раннем детстве преобразуется в самосознание [Archer, 2000, p. 254]. Эти стратификации человека Маргарет Арчер помещает на своей схеме [Archer, 2000, p. 260] (рис. 8).

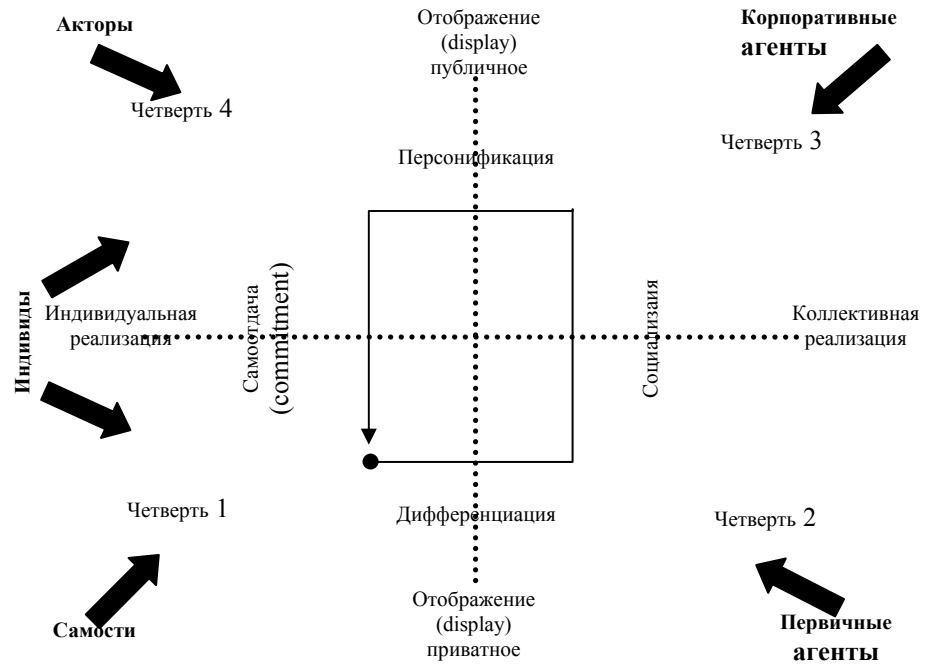


Рис. 8.
Стратифицированная модель человека

Маргарет Арчер пишет о персональной и социальной идентичности [Archer, 2000, p. 288–294]. Автор отображает морфогенез персональной и социальной идентичности на рисунке, помещенном выше (в первой четверти – самость I, во второй – первичная агенсу me, в третьей – корпоративная агенсу we, в четвертой – актер you, в первой и четвертой – персоне) [Archer, 2000, p. 295]. Морфогенез персоны Маргарет Арчер отображает на такой же схеме [Archer, 2003, p. 124].

По мнению Маргарет Арчер, структура и агенсу **соединяются с помощью «внутреннего разговора» (inner conversation)** [Archer, 2003, p. 1–52]. На ее учение о «внутреннем разговоре» повлияли «Принципы психологии» У. Джемса (1890), учение Пирса Ч.С. и символический интеракционизм Дж.Г. Мида.

Маргарет Арчер пишет о существовании в каждом человеке трех «внутренних голосов» – I, me, self [Archer, 2003, p. 108]; «me» увеличивается с возрастом [Archer, 2003, p. 114], а «self» является субъектом и объектом, между которыми постоянно идет «внутренний разговор» [Archer, 2003, p. 103]. Автор выстраивает диалогическую схему «внутреннего разговора», состоящего из трех этапов: распознавание (discernment), обсуждение (deliberation), посвящение (dedication), после чего начинается новый цикл.

«Распознавание (discernment) состоит в том, что “subject self” оценивает те элементы (enterprises) в натуральном, практическом и социальном порядках, на которые обращает внимание, в смысле их ценности и привлекательности. Здесь проекты кристаллизируются (обычно во множественном числе) в ясные их концепции, важные для жизни». Обсуждение (deliberation) предполагает, что «object-self» репрезентирует впечатление в собранные сценарии, которые теперь «subject-self» снабдило деталями, подчеркивающими позитивные и негативные последствия для других забот, интересов субъекта». На стадии посвящения (dedication) «object-self подводит психический баланс, который участвует в принятии конкретного решения “предела важности” (ultimate concern) [...]» [Archer, 1995, p. 102–103].

Описывая процесс медиации между структурой и agency [Archer, 2000, p. 130–150]. Маргарет Арчер строит траекторию курсов деятельности «заботы → проекты → практики» (concerns → projects → practices) [Archer, 2000, p. 133]. Медиация происходит по следующим образцам [Archer, 2000, p. 135–148].

1. «Структурные и культурные свойства объективно формируют ситуации, которым агенты невольно противостоят; эти свойства обладают порождающей властью (generative powers) ограничения и обеспечения в отношении к субъективно определенных агентам».

2. «Ограничения и обеспечения активируются в ассоциации с личными озабоченностями агентов, как субъективно определенных в отношении к трем порядкам реальности – природе, практике и обществу».

3. «Курс действия производится через рефлексивные обсуждения агентов, которые субъективно детерминируют их практические проекты и отношения с их объективными обстоятельствами».

Маргарет Арчер проводит ряд интервью с целью исследовать «внутренние разговоры» разных людей [Archer, 2003, p. 153–166] и делает вывод о существовании разных **типов рефлексивности**, которые определяют разные позиции по отношению к социальным и культурным системам. **Коммуникативная рефлексивность** [Archer, 2003, p. 167–209] – тип рефлексивности, представители которого склонны находить одобрение своих действий у других людей, советоваться. Представители **автономной рефлексивности** [Archer, 2003, p. 210–254] склонны к глубоко самостоятельному решению всех проблем. О **метарефлексивности** [Archer, 2003, p. 255–297] автор пишет как о типе рефлексивности – первичном для всех остальных, заключающемся в более выраженном внутреннем разговоре (inner conversation). Эти люди часто таким образом обдумывают многие жизненные проблемы.

Маргарет Арчер пишет также о **сломанных рефлексивностях** [Archer, 2003, p. 298–341]. Это относится к людям, не способным использовать власть над собой. Различают смещенную (displaced) и затрудненную (impeded) рефлексивности. Такие варианты характерны для всех вышеописанных типов рефлексивности. Первая возникает в случаях,

подобным тем, когда человек учил французский язык и стал неспособен к жизни в Германии, второй – когда человек учил французский язык, но выучил его недостаточно для комфортной жизни в Германии [Archer, 2003, p. 298]. Бывают случаи, близкие к ситуациям, когда рефлексивность отсутствует.

Автор пишет о разных медиациях структуры разными типами рефлексивности [Archer, 2003, p. 342–361]. Каждый тип рефлексивности имеет свою позицию (stance) в этом плане: коммуникативный тип – уклончивую (evasive), автономный – стратегическую (strategic) и метарефлексивный – подрывную (subverse) [Archer, 2003, p. 353–356].

В книге 2007 г. Маргарет Арчер дает следующее определение: «**Рефлексивность** – это регулярные упражнения умственных способностей считать себя в отношении своих (социальных) контекстов и наоборот, общие для всех нормальных людей» [Archer, 2007, p. 4] (под «наоборот» имеется в виду способность системного уровня рефлексировать людей в своих контекстах). В книге 2010 г. различаются специально рефлексные ответы (реакции), рефлексивные мысли и рефлексивный процесс (соответственно, reflex responses, reflective thought, reflective processes). Первым рефлексные ответы (реакции) изучал И.П. Павлов в своей теории рефлексов, в которой объясняется некоторая часть социальных явлений, но далеко не все. Маргарет Арчер пишет: «Я только что сказала, что эти два типа рефлексивности [рефлексивные мысли и рефлексивный процесс – *А. К.*] отличаются от обусловливания (conditioning) у животных нашей человеческой способностью рефлексировать (reflect upon) или быть рефлексивными (to be reflexive about) о нашей условности (conventionality), но в чем разница между ними? Человеческая рефлексия (human reflection) – это действие субъекта, направленное на объект, как в математике отражают (reflecting on) абстрактную задачу. В случае когда мы отвечаем, когда представляемся незнакомцу, – это социолингвистическая конвенция. Используем ли мы ее или нет, все мы обладаем способностью рефлексировать (reflect about) об уместности ее воспроизводства и последствий. [...] Рефлексия (reflection) может быть направлена на любой объект. [...] Отличительная черта рефлексивности (reflexivity) в том, что она имеет самореферентную характеристику некоторой „обратной” мысли о себе, такую, что принимает форму *субъект-объект-субъект*». При этом границы между рефлексией (reflection) и рефлексивностью (reflexivity) нечеткие, первая легко переходит во вторую, что Маргарет Арчер иллюстрирует на примере с обращением с техническим устройством. Когда человек задается вопросом: «Что дальше?» – это рефлексия (reflection), а когда вопросом: «Что мне дальше с этим делать?» – рефлексивность (reflexivity) [Conversations, 2010, p. 1].

В отличие от других мыслителей, базирующихся на идеях Просвещения, Маргарет Арчер считает, что рефлексивность присуща обществу на всех этапах его истории, с первобытного времени: «нет рефлексивности – нет общества». Рефлексивность важна, так как «чувство себя» – «условие для социальной жизни вообще», она необходима для соблюдения тради-

ций, «внутренний разговор» существовал всегда, когда было и общение между людьми [Archer, 2007, p. 27–28]. Маргарет Арчер критикует учение о «рефлексивной модернизации» Э. Гидденса, У. Бека, С. Лэша, обнаруживая в нем парадоксы, – в их теории люди становятся рациональными, но при этом в мире нарастает хаос. По ее мнению, в позднем модерне (late modern) системная рефлексивность не стала лучше, но персональная рефлексивность на социальном уровне – повышается [Archer, 2007, p. 30]. Маргарет Арчер критикует теорию габитуса П. Бурдьё, так как она ограничивает возможности теоретического рассмотрения рефлексивности; указывает на несовместимость ее теории рефлексивности с теорией габитуса и активно против нее выступает в последние годы. Привычка (habit) обычно объясняется морфостазисом, увеличение рефлексивности – морфогенезом, их соотношение объясняется теорией морфогенеза.

В предисловии к сборнику о рефлексивности 2010 г. Маргарет Арчер указывает, что истоки идей о рефлексивности как о «внутреннем диалоге» можно встретить еще в «Геэтете» Платона. Но многие социальные теоретики, например Э. Дюркгейм, М. Вебер, К. Маркс, не акцентировали внимание на рефлексивности из-за смещения внимания на проблему субъективности. Не смогли специально изучать проблему И. Кант, О. Конт, Дж. Ст. Милль, теоретики рационального выбора; несмотря на то что в их трудах были важные идеи для разработки теории рефлексивности. Специально Маргарет Арчер акцентирует внимание на достижения американского прагматизма в разработке теории «внутреннего разговора» [Conversations, 2010, p. 1–12].

Маргарет Арчер формирует три основных типа рефлексивности и различает их, показывая это в таблице [Archer, 2007, p. 316] (табл. 11).

Таблица 11

Три типа рефлексивности

Параметр	Коммуникативная рефлексивность	Автономная рефлексивность	Метарефлексивность
Режимы рефлексивности влияют на позиции по отношению к ограничениям или разрешениям, препятствующим или способствующим социальной мобильности, ...	уклончивый (evasive)	стратегический (strategic)	подрывной (subverse)
... через связанные с ними ориентациями действия, ...	самопожертвование	самодисциплина	самопревосхождение
... с последствиями для моделей мобильности, ...	социальная немобильность (social immobility)	мобильность вверх (upwards mobility)	горизонтальная мобильность (волатильность) (lateral mobility (volatility))
... и совокупные макроскопические последствия, ...	социальное воспроизводство	социальная производительность	социальная переориентация
... чье основное институциональное воздействие идет на:	семью	рынок	третий сектор

Маргарет Арчер создает Internal CONversation Indicator (ICONI) [Archer, 2007, p. 326–337; Archer, 2008] – эмпирическую количественно-качественную методику исследования сформулированных ею трех типов рефлексивности – коммуникативной, автономной, метарефлексивности – и четвертой – сломанной (разбитой рефлексивности – когда человек испытывает затруднения с рефлексивностью).

В книге 2010 г. Маргарет Арчер обосновывает зависимость типа рефлексивности человека от его семейных благ и селективности. Люди, имевшие высокий уровень семейных благ и селективности, чаще становятся обладателями метарефлексивности; низкий – коммуникативной. Люди, имеющие низкие показатели семейных благ, чаще имеют автономную и разбитую рефлексивность [Archer, 2012, p. 102]. Социализация не рассматривается как пассивное усвоение норм (это – конфляция вниз); в соответствии с методологией аналитического дуализма, рациональный выбор в теории заменяется на осмысленный (meaningful). Маргарет Арчер исследует «внутренние разговоры» конкретных людей, исследуя их и иллюстрируя схемами разговора ego и alter [Archer, 2012, p. 87–124]. В заключение автор делает следующие выводы о связи типов рефлексивности и жизни людей [Archer, 2012, p. 293] (табл. 12).

Таблица 12

Связи типов рефлексивности с биографиями людей

Тип рефлексивности	Отношения с послеродовым фоном (т.е. отношения с окружающим миром в самом раннем детстве)	Отношения с домашними и друзьями	Основа для новой дружбы	Карьера востребована для	Карьера востребована в	Ответ на ситуационную логику возможности
Коммуникативная	Идентификация	удерживание	общие черты	репликации (повторение, воспроизводство практик поведения)	духе образца поведения в семье	неприятие
Автономная	Независимые	избирательность	в зависимости от взаимодействия	материальных выгод	финансовых и публичных сервисах	соревновательная адаптация
Мета-рефлексивность	расцепленные (disengaged)	неприятие	в зависимости от ценностей	продвижения изменений	третьем секторе	приятие
Разбитые рефлексивности	неприятие	отсутствие	зависимость	эфемерно, неясно для них самих	неясно	пассивность

Морфогенез и рефлексивность сейчас – не только теория, развиваемая одной Маргарет Арчер. Есть возможности эмпирических исследований социальных изменений, международной политической системы, самоорганизации, социальных систем, социальных сетей, власти, миропорядка и др. с помощью этих теорий. В издании «Социальный морфогенез» исследователи думают о «**морфогенетическом обществе**», как о сменяющем поздний модерн (late modern) типе общества [Social, 2013].

А.М. Кучинов

Список литературы

- Archer M.S.* Being human: The problem of agency. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2000. – X+323 p.
- Archer M.S.* Culture and agency: The place of culture in social theory: revisited edition. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – XXIX+ 351 p.
- Archer M.S.* The Internal Conversation: Mediating Between Structure and Agency, RES-000-23-0349. – Swindon: ESRC, 2008. – Mode of access: http://www.criticalrealism.com/archive/iacr_conference_2001/marcher_rpmsa.pdf (Accessed: 2015 April, 26.)
- <http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/sociology/social-theory/structure-agency-and-internal-conversation?format=PB&isbn=9780521535977>
- Archer M.S.* Making our way through the world: Human reflexivity and social mobility. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2007. – VII+343 p.
- Archer M.S.* Realist social theory: the morphogenetic approach. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1995. – VII+354 p.
- Archer M.S.* The reflexive imperative in late modernity. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2012. – XII+340 p.
- Archer M.S.* Structure, agency and the internal conversation. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2003. – X+370 p.
- Bloor D.* Knowledge and social imagery. – L.: Routledge & Paul, 1976. – XII+156 p.
- Conversations about reflexivity / Ed. by M.S. Archer. – L.; N.Y.: Routledge: Taylor&Francis, 2010. – XII+265 p.
- Lockwood D.* Social Integration and System Integration // Social Change: Explorations, Diagnoses, and Conjectures / Ed. by G.K. Zollchan, W. Hirsch; With an Introduction by Don Martindale. – N.Y.: John Wiley & Sons, 1976. – P. 370–383.
- Social Morphogenesis / Ed. M.S. Archer. – N.Y.: Springer, 2013. – VI+231 pp.
- Кучинов А.М. Современные теории structure-agency и русская социология // Гуманитарные научные исследования. – М.: Международный научно-инновационный центр, 2015. – № 4 [Электронный ресурс]. – Mode of access: <http://human.snauka.ru/2015/04/9598> (Дата обращения: 26.04.2015.)
- Кучинов А.М. Теория морфогенеза М.С. Арчер (сводный реферат) // Политический вектор = Political vector. – М.; Челябинск: ЮУрГУ: НОЦ «Комплексные проблемы современной политики», 2014. – № 2. – С. 70–91.
- Поттер К.Р. Объективное знание: Эволюционный подход / Пер. с англ. Д.Г. Лахути; Отв. ред. В.Н. Садовский. – М.: УРСС, 2002. – 381 с.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АРХИВ НА ЗАВТРА

В этой рубрике публикуется заключительная глава получившей известность в Германии книги немецкого политолога из Университета Мюнстера Клауса Шуберта «Инновации и порядок»¹. В свое время она вызвала отклики и стимулировала дискуссию по поводу методов социальных и политических исследований в немецкой политической науке. Общий замысел книги, по заявлению самого автора, – представить коллегам философские и теоретико-методологические основы классического философского прагматизма в качестве оснований теории политики и методологии политических и социальных исследований.

Во вводном разделе автор подробно анализирует исторический контекст возникновения и развития философского прагматизма в Америке, а также его восприятие в Европе, и особенно в Германии, выявляя характерные проблемы, связанные с этой рецепцией.

Во втором разделе основное внимание уделяется анализу базовых элементов прагматической философии, представленных как в работах классиков – У. Джеймса, Дж. Дьюи, Ч. Пирса, – так и у авторов, испытавших их существенное влияние, – Дж.Г. Мида, Ч. Морриса, Р. Рорти. По мнению Шуберта, многое из ядра этого философского паттерна может быть понято в качестве теоретико-методологических оснований для изучения политики. В этом плане он особенно выделяет основополагающее значение таких принципов прагматизма, как плюрализм, радикальный эмпиризм, интересубъектность и темпоральность или динамизм.

Специальному рассмотрению в этом разделе работы Шуберт подвергает методологическое значение в прагматизме теории истины и понятия «прагматического действия». Он фокусирует внимание на определяющей роли условий и форм осуществления действий, которые собственно и задают «действию» в прагматизме определенные ограничительные рамки. На этой почве, как объясняет автор, и возникают такие определения прагматического действия, как релятивизм и контекстуализм. Но вместе с тем такое действие характеризуется и целым рядом других свойств, в том числе такими как мелиоранизм (оптимизация, улучшение), экспериментализм, инст-

¹ Schubert K. Innovation und Ordnung. Grundlagen einer pragmatischen Theorie der Politik. – Münster; Hamburg; L.: LIT Verlag, 2003. – 212 S.

рументализм. Итогом этой рефлексии становится авторский эскиз своего рода теоретико-политического базиса прагматизма, определяемого как «демократический индивидуализм». Для этого последнего характерны не столько политико-властные и управленческие измерения, сколько мировоззренческие (представление о мире) и нормативные.

В сравнительно небольшом третьем разделе работы автор в основном развивает тезис о роли и значении философии прагматизма и прагматического подхода для методологии социальных и политических наук. По его мнению, прагматическое мышление остается в этом плане недооцененным. Его часто рассматривают как подход, дополняющий и уточняющий другие, более объективные и фундаментальные. Автор же полагает, что прагматический подход в условиях современных массовых демократий и высокой социально-экономической динамики может дать наиболее адекватный философский базис для всего комплекса социальных и политических наук. В четвертом разделе он анализирует ряд основных компонентов этого базиса, уделяя особое внимание пониманию человека и его качеств, а также пониманию пространства и времени в прагматизме. Во многом именно с опорой на эти представления и может быть построена, как считает автор, прагматическая теория политики.

Эскиз этой теории политики представлен в пятом разделе книги. Не останавливаясь на ее подробном изложении, которое потребовало бы слишком много места и, вероятно, заслуживает отдельной публикации, отметим лишь ее некоторые моменты, помогающие лучше понять публикуемый в нашей рубрике методологический фрагмент.

Ключевой для этой теории политики, по Шуберту, является категория «пространства возможностей», которая позволяет объединить в общем аналитическом пространстве функционирование институтов (порядков, структур) и опыт действий акторов. При этом важнейшим качеством этого пространства является его темпоральная или динамическая характеристика (обращенность к будущему). В этом динамическом пространстве структур / порядков и действий выделяются два измерения / аспекта: аспект «потенциалов» (сохранения и изменения) и аспект «эффектов», которые определенным образом соотносятся друг с другом. Иными словами, ожидания и прогнозы («потенциалы» изменения и сохранения) сопоставляются в динамическом «пространстве возможностей» с «эффектами», к которым относятся разные варианты / типы изменений или их отсутствия в структурах и действиях. В изучении политики эта теоретическая модель может быть, по мнению автора, наиболее эффективна, так как прагматическое «пространство возможностей» позволяет включить в рассмотрение значительно более широкое пространство политических действий и решений, чем это имеет место в других теоретико-методологических подходах к политике. В то же время, как отмечает автор, конструктивный характер этой теоретической модели политики, нацеленной на осмысление возможностей и их вероятностей, включает и существенный субъективный мо-

мент. В связи с этим важной проблемой становится обоснование всеобщего (интерсубъективного) значения положений и выводов, получаемых на этой достаточно субъективной почве. Это обстоятельство и заставляет обратиться к специальному анализу логики (логической структуры) методов, применяемой при прагматическом подходе. Автор рассматривает ее в заключительном, шестом разделе своей работы, который и представлен читателям в русском переводе, выполненном Станиславом Климовичем.

В.С. Авдонин

К. Шуберт

**ИННОВАЦИИ И ПОРЯДОК.
ОСНОВЫ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПОЛИТИКИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ¹**

К. Schubert

**Innovation und Ordnung. Grundlagen einer pragmatischen
Theorie der Politik 6. Methodische Überlegungen²**

Каковы методические последствия дискуссии о прагматической теории политики, которая в рамках текущих наработок должна пониматься как динамическая теория? Этот вопрос имеет особую значимость, поскольку – как известно – прагматизм, с одной стороны, претендует на реальную открытость в отношении будущих событий, т.е. твердо придерживается индетерминизма и в этом смысле отказывается от (абсолютных) закономерностей. Однако с другой стороны, действуя в логике пространственно-временных рамок, прагматизм достаточно далек от подхода «anything goes»: цитируя Альберта Эйнштейна – «бог не играет в кости».

Проблема методических последствий прагматической теории политики здесь может быть освещена лишь очень сжато. Основная цель данной главы скорее заключается в том, чтобы начать дискуссию на эту тему. Такой дискуссии послужит в первую очередь категоризация, которая будет разработана и обоснована далее. Она исходит из устоявшегося и общеизвестного понимания методов, однако предлагает их дальнейшее развитие в прагматической перспективе и в этом смысле выступает за интеграцию этих в основе своей весьма различных перспектив. Многие детали могут показаться спекулятивными, однако поскольку это исследование, по сути,

¹ Печатается в переводе с немецкого оригинала: Schubert K. Innovation und Ordnung. Grundlagen einer pragmatischen Theorie der Politik. – Münster; Hamburg; L.: LIT Verlag, 2003. – S. 165–187. Сноски и библиографические описания оригинала.

² Благодарность Райнеру Диаз-Боне за совет и поддержку в написании этой главы. – *Прим. авт.*

является попыткой открыть «новую территорию», его следует воспринимать в качестве предложения для дальнейшей дискуссии. Еще одной исходной точкой этих методических размышлений выступает то известное обстоятельство, что с определенного времени (социологическая в большей степени, чем политологическая) дискуссия о методах активизировалась¹. Дискуссия о различии между количественными и качественными методами началась в США в 1960-е годы, в Германии – несколько позже². С позиции прагматизма в эти дебаты вносится новая линия раздела: между рефлектирующими и проектирующими методами. Первые ориентированы на реконструкцию и анализ данных и фактов о прошлых событиях. Вторые же направлены на возможные последствия и выводы из этих событий.

Последующая категоризация различных научных методов начинается с разделения их на «сциентистские» и «прагматические». Это разделение необходимо по той причине, что обе выше обозначенные методические перспективы основываются на противоположных картинах мира. Общеизвестное сциентистское понимание методов имеет в основе своей представление о закрытом, полностью законченном мире, в котором все, что было и что будет, уже существует и было создано раз и навсегда. В такой картине мира задачей науки становится «всего лишь» отыскать еще неизвестные элементы мироздания. Другими словами, речь идет о том, чтобы проверять, расшифровывать, а затем применять «скрытые истины»³. Поскольку считается, что все уже существует, и в этой картине мира возможны абсолютные закономерности и каузальности. Отсюда возникает осмысленность в том, чтобы возводить обнаруженные однажды закономерности в абсолют. Высшей целью научной работы, мышления и исследований становится формулирование теорий, разработка моделей и создание законов, которые будут претендовать на всеобщее действие. Другими словами, речь идет о том, чтобы создавать теории, модели и законы, которые будут способны разобрать понимаемый так мир на составляющие и максимально элегантно (т.е. в соответствии с экологическим принципом) его редуцировать, так чтобы посредством максимально простых предложений можно было делать всеобъемлющие высказывания и суждения. Не столь полемичным будет сказать, что такой подход можно сравнить с поиском философского камня или «теорией всего», с помощью которых становится возможным низвести всю многогранность мира опыта

¹ Только в SAGE за последние три года вышло более трех десятков публикаций по качественным, реконструктивным, интерпретативным методам и action research. Например, немецкоязычные исследования: R. Bohnsack 1999. *Rekonstruktive Sozialforschung – Einführung in die Methodologie und Praxis qualitativer Forschung*. Opladen: Leske + Budrich или Wagner, H.-J. *Rekonstruktive Methodologie – George Herbert Mead und die qualitative Sozialforschung*. Opladen: Leske + Budrich.

² См., напр.: U. Flick / E.V. Kardorff / H. Keupp (hrsg.) 1995. *Handbuch Qualitative Sozialforschung – Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen*. Weinheim...

³ Такая характеристика встречается у Райнера Диас-Боне.

до небольшого числа основополагающих принципов лежащего за ним (или под ним) объективного мира. Таким образом, поиск «единства наук» должен восприниматься как (последний?) великий проект такого подхода к познанию.

Прагматическое понимание методов основывается на альтернативной гипотезе, которая исходит из того, что действительность плюралистична. Эта действительность в прагматическом понимании – единственная, которую люди могут на самом деле воспринимать и которая, по крайней мере с точки зрения человека, является пластичной, формируемой и изменяемой. Таким образом, эта действительность существует не «вне» индивидуума, отводя ему лишь роль наблюдателя. В прагматической действительности индивидуум является гораздо более активным ее участником: именно через его существование, его интерпретацию и его непосредственную включенность возникает действительность, которую он способен познать. Отсюда основополагающими для человеческой реальности (а другой, пока существуют люди, и не может быть¹) становятся пространство и время. Эта реальность не редуцируется до уровня «теории всего», а развивается посредством непрекращающегося и необозримого «прибавления», непрерывно и эволюционно.

На первый план здесь выходит не поиск окончательного порядка, вечной истины, законов и пр., а повторяемая попытка построить понимаемый человеком порядок в постоянно меняющемся мире, а значит, каждый раз создавать наиболее возможный и наилучший порядок в данном моменте. При таком видении среди многих порядков, правил, истин и законов *отправной точкой* служит то, что эмпирически (в соответствии со всем имеющимся на данный момент опытом) подтвердило свое право считаться «лучшей практикой», которая работает в долгосрочной перспективе. Такие отправные точки формируют эталон, в соответствии с которым будет осуществляться измерение менее подходящих практик (структур, институтов, процессов), а также всего нового, что возникает, когда имеющийся опыт недостаточен для решения актуальных проблем.

В качестве еще одного исходного замечания может оказаться полезным вновь вспомнить о специфике использования термина «опыт» в прагматизме. Опыт, «как сказал Уильям Джеймс – это “двусмысленный” (double-barreled) факт»². По Джону Дьюи, под «двусмысленностью» понимается комплексное понятие³, которое включает в себя субъективный и объективный аспекты: «Место природы в человеке не более значимо, чем место человека в природе. Человек в природе – это человек субъективный; природа в человеке, осознанная и используемая, это – интеллект и искусство. Ценность опыта для философа заключается в том, что он служит по-

¹ Поскольку иную реальность не представляется возможным познать.

² J. Dewey 1925. *Experience and Nature*. – Chicago; L.: Open Court, P. 8.

³ Как понятия «жизнь», «история» и др.

стоянным напоминанием о чем-то, что не является ни изолированным субъектом или объектом, ни материей или разумом, ни суммой этих двух слагаемых. Факт интеграции в жизнь – это основополагающий факт. И пока его понимание не станет делом привычки, бессознательным и повсеместным, нам необходимо некое слово, например “опыт”, чтобы оно напоминало нам об этой интеграции и защищало мыслительный процесс от искажений, возникающих, когда интеграция игнорируется или отрицается. При этом опыт становится частью истории и темпорального процесса»¹.

Таким образом, специфика человеческого опыта состоит в возможности рассматривать его в качестве составной части или еще не законченного целого. Отсюда открывается возможность связывать имеющийся опыт и факты с другими (временными, пространственными и содержательными) контекстами и «обогащать» их дополнительным опытом. Именно этот процесс обогащения смыслом формирует ядро денотативного метода Дьюи.

Это понятие опыта² определяется основными детерминантами человеческого бытия. Приведенная выше цитата подтверждает, что существование человека постоянно происходит в активном взаимодействии с конкретной средой и, как правило, не является пассивным растворением в окружающей действительности. К числу таких детерминант относится также диалектическое противоречие между нуждой, потребностью и реакцией на них. Это противоречие может быть ослаблено как за счет адаптации, так и за счет активного вмешательства, изменения окружающих условий и самой среды. Таким образом, опыт всегда обращается к двум модусам реакции – адаптации и новации.

Однако противоречие нужда – потребность – реакция в прагматизме не является статичным: «опыт – часть... темпорального процесса». Из этого следует, что ни адаптация, ни новация не связаны с возвращением к прежнему (исходному) состоянию. Любая человеческая деятельность – как адаптация, так и новация – понимается как вовлеченность, как активное вмешательство и фактическое «прибавление»³. Мартин Зур так обобщает размышления Дьюи: «Жизнь заключается в преодолении препятствий и конфликтов. Это означает их преобразование в различные аспекты энергичной и полноценной жизни. Отсюда следует... адаптация через расширение, а не сокращение. Основная цель... достижение состояния равновесия; в долгосрочной перспективе возникает порядок»⁴.

¹ J. Dewey 1925. *Experience and Nature*. Chicago / London: Open Court, P. 28.

² В главе 2.3 разрабатывается идея о том, что прагматический радикальный эмпиризм охватывает и факты, и идеи – «материю и разум».

³ Также см.: J. Dewey 1934. *Art as Experience*, in: John Dewey: *The Later Works*, Vol. 10, 1934. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, pp. 20 и далее.

⁴ M. Suhr 194. *John Dewey – zur Einführung*. Hamburg: Junius, S. 110 f.

Из описанных выше предпосылок следует, что прагматическое понимание методов не может ограничиваться развитием тех методов, которые позволяют делать точные отпечатки (снимки) окружающей реальности. Без сомнений, необходимо постоянное подтверждение и осмысление того, что на самом деле было и что фактически есть. В этом смысле наиболее ценными оказываются классические эмпирические методы. Однако: невозможно понять предприятие, ориентированное на будущее, из его бухгалтерии. Точное знание бухгалтерской отчетности, возможно, показывает рамки, в которых действует компания, указывает на потенциал, ограничения и риски (от того или иного действия), а значит, считается необходимым для ответственного поведения. Однако для понимания человеческого – политического, социального или экономического – поведения, ориентированного на будущее, представлений о заданных обстоятельствах недостаточно. Знание фактов в прагматической перспективе всегда дополняется тремя значимыми составляющими. Во-первых, готовность предлагать новые, инновационные решения для новых проблем. Во-вторых, готовность экспериментировать с новыми возможностями в поведении и имитировать их. В-третьих, готовность целенаправленно адаптировать новые действия для достижения собственных представлений (ожиданий, желаний, целей, надежд и т.д.), т.е. ориентировать их на возможное и желаемое будущее.

Разумеется, классические эмпирические методы также связаны с конструирующим процессом познания. И в той степени, в которой он применяется (например, в оценке фактора значимости в политических опросах), возникает вопрос: какие методы и насколько хорошо подходят, для того чтобы создать качественную и точную модель действительности (и тогда – какой именно действительности?)¹?

Эта логика соответствующим образом подходит для политических процессов: здесь недостаточны ни «историческое сознание», ни детальная оценка и точные «политические барометры». Только соединение «материи и разума», т.е. обеспечение взаимосвязи фактов с – в этом случае политическими – целями делает заданные ситуации открытыми для интерпретации и реинтерпретации, а также позволяет связывать их с будущими событиями и, таким образом, отвечает за межтемпоральную непрерывность (опыта). По силе сопротивления реальности можно понять, в какой степени могут быть реализованы политические намерения и воплощены в жизнь заявления политиков. Концепция непрерывности опыта, которую Уильям Джеймс интерпретировал достаточно индивидуалистично, обрета-

¹ См., напр., интересную контроверзу между W. Mueller: «Sozialstruktur und Wahlverhalten» и R. Schnell / U. Kohler: «Zur Erklärungskraft sozio-demographischer Variablen im Zeitverlauf», обе статьи в: Koelner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1997, 49. Jahrgang, S. 747–760 и 783–795.

ет «двусмысленность», поскольку позволяет объединять субъективные и объективные критерии¹.

В этой же перспективе следует понимать и «денотативный метод» Дьюи, который является основополагающим для обозначенного выше разделения между сциентистским и прагматическим методом². Только в реальности, которая понимается как пространственно-временной континуум, возникает возможность отличить первичный опыт от рефлексии, эмпирически обращенной в прошлое. Различие, которое является центральным для «Опыта как метода»: «Ценность опыта как метода в философии заключается его способности обратить наше внимание на то, что все дело в денотации. А для того чтобы разрешить любой спор, развеять любые сомнения, ответить на любой вопрос, нам нужно обратиться к чему-то, что должным образом выделено и денотировано, а затем найти там ответ»³. Мартин Зур так описывает суть этого метода: Дьюи проводит различие между первичным и вторичным опытом (рефлексией), т.е. между «грубым, макроскопическим, сырым... и очищенной материей рефлексии»⁴. Именно за счет вторичного опыта возможно расширение нашего знания, которое происходит, потому что при рефлексии, в процессе теоретического препарирования объекта, мы больше понимаем о самом объекте, материи, чем при первичном опыте. Достижение этого (рефлексивного) знания в том, что «первичный опыт обретает дополнительный смысл». Только посредством этого дополнительного, расширенного знания становится возможно объединить первичный опыт и «характеристики первичного объекта... в континуум с остальной природой». «Вещи приобретают более глубокий смысл по той причине, что они сохраняют в себе путь, который прошла теория за время рефлексии. Вещи больше не являются полноценными объектами, а становятся знаком (символом) для других вещей». Такое «обозначение» других вещей Дьюи описывает как «выявление, обнаружение и демонстрацию»: «История мысли в значительной степени показывает необходимость в методе, который позволяет выявлять, обнаруживать и показывать, а не в методах, которые подменяют логическим

¹ С этой точки зрения представляется логичным подвергнуть прагматической интерпретации классическую технику исследования и отказаться от принятого разделения, когда для описания состояния применяется позитивистская социальная наука, а в случае если с этим возникают сложности, подключаются постпозитивистские и денотативные методы. С другой стороны, в этом исследовании речь идет лишь о том, чтобы показать возможные перспективы и создать предпосылки для дальнейшей и более глубокой дискуссии.

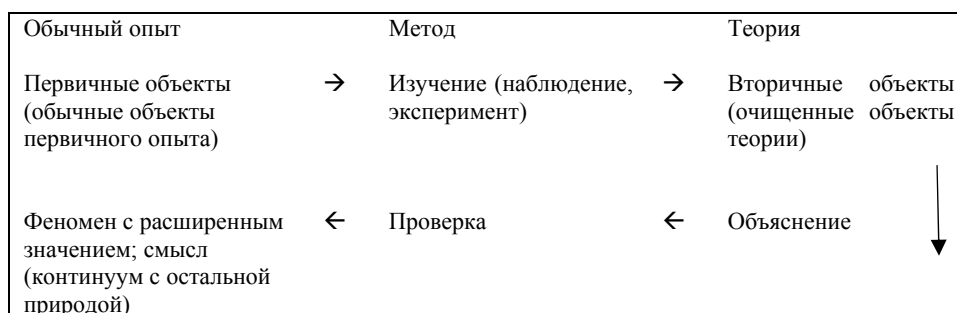
² Описано в J. Dewey 1925. *Experience and Nature*. Chicago / London: Open Court, Chapter I: Experience and Philosophic Method, pp. 1–39.

³ Ibid. P. 10.

⁴ Suhr M. *John Dewey – Zur Einführung*. – Hamburg: Junius, 1994. – S. 142. См. также: J. Ratner 1939: «Introduction, Chapter XVII», in: ders.: *John Dewey's Philosophy*. New York: Random Hous, pp. 126–134.

размышлением и его выводами вещи, которые были сделаны, пережиты или воображаемы»¹.

Этот денотативный метод, или метод расширения значения, Зур представляет следующим образом².



Метод Дьюи (метод расширения значения) по М. Зуру

«Последний “третичный” объект обогащен смыслом и более полнозначен, поскольку его содержание определяется не только опытом индивида, но и его изучением. Необходимо заметить, что опыт здесь... это всегда чей-то опыт: опыт является “двусмысленным” словом, которое обозначает интегральное единство субъекта и объекта»³.

Исходя из изложенного выше прагматического понимания, приветствуется развитие таких методов социальной науки, которые объединены понятиями «реконструкция / реконструктивный». Они представляют собой дальнейшее расширение арсенала существующих методов и позволяют несколько сузить расхождения (и вместе с тем существующие различия в значимости) между количественными и качественными эмпирическими исследованиями. Даже несмотря на то что реконструктивные методы, как пишет Вагнер⁴, схожи с другими в своей все возрастающей ориентации *ex post*, они направлены (что следует уже из их названия) на реконструкцию опытного знания и в этом смысле вносят свой теоретический вклад в «процесс становления»⁵; или, в более узком смысле, – в процесс обогащения значения. С одной стороны, они способствуют отказу от добровольной пассивности попперовского понимания метода, который сводит тео-

¹ P.P. Wiener 1965. *Evolution and the Founders of Pragmatism*. New York: Harper, P. 12.

² M. Suhr 1994. *John Dewey – Zur Einführung*. Hamburg: Junius, S. 143.

³ Там же.

⁴ Wagner H.-J. *Rekonstruktive Methodologie – George Herbert Mead und die qualitative Sozialforschung*. – Opladen: Leske + Budrich, 1999.

⁵ Пользуясь термином Уильяма Джеймса.

рии к проверке или обоснованию зависимостей¹. С другой стороны, эти методы в полной мере соответствуют особенностям социальной науки, поскольку научное мышление в них не только «состоит из самих интерпретаций, типологизации и конструкций, но и... само есть предмет такого мышления, само есть социальное действие на разных уровнях, само строится на осмысленных конструкциях, типах и методах. И это действует не только тогда, когда мы мыслим... о социальном действии, но и в самом этом социальном действии: оно тоже определяется типами, знаниями и схемами»². За счет такого расширения арсенала методов возникают эмпирические подходы, выходящие за рамки проверки гипотез. Это касается также и анализа динамического развития, т.е. тех процессов, в которых с помощью указанных новых методов посредством описания (и интерпретации) временных данных могут быть реконструированы причинные связи и осуществлена систематизация того, как и почему из ситуации 1 возникла ситуация 2, 3 и т.д.

Другим аргументом в пользу обозначенных выше методов выступает связанное с ними представление о том, что индивид и индивидуальное поведение являются интегральными составляющими действительности (и ее реконструкции), что она (действительность) находится в развитии и что индивиду не противостоит единожды открытый (познанный) мир. Это заключение близко по духу к призыву Джона Дьюи: «Денотативный метод говорит нам, что мы должны выйти за рамки изысканий и рефлексий и начать понимать наши дела, наслаждения и страдания как вещи, которые стимулируют нас к труду, удовлетворяют наши потребности, удивляют нас своей красотой, обеспечивают смирение в наказании»³.

Выше были изложены основные положения обоих методических подходов – эмпирически-сциентистского и эмпирически-прагматического, которые далее будут рассмотрены более подробно.

Сциентистские методы

Оба главных сциентистских метода – дедукция и индукция – широко распространены в традиционной учебной литературе. Однако они также создают «проблему учебника», т.е. постоянного повторения одних и

¹ «В методологии критического рационализма отсутствует метод познания нового, метод открытия и создания теорий». R. Bohnsack 1999. *Rekonstruktive Sozialforschung – Einführung in die Methodologie und Praxis qualitativer Forschung*. Opladen: Leske + Budrich, S. 13.

² R. Bohnsack 1999. *Rekonstruktive Sozialforschung – Einführung in die Methodologie und Praxis qualitativer Forschung*. Opladen: Leske + Budrich, S. 25. А также P.L. Berger / T. Luckmann 1969. *Die gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit*. Frankfurt a.M., который ссылается на «ценный опыт чикагской традиции» (с. 205).

³ Dewey 1925. *Experience and Nature*. Chicago / London: Open Court, p. 16.

тех же подходов при перманентом игнорировании других научных методов. Яркий пример – техника абдукции, о которой знают даже не все преподаватели-методологи¹.

Коротко об этих классических методах

Дедукция – это выведение в заданном случае или группе случаев результата (частного) из известного правила или закономерности. Формально речь идет об аналитическом методе, с помощью которого можно предсказать, что при наступлении определенной ситуации обязательно произойдет определенный частный результат ($Z + C = Ч$)². Взятый у Ч.С. Пирса пример: «Бобы в мешке белые; бобы из мешка; следовательно, бобы должны быть белыми»³. С точки зрения исследовательской логики дедуктивный метод способствует расширению и подтверждению знания. Другими словами, с помощью дедукции можно доказать при наличии определенных предпосылок, что нечто должно произойти.

Практическое применение этой исследовательской логики может состоять в том, что индивидуальные действия заданы теорией, теоретическим знанием, т.е. в соответствии с (обобщенными) закономерностями при наступлении определенной ситуации обязательно происходит конкретное и предсказуемое частное событие.

Индукция же является попыткой вывести правила и закономерности из частных случаев. Другими словами, в заданной ситуации на основе конкретного результата строится гипотеза о том, что ему предшествовало определенное правило, т.е. может быть обнаружена определенная закономерность. ($C + Ч = Z$). На самом деле с помощью индукции можно лишь показать, что нечто может выступать в качестве случая: «Бобы из мешка; бобы белые; следовательно, бобы в мешке белые». Индукция обладает синтетической природой и способна (до определенной степени) расширить наше знание.

В практическом отношении индукция приводит к поиску достоверной теории, правила или закономерности для определенных действий. При этом обобщения такого рода остаются гипотетическими.

¹ По словам коллеги-методолога, который лишь подтвердил указанное предположение, это происходит потому, что «абдукция все равно не распространена в науке».

² $Z + C = Ч$, где Z – закономерность / правило, C – ситуация (или группа случаев), $Ч$ – частное (частный результат).

³ C.S. Peirce: Collected Papers 2.622; C.S. Peirce 1967. *Schriften I: Zur Entstehung des Pragmatismus*. – Frankfurt a.M.: Suhrkamp (hrsgg. v. K. – O. Apel). – S. 375.

Абдукция¹ в узком смысле – метод², который практически не изучен и которому в научной литературе по методологии уделяется мало внимания. Однако, по Пирсу, она вообще является «первым шагом к научному обоснованию»³. Абдукция – это форма заключения, в котором определенные последствия не являются обязательными, а лишь могут быть предположены с (большой) долей вероятности: «Дедукция подтверждает, что нечто должно быть; индукция показывает, что нечто происходит; абдукция же предполагает, что нечто может быть»⁴. Исходя из опыта, это «может быть» является не совсем случайным – «учитывая, что существует несметное число ошибочных гипотез, объясняющих тот или иной феномен»⁵. Другими словами, на абдуктивные заключения можно полагаться с большой долей вероятности.

Отсюда становится очевидно, что абдукция играет главную роль в процессе построения научных гипотез. Особенно в тех случаях – что чаще всего происходит при постановке наиболее необычных исследовательских вопросов, – когда для анализа и объяснения сложных взаимосвязей не могут быть эффективно применены ни дедукция, ни индукция⁶. Речь идет о таких ситуациях, в которых нельзя дать строгое обоснование, а можно лишь предположить что-то, т.е. когда можно довольствоваться лишь построением гипотез о том, какова изучаемая взаимосвязь и какой она может быть на основе имеющегося знания⁷. На основе конкретных

¹ Наряду с индукцией и дедукцией прагматист Ч. Пирс вводит абдукцию как специфический «логический метод». В его «лекции о прагматизме» абдукция обозначена как важнейший прагматический метод, который необходимо рассматривать во взаимосвязи с индукцией и дедукцией. (C.S. Peirce (1903) 1973. *Lectures on Pragmatism – Vorlesungen ueber Pragmatismus*. Hamburg: Meiner, Philosophische Bibliothek Band 281). Сама идея абдукции разрабатывалась еще Аристотелем, он называл это «апагогией» (Erste Analytik 28 b21; Erste Analytik II, 25; 69 a 20 ff.). Исходный греческий термин «aragein» (уводить) получил латинский эквивалент «abducere», а в современном языке звучит как «абдукция».

² Пирс обращает внимание на то, что восприятия всегда связаны с абдукцией: «...что абдуктивное умозаключение в процессе восприятия постепенно переходит в суждение, и между ними отсутствует четкая линия разграничения, <...> такие перцептивные суждения следует воспринимать как крайнюю форму абдуктивных умозаключений» C.S. Peirce: *Collected Papers*. Vol. V, 5.181. Взаимосвязь абдукции и восприятия подробнее рассматривается в E. Walther 1989. *Charles Sanders Peirce – Leben und Werk*. Baden-Baden: agis, S. 291.

³ C.S. Peirce: *Collected Papers*. Vol. VII, 7.218.

⁴ C.S. Peirce: *Collected Papers*. Vol. V, 5.172. (Цитата в оригинале.)

⁵ C.S. Peirce: *Collected Papers*. Vol. V, 5.431.

⁶ R. Bohnsack 1999. *Rekonstruktive Sozialforschung – Einführung in die Methodologie und Praxis qualitativer Forschung*. Opladen: Leske + Budrich, Kapitel 2. Rekonstruktive Verfahren in der empirischen Sozialforschung im Unterschied zu hypothesenpruefenden Verfahren.

⁷ При изучении трудов Пирса постоянно возникает интересная аналогия между абдукцией и «Структурой научных революций», как ее описывает Томас Кун: то, что Пирс называет «актом познания», который поражает исследователя «как молния» и проливает свет на взаимосвязи, «о которых мы раньше не могли и мечтать» (CP 5.181; Apel:Peirce II 366), у

эмпирических данных (некоего наступившего результата) и (обобщенного) правила абдукция позволяет сделать вывод о ситуации (или группе случаев), в которых эти результаты происходят и эти правила работают ($Z + Ч = С$): «Абдукция заключается в выявлении ситуации из правила и результата»¹. Объяснения такого рода всегда остаются – даже если и обоснованными – предположениями: правило «бобы в мешке белые» и эмпирический результат «этот боб белый» приводят нас к заключению-предположению – «бобы из мешка».

Абдукция отличается от индукции прежде всего тем, что с помощью последней на основе единичных событий выводится общая закономерность / правило. «Индукция заключается в генерализации закономерности из некоторого набора случаев и предполагает, что это правило будет работать на всех случаях этого класса»². Абдукция же, напротив, переносит эмпирические данные одного рода на случаи другого рода³: абдукция – это «когда мы обнаруживаем некоторое очень любопытное обстоятельство, которое можно объяснить через предположение, что это частный случай некоторого общего правила, и таким образом принять это предположение»⁴. Для Пирса абдукция становится научным методом⁵, который занимает свое место в ряду сциентистских методов: «Абдукция – это метод создания общих предположений без какой-либо гарантированной уверенности, что предположение будет работать в другом частном случае или совокупности случаев. Оправданность его применения вырастает исключительно из надежды на то, что наше будущее поведение поддается рациональному регулированию и что индукция из прошлого опыта дает нам

Куна – обязательная предпосылка: «Парадигмы вообще не могут быть изменены посредством обычной науки... они сменяются не через интерпретацию и размышления, а за счет внезапного события, похожего на смену гештальта. В таких случаях ученые часто говорят о “прозрении” или “вспышке молнии”, которые “освещают” казавшуюся темной загадку и позволяют рассмотреть ее составные части под иным светом, в результате чего появляется решение. Иногда такое прозрение происходит во сне». (Т. Kuhn (1962) 1997. *Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 165). Мое внимание на еще одну аналогию обратила Хельге Шальк: между Куном и Пирсом есть некоторое сходство при разделении взаимосвязей на те, которые помогают обнаружить что-то, и те, которые помогают что-либо обосновать. В этом смысле абдукцию можно рассматривать как внутри-научное объяснение преднаучного состояния (Кун). Дедукция и индукция тогда выступают в качестве обычных процессов в научном исследовании.

¹ C.S. Peirce 1931–1935: *Collected Papers*. Vol. I–VI (edited by Ch. Hartshorne and P. Weiss). Cambridge / Mass.: Harvard University Press: 2.712.

² C.S. Peirce: *Collected Papers*. Vol. II, 2.642.

³ Пирс приводит в пример исследователя, который обнаружил морские камни на возвышенности и на этом основании выдвинул новые гипотезы относительно геологической истории этой части суши.

⁴ C.S. Peirce: *Collected Papers*. Vol. II, 2.642.

⁵ Действие которого он распространяет и на повседневный опыт.

серьезные основания полагать: это регулирование в перспективе будет успешным»¹.

Значимость абдукции заключается в том, что она создает базовые стимулы для процесса научного познания, т.е. помогает формулировать исследовательские гипотезы. Эти гипотезы характеризуются тем, что из всех возможных зависимостей они предлагают именно те, которые представляются наиболее вероятными и осмысленными. Статус абдукций понятен: это текущие предположения, которые для выведения полноценных закономерностей требуют дальнейшего экспериментального объяснения. Важным критерием здесь выступает межсубъектность «научного сообщества». Поскольку абдукция ссылается на новые, до сих пор неизвестные связи, ей отводится особая роль в подготовительной фазе исследования: она – «единственный способ обоснования, который приводит к новым идеям, единственный способ, который по сути своей является синтетическим»². Абдукция фактически не достигает логической строгости индукции и дедукции³, однако ее специфическая особенность – привносить новации в процесс познания – ставит ее на один уровень с ними. На основе индуктивных заключений мы можем лишь установить, какое событие (результат) также принадлежит к известному классу случаев. Таким образом, индукция способна объяснить лишь то, что и так известно как обобщение. Это означает, что с ее помощью мы можем (заново) познать лишь то, что мы и так (в общем) уже знаем. В еще большей степени это относится к дедукции, выводы из которой – как следует из самого названия – логическим образом приводят нас к тому, что и так заложено в предпосылках (в том случае, если они настоящие), а значит, уже должно быть известно. Этим оценкам Пирс противопоставляет следующее: «Все идеи в науке рождаются за счет абдукции. Абдукция заключается в изучении фактов и разработке теорий для их объяснения. Ее обоснование в том, что если мы вообще находимся в состоянии познать нечто, то это может быть познано только таким путем»⁴.

Вместе с тем (и этим объясняется тот факт, что метод прагматиста Пирса необходимо причислять к сциентистским), абдуктивные гипотезы всегда нужно рассматривать в контексте двух других методов. Точнее, абдукция является лишь первым шагом процесса познания: на основе определенных данных и информации создаются гипотезы. «Абдукция... это в

¹ C.S. Peirce: *Collected Papers*. Vol. II, 2.270.

² Ibid.

³ Нагль использует метафору: «Научная логика посредством процесса абдукции становится бессознательной»: L. Nagl 1992. *Charles Sanders Peirce – Zur Einführung*. Hamburg: Junius, S. 119.

⁴ C.S. Peirce: *Collected Papers*. Vol. V, 5.145. Комментарий У. Энглера (1992. *Kritik der Erfahrung*. Wuerzburg: Koenigshausen und Neumann, S. 159): «Абдукция происходит инновативно, она работает в модусе возможного».

основном подготовительный этап. Это первый шаг к научному рассуждению»¹. Когда сформулированы абдуктивные гипотезы, начинается изучение возможных следствий с помощью метода дедукции². В завершение эти гипотезы проверяются посредством индукции³. Таким образом, абдукция использует имеющиеся взаимосвязи действий и действительно предлагает нечто новое: «Определенно, единственная надежда ретродуктивного рассуждения⁴ на познание истины состоит в том, что возможна естественная тенденция к согласованности между идеями, которые принадлежат человеческому разуму, и идеями, которые исходят из законов природы»⁵.

Чтобы не вдаваться в дальнейшие подробности⁶, необходимо сослаться на Клауса Элера, который пишет, что посредством термина «абдукция» Пирс «осуществляет неоценимый вклад в дискуссию о проблеме дуализма материи и духа»⁷, поскольку она позволяет рассматривать переход от внешних смысловых впечатлений к их когнитивному анализу как непрерывный процесс. «Со всеми нашими научными интерпретациями мы попадаем на уже проторенную дорогу. Идея непрерывного перехода от “внешнего” к “внутреннему” делает возможной теорию познания, в которой экспериментальные данные разного рода понимаются как продукт интерпретации и вместе с тем сохраняют реальную связь с внешним миром»⁸.

Отнесение особого метода Пирса к научным методам обосновывается тем, что Пирс, как и остальные «логики», выделяет в качестве констант категории пространства и времени и поэтому не отступает от научной «позиции наблюдателя» по отношению к «внешнему миру». Чтобы отвечать требованиям научной теоретизации, он абстрагируется от этих категорий. Это соответствует его твердой привязанности к определенному пониманию истины, однако серьезно ограничивает его картину мира в том смысле, что изменение, преобразование и улучшение мира в пирсовском прагматизме не представляются возможным. Если же отказаться от этих (само)ограничений, из его методических размышлений образуются не три, а шесть категорий методов. Возможно, это рискованное предприятие, по Джеймсу, следует понимать как динамизацию прагматической логики. В любом случае главным результатом пирсовской аргументации является то, что изучению этого первого и единственного инновативного метода

¹ C.S. Peirce: *Collected Papers*. Vol. VII, 7.18.

² Ibid, 7.203.

³ Ibid, 7.206.

⁴ Термины «ретродукция» и «абдукция» здесь следует принять как синонимы.

⁵ C.S. Peirce: *Collected Papers*. Vol. I, 1.81. У. Эко (U. Eco) также обозначает это как «закодированную» или «креативную» абдукцию.

⁶ Напр./, C.S. Peirce: *Collected Papers*. Vol. V, 5.180.

⁷ K. Oehler 1993. *Charles Sanders Peirce*. Muenchen: C.H. Beck, S. 124.

⁸ I. Riemer 1988. *Konzeption und Begründung der Induktion*. Eine Untersuchung zur Methodologie von Charles S. Pierce, Wuerzburg: Königshausen & Neumann, S. 181.

среди других сциентистских подходов к познанию должно уделяться значительно больше внимания¹.

Денотативные методы

Как описано в начале этой главы, три обозначенных выше метода (индукция, дедукция и абдукция) создают, в попперовском смысле, истинную картину мира, в которой соответствующим образом существуют истинные закономерности в качестве онтологических, естественных законов. Качественные, интерпретативные и реконструктивные методы, разрабатываемые в концепциях Джеймса, Мида, Дьюи и Рорти, действуют в иной логике². Отсюда возникает иная цель методологий. Первичным становится не объяснение истины, а (эффективная в реальных ситуациях) функция денотативного знания по определению действия. Таким образом, в дискуссии о денотативных методах необходимо учитывать логику действий, последствия мыслительного и поведенческого процесса, которые представляются как результат модели «проблема → решение → следствие» в пространственно-временном континууме. Далее будут описаны и дифференцированы три новых метода, вытекающих из этой логики.

А-метод³ состоит в распознавании на основе определенной проблемы в конкретной ситуации (в заданной взаимосвязи) некоторой закономерности и создании нового решения для указанной проблемы (или нового модуса такого решения). С помощью А-метода становится понятной некоторая связь, которой следуют новые правила. Другими словами, на основе заданной (извне) проблемной ситуации индивидуальное действие экспериментально фокусируется на (новом) решении. Если же и в этом случае потенциал вновь обнаруженной связи не очерчен, исходная проблема может быть решена за счет получения дополнительной информации. Таким образом, обозначенное препятствие преодолевается. А-метод вносит свой вклад в дальнейшее развитие непрерывного процесса действия, он в этом смысле играет роль «ускорителя». В качестве исследовательской логики А-метод – экспериментальный метод, который стремится не только к (чистому) знанию, но и, исходя из его непосредственного эмпиризма, расширяет горизонт опыта, обогащает накопленный опыт, существенным образом развивает эмпирическую науку. В этом смысле обозначенный метод приводит к первоначальной денотации или обогащению смысла в понима-

¹ Хельге Шальк обращает внимание на то, что на данный момент в Университете Франкфурта У. Вирт уже создал рабочую группу по исследованию абдукции.

² Как это становится очевидно уже из названия работы Р. Рорти «Надежда вместо знания» (R. Rotry 1994. *Hoffnung statt Erkenntnis*. Wien: Passagen Verlag).

³ В качестве эквивалентов сокращений А-метод, В-метод и С-метод далее будут предложены понятия «инвенция», «имитация» и «инновация».

нии Дьюи. Кратко А-метод можно представить следующей формулой: $(П + С = Зп)^1$.

В отличие от трех сциентистских методов вопрос соотношения с практикой и практических последствий (действий) имеет ключевое значение для денотативных методов. В случае А-метода необходимость действовать и ситуативное понимание потенциала и альтернатив комбинируются и реализуются в новых решениях проблем. Это также означает, что на основе нового, полученного с помощью А-метода опыта становятся возможны новые связи и новые реальности. Для наглядности приведем пример, аналогичный пирсовским «бобам в мешке»: «Я промок \rightarrow идет дождь \rightarrow дождь \rightarrow делает одежду мокрой (т.е. мне нужно укрыться от него)».

Решение проблемы, т.е. «развитие» в качестве главного результата А-метода означает, что ситуативные условия (проблемы / вызовы) требуют конкретной реакции, которая выходит за рамки существующего опыта и применяемых практик (действий). А новые действия приводят к новым решениям проблем. Как следствие, становятся известны новые взаимосвязи и могут создаваться новые, до сих пор не обнаруженные реальности². При этом сделать вывод о том, каким образом появляются решения для проблем (случайно, искусственно (творчески) или в игровой логике), не представляется возможным³.

В-метод состоит в том, чтобы в заданной ситуации применить обретенные решения и правила, последствия которых, в том числе желаемые, известны. Фактически с помощью В-метода происходит имитация указанных решений. В той степени, в которой решения имитируются и правила применяются, они могут также и распространяться на новые области. Исследовательская логика В-метода – это инструментальный подход, применение которого приводит к расширению (заданного) опыта, как показывает формула $(С + Зп = П \setminus E)$. Используя наш пример: «Идет дождь \rightarrow дождь может намочить \rightarrow я следовательно (если я не укурюсь от него) \rightarrow промокну».

Однако при имитации не только применяются уже известные правила, но и происходит расширение базового опыта (что более важно) за счет применения решений в самых разных смыслах. Именно преодоление этого барьера (предполагающего, что каждая новация должна сначала подтвердить свою пригодность на практике и даже оказаться полезнее, чем существующие решения / правила) играет центральную роль в прагматическом понимании метода. Другими словами, когда решение / правило имитируется и применяется снова и снова, происходит подтверждение его полезности (а также становятся известны границы его потенциала).

¹ $П + С = Зп$, где П – проблема, С – ситуация (или группа случаев) и Зп – закономерность / решение для данной проблемы.

² Подробнее в главе 2.6.2.

³ Дьюи и Мид постоянно обнаруживают в разных контекстах примеры, в которых центральную роль играют случай, игра или вдохновение.

Таким образом, при имитации – центральном элементе В-метода – не появляется таких в узком смысле экспериментальных решений проблемы, как в А-методе. С прагматической точки зрения новации должны в первую очередь подтвердить свою жизнеспособность в реальности. Основой для этого служат частые имитации и многократные применения решений. Если происходит подтверждение жизнеспособности решения и распространение новой познавательной связи осуществляется в данный момент, то считается, что и в долгосрочной перспективе решение обладает соответствующей функциональной пригодностью. В прагматическом смысле из этого становится очевидно, что даже «слепое» имитирование связано с определенными последствиями¹. В-метод вносит существенный вклад в обогащение смысла или денотацию, поскольку предлагает эмпирическую основу для проверки и подтверждения решений и правил либо для их фальсификации. Следует также отметить, что последствия имитации и подтверждения жизнеспособности инновативных взаимосвязей и решений создают основу для создания (новых) норм и правил².

С-метод заключается в поиске возможного результата в (новых, иных) ситуациях, в которых известные решения или правила принимаются как верные. Цель С-метода состоит в том, чтобы эффективно применять имеющийся опыт и решения для других взаимосвязей. С помощью С-метода анализируются последствия. В рамках этого подхода опытная взаимосвязь X (проблема → решение → следствие) является аналогичной для опытной взаимосвязи Y, и поэтому этот опыт (решение, правило) может быть адаптирован и успешно применен, а значит, ведет к инновации. Иллюстрацией является пример: «(Возможно), я промокну → поскольку снег (аналог дождя) делает одежду мокрой → поскольку идет снег → я должен укрыться от него». Формально эту взаимосвязь можно описать так: П + адаптированная Зп = С.

В прагматическом смысле о новации можно говорить лишь тогда, когда единичное решение проблемы (которое, например, достигается посредством А-метода) прошло проверку на пригодность. Инновация, будучи центральным результатом С-метода, означает целенаправленное применение опыта (решения, правила) в новых ситуациях. Исследовательская логика С-метода служит тому, чтобы посредством изучения последствий и применения опыта оказывать влияние на другие возможные последствия. Действия в этом методе соответствуют логике целеполаганий – «чтобы». В этом контексте интересно, в какой степени дальнейший успех инноваций зависит от модификаций и развития применяемых решений и правил.

¹ То есть не может быть «моральных каникул». W. James 2000. *Pragmatismus*. Eine neuer Name fuer alte Denkweisen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (2. Vorlesung).

² Но вследствие отсутствия уверенности пригодность (новых) решений и правил должна снова и снова проверяться.

Однако этот аспект на данный момент невозможно раскрыть более подробно.

Кажущаяся близость А- и С-методов не должна нас подкупать: оба метода действительно связаны с решением проблемных ситуаций. Однако главное различие между ними состоит в том, что запуск процедуры А-метода наступает «извне», т.е. в рамках ситуативной взаимосвязи перед актором возникает внешний (по отношению к нему) вызов. В случае С-метода проблемная ситуация возникает «изнутри», запуск процедуры осуществляется самим актором. С-метод, понимаемый таким образом, представляет собой скорее возможность, опцию, шанс или потенциальный риск. В рамках С-метода происходит целенаправленный поиск последствий и инноваций. Поскольку стимулом для А-метода выступает внешний фактор, он представляется случайным и зависящим от заданной ситуации (среды). Действие направлено на решение (этой внешней проблемы) и происходит (даже если это редуцирование не в полной мере сциентистское) в логике «если... то...», которая противопоставляется эмпирической практике.

Денотацию или обогащение смысла, как она представлена в этих трех методах, следует воспринимать как континуум. Другими словами, отдельные методы не находятся в иерархии по отношению друг к другу. Не происходит того, что (более редкие) инновации ценятся выше, чем (более частые и обыденные) имитации. Контекст и возможная польза играют здесь решающую роль. Таким образом, эти (в целом равноправные) методы можно рассматривать как фазы одного процесса, который начинается с единичного решения проблемы (имитации), продолжается через подтверждение его полезности и расширения опыта, а завершается переходом к целенаправленному использованию и дальнейшему развитию этого решения (инновацией).

Предложенная ниже схема (схема 1) кратко описывает сциентистские и денотативные методы. При этом становится еще более ясной именно прагматическая перспектива – понимание последствий. Опыт и знания превращаются в действия, которые имеют конкретные (неизбежные) последствия и должны подтвердить себя в реальности (а не только как мыслительный и логический конструкт). С точки зрения политической науки такая процессная перспектива приобретает особое значение: если сциентистские методы заключаются лишь в попытке обнаружить (единственно возможный, абсолютный) порядок, то в рамках денотативного метода этот порядок должен постоянно развиваться, подтверждаться и доказывать свою жизнеспособность по отношению к множеству других возможных опций и вариантов.

На схеме также отражены различные исходные предпосылки для сциентистских и денотативных методов, которые делают еще более понятными различия в их онтологии. Поскольку денотация принимает ограниченность человеческого знания, она связана не с существованием зако-

нов природы и их проявлениями, не с (прямой) логической достоверностью, а с ориентацией на ускоренное и инновативное действие. При этом (предполагаемые рационалистами) ограничения потенциала прагматических методов компенсируются за счет все возрастающего, доступного и применимого знания. Денотативные методы отказываются от поиска единичной «истины» в пользу обогащения смысла и опыта. А новые пути открываются для нас только в ходе применения теоретических размышлений на практике: «Опровержение эмпирических находок происходит не за счет опровержения того факта, что нечто происходит определенным образом и по определенным причинам, а за счет предложения направлений для опыта, который сможет доказать обратное. Чтобы убедить кого-то в ошибочности его предположений или подтвердить их верность, надо помочь ему увидеть и обнаружить нечто, что он пропустил и не сумел осознать. Вся острота и тонкость рефлексии и диалектики состоит в разработке и обосновании направлений мышления, по которым следует двигаться в процессе познания»¹.

Заключение

Изложенные выше размышления нуждаются в дальнейшем подробном обсуждении. Еще раз остановимся на главных аспектах. Во-первых, понятие «правила» в сциентистских и денотативных методах различается. В первом случае под ним понимаются (естественные) законы, в силу которых обязательно происходят определенные события или последствия. Во втором случае речь идет об «устойчивых» закономерностях, которые, как правило, работают в заданном пространственно-временном континууме и обеспечивают осуществление действий по решению (избеганию) некоторых проблем. Эти закономерности ни в коем случае не являются онтологическими, поскольку в прагматическом понимании сама природа также эволюционирует².

В сциентизме всегда происходит взаимное наложение собственного мира (актера) и мира феноменов, логики и реальности. Позитивизм и логический эмпиризм не рассматривают это разделение между условиями мышления и действий как специфическую возможность для человека прагматически оценивать и анализировать действительность. Наоборот, эта дилемма в сциентизме разрешается в пользу теоретико-методологической чистоты. Отвечая требованиям научности, поведение человека (хотя это и выглядит полемично) ограничивается лишь изучением того, что уже случилось и что

¹ J. Dewey 1925. *Experience and Nature*. Chicago / London: Open Court, p. 37.

² Этот аргумент еще отчетливее изложен в неопрагматических работах, если причислять к ним Виттгенштейна. См.: об этом: H. Putnam 1995: «Was Wittgenstein ein Pragmatist?», in ders.: *Pragmatismus – Eine offene Frage*. Frankfurt a. M.: Campus, S. 63–84.

оставило после себя «объективные» и установленные факты. При этом теоретическая рефлексия придерживается идеала Абсолютного, направляя решение дилеммы сущего и должного не в сторону «Возможного», а в привязке теории к Абсолютному. Основанное на практических последствиях и связанное с оценкой Возможное (в лучшем случае) рассматривается (и отбрасывается) на преднаучном уровне. Помимо научно-элитарного высокомерия этот подход можно обвинить еще и в том, что он приводит к постоянному «противопоставлению теории и практики».

В этой логике идея о том, что наука (прежде всего социальная и гуманитарная) представляет собой специфическую форму решения проблем, которое следует искать в первую очередь в практических последствиях действия, а не в теоретическом благозвучии, не является приоритетной. Если же предлагается иной подход (и в последнее время все чаще), внимание концентрируется либо на дуализме «рационализма и двойственности разума», различающего¹ «основной разум» и «разум по случаю», что напоминает католическую модель, в которой вера в Абсолютное крепка еще и тем, что на земле можно грешить; либо на антитезе постмодернизма, т.е. дополнения собственного, субъективного, материального интереса теоретическими положениями: поскольку в неолиберальном подходе не существует общеобязательной рациональности, теория применяется в собственных интересах.

Во избежание попадания в подобные тупики представляется целесообразным рассматривать сциентистские и прагматические методы (и это показано на схеме 1) не как «яблоки и груши», которые противоречат друг другу либо вообще являются взаимоисключающими; а как в некотором роде континуум (и это становится возможным при детальном рассмотрении), который простирается от абстрактной логики «если... то...» до обогащающей опыт логики «чтобы». Составляющие этого подхода можно рассматривать в качестве нескольких ступеней, по которым осуществляется непрерывное движение от (А) – «дедукция доказывает...» → «индукция показывает...» → «абдукция предполагает...» к (В) – «А-метод решает...» → «В-метод имитирует...» → «С-метод предлагает инновации...».

¹ См., напр.: Helmut Spinner 1986: «Max Weber, Carl Schmitt, Bert Brecht als Wegweiser zum ganzen Rationalismus der Doppelvernunft. Ueber die beiden aeussersten Moeglichkeiten, sich in einer irrationalen Welt rational zu orientieren», in: *Merkur*, Heft 11, S. 923–935.

Схема 1.
Попытка категоризации различных методов

Метод	Описание	Логика исследования	Результат	Формула	Пример	Практическая цель
А: Сциентистские методы						
Дедукция	Правило известно, применяется в заданной ситуации и приводит к определенному результату Дедукция обосновывает, что нечто должно произойти	<u>Аналитическая</u> Подтверждает знание	Логически необходим (если... то...)	$З + С = Ч$	БвМБ БизМ ББ	Теория определяет действие
Индукция	В некоторой ситуации(ях) определенное событие обобщается до некоего правила Индукция показывает, что нечто произошло	<u>Синтетическая</u> Расширяет знание	Гипотетический	$С + Ч = З$	БизМ ББ БвМ=Б	Действие ищет правило
Абдукция	Делается предположение о некоем правиле и в случае наступления определенного результата может быть распространено на ситуацию(ии) Абдукция предполагает, что нечто может произойти	<u>Синтетическая</u> Расширяет знание	Гипотетический	$З + Ч = С$	БвМБ ББ Б = изМ	Действие использует контекст
В: Денотативные методы						
А-метод (инвенция)	Возникает проблема, определяется ситуация, создается решение А-метод фокусирует действие на новые решения	<u>Экспериментальная</u> Расширяет опыт	Спедитивный (развивающий)	$П + С = Зп$	ЯП ИД Д = ДОМ	Действие ведет к решению проблемы
В-метод (имитация)	В заданной ситуации применяется правило, которое имеет известные последствия В-метод имитирует и расширяет решение (подтверждая, таким образом, его потенциал)	<u>Инструментальная</u> Распространяет опыт	Имитирующий, подтверждающий	$С + Зп = П$	ИД ДДОМ Я = П	Действие использует решение (правило)
С-метод (инновация)	В заданной ситуации возможен некий результат, адаптируется известное правило С-метод предлагает возможные последствия (и приводит к инновациям)	<u>Прагматическая</u> Расширяет опыт и делает его полезным (применимым)	Инновативный (чтобы)	$П + адапт. = Зп = С$	ЯП ДДОМ ИД = ...	Действие ищет последствия

Примечания:

З	Закономерность / правило (сциентистское понимание)	БвМБ	Бобы в мешке белые	ДДОМ	Дождь делает одежду мокрой
Зп	Закономерность / правило (прагматическое понимание)	БизМ	Бобы из мешка	ИД	Идет дождь
С	Ситуация / взаимосвязь	ББ	Бобы белые	ЯП	Я промокну
Ч/П	Частный результат / проблема				

К завершенной части опыта прошлого могут быть эффективно применены сциентистские методы. Они добывают бесценную информацию и

подходят для анализа и рефлексии (прошлых) событий. В том числе они добавляют и информацию / знание, которые становятся основой того, без чего «выявление, обнаружение и демонстрация» по Дьюи вообще не были бы возможны. Однако важным замечанием является то, что без готовности хотя бы частично отталкиваться от заданного опыта и двигаться дальше не было бы ни развития, ни инноваций, которых так заслуживает этот опыт. Именно этот шаг – от закрытого мышления к (открытому в плане последствий) действию – является главным различием между сциентистскими и денотативными методами. Если рассматривать мышление и действие в прагматическом ключе, т.е. как накладывающиеся друг на друга, а не разделенные на разные оперативные уровни реальности, которую способен воспринимать человек, становится понятно, что предложенные выше методы справедливо следует считать континуумом. Континуумом, который простирается от внешнего мира (действительности и реальных проблем) до внутреннего мира (и возможности мыслить в логически закрытых связях). При этом обозначенный континуум постоянно возвращает логический конструкт обратно в реальность, где он должен доказать свою жизнеспособность. Поэтому в конечном счете именно эмпирия решает, насколько правильно действительность была понята в ходе «мыслительных операций», в какой степени реализовались наши замыслы и осуществились наши намерения.

Перевод с немецкого С. Климович

АННОТАЦИИ

М.В. Ильин, В.С. Авдонин, И.В.Фомин
Методологический вызов. Где границы применимости методов?
В чем критерии их эффективности?

Четкое распределение методов по количественным и качественным «коробочкам» подходит лишь для небольшого числа простейших и устойчивых инструментов. Подобное разделение отнюдь не просто применить по отношению ко все большему количеству новых средств исследований. Нередко это составные инструментариумы. Тут наготове новая модная «коробочка» под название «смешанные методы». Однако комплексные образования – это вовсе не смеси. Их эффективность достигается за счет структурных возможностей, а отнюдь не простого перемешивания исходных компонентов. Более того, постоянно умножающиеся принципы исследовательских новаций не ограничиваются ни качеством, ни количеством, а связываются с чем-то иным за пределами дихотомии качество – количество. Таковы, например, фактически конфигуративный *качественный сравнительный анализ (QCA)* или лейпхартовский сравнительный анализ паттернов (конфигураций) демократического правления.

Методологические области подвластны дивергенции и конвергенции. Они могут освобождаться от «ошибочных» отклонений и сжиматься в единый и «подлинный» набор алгоритмов. Это проявление методологического монизма или, в его радикальных версиях, – методологического ригоризма. Однако они могут также охватывать альтернативные исследовательские возможности. Это будет уже методологический либерализм или плюрализм. Авторы толкуют свой методологический подход как демократический. Это больше, чем пышная политическая аналогия. Современная демократия соединяет всякого рода способы правления, чтобы сделать их подходящими (good enough) для подотчетной и инклюзивной управляемости. Равным образом развитые методы нынешней поры сводят воедино познавательные возможности, чтобы сделать их подходящими для валидных и целостных исследований. Как современные демократиче-

ские практики и соглашения стали лишь недавним обретением, так нынешние междисциплинарные и трансдисциплинарные методы только формируются в виде попыток сделать научное исследование достаточно полным и надежным. И современная демократия, и трансдисциплинарность – скорее наша нынешняя надежда, чем устоявшийся эталон.

Авторы воспринимают целостное пространство методологии как единство трех основных областей – пересекающихся, но вместе с тем отчетливых. Это математика, морфология и семиотика. Они сложились вокруг неизменных фундаментальных принципов. Их обыденные и преходящие проявления предстают в виде методологических подходов и парадигм, не говоря уже об установках и приемах отдельных школ мысли и исследования. Математический органон объединяет относительно целостную область. Морфологический и семиотический органоны только частично охватывают набор отраслей, разделов и отдельных опытов, которые зачастую не согласуются друг с другом. Задача в том, чтобы преодолеть сохраняющуюся отчужденность и наметить единые принципы общей или «чистой» (Моррис) семиотики, а также морфологии. Принципы органонов коренятся в наших исходных сенсориумах и прочих когнитивных способностях. Одни порождены чувством меры, ряда и количества и создают математический органон. Другие связаны с нашим восприятием форм, обликов и конфигураций. Они формируют морфологический органон. Наконец, следующие усиливают наши способности воссоздавать и открывать смыслы в нашем взаимодействии с миром и друг другом. Они служат созданию семиотического органона. Ориентиры для выделения трихотомической структуры органонов наметили И. Кант, Ч.С. Пирс и другие выдающиеся умы.

Соблазнительно провести аналогию между данной трихотомией и нынешним грубым различием количественных, качественных и «смешанных» методов. Критически проверить эту аналогию, выявить действительные сходства, различия и прочие соотношения между морфологией и конфигуративными методами, семиотикой и качественными методами – дело последующих исследований. Это тем более так, поскольку было бы преждевременно ожидать быстрой интеграции целостных областей морфологии или семиотики. Более прагматично сосредоточиться на консолидации отдельных ключевых ядер. В их числе – преобразование неoinституционалистских парадигм в морфологические, соединение биологических и лингвистических морфологий, а также развитие биосемиотики и биополитики.

Ключевые слова: методологическая дивергенция и конвергенция; трихотомия методологических органонов; Кант; Пирс; математика; морфология; семиотика; количественные; качественные и «смешанные» методы.

M.V. Ilyn, V.S. Avdonin, I.V. Fomin
Methodological challenge. What are restraints for method application?
What are the criteria of its success?

A neat split-up of methods into qualitative and quantitative ‘boxes’ works with just a bunch of elementary and time-tested research devices. It would not easily apply such a division to multiplying cases of new designs for productive investigations. Often they are compound research capacities. A new and trendy ‘box’ termed mixed methods is ready at hand. However, compound structures are not just amalgamations. Their effectiveness rests on structural propensities and not on amassing of their initial components. Furthermore, steadily multiplying new research principles rest on neither quantity nor quality but on something transcending the quality – quantity dichotomy, e.g. Qualitative Comparative Analysis (QCA) or Lijphartian analysis of patterns of democratic rule.

Methodological domains can diverge or converge. They can dispose of all ‘deceitful’ aberrations and shrink to a single ‘authentic’ set of algorithms (methodological monism or in its radical display methodological rigorism). They can also entangle alternative research capacities (methodological liberalism or pluralism). The authors would explicate their methodological stance as ‘democratic’. This is more than just a pompous political analogy. Modern democracy converges all sorts of rule to make them good enough for accountable and inclusive governance. Likewise, advanced methods of our age merge any kinds of exploratory faculties to make them good enough for valid and comprehensive investigation. Just as modern democratic practices and conventions have been emerging only recently, current multidisciplinary and transdisciplinary methods still evolve as trial aptitudes for making research far-reaching and reliable enough. Both modern democracy and transdisciplinary are more of a promise rather than long established paragon.

The authors perceive the entire methodological realm as shaped into three overlapping but still very distinct major methodological domains – mathematical, morphological and semiotic organons of learning and research. They coalesce around fundamental and abiding principles. Their mundane and transient apparitions are grand methodological approaches and paradigms not say nothing about claims and technical devices of specific schools of thought and research. Mathematical organon integrates a relatively comprehensive domain. Morphological and semiotic ones only crudely amalgamate assortments of areas, branches and endeavors of research that are still at variance with each other. The task is to overcome residual discrepancies and to advance integrating principles of general or ‘pure’ semiotics (Morris) and morphology.

The principles of organons derive from our basic sensoria and other primary cognitive abilities. Some originate in our sense of order, measure and quantity to produce mathematical organon. Others commence with our perception of forms, shapes and configurations to yield a would-be morphological organon. Further ones amplify our faculty to re-create and discover meanings in

our intercourse with the world and each other to commence a budding semiotic organon. Immanuel Kant, Charles Sanders Peirce and other great minds provide guidelines for trichotomous structure of organons.

It is tempting to proclaim analogy between the trichotomous structure of organons and current vague distinction of quantitative, qualitative and 'mixed' clusters of methods. One has to explore the analogy. Correlations between configurational comparative studies and morphology or between qualitative studies and semiotics are still problematic. Furthermore, it would be premature to expect a quick integration of entire domains of morphology or semiotics. It is pragmatic to work for integration of selected focal core areas. Possible options are reshaping of neo-institutional paradigms into morphological ones, integration of biological and linguistic morphologies as well as further advancement of biosemiotics and biopolitics.

Keywords: methodological divergence and convergence, trichotomy of methodological organons; Kant; Peirce; mathematics; morphology; semiotics; quantitative, qualitative and mixed methods.

И.В. Фомин

Семиотический фронтир:

Сквозь глубины веков и границы дисциплин

В статье представлен краткий обзор истории становления семиотики в Европе от античности до современности. Описаны этапы расширения предметных границ дисциплины от семиологического проекта де Соссюра до современных дискуссий о возможностях физиосемиотики. Намечены траектории оформления семиотики в роли трансдисциплинарного методологического интегратора.

Ключевые слова: семиотика; история семиотики; семиология; антропосемиотика; биосемиотика; физиосемиотика; общая семиотика; семиотика как коэноскопическая наука.

I.V. Fomin

Semiotic frontier: Through centuries and across disciplines

The article provides a brief history of semiotics in Europe from antiquity to the present, and an overview of how the boundaries of semiotics expanded from Saussure's semiological project to the contemporary discussions about the possibilities of physiosemiotics. The trajectory of semiotics becoming a transdisciplinary methodological integrator is outlined.

Keywords: semiotics; history of semiotics; semiology; antroposemiotka; biosemiotics; physiosemiotics; general semiotics, semiotics as a cenoscopic science.

В.С. Авдонин

От метаматематики к математическому органону

В статье предлагается расширенное видение математики как трансдисциплинарного органона современных наук. Этому видению предпослан анализ метаматематики как традиционной области методологической рефлексии математики и ее оснований с помощью логико-математических средств. Автор рассматривает основные особенности, ограничения и тенденции развития метаматематического подхода. На этом фоне предлагается наметить другой путь рефлексии математики, опирающийся на междисциплинарный подход современной когнитивистики. Рассматривая сходства и различия этих подходов, автор пытается определить области их совпадения и разграничения. В целом предполагается, что подход когнитивистики к рефлексии математики является более широким и комплексным, чем метаматематика, хотя на определенных уровнях они близки или даже совпадают. В связи с этим более широкий подход когнитивистики открывает дополнительные возможности в комплексном исследовании математики в качестве трансдисциплинарного органона.

Ключевые слова: метаматематика; метатеоремы; когнитивистика; математический органон; формализация; нейронаука; искусственный интеллект.

V.S. Avdonin

From metamathematics to the mathematical organon

The article presents an expanded perspective on mathematics, seeing it as a transdisciplinary organon for modern sciences. This perspective is preceded by the analysis of metamathematics as the traditional field of methodological reflection of mathematics by logical and mathematical means. The author considers the main features, limitations and tendencies of development in metamathematical approach. Then the author invites is invited to set another path of reflection on mathematics that is based on the interdisciplinary approach of modern cognitive science. Analysing the similarities and differences between these approaches, the author tries to identify areas of their overlaps and differentiations. It is generally assumed that the cognitive science approach to the reflection of mathematics is broader and more complex than metamathematics, although they are similar or even identical at certain levels. In this context, the broader approach of cognitive science opens additional possibilities for the complex study of mathematics as a transdisciplinary organon.

Keywords: metamathematics; metatheorems; cognitive science; mathematic organon; formalization; neuroscience; artificial intelligence.

А.В. Кортаев
«Проблема Гэлтона»

«Проблема Гэлтона» названа так по имени известного английского метеоролога, биолога, психолога и антрополога – и, наряду с прочим, двоюродного брата Чарльза Дарвина – Фрэнсиса Гэлтона, который впервые отметил ее наличие, указав на воздействие социокультурной диффузии, распространения определенных социокультурных комплексов в пространстве на результаты количественных кросс-культурных и кросс-национальных исследований. Антропологи, выражавшие свою обеспокоенность по поводу этой проблемы и предлагавшие свои решения для нее, беспокоились прежде всего о том, что социокультурная диффузия может привести к появлению корреляции между признаками, не находящимися между собой в закономерной функциональной зависимости, в результате чего ложные теории могут оказаться эмпирически подтвержденными. Предпринятое нами исследование показывает, что обе крайние позиции по вопросу о «проблеме Гэлтона»: первая – заключающаяся в том, что проблема эта дискредитирует все количественные кросс-культурные исследования; и вторая – в том, что эту проблему вообще не стоит принимать всерьез, – не представляются обоснованными. На наш взгляд, к «проблеме Гэлтона» необходимо относиться с полной серьезностью. Но, с другой стороны, ее можно рассматривать не столько как проблему, сколько как достояние количественных кросс-культурных исследований. Другими словами, необходимо совершенно серьезно относиться к любой достаточно сильной и статистически значимой корреляции, выявленной в ходе количественного кросс-культурного исследования, вне зависимости от того, явилась она или нет результатом «Гэлтонова эффекта» (т.е. сетевой автокорреляции). Если она им не является, тогда мы имеем дело с глобальной кросс-культурной закономерностью; но если она им является, то мы имеем дело с результатом функционирования некоторой исторической коммуникативной сети и ее влиянием на ход человеческой истории. Это, на наш взгляд, представляет отнюдь не меньший интерес. В этом плане можно говорить не только о «проблеме Гэлтона», но и о «возможности Гэлтона» – возможности, которую эта проблема дает для исследования исторических коммуникативных сетей и их влияния на глобальное развитие.

Ключевые слова: «проблема Гэлтона» / «эффект Гэлтона»; социокультурная диффузия; кросс-культурные исследования; сетевая автокорреляция; исторические коммуникативные сети.

A.V. Korotaev
Galton's Problem

«Galton's Problem» is named after the famous English meteorologist, biologist, psychologist, anthropologist – and, among other things, a cousin of

Charles Darwin – Francis Galton who was the first to notice the presence of this problem, pointing to the impact of socio-cultural diffusion on the results of quantitative cross-cultural and cross-national studies. Those anthropologists who expressed their concern about Galton's Problem worried above all that socio-cultural diffusion can cause correlations between such variables that do not have real functional relationship between them, resulting in false theories finding apparent empirical confirmation. Our study shows that both extreme positions on the issue of «Galton's Problem» – i.e., that the problem discredits all the quantitative cross-cultural studies, or that the problem is not worth taking seriously – do not appear to be valid. In our view, Galton's Problem must be treated with all seriousness. But on the other hand, it can be considered not only as a problem but rather as an asset or opportunity of quantitative cross-cultural research. In other words, one need to seriously treat any sufficiently strong and statistically significant correlation detected in the course of quantitative cross-cultural study, regardless of whether or not it is a result of Galton's effect (i.e., network autocorrelation). If it is not, then we are dealing with a global cross-cultural regularity; but if it is, we deal with a result of the functioning of some historical communication network and its influence on the course of human history. And, in our opinion, it is not less interesting. In this sense, we can speak not only about «Galton's Problem», but also about «Galton's Asset», or «Galton's Opportunity» – the opportunity to study historical communication networks and their impact on global development.

Keywords: «Galton problem» / «Galton effect»; social and cultural diffusion; cross-cultural studies; network auto-correlation; historical communication networks.

С.Т. Золян

**Неопределенность и множественность перевода
как проекция динамической семантики текста**

Существующие теории перевода отмечают многоликую природу перевода, указывают на разнообразие методов и стратегий. Подобная ситуация может привести к идее заменить теорию перевода ее эмпирическим коррелятом. Однако можно предложить иное: это будет (мета)теория переводоведческой относительности, в которой подобная множественность будет описана как набор основанных на отношении семейного сходства взаимодополняющих лингвистических, семиотических и герменевтических теорий, каждая из которых адекватно описывает отдельный тип перевода. Подобная концепция основана на идее Шлейермахера о множественности методов перевода и теории Куайна о неопределенности перевода. Семантика текста оригинала понимается как зависимая от изменчивого социального и культурного контекста и подверженная постоянным изменениям. Множественность и неопределенность перевода (как порожд-

даемый в результате текст-продукт) есть способ выявления потенциала оригинального текста, понимаемого как смыслопорождающий процесс.

Ключевые слова: теория перевода; текстоцентричная семантика; неопределенность перевода; непереводаемость.

S.T. Zolyan

**The indeterminacy of translation as a projection
of the dynamic semantics of text**

All the theories of translation point out the multifaceted nature of translation, the variety and diversity of its different types and strategies. Such a situation may lead to the idea to replace the theory of translation by its empiric counterpart. However, the another approach is also possible – this is to be the (meta-) theory of the traductological relativity: such multiplicity can be described through the set of linguistic, hermeneutic and semiotic theories based on the family resemblance relation: each of them adequately describes the particular type of translation; mutually they complement each other. Our conception is based on the Quine's theory of indeterminacy of translation and Schleiermacher's ideas of the multiplicity of the translation methods. The semantics of the original text depends on the changing cultural and social context and is subjected to constant changes. The multiplicity and indeterminacy of translations (the resulting set of text-products) explicate the semantic potential of the original text-as-a-process.

Keywords: theory of translation; textocentric semantics; indeterminacy of translation; untranslatability.

П. Чилтон

Смысл безопасности

Самые существенные современные смыслы категории безопасности связаны с метафорой «вместилища». Это очевидно из систематичности полисемии этих слов, из образуемых с ними сочетаний и идиом. Если что-то находится «в безопасности», то тогда никто не может попасть внутрь или выйти наружу. Чем удаленней и чем яснее линия периметра вместилища, тем дальше ваш противник и тем более вы в безопасности. Кроме того, часть современной семантики безопасности связана с уверенностью и надежностью – с понятиями, выражаемыми как метафоры «звена», в ее варианте, связанном с закреплением нестабильных объектов. То есть «обезопасенный» понимается в том смысле, в каком говорится о предметах, закрепленных какой-то физической связью. Таким образом, один из концептуальных элементов в понимании безопасности связан с отсутствием движения, статикой и, выражаясь более точно, с физическим ограничением нежеланного движения.

Ключевые слова: безопасность; метафора; сдерживание; вместилище.

P. Chilton
The meaning of security

The most salient modern meanings of security seem to be dependent on the «container» metaphor. The evidence for this lies in the systematicity of the words' polysemy, their collocations and the idioms with which they are involved. If something is secure, then no one can get into it, or out of it. The more distinct your container perimeter line, the further away your enemy is and the more secure you are. Part of the current semantics of security also has to do with certainty and surety, notions which are expressed as metaphors of «link», in the variant that has to do with unstable objects being fixed in one location – that is, «secured» in the sense in which loose objects are «secured» by some physical attachment. Thus, one of the conceptual elements in the understanding of security is connected to the absence of motion, to stasis, and more precisely to the physical restraint of undesired motion.

Keywords: security; metaphor; containment; container.

Дж. Беземер, С. Диамантопулу, К. Джюитт, Г. Кресс, Д. Маверс
Использование подхода социальной семиотики
в мультимодальном анализе:
Исследование обучения в школах, музеях и больницах

Цель данной работы состоит в том, чтобы показать, как одно из важных направлений социальных исследований – обучение – можно изучать с точки зрения мультимодального подхода социальной семиотики. Мы используем этот подход в исследовании трех различных учреждений – школы, музея и больницы, иллюстрируя на этом материале некоторые ключевые категории из области социальной семиотики и обращаясь к педагогическим и технологическим проблемам современного общества. Мультимодальный подход социальной семиотики фокусируется на производстве смыслов во всех модулях. В статье показаны три способа, которыми в рамках социально-семиотического взгляда на мультимодальность может быть исследовано обучение. Во-первых, он позволяет увидеть, как педагоги репрезентуют мир и устанавливают педагогические отношения через мультимодальный образовательный дизайн. Во-вторых, социально-семиотический подход к мультимодальности обращает внимание на мультимодальные знаки научения. В-третьих, социально-семиотический подход к мультимодальности позволяет исследователям изучать социальные, педагогические и технологические изменения. Для дальнейшей иллюстрации мультимодальной социально-семиотической оптики пересмотрим несколько «старых» понятий, относящихся к проблематике обучения, – преподавание, каноничность и компетентность.

Ключевые слова: мультимодальность; социальная семиотика; образование; обучение; образовательный дизайн; признаки научения; компетентность, каноничность.

J. Bezemer, S. Diamantopoulou, C. Jewitt, G. Kress and D. Mavers
Using a Social Semiotic Approach to Multimodality:
Researching Learning in Schools, Museums and Hospitals

The aim of this paper is to show how a substantive area of social research – learning – can be investigated using a multimodal social semiotic approach. We apply the approach to three different institutions – a school, a museum and a hospital, illustrating key concepts and addressing issues around pedagogy and technology in contemporary society. A multimodal social semiotic approach focuses on meaning-making, in all modes. The paper illustrates three ways in which a social semiotic perspective on multimodality can illuminate learning. First, it shows how ‘educators’ represent the world and establish pedagogic relations through multimodal designs for learning. Second, a social semiotic approach to multimodality draws attention multimodal signs of learning. Third, a social semiotic approach to multimodality enables researchers to investigate social, pedagogic, and technological change. In the article we also revisit some ‘old’ notions related to learning – ‘explication’, ‘canonicity’, and ‘competence’ – to further illustrate a multimodal social semiotic lens.

Keywords: multimodality; social semiotics; education; learning; designs for learning; signs of learning; competence; canonicity.

М. Кеестра
«Нейронаучный» и «нарративный» повороты
в объяснении биополитических порядков:
Как нарративы и мозг обоюдно влияют друг на друга?

Существует взаимное влияние между сокращением информационной сложности, к которому стремится когнитивный процесс, и функцией социально-политических нарративов выступать в этом контексте в качестве когнитивного инструмента. Биологически ориентированная политическая наука должна учитывать как влияние работы мозга на социально-политические структуры и нарративы, так и обратное влияние. Мы должны одновременно совершить и нейрофизиологический, и нарративный поворот.

Ключевые слова: нарратив; биополитика; нейронаука.

M. Keestra
How do Narratives and Brains Mutually Influence each other?
Taking both the ‘Neuroscientific Turn’ and the ‘Narrative Turn’
in Explaining Bio- Political Orders

Biologically oriented political science must take into account both the influence of brain processes on socio-political structures (and their narratives) and vice versa. That is, we have to take both the neuroscientific and the narrative turn simultaneously and should not assume that the two are incompatible with

each other, forcing researchers to choose between the two. There are mutual influences between the reduction of informational complexity that cognitive processes strive for and the function that socio-political narratives exert as a 'cognitive tool' in this context.

Keywords: narrative; biopolitics; neuroscience.

В.Ф. Петренко

**Психосемантические методы анализа
политического менталитета общества**

В статье рассматриваются место психосемантического направления в сфере исследований политической психологии, а также методы психосемантического анализа различных аспектов политического менталитета общества в современной России. Особое место уделено авторским методикам построения субъективных семантических пространств различных политических субъектов и их исследованию с помощью методов математической статистики. Рассмотрены типовые примеры психосемантических исследований: анализа семантического пространства партий, «имиджа» партий, их электоральных потенциалов, типологии и динамики политического менталитета, представлений о качестве жизни, геополитических представлениях населения.

Ключевые слова: политическая психология; психосемантика; семантические пространства; политический менталитет.

V.F. Petrenko

Psychosemantic methods of analysis of political mentality

The article positions psychosemantics in the field of political psychology, as well as explores the methods of psychosemantic analysis of various aspects of the political mentality of the society in modern Russia. A special place is given to the author's methods of constructing subjective semantic spaces of various political subjects and to the methods of mathematical statistics that are used to analyze them. Psychosemantic research is exemplified with the cases of analysis of semantic space of political parties, political party images, their electoral potential, as well as by the typologies and dynamics of political mentality, popular geopolitical conceptions and conceptions on the quality of life.

Keywords: political psychology; psychosemantics; semantic space; political mentality.

М.Ю. Походай, А.В. Мячиков

Роль системы внимания в порождении речи

В статье представлен обзор экспериментальных исследований, рассматривающих роль системы внимания говорящего при выборе синтакси-

ческой структуры предложения и порядка слов в ней. В процессе порождения предложения говорящий отражает параметры описываемого события посредством селекции соответствующих языковых единиц – так называемое картирование воспринимаемой информации языковыми средствами. При этом говорящий имеет возможность выбора между различными синтаксическими структурами, порядком слов и набором лексики. Этот выбор не является случайным – он отражает постоянно меняющуюся «салиентность» (выделенность) составляющих события, которые привлекают внимание говорящего или являются для него более важными. Таким образом, статья предлагает обзор существующих теоретических взглядов на взаимодействие системы внимания с механизмом порождения предложений и соответствующих экспериментальных исследований на основе языков с различной гибкостью порядка слов.

Ключевые слова: внимание; синтаксический выбор; выделенность; порядок слов; порождение речи.

M.Ju. Pokhoday, A. Myachykov
Role of attention in sentence production

This paper offers a review of experimental evidence about the role of the speaker's attention in the choice of syntactic structure and the corresponding word order during sentence production. Here, we describe how the speaker's syntactic choices reflect the regular mapping mechanism responsible for reflecting the features of the described event in the produced sentence. One of the most important event parameters that the speaker takes into account is the changing attentional status of the event's referents. Our paper summarizes current theoretical debates about the interplay between attention and sentence production mechanisms. Finally, it reviews the corresponding experimental evidence from languages with both strict and flexible word orders.

Keywords: attention; syntactic choice; saliency; word order; sentence production.

Б.В. Межуев
Opus Magnus Вадима Цымбурского

Статья рассказывает о готовящейся сейчас к выходу в свет незавершенной докторской диссертации Вадима Цымбурского «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX вв.». После кончины ученого в 2009 г. диссертация осталась в рукописном виде, на ее расшифровку ушло три года. В статье рассказывается о методологии работы, обращается внимание на определенную эволюцию взглядов Цымбурского с момента написания его статьи 1993 г. «Остров Россия» до начала работы над диссертацией, в которой делалась попытка представить объективную картину динамики международной системы «Россия –

Европа». В рамках функционирования этой системы Россия пыталась занять свое место в европейском концерте наций, однако возможность достижения этой цели исключалась объективными характеристиками данной системы. И это было источником тех противоречий, которые пыталась изжить российская геополитика в том или ином варианте пространственного проектирования.

Ключевые слова: Цымбурский; диссертация; российская геополитика; международная система Россия – Европа.

В.В. Межув
Vadim Tsymbursky's Opus Magnus

The article tells about Vadim Tsymbursky uncompleted thesis «The Morphology of Russian Geopolitics and the Dynamic of International Systems of XVIII–XX centuries» that is to be published in the nearest time. This work after the death of its author was staying to be in manuscript and three years have been spent for deciphering. The article tells also about the methodology of Tsymbursky's thesis and about the evolution of his views from the time of creation of his famous piece «The Island of Russia» till the beginning of the work on dissertation in which he tried to present an objective narrative of the international system's «Russia – Europe» dynamic. Russia tried to find her place or role in the European concert of nations, but in the same time the possibility to achieve this goal was excluded by the objective traits of this system. This caused some contradictions, which the Russian geopolitical thought attempted to overcome.

Keywords: Tsymbursky; dissertation; russian geopolitics; international system of Russia – Europe.

К. Шуберт
Инновации и прядок. Основы прагматической теории политики
Глава 6. Методические соображения

В данной главе своей работы автор рассматривает методические последствия дискуссии о прагматической теории политики, понятой как динамическая теория. С позиции прагматизма в эти дебаты вносится новая линия раздела: между рефлектирующими («сциентистскими») и проектирующими («прагматическими») методами. Первые ориентированы на реконструкцию и анализ данных и фактов о прошлых событиях. Вторые направлены на возможные последствия и выводы из этих событий. Основное внимание автор уделяет обоснованию и анализу «прагматических» или «денотативных» методов, позволяющих «обогащать» факты дополнительным опытом. Выделяются, анализируются и сопоставляются с точки зрения логической структуры три основных вида «сциентистских» методов: дедукция, индукция и абдукция; и три вида «денотативных»: инвенция,

имитация и инновация. Автор подчеркивает особую значимость для политической науки именно последних: если сциентистские методы заключаются лишь в попытке обнаружить (единственно возможный, абсолютный) порядок, то в рамках денотативных методов этот порядок должен постоянно развиваться, подтверждаться и доказывать свою жизнеспособность по отношению к множеству других возможных опций и вариантов.

Ключевые слова: методология политической науки; прагматическая теория политики; сциентистские методы; денотативные методы.

K. Schubert
Innovation and the order. Fundamentals
of the theory of pragmatic politics.
Chapter 6. Methodological considerations

The author considers the methodological implications of the debate on the pragmatic theory of politics, understood as a dynamic theory. From the standpoint of pragmatism a new dividing line is introduced in the debate: between the reflective («scientific») and projective («pragmatic») methods. The first are aimed at the reconstruction and analysis of data and facts about past events. The second is focused on the possible consequences and implications of these events. Main attention is paid to the analysis of «pragmatic» or «denotative» methods that allow «enriching» the facts with additional experience. The comparative analysis of the logical structure of three main types of «scientific» methods (deduction, induction and abduction) and three kinds of «denotative» methods (invention, imitation and innovation) is presented. The author emphasizes the special importance for political science of the latter: the scientific methods are only trying to find (the only possible, absolute) order, while within the denotative methods this order must continue to be develop and prove its viability in relation to a multitude of other possible options.

Keywords: methodology of political science; pragmatic theory of politics; scientific methods; denotative methods.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Авдонин Владимир Сергеевич – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Отдела политической науки ИНИОН РАН. E-mail: avdoninvla@mail.ru.

Адилбаев Тимур Шарипбаевич – аспирант НИУ ВШЭ. E-mail: adilbaeff@mail.ru.

Беземер Джефф (Jeff Bezemer) – доктор философии в области прикладной лингвистики, доцент в области обучения и коммуникации, содиректор Центра мультимодальных исследований, Института образования Университетского колледжа Лондона, Университетский колледж Лондона (Великобритания). E-mail: j.bezemer@ucl.ac.uk.

Буданов Владимир Григорьевич – доктор философских наук, зав. сектором междисциплинарных проблем научно-технического развития Института философии РАН. E-mail: budsyn@yandex.ru.

Демьянков Валерий Закиевич – профессор, доктор филологических наук, зам. директора по научной работе и зав. отделом теоретического и прикладного языкознания Института языкознания РАН, зав. кафедрой Московского педагогического государственного университета. E-mail: vdemiank@vdemiankov.msk.ru.

Джюитт Кэри (Carey Jewitt) – доктор философии в области образования, профессор в области технологии и обучения, директор Лаборатории знаний Университетского колледжа Лондона, Институт образования Университетского колледжа Лондона, Университетский колледж Лондона (Великобритания). E-mail: c.jewitt@ucl.ac.uk.

Диамантопулу София (Sophia Diamantopoulou) – магистр музейного образования, кандидат на присуждение степени доктора философии в области музейного образования, учебный ассистент, Университетский колледж Лондона (Великобритания); временный лектор, Лондонский университет Метрополитен (Великобритания). E-mail: sophia.diamantopoulou.14@ucl.ac.uk.

Золян Сурен Тигранович – доктор филологических наук, профессор, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия, ведущий научный сотрудник, Институт философии, социологии и

права НАН РА, Ереван, Армения, ведущий научный сотрудник.
E-mail: surenzolyan@gmail.com.

Ильин Михаил Васильевич – доктор политических наук, руководитель Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН, профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО (У) МИД России. E-mail: mikhaililyin48@gmail.com.

Кеестра Михаэль (Machiel Keesstra) – доцент Университета Амстердама (Нидерланды), президент Ассоциации междисциплинарных исследований. E-mail: M. Keesstra@uva.nl.

Киосе Мария Ивановна – доктор филологических наук, доцент кафедры лингвистики АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК».

Коротаев Андрей Витальевич – доктор исторических наук, профессор РГГУ, главный научный сотрудник Института востоковедения и ведущий научный сотрудник Института Африки РАН. E-mail: akorotayev@gmail.com.

Кочедыков Иван Евгеньевич – аспирант НИУ ВШЭ.

Кресс Гюнтер (Gunther Kress) – доктор филологии, Университет Ньюкасла (Австралия); профессор в области семиотики и образования, содиректор Центра мультимодальных исследований, Института образования Университетского колледжа Лондона, Университетский колледж Лондона (Великобритания). E-mail: g.kress@ucl.ac.uk.

Кучинов Артемий Михайлович – аспирант Института Социологии РАН. E-mail: arkuchinov@yandex.ru.

Маверс Дайан (Diane Mavers) – доктор философии в области образования, почетный научный сотрудник Института образования Университетского колледжа Лондона, Университетский колледж Лондона (Великобритания). E-mail: d.mavers@ucl.ac.uk.

Межуев Борис Вадимович – кандидат философских наук, доцент кафедры истории русской философии МГУ, соредактор портала Terra America. E-mail: borismezhuev@yandex.ru.

Моисеев Вячеслав Иванович – доктор философских наук, профессор; зав. кафедрой философии МГМСУ.

Мячиков Андрей Викторович – ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ, Senior Lecturer in Psychology at Northumbria University, Northumbria University, Newcastle, United Kingdom. E-mail: andriy.myachykov@northumbria.ac.uk.

Петренко Виктор Федорович – доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий Лабораторией психологии общения и психосемантики факультета психологии МГУ. E-mail: victor-petrenko@mail.ru.

Постовалова Валентина Ильинична – доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Сектора теоретического языкознания Института языкознания РАН.

Походай Михаил Юрьевич – стажер-исследователь Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ, Департамент психологии. E-mail: mprokhoday@hse.ru.

Скляр Никита Анатольевич – студент МГИМО (У) МИД РФ. E-mail: niknikic@mail.ru.

Федосеева Дарья Алексеевна – студентка магистратуры НИУ ВШЭ, департамента социальных наук, факультета психологии. E-mail: dfedoseeva@gmail.com.

Фомин Иван Владленович – кандидат политических наук, младший научный сотрудник Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН; доцент НИУ ВШЭ. E-mail: fomin.i@gmail.com.

Чилтон Пол (Paul Chilton) – английский лингвист, профессор Университета Ланкастер, ассоциированный исследователь Центра прикладной лингвистики Университета Уорик, почетный профессор Университета Ланкастера. E-mail: linguistics@lancaster.ac.uk.

Шуберт Клаус (Klaus Schubert) – профессор Вестфальского университета им. Вильгельма (Германия). E-mail: klaus.schubert@uni-muenster.de.

**МЕТОД:
МОСКОВСКИЙ ЕЖЕГОДНИК ТРУДОВ
ИЗ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН**

Сборник научных трудов

Выпуск 7

**ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ
В ОБЩЕСТВОЗНАНИИ**

Дизайнер (художник) И.А. Михеев
Корректор Я.А. Кузьменко
Компьютерная верстка Л.Н. Сиякова

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 12/IX – 2017 г.
Формат 70х100/16 Бум. офсетная № 1
Печать офсетная Свободная цена
Усл. печ. л. 27,0 Уч.-изд. л. 26,0
Тираж 500 экз. Заказ № 207

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997**

**Отдел маркетинга и распространения
информационных изданий
Тел. / Факс: (499) 120-4514
E-mail: inion@bk.ru**

**E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)**

Отпечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский проспект, д. 51/21
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9

